

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

СИМФОНИИ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

СИМФОНИИ



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
СИМФОНИИ



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

СИМФОНИИ

Собрание сочинений

Москва
Издательство «Дмитрий Сечин»
2014

ББК 87.3
Б43

Андрей Белый
Собрание сочинений
Симфонии

Составление, подготовка текста,
послесловие и комментарии
А.В. Лаврова

На фронтисписе — Андрей Белый.
Фотография О. Ренара. Москва. Март 1903 г.
Хранится в Государственном литературном музее

Белый А.
Б43 Собрание сочинений. Симфонии / Сост., послесл. и коммент.
А.В. Лаврова. — М.: Дмитрий Сечин, 2014. — 450 с.

ISBN 978-5-904962-32-6

Книгу Андрея Белого (1880–1934) составила его ранняя проза. В том вошли «Симфонии», образец особого словесно-музыкального жанра, созданного А. Белым, а также примыкающие к ним лирические отрывки в прозе и рассказы. Книга позволяет проследить истоки творчества одного из крупнейших художников слова XX столетия.

Издание снабжено комментариями.

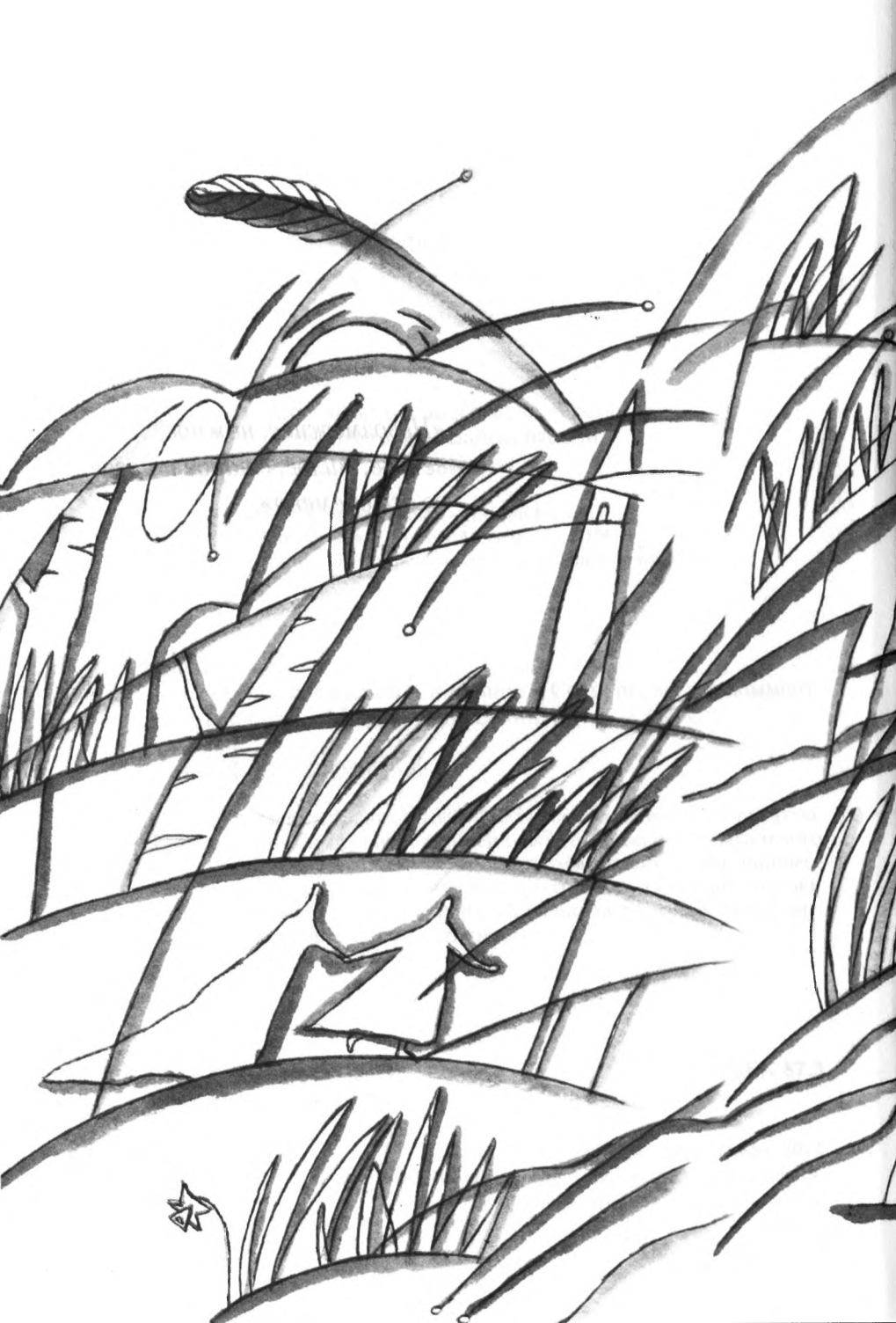
ISBN 978-5-904962-16-6 (Общ.)
978-5-904962-32-6

ББК 87.3

© ООО «Издательство «Дмитрий Сечин», 2014
© А.В. Лавров. Составление, подготовка текста,
послесловие, комментарии, 2014

© *Скан и обработка: glarus63*

*«Невозможное, нежное,
вечное, милое, старое и новое
во все времена».*



СЕВЕРНАЯ
СИМФОНΙΑ
(1-я, героическая)



ВСТУПЛЕНИЕ

1. Большая луна плыла вдоль разорванных облак.
2. То здесь, то там подымались возвышения, поросшие молодыми березками.
3. Виднелись лысые холмы, усеянные пнями.
4. Иногда попадались сосны, прижимавшиеся друг к другу в одинокой кучке.
5. Дул крепкий ветер, и деревья махали длинными ветками.
6. Я сидел у ручья и говорил дребезжащим голосом:
7. «Как?.. Еще живо?.. Еще не уснуло?»
8. Усни, усни... О, разорванное сердце!»
9. И мне в ответ раздавался насмешливый хохот: «Усни... Ха, ха... Усни... Ха, ха, ха...»
10. Это был грохот великана. Над ручьем я увидел его огромную тень...
11. И когда я в испуге поднял глаза к шумящим, мятежным вершинам, из сосновых вершин глядел на меня глаз великана.
12. Я сидел у ручья и говорил дребезжащим голосом:
13. «Долго ли, долго ли колоть дрова?.. И косить траву?»
14. И мне в ответ раздался насмешливый хохот: «Ха, ха... Косить траву?.. Ха, ха, ха...»
15. Это был грохот великана. Над ручьем стояла его огромная тень...
16. И когда я в испуге поднял глаза к шумящим вершинам, меж сосновых вершин кривилось лицо великана...
17. Великан скалил белые зубы и хохотал, хохотал до упаду...
18. Тогда я весь согнулся и говорил дребезжащим голосом:
19. «О я, молодой глупец, сыч и разбитая шарманка...»
20. Разве сломленная трость может быть годна для чего иного, кроме растопки печей?

21. О ты, туманное безвременье!»
22. ...Но тут выпрыгнул из чащи мой сосновый знакомец, великан. Подбоченясь, он глумился надо мной...
23. Свистал в кулак и щелкал пальцами перед моим глупым носом.
24. И я наскоро собрал свою убогую собственность. Пошел отсюда прочь...
25. Большая луна плыла вдоль разорванных облак...
26. Мне казалось, что эта ночь продолжается века и что впереди лежат тысячелетия...
27. Многое мне мерещилось. О многом я впервые узнал...
28. Впереди передо мной на туманном горизонте угрюмый гигант играл с синими тучами.
29. Он подымал синий комок тучи, мерцающий серебряными громами.
30. Он напрягал свои мускулы и рычал, точно зверь...
31. Его безумные очи слепила серебряная молния.
32. Бледнокаменное лицо полыхало и мерцало от внезапных вспышек и взрывов...
33. Так он подымал клочки синих туч, укрывшихся у его ног...
34. Так он рвал и разбрасывал вокруг себя тучи, и уста мои слагали грозные песни...
35. И видя усилие титана, я бессмысленно ревел.
36. Но вот он поднял на могучие плечи всю синюю тучу и пошел с синей тучей вдоль широкого горизонта...
37. Но вот надорвался и рухнул угрюмый титан, и бледнокаменное лицо его, полыхающее в молниях, в последний раз показалось в разрыве туч...
38. Больше я ничего не узнал о рухнувшем гиганте... Его раздавили синие тучи...
39. И когда я плакал и рыдал о раздавленном гиганте, утирая кулаками слезы, мне шептали ветряной ночью: «Это сны... Только сны...» ...«Только сны»...
40. Сокрушенный, я чуял, как дух безвременья собирался запеть свои гнусные песни, хороня непокорного гиганта.
41. Собирался, но не собрался, а застыл в старческом бессилии...
42. ...И вот наконец я услышал словно лошадиный ход...
43. Кто-то мчался на меня с далекого холма, попирая копытами бедную землю.
44. С удивленьем я узнал, что летел на меня кентавр Буцентавр... держал над головой растопыренные руки... улыбался молниевой улыбкой... чуть-чуть страшной.
45. Его вороное тело попирало уставшую землю, обмахиваясь хвостом.

46. Глубоким лирным голосом кентавр кричал мне, что с холма увидел розовое небо...

47. ...Что оттуда виден рассвет...

48. Так кричал мне кентавр Буцентавр лирным голосом, промчавшись как вихрь мимо меня.

49. ...И понесся вдаль безумный кентавр, крича, что он с холма видел розовое небо...

50. ...Что оттуда виден рассвет...

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1. Весеннюю ночью умирал старый король. Молодой сын склонился над старым.

2. Нехорошим огнем блистала корона на старых кудрях.

3. Освещенный красным огнем очага, заговорил король беспросветною ночью: «Сын мой, отвори окно той, что стучится ко мне. Дай подышать мне весною!

4. Весною...»

5. Ветер ворвался в окно, и с ветром влетело что-то, крутя занавеской.

6. Одинокий прохожий услышал, как умирали в окне старого замка. И были такие слова из окна: «Еще порыв, и я улечу... Будешь ты славен и могуч, о сын мой!

7. Ты выстрой башню и призови к вершинам народ мой... Веди их к вершинам, но не покинь их... Лучше пади вместе с ними, о сын мой!»

8. Перестала колыхаться занавеска в готическом окне замка: вся поникла.

9. И не знал прохожий, что было, но понял, что — ночь.

10. Беспросветная ночь...

1. Стаи северных богатырей собирались к древнему трону, а у трона король молодой говорил новые речи, обнимая красавицу королеву, юную жену свою.

2. Зубцы его короны и красная мантия сверкали, когда он встряхивал вороными кудрями — весь исполненный песни.

3. Он говорил о вершинах, где вечное солнце, где орел отвечает грому.

4. Приглашал встать над пропастями.

5. Он говорил, что туманы должны скрыться, сожженные солнцем, и что ночь — заблуждение.

6. Огненным пятном горели одежды королевские пред тронном, а кругом стояла гробовая тишина.

7. Хмурились воины, потому что он говорил о сумраке рыцарям сумрака, и только юная королева восторженно слушала эти песни.

1. Солнце село. В готические окна ворвался багово-красный луч и пал на короля. И казался молодой король окровавленным.

2. В ужасе королева отшатнулась от супруга своего.

3. Усмехались седые фанатики, сверкающие латами по стенам, радуясь желанному наваждению.

4. Из открытых дверей потянулись вечерние тени, и стая северных богатырей окунулась в тень.

5. И сквозь тень выступали лишь пасмурные лица закованных в сталь фанатиков, искаженные насмешливой улыбкой.

6. А кругом была тишина.

7. Поник головою король. Черные кудри пали на мраморный лоб.

8. Слушал тишину.

9. Испугался. Забыл слова покойника. Убежал с королевой из этих стран.

1. Они бежали в северных полях. Их окачивало лунным светом.

2. Луна стояла над кучкой чахлах, северных берез. Они вздохнули в безысходных пустотах.

3. Королева плакала.

4. Слезы ее, как жемчуг, катились по бледным щекам.

5. Катились по бледным щекам.

1. И тоска окутала спящий город своим черным пологом. И небо одиноко стыло над спящим городом.

2. Туманная меланхолия неизменно накрывала деревья. Стояли деревья наклоненные.

3. А на улицах бродили одни тени, да и то лишь весной.

4. Лишь весной.

5. Иногда покажется на пороге дома утомленный долгим сном и печально слушает поступь ночи.

6. И дворы, и сады пустовали с наклоненными деревьями и с зелеными озерами, где волны омывали мрамор лестниц.

7. Иногда кто-то, грустный, всплывал на поверхность воды. Мерно плывал, рассекая мокрой сединой водную сырость.

8. На мраморе террасы была скорбь в своих воздушно-черных ризах и с неизменно бледным лицом.

9. К ее ногам прижимался черный лебедь, лебедь печали, грустно покрикивая в тишину, лапаясь.

10. Отовсюду падали ночные тени.

1. Почивший король приподнял мраморную крышку гробницы и вышел на лунный свет.

2. Сидел на гробнице в красной одежде, отороченной золотом и в зубчатой короне.

3. Увидел грусть, разлитую по городу, и лицо его потемнело от огорчения.

4. Он понял, что его сын бросил эту страну.

5. И он пригрозил убежавшему сыну мертвой рукой и долго сидел на гробнице, подперев усталой рукой старую голову.

1. А молодой король с королевой бежал в одиноких полях. Их окачивало лунным светом.

2. Луна стояла над кучкой чахлах, северных берез, и они вздохнули в безысходных пустотах.

3. Король плакал.

4. Слезы его, как жемчуг, катились по бледным щекам.

5. Катились по бледным щекам.

1. Наконец они углубились в леса и много дней бежали между деревьев. Стволистая даль темнела синевой. Между стволов ковылял козлоногий лесник, пропадая где-то сбоку.

2. Еще водились козлоногие в лесу.

3. Но они не смущались, и когда нашли лесную поляну с одинокой мраморной башней на ней, то начали взбираться на вершину великой мраморной башни.

1. Много веков в этих странах тянулись к вершинам, но король с королевой впервые всходили к вершине мраморной башни.

2. Утро смотрело на них хмурым взором, когда они поднимались по витой беломраморной лестнице, заглядывая в боковые окна.

3. Да леса качались, да леса шумели. Леса шумели.

4. Шумели.

1. Еще не было зари, но мерцал бледный, утренний свет. Что-то свежее звучало в реве дерев, что, прошумев, вздрагивали и застывали в печалях.

2. Король с королевой были уже над лесами: открывалась даль стонущих сосен и лесных, холмистых полян в тумане.

3. Вон там, на горбатой поляне, одинокая сосна, обуреваемая ветром, беззвучно кивала вдаль.

4. Свободная птица, пролетая сбоку, приветствовала их на высоте резким возгласом.

1. Встали туманы, пригретые лаской. Башня выходила из розовой мглы. На вершине ее была терраса с причудливыми, мраморными перилами.

2. На вершине король в красной мантии простирал руки востоку.

3. Королева улыбалась.

4. Алмазные слезы капали из пролетающей тучи. Низкое темное облако прошло на туманный запад.

5. А прямо была лазурь свободная и бледно-голубая.

1. В тот час родилась королевна.

2. Пала красная мантия на мрамор перил. Король, весь в белом шелку, весь в утренних, алмазных искрах, молился над ребенком своим.

3. И навстречу молитве сияла голубая бесконечность, голубая чистота восходящей жизни.

4. Король пел над ребенком своим. Он с каждым аккордом срывал со струн розу.

5. И день проходил. Стая лебедей потянула на далекий север. Звезды — гвозди золотые — вонзались в сапфировую синь.

1. С песней уснул король над ребенком своим. Уснула и мать над ребенком своим.

2. Они были одни, одни во всем мире.

3. Вечность строгою птицею летала во мраке ночном.

1. Королевна росла на вершине.

2. Бывало, мать, вся в шелку, говорит ей чудесные слова, отец молится на заре.

3. А вдали летят белые лебеди, окруженные синевой, и она следит, как исчезают они в мимолетном облачке, как кричат в белоснежном облачке.

4. И она склоняет голову на плечо к матери. Закрывая синие очи, слушает песни отца.

5. Отец срывает со струн розу за розой... Алые, белые — летят они вниз, освещенные легкой зарею.

6. Жемчужные слезы капают из пролетающей тучки, а деревья шумят в тумане на заре.

7. И маленькой королевне кажется, что она получает невозможное, и она подпевает королю-отцу.

8. В голосе ее — вздох прощенных после бури, а в изгибе рта — память о далеком горе: точно кто-то всю жизнь горевал, прося невозможного, и на заре получил невозможное и, успокоенный, плакал в последний раз.

1. Но раз вплелась печаль в песни отца, в песни короля. И только белые цветы, белые и смертельно бледные, слетали со струн.

2. И король поник и сидел без кровинки в лице.

3. Точно он, король, почуял лёт бесшумный темного лебедя из родимых стран. Звали темного лебедя лебедем печалей.

1. Так жили они на вершине башни, упиваясь высотой в своем одиноком царстве.

2. Серебро блеснуло в кудрях у короля. Морщины бороздили лицо матери.

1. За летом наступала осень. Темные тучи отражались в реке, блиставшей свинцовыми полосами.

2. Одинокая сосна плыла вдаль опущенной вершиной. Серый туман заволакивал вершины деревьев.

3. Уходили жить под террасу в изразцовую комнату. Изредка прогуливались вдоль террасы.

4. Королева выходила в теплом одеянии, отороченном горностаем. Почтенный король прятал свои руки в рукава от стужи.

5. Он любил топтаться на месте, согреваясь. Его нос становился красным. Оглядывая окрестность, он говаривал королевне: «Скоро выпадет снег».

6. Пролетали и каркали вороны.

1. Надвигалось ненастье. Мать сживала у окна в изразцовой комнате. Не смела выйти на осенний холод — вся седая, вся строгая, вся покорная судьбе.

2. Отец поговорит о минувшем горе. Голову склонит. Стоит опечаленный.

3. Тогда прилетал лебедь темный и садился на перила террасы.

4. Королева боялась лебедя темного. Звали лебедя лебедем печалей.

1. А потом проливались ливни. Стояла сырость. Приходила северная зима. Блестала по ночам у горизонта полярным сиянием.

2. Над лесными вершинами пролетал ветер, Ревун, сжимая сердце смутным предчувствием.

3. Было тепло и уютно в изразцовой комнатке. Была изразцовая комнатка с очагом, тихо пылавшим, с мехами по стенам, с парчовыми и бархатными лавками.

4. Здесь, прижавшись друг к другу, коротали зиму.

5. А над головою словно ходили... Раздавались шаги на террасе. Словно отдыхал один из холодных летунов замороженного полюса.

6. А потом вновь летун срывался, продолжая хаотическую бредню.

7. В изразцовой комнатке слушали вьюгу и не жаловались. Только в окошке стоял плач, потому что оттуда была тусклая мгла и там мелькали бледные вихри.

8. Молодая девушка дремала на коленях державной матери. Отец, сняв свою красную одежду и оставшись в белом шелку и в короне, безропотно штопал дыры на красной одежде и обшивал ее золотом.

1. Раз в год ночь зажигалась огнями: невидимые силы возжигали иллюминацию. Сквозь морозные узоры из окна рвался странный свет. Всюду ложились отсветы и огненные знаки.

2. Король подходил к королевне в своей заштопанной одежде, обшитой золотом. Трепал по плечу. Говорил, сдерживая улыбку: «Это рождественская ночь...»

1. Иногда в окнах пропадали морозные узоры. Чистая ночь смотрела в окно.

2. В глубине ночи — в небесах — горели и теплились иные, далекие миры.

3. Приникнув к окошку, все втроем любовались небом, вели речь о лучшем мире.

4. А потом начинались первые весенние приветы.

1. Так проходил год за годом.

1. А в далеких северных полях одиноко торчал сонный город, повитый грустью.

2. Почивший король все сидел на гробнице, поджидая убежавшего сына. Шли года, а сын не возвращался.

3. Тогда мертвец сжал в руке своей жезл и гордо пошел к одинокому дворцу, возвращался обратно, влача за собой пурпур мантии.

4. Вот уже он всходил по мраморной лестнице, над которой повисло странное облако. Вот он уже входил в тронную залу. На тяжелом троне восседал Мрак, повелитель этой страны.

5. И старик сел на трон и призвал черного лебедя. И говорил лебедю своим глухим, холодным голосом: «Лети к моему неверному сыну и зови его сюда... Здесь погибают в его отсутствии.

6. Скажи ему, что я сам встал из гроба и сел на трон в ожидании его...»

7. Лебедь вылетел в открытое окно. Взвился над царским садом. Задел наклоненное дерево... И дерево вздрогнуло и, вздрогнув, опять уснуло.

8. Светало. В готические окна пал красный луч. Со стен равнодушно взирали изображения пасмурных рыцарей.

9. На троне сидел мертвый владыка, поникший и столетний, за-
алевший с рассветом.

1. Весенней ночью король с королевой сидели на вершине башни
в зубчатых коронах и красных, заштопанных мантиях.

2. Королевна стояла у перил, вдыхая весну. Она была красавица
севера с синими глазами и с грустной улыбкой, таящей воспоминания.

3. Король запел свои песни старческим голосом, пытаясь проводить
дрожащими пальцами по струнам лютни.

4. Со струн сорвался только один цветок, да и тот был бледен,
как смерть.

5. И король поник.

1. На зубцы короны сыпался вечерний блеск. Они горели, будто
вспыхнувший венчик алых маков.

2. Запахнувшись в свой пурпур и увенчанный маками, чуял он
бесшумный лёт птицы из родимых стран.

3. А в небесах летал черный лебедь и манил за собою короля. Он
пел о покинутом народе и звал на далекую родину... От этого зова
деревья, колыхаемые, уплывали вдаль сонными вершинами.

4. Король сидел со стиснутыми губами. Черная тень его распласта-
лась на мраморе террасы. Уже месяц — белый меланхолик — печально
зиял в вышине.

1. И вот он встал. Простирая руки окрестностям. Он прощался.
Уходил на родину.

2. Говорил жене и дочери: «Возлюбленные мои: зовут из туманной
дали...

3. Мой народ зовет... Мой народ в темноте, в убожестве... Зовет.

4. Скоро приду... Скоро увижусь с вами... Приведу народ из ту-
манной дали...

5. Не горюйте, о, возлюбленные мои!»

1. И король стал спускаться в низины по витой, беломраморной
лестнице, и королевна простирала ему свои тонкие, белые руки, про-
щаясь с отцом, но ее удерживала мать; слезы текли из глаз державной
матери, застывали в морщинах.

2. И сам король закрывал морщинистое лицо свое красным рука-
вом. Он не раз останавливался на витой лестнице.

3. Заглядывал в башенные оконца. Видел черного лебедя, распла-
танного в небе. И не смел вернуться.

4. Спускался все ниже. Закрывалась даль стонущих изогнутых сосен.

5. Что-то шумело кругом свежим ревом. Когда оно отходило вдаль, деревья будто прислушивались к уходящим порывам.

6. Скоро увидели короля внизу, внизу на лесной поляне. Он казался совсем маленьким.

7. Он махнул рукою и что-то кричал. Ветер отнес в сторону его слова. Он ушел в лесную глушь.

1. Восточная туча, всю ночь залегавшая на горизонте, вспыхнула утренним огонечком. Королевна утешилась.

2. Низкое темное облако прошло на туманный запад; оттуда перестали капать алмазные слезы.

3. Утешенная королевна напевала, хлопая в ладоши: «Еще придет... Еще увидимся с ним...»

1. Стволистая даль темнела синевою... В лесу заплутался усталый король. Его пурпур был весь изорван, и зубья короны поломаны.

2. Он не мог выбраться ни в далекие, северные поля, чтобы идти к родному городу, ни вернуться назад.

3. Он горевал о покинутых.

4. Стволистая даль темнела синевою.

1. У серебряного ручейка отдыхал сутулый колосс, одинокий в этом мире.

2. Ведь он был только сказкой.

3. Часы текли за часами. Холодная струйка ручейка прожурчала: «Без-вре-мень...»

4. Колосс встал. Забродил по окрестностям. Одинокий! Непонятый!..

1. Снега горбатых гор сверкали лиловым огнем.

2. Лебеди знакомой вереницей на заре тянулись к далекому северу.

3. Королевна вышла на террасу башни в легких розовых шелках. Старая мать шепталась и грезила в изразцовой комнатке.

4. И показалось молодой королевне, что она — одинокая.

5. Одинокая.

1. В девственном лесу плутал король — растоптанный венок ароматных роз.

2. Стволистая даль темнела синевою.

3. Меж стволов ковылял козлоногий лесник. Пропадал где-то сбоку.

4. Еще водились козлоногие в лесу.

5. Иногда земля дрожала от тяжелой поступи прохожего гиганта.

6. Протекал ручей. Журчал и сверкал. У ручья опустился усталый король.

7. Печаль образом темным встала над ним.
8. Старое лицо, изрытое морщинами, глядело из воды: это было отражение в ручье.
9. Понял он, что — старик, умирает. Не увидится с ними.
10. Кричал: «Возлюбленные мои...»
11. Мечтательные призраки всколыхнулись над ручьем. Роптали и смеялись над бесцельной старостью.
12. Томимый жаждою, пригнулся к ручью. Колыхалось отражение в ручье.
13. Старый лик дрожал на волнах...

1. Над лесными вершинами замирал голос прохожего гиганта.
2. Печаль, успокоенная, невидимо стояла над королем.
3. Король опустил венчанную голову. Закрыл глаза.

1. Столетний владыка сидел на троне, окровавленный рассветом. В дворцовое окошко влетел черный лебедь и заговорил:
2. «Не жди сына. Погиб от бессилия. Заплутался в лесных чащах, возвращаясь на родину...»
3. Видел я башню. Там сидит твоя внучка, красавица королева — одинокий, северный цветок...
4. Одинокий, северный цветок...»
5. И державный покойник сказал, вздохнув глубоко: «Буду ждать королеву, свою внучку — одинокий, северный цветок...»
6. Одинокий, северный цветок...»
7. Улыбнулся мертвой улыбкой.

1. Деревья горевали. Облака, встревоженные и удивленные, тащились по вершинам сосен, словно клочки белой ваты.
2. Всю ночь горевали и шумели на заре...
3. Утром королева вышла на вершину башни. Она узнала, что скончался отец.
4. Сидя на перилах, тихо плакала о родном покойнике, а лебеди тянулись знакомой вереницей из далеких стран.
5. Была юная весна.

1. Настал вечер. На закате еще оставалось много матового огня и еще больше золота. Там протянулась гряда туч, спокойных и застывших... и горела золотом.
2. Ветер понемногу сгонял и огонь, и золото: нагонял синий вечер.
3. Легкий пар встал над лугами и лесами. Потянул холодный ветерок. Она дрожала от проплывшей свежести. Закрывала ясные очи. Долго задумывалась.

4. Она уставала от грусти и отдыхала тихим вечером. Вечер становился туманным и грустно-синим.

1. Этой ночью старуха королева в изразцовой комнатке что-то вспомнила и открыла окно. Ветер участливо трогал седые пряди волос, и они струились и трепетали в грустном сумраке.

2. Старуха вдыхала впалой грудью запах фиалок и ландышей. Вышла на террасу подышать голубой свежестью.

3. Стояли и молчали.

4. Уже летучие мыши неверным полетом шныряли по воздуху здесь и там.

1. Потом старая королева, залитая атласной ночью, обратила взор свой к дочке. Она прощалась, собираясь в путь.

2. Ветерок шевелил белыми как снег кудрями. И кудри струились. Ветерок принес из далеких чаш запоздалый привет короля.

3. Старуха указывала рукой на далекие, лесные чащи, и обе плакали. Потом старая королева говорила дочке своей: «Я знаю, что ты скрыла от меня».

4. И обе плакали.

5. Потом старая королева говорила дочке своей: «Я уже давно приготовилась к этому: по ночам принимала тайные вести.

6. А теперь, когда это случилось в лесных чащах, мне больше нечего медлить. Но ты не плачь ни о мне, ни о короле...

7. Я поручаю тебя Вечности...

8. Уже не раз Она стояла меж нами в час печали. Отныне Она заменит тебе и отца и мать».

9. Старуха дрожала. Из глаз струились слезы, а вокруг головы — кудри... Она вся заструилась и растаяла облачком.

10. Над плачущей сиротой склонилась Ночь в виде бледной, строгой женщины в черном.

11. Бледная женщина в черном целовала и звала на служение себе.

1. Одинокая королевна долго горевала.

2. Долго горевала.

3. Не могла видеть без слез атласные, голубые ночи.

4. Иногда голубой, атласной ночью над лесными вершинами пролетал запоздалый привет короля.

5. Слишком поздний.

6. Иногда проплывало над башней знакомое туманное облачко.

7. И королевна простирала ему руки.

8. Но равнодушное облачко уходило вдаль.

1. Время, как река, тянулось без остановки, и в течении времени отражалась туманная Вечность.

2. Это была бледная женщина в черном.

3. Вся в длинных покроях, она склонялась затемненным силуэтом над одинокой королевой. Нашептывала своим гудящим шепотом странные речи.

4. Это было выше счастья и горя. Печать Вечности отразилась в улыбке ее.

1. Прилетала серая птица. Садилась на перила. Смотрела родным взглядом. Извещала тревожным криком.

2. Королевне казалось, что она отходит в вечных снах.

3. Она молилась, чтобы миновал сон этой жизни и чтобы мы очнулись от сна.

4. Успокоенная женщина смотрела в очи королевы безвременно.

5. Задевала ее своими черными, воздушными ризами. Звала к надмирному.

6. Прижималась к щеке королевы своим бледно-мировым лицом.

7. Шептались о великом неизвестном и близко-дорогом.

1. Прошел год.

2. И еще год... Время изгладило горечь утраты.

3. Лишь в изгибе рта оставался след одинокого горя.

4. Она посвятила себя Вечности.

1. А была весна. У ручья цвели голубые фиалки.

2. Прозрачный ручей все жаловался о чем-то, катя струи.

3. Иногда из стволистой дали неслись звуки волынки...

4. Это была игра козлоногого фавна...

5. Цвели фиалки. Роняли слезы.

1. Так проходил год за годом.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

1. Лес был огромный и непрорубленный. Зелень странно шумела в роскошной дичи. Было бездорожие. Чуть знали о дорогах.

2. Хотя не была чаща пустыней: здесь обитали лесные жители всякого рода.

3. У костра справлялись чудеса новолуния и красного колдовства.

4. Не раз можно было видеть среди темноты рубиновые глазки старого гнома; не был он лесником, но выползал из норы покурить трубку с киркою в руке: он боролся под землей с притяжениями.

5. Жаркими, августовскими ночами бегали лесные собаки, чернобородые и безумные; они были как люди, но громко лаяли.

6. Приходил и горбун лаврентьевской ночью.

1. В час туманного рассвета вдалеке разливались влажные, желтые краски. Горизонт бывал завален синими глыбами. Громоздили глыбу на глыбу. Выводили узоры и строили дворцы.

2. Громыхали огненные зигзаги в синих тучах.

3. Бледным утром хаживал среди туч великан Риза.

4. Молчаливый Риза опрокидывал синие глыбы и шагал по колону в тучах.

5. В час туманного рассвета сиживал у горизонта на туче, подперев безбородое лицо.

6. Беззвучно смеялся Риза каменным лицом, устремляя вдаль стеклянные очи... Взметывал плащ свой в небеса и пускал его по ветру...

7. Исчезал, пронизанный солнцем.

1. Были темные времена кулачного права и гигантов.

2. Среди необъятных лесов ютились рыцарские замки. Рыцари выезжали грабить проезжающих.

3. Отнимали и убивали.

1. В те времена можно было встретить мрачного всадника, горбоносого и с козлиной бородой.

2. Всадник ездил по чаще и призывал козлоногого брата.

3. И в ответ на зов смотрел из чащи козел тупыми глазами ужаса: недаром ходили козлы вместе с людьми на шабаш ведьм.

4. Прижимал рыцарь руки к груди, поглядывал на козла и пел грубым басом: «О, козлоногий брат мой!..»

5. Сам был козлотородый рыцарь. Сам обладал козлиными свойствами: водил проклятый хоровод и плясал с козлом в ночных чашах.

6. И этот танец был к о з л о в а к, и колдовство это — к о з л о в а н и е.

1. Был холм, поросший ельником. С холма открывалась туманная даль. Вечерело.

2. На черноэмалевый горизонт выползал огромный, красный шар. Проезжий рыцарь в грусти затянул разбойничью песню.

3. Вдали, на горе, высились силуэты башен: это был замок. Сзади высоко взметнулись тяжелые, синие купола, излучающие молнии.

1. Рыцарский замок был стар и мрачен. Окна его были из разноцветных стекол.

2. Низки были своды темных коридоров.

3. Там жил мальчик. Он был робок и бледен. Уже сияли глаза его, темные, как могила. Это был сын рыцаря.

4. Скучная темнота окутала младенчество робкого мальчика.

5. Ранее из темноты звучал серебристый голос. Милое, худое лицо выступало из сумрака.

6. А потом совсем утонуло материнское лицо в сонную темноту. Не звучал серебристый голос.

1. Помнил он сквозь туман горбоносого рыцаря с черной козлиной бородой и острым взглядом.

2. Даже звери косились на темного отца, а собаки выли и скалили ему зубы.

3. Вспоминал наезды темного рыцаря в замок.

4. Выносили образа. Пугались. В коридорах топтались и шумели неизвестные.

5. Сам бледный мальчик в озаренных коридорах встретил странного незнакомца.

6. Однажды осенью молния убила темного рыцаря.

1. Был у тихого мальчика чудный наставник в огненной мантии, окутанный сказочным сумраком.

2. Водил мальчика на террасу замка и указывал на мутные тени. Красный и вдохновенный, учил видеть бредни.

3. И бредни посещали мальчика: он свел знакомство с самим великаном Ризой... По ночам к замку приходил сам Риза, открывал окно в комнате у бледного маленького мечтателя и рассказывал ему своим рокочущим, бархатным голосом о житье великанов.

4. Однажды в солнечный день постучал гигант пальцем в окно к ребенку.

5. Однажды проходил вечером старый Риза и бросил на замок свою длинную тень.

1. Но прошло детство. Улетели с детством туманные сказки.

1. Он стал красавцем и юношей. Носил густые кудри и латы. У него было бледное лицо с памятными чертами, большой нос и курчавая борода.

2. Он казался отдаленным свойственником козла.

3. Стал он рыцарем этих мест. Часто задумывался на берегу великой реки.

4. На реке ходили волны.

1. Прежний рыцарь носил железные латы и вороново крыло на железном шлеме. Был горбоносый и одержимый.

2. Однажды осенью привезли его в замок с черно-синим лицом, спаленным лиловою молнией.

3. После смерти заговорили о днях лаврентьевских безумств. О том, как близ замка падал кровавый метеор, а дворецкий всю ночь ходил в коридорах замка.

4. Как он носил красный шарик на серебряном блюде. Подавал горячий шарик старому рыцарю.

5. Обуянный ужасом волшебств, рыцарь подбрасывал горячий шарик и пел грубым басом: «Шарик, мой шарик».

6. И это был обряд шарового ужаса.

7. Молодой рыцарь знал, что от старых мест поднимаются старые испарения шарового бреда и ужасных козлований: он бросил дедовский замок и построил новый замок на берегу великой реки.

8. И когда подъезжал к новой обители, вдалеке шумел сердитый лес, посылая угрозы.

1. Молодой рыцарь жаждал заоблачных сновидений, но в душе поднимались темные наследственные силы.

2. Иногда он подходил к окну замка, чтобы любоваться звездными огнями, а у окна подстерегали...

3. Вытягивались в знакомое очертание... Кивали. Улыбались... Приглашали совершить обряды знакомых ужасов... Нашептывали знакомые, невозможные слова...

4. Понимал молодой рыцарь, что не Бог зовет его к себе... Испуганный приходом Неведомого, зовущего в тишину ночную, тщетно падал перед озаренным Распятием.

5. Потому что от старых мест тянулись старые испарения шарового ужаса и ужасных козлований... И все кивали — все улыбались... Приглашали совершить обряды знакомых ужасов... Нашептывали невозможно-бредовые слова.

6. И рыцарь садился на коня. Как угорелый мчался вдоль лесов и равнин, чтоб заглушить слова Неведомого, Зовущего в тишину ночную...

1. Бывало, на лесной поляне качаются золотые звездочки и пунцовые крестики, а уже страх пропадает, становится туманным и грустно-задумчивым.

2. Бывало, разливается рассвет, а в вышине совершается белая буря над застывшие-перистыми тучками, и они разметываются по бледно-голубому.

3. А ужас убегает, полыхая зарницами с далекого запада.

4. Тогда останавливает молодой рыцарь коня, отдыхает от страха на рассвете.

5. А у ног его качаются золотые звездочки и пунцовые крестики на длинных стебельках...

1. Когда заезжал рыцарь далеко в лесную глушь, бывало, из лесной глуши проносилось легкое дуновение.

2. Словно звук лесной арфы замирал в стволистой дали. Словно была печаль о солнечных потоках.

3. Словно просили, чтобы миновал сон этой жизни и чтобы мы очнулись от сна.

4. Уже вечер становился грустно-синим, а рыцарь все прислушивался к пролетающему дуновению.

5. Уже стволистая даль подергивалась синей, туманной мрачностью. Уже в мрачной стволистой синеве горели багровые огни.

6. Где-то вдали проезжала лесная бабатура верхом на свинье. Раздавалось гиканье и топот козлоногих.

7. И задумчивый рыцарь возвращался домой.

1. Однажды был закат. В лесу ехал рыцарь на задумчивые звуки. Все ближе раздавалась горняя молитва, как бы вихрь огня.

2. Протекал зеленый ручеек. Был огонь на водах изумрудных.

3. На лесном холме стояли два мечтательных гнома. Они глядели вслед проезжавшему рыцарю и подпирали короткой ручкой скуластые лица свои.

4. Слушали песню зари.

1. Перед рыцарем была лесная поляна, на поляне башня.

2. И там высоко... как бы в огненном небе... неведомая молодая королевна простирала заходящему солнцу свои тонкие, белые руки.

3. Белая лилия на красном атласе. У нее синие глаза и печальная улыбка.

4. Она просила, чтобы миновал сон этой жизни и чтобы мы очнулись от сна.

5. Оцепеневший рыцарь с восторгом внимал этой песне, песне сверкающих созвездий и огнистого Сатурнова кольца.

6. Невозможное казалось близко.

1. Был вечер. И к горизонту пришли гиганты лесные. Раздвигали тучевые синие глыбы. Выставляли неподвижные лица.

2. И до них долетели молитвы королевны, как звук серебряного рога...

3. И гиганты сидели на тучах, склонив безбородые лица. Вспоминали... о счастье...

1. Еще далекие вершины лесные шевелились от ее закатившейся песни, а уж королевна, с грустной улыбкой, сидела на перилах.

2. И уж не пела она, королевна, — белая лилия на красном атласе!..

3. Белая лилия!..

4. Скользила ласковым взглядом по незнакомцу в ясных латах и в оливковой мантии. Он вышел на лесную поляну отвешивать поклоны королевне, прижимал к сердцу белый цветок.

5. Гас восток. Уж ложилась мгла. Он был красив и приятен, но казался свойственником козла.

6. Хотя и был знатен.

1. С той поры, лишь кончались вечерние звоны и гас красный свет закатный, отвешивать поклоны приходил незнакомец приятный.

2. Он был приятен, но все же казался свойственником козла.

3. Хотя и был знатен.

4. Каждый вечер после жары он приходил с той поры.

1. Далекие снеговые конусы сторели аметистовым огнем. Лебеди пролетали над северными полями.

2. Туманным вечером они сидели на вершине башни. Над ними мигала спокойная полярная звезда.

3. У него были серые одежды. На них были нашиты серебристо-белые цветы лилии. У нее на груди сверкал голубой крест.

4. Над ним она склонялась, как нежная сестра, как милый, вечерний друг.

5. Указывала на созвездие Медведиц. Улыбалась тающей улыбкой, чуть-чуть грустной.

6. Напевала бирюзовые сказки.

7. И молодой рыцарь забывал припадки ада. Любовался налетавшим облачком и вечерней сестрой.

8. Бледным утром возвращался с вершины башни, успокоенный в грусти своей.

1. Пропели молитву. Сосны, обвеваемые сном, шумели о высших целях.

2. В сосновых чащах была жуткая дремота. У ручья, на лесной одинокой поляне росли голубые цветы.

3. Козлоподобный пастух, Павлуша, сторожил лесное стадо.

4. Он выслушал длинными ушами призыв к бриллиантовым звездам. Надменно фыркнул и забренчал на струне песню негодяев.

5. Не мог заглушить голоса правды Павлуша и погнал свое стадо в дебри козлованья.

6. Сосны, обвеваемые сном, шумели о высших целях.

7. Где-то пропели молитву.

1. Они говорили: «Где твое царство — ты, неведомая королева?» — «У меня было царство земное, а теперь я не знаю, где оно... Мое царство — утро воскресения и сапфировые небеса. Это царство сапфировых грез не отычется у меня».

2. «Где венец твой — ты, неведомая королева?» — «У меня нет никакого венца. Есть один венец — это венец небесный, и он доступен каждому».

3. «Где твоя пламенная мантия — ты, неведомая королева?» — «У меня нет пламенной мантии. И без мантии Господь видит пламень сердца моего...»

4. Он сверкает в ночи красным яхонтом...»

5. Молодой рыцарь грустил и оскорблялся непонятным величием королевы. Тайные сомнения волновали его душу.

6. На черном небосклоне вставал одинокий, кровавый серп.

1. В рыцарском замке жил горбатый дворецкий. Днем и ночью его стучащая поступь раздавалась в каменных коридорах.

2. Ухмылялся в потемках старым стриженным лицом.

3. У него за спиной шептали, что вместе с черным покойником он творил богомерзкие ужасы. Что и теперь не оставил старых замашек.

4. Не раз его видели темной, осеннею ночью, когда он, как паук, заглядывал к молодому рыцарю. Рассыпал зеленые порошки. Приводил из лесу знатоков козлованья. Не раз к молодому рыцарю заглядывали козлы.

5. Таков был старый дворецкий.

1. Молодой рыцарь склонялся у Распятия, озаренного лампадой, вспоминая юную сестру. Красный лампадный свет ложился на серые стены. Была в том сила молитвы.

1. Победенный мрак рвался из углов, отступал в неопределенное.

2. И хотелось обнять весь мир, за всех в мире помолиться.

3. В узкое окно просилась ночь молитв со спокойной, полярной звездой.

4. Но... где-то за стеной... раздавалась стучащая поступь гнусного старика. Улетали чистые молитвы. В темных коридорах старый горбун припадал к замочной скважине.

5. Воровским взглядом следил за сомнениями молодого рыцаря. Приглашал мыслью своей совершить обряды тайных ужасов. Нашептывал бредовые слова.

6. И потом... продолжал свою одинокую прогулку, освещая огнем потайного фонарика черное пространство. Ухмылялся в потемках желтым, стриженным лицом.

7. Таков был старый дворецкий.

1. Замирали глухие шаги на каменных плитах, а уже рыцарь, пропитанный ядовитым бредом, хохотал, измышляя ужас королевне, сестре своей.

2. В замочную скважину текла едкая струйка шарового ужаса и ужасных козлований, пущенная богомерзким дворецким.

1. Молодой рыцарь был единственный брат королевы. Она любила его от чистого сердца.

2. Но он уже редко приходил на вершину. Хмурый, задумчивый, что-то таил от нее... Не было легкой дружбы. Была трудная игра.

3. Едва она заговаривала о Вечности, как вдоль лба у рыцаря ложились морщины и он говорил: «Молчи, я не так тебя люблю».

4. Когда она спрашивала: «Как же ты любишь меня?» — он уходил от нее, стиснув зубы.

5. Стояли июльские ночи. Кругом безмолвно разрывались гранаты и бомбы. Наполняли мрак мгновенной белизной...

6. Это были зарницы.

1. В ту пору стоял жар. Надвигались дни лесных безумств... Много ночей по небесам ходили сине-белые громады. Громоздили громаду на громаду. Выводили узоры. Строили дворцы.

2. Кузнец Антон работал мехами и раздувал огонь в сине-белых твердыхнях, и небо было в объятиях антонова огня...

3. Шел бредовый бой и грозовые столкновения...

4. Королевна, бледная и страдающая, молилась за друга, с которым начались странности. Небо сверкало и освещало лесную дорогу, откуда приходил друг.

5. На знакомом пути ковылял незнакомый хромец.

1. В эту ночь молодой рыцарь сидел запершись с горбатым дворецким. Он говорил жгучие слова и размахивал руками.

2. Дворецкий молчал, устремляя на безумца воровские очи.

3. Еще вчера к горбуну приходил незнакомец, окутанный черным плащом и с куриными лапами вместо ног. А уж сегодня они тут сидели, облокотившись локтями о стол, наклонив друг к другу свои бледные лица, говорили об ужасах и строили замки.

4. Потом коренастый дворецкий оседлал коня и поскакал в чашу, извещать кого-то об удаче. Раздался звук сигнальной трубы. Опустился подъемный мост.

5. Вот черный конь пронес дворецкого над глубоким рвом. Застучал железными подковами.

6. Ему вслед трубил дежурный карла. Подъемный мост взвился над глубоким рвом.

7. Таков был старый дворецкий.

1. А королевна все молилась за своего друга, возводя очи к небесам.

2. Но в небе стоял белый ком, а у горизонта лежала дымовая, кабанья голова. Из кабаньей головы раздавались короткие громы.

3. Глухо отругивались от молитв и глумились над печалью.

1. Солнечным днем прошла лесная буря. Она срывала зеленые ветви и обсыпала ими двух всадников. Это был рыцарь и его гнусный дворецкий.

2. Солнечным днем прошел ливень и стучал гром.

3. Где-то недалеко прошли великаны ускоренным шагом и утонули в глубине горизонта.

4. Рыцарь ехал хмурый и бледный, а старый дворецкий следил вороньим взором за сомнением молодого господина своего...

5. ...Снова воскрес образ отца, спаленного лиловою молнией, а старый дворецкий указывал на лесную чащу, где сквозь тонкие березовые ветви была видна одинокая часовенка: тут восхищались сатаню.

1. Проходил день. Лучи заходящего солнца обливали луга и леса сгущенной желтизной. От опушки леса тянулись вечерние тени.

2. По освещенному лугу вдоль лесной опушки двигались всадники. Их было двое. Их черные кони в красных пополах с золотыми вензелями бодро ржали, а тени всадников казались непомерно длинными.

3. Всадники проехали рысью. Старший в чем-то убеждал молодого.

4. Подул ветерок. Вдоль всей страны протянулась тень неизвестного колосса. Гордо и одиноко стоял колосс, заслоня солнце. Высилась венчанная голова его, озаренная розовым блеском.

5. Колосс смотрел на Божий мир, расстилавшийся перед ним. Он был одинок в этом мире.

6. Он хотел забыться, уснуть. Уходил из мира непонятым.

7. И вот стоял одинокий колосс вдали, окутанный вечеряющим сумраком.

1. Вечером небо очистилось. Меж стволов показались блуждающие огоньки среди мрачной сырости. На темно-голубом небе был тонкий серебряный полумесяц.

2. На поляне у обрыва, где зеленели папоротники, сидели — пригорюнившись.

3. Пылал красный костер.

4. Над костром вытягивался старый лесной чародей, воздевая длинные руки... Красный от огня и вдохновенный, он учил видеть бредни.

5. А потом они все заплясали танцы любви, топчя лиловые колокольчики.

1. Меж лесной зелени показались вороные кони в красных пополах. Двое всадников соскочили с коней. Один был горбун; он остался при конях.

2. Изящные очертания другого охватывала кровавая мантия, а под мантией везде было черное железо. Пучок страусовых перьев развевался над головой.

3. Правой рукой он сжимал тяжелый дедовский меч, а левой подбирал край мантии.

4. Он пошел к башне, путаясь в высокой траве цепкими шпорами, а на вершине башни, едва касаясь мраморных перил нежными пальцами, она стояла в белых одеждах, как бы в некоей воздушной мантии.

5. Ее милый профиль ярко вырисовывался на фоне ясно-голубой, звездной ночи.

6. В полукрытом рте и в печальных синих глазах трепетали зарницы откровений.

7. Иногда она низко склонялась, покорная и вся белая, и вновь подымался ее силуэт над голубым, вечерним миром.

8. Так она молилась. Над ней сиял серебряный полумесяц.

1. И рыцарь остановился, но в ближних кустах закашлял горбун, и рыцарь, звеня шпорами, стал взбираться по мраморной лестнице.

2. И когда он был уже на вершине, она все устремляла синие очи в далекую безбрежность. Там понахмурилась тучка, бывшая заревом.

3. Но он дважды стукнул мечом. Она улыбнулась в испуге. Не узнала милого брата. Узнав, улыбнулась ему.

4. Так они стояли и молчали.

1. Он говорил: «Уже ты меня наставляла, а теперь я пришел сказать тебе новое слово. Оно, как пожар, сжигает мою душу.

2. Ты заблуждаешься, воспевая надмирность... Я сын рыцаря. Во мне железная сила.

3. Пойдем ко мне в замок, потому что я хочу тебя любить. Хочу жениться на тебе, королева неведомого царства».

4. Его глаза метали искры.

1. Лес был суров.

2. Между стволов в дни безумий все звучал, все звучал звонкий голос волхва, призывая серебряно-тонких колдуний для колдовства.

3. В дни безумий:

4. «С жаждой дня у огня среди мглы фавны, колдуны, козлы, возликуем.

5. В пляске, равны, танец славный протанцуем среди мглы!.. Козлы!..

6. Фавны!»

1. Молодая королева стояла бледная от луны, опустив тонкий, увенчанный профиль. Серебряные слезы скатились из-под опущенных ресниц.

2. Не видно было ее глубокой тоски. Она говорила медленно и спокойно. Ее голос был тихий, чуть грустный.

3. «Возлюбленный, ведь и я тебя люблю. И моя любовь — невиданная на земле. Это вздох бирюзовых ветерков.

4. Этого ты не понял. Разрушил нашу дружбу, чистую, как лилия...

5. Белую...

6. Мне горько и тяжело...»

1. У обрыва, где росли папоротники, плясал старый чародей, поднимая край лиловой одежды.

2. Он потрясал бородой... И седые пряди струились вокруг его вдохновенного лица.

3. Перед ним потрескивало пламя, и казалось, он был объят сквозным, красным шелком.

4. Иногда он перелетал через костер; тогда над сквозным шелком красного пламени его надувшаяся одежда протягивалась лиловым парусом.

5. А кругом веселились колдуньи и утешали друг друга: «Посмотрите: старик ликует!

6. Он ликует, ликует!..»

1. Слушая песни лесного чародея, рыцарь приблизился к королевне и говорил: «Я осыплю тебя рубинами и карбункулами... Я достану тебе пурпур мантии моим железным мечом.

2. Ты ведь королевна безвенечная, бесцарственная...»

3. «Я уже говорила, не здесь мое царство. Будет время, и ты увидишь его.

4. Есть у меня и пурпур: это пурпур утренней зари, что загорится скоро над миром.

5. Будут дни, и ты увидишь меня в этом пурпуре...

6. Но прощай!.. Нам должно расстаться...»

7. Тут обезумевший рыцарь придвинулся к королевне и с криком: «Я совлеку тебя с вершин» — обхватил ее стан и уже собирался спуститься в низину со своею добычею...

8. Но над головою склоненной королевы встал гневный образ призрачного старика в королевской мантии и золотой короне.

9. Его бескровные губы шевелились. Он грозил рыцарю туманной рукой.

10. И молодой рыцарь понял, что нет у него ни трона, ни пурпура, что упал он в трясины прежних лет.

11. И он стал опускаться в низины, запахнувшись в свой плащ. Он дрожал всем телом. Над его головой колебался пучок черных, страусовых перьев.

1. Пляски и песни любимые продолжал чародей: «О, цветы мои, чистые, как кристалл! Серебристые!

2. Вы — утро дней...

3. Золотые, благовонные, не простые — червонно-сонные, лучистые, как кристалл, чистые.

4. Вы — утро дней».

5. И кричал, ликуя: «Все нежней вас люблю я».

1. Голубою ночью она стояла, одинокая, на вершине башни. Она была чистая красавица севера.

2. Одинокая.

3. Утром еще стояла она в венке из незабудок на фоне зари.

4. На востоке таяла одинокая розовая облачная башня.

1. На рассвете он сидел вместе с горбатым дворецким в лесной чаще и горько плакал.

2. А коренастый дворецкий разводил руками и шептал рыцарю: «Не горюй, могучий господин, уж я знаю, как утешить тебя...»

3. Рассвет был золотой, а у самого горизонта полыхал красный огонек.

4. На востоке таяла одинокая розовая облачная башня.

1. Они сидели у потухающего костра, отдыхая после танцев. Прислушивались к утреннему безмолвию.

2. Вдали раздался словно лошадиный ход.

3. Скоро с удивлением узнали, что мчался на них кентавр Буцентавр... Он держал над головой растопыренные руки. Еще издали улыбался молниевой улыбкой, крича о золотом рассвете.

4. Промчался как вихрь мимо них и понесся вдаль безумный кентавр... чуть-чуть страшный...

5. И они взошли на холм, чтоб приветствовать золотое утреннее пиршество, сверкающее над лесом, — все в венках из папоротника...

6. Чародей протягивал руки винно-золотому горизонту, где расползался последний комок облачной башни, тая, и пел заре: «Ты смеешься, вся беспечность, вся, как Вечность, золотая, над старинным этим миром...

7. Не смущайся нашим пиром запоздалым... Разгорайся над лесочком огонечком, ярко-алым...»

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

1. В те времена все было объято туманом сатанизма. Тысячи несчастных открывали сношения с царством ужаса. Над этими странами повис грех шабаша и козла.

2. Даже невинные дети открывали туманные сношения.

3. В ту пору еще странствовал здесь пасмурный католик на куриных лапах.

4. Иногда туманным, осенним вечером он проходил вдоль опушки леса, шурша омертвевшими листьями, подобрав длинную черную рясу; от него запирались бедные жители.

5. Творили заклинания и крестили окна.

6. Призывно и вкрадчиво стучался в двери домов пасмурный католик; предлагал обитателям воровские сделки.

7. Иногда отмыкались двери, и глупцы впускали к себе незнакомца на куриных лапах.

8. Как часто среди камней и вереска насмешливый католик совершал черную мессу и ему прислуживали диаволы Астарот и Богемот.

9. Предлагал собравшимся богомольцам багровую свеклу: это была пародия на обедню.

1. В городах благочестивцы сражались с пасмурной силой. Они варили на площадях дубовые щепки на страх колдунам и колдуньям.

2. Благочестивцы подсматривали в окна друг к другу. Обвиняли друг друга в позорном колдовстве.

3. Благочестивцы ходили дозором... Среди пустырей старых развалин не раз накрывали почтенных отцов семейства, совершавших сатанинские скачки и полеты на помеле.

4. Богомольно пели монахи «Pereat, Satan»¹, знакомя виновных с испанскими сапогами; узнавали подноготную.

5. Подобрав свои длинные рясы, забивали несчастным в окровавленные ноги железные клинья, заставляли их глотать стекло и плясать на огне.

6. Разводили горячие костры и утешали ад мракобесия дымом и жгучестью.

7. В те времена все было объято туманом сатанизма.

1. К вечеру небо нахмурилось. Ключки холодной синевы летели над осенней страной.

¹ «Изыди, Сатана» (лат.). — Ред.

2. Рыцарь сидел на террасе замка, испуганный и бледный. На нем был черный траурный плащ, окаймленный серебром.

3. Перед ним шумела река. Она наливалась чернотой и ночным мраком. Только гребни волн отливали белым металлическим блеском.

4. Все было полно мистического страха... Вдалеке проплывала чья-то лодка, оставляя за собой стальную полосу...

5. Рыцарь знал, что это было предвестием несчастья и что в лодке сидел не рыбак... Совершенно стемнело.

6. Виделись мутные силуэты, и слышался ропот волны.

7. Призывный рог дежурного карлы возвестил о приходе неведомых.

8. Подавали знаки и переговаривались.

1. Старый дворецкий пришел на террасу доложить о появлении незнакомого хромца.

2. Тут они стояли причудливыми силуэтами во мраке ночи!..

3. Старый дворецкий склонил седую голову на горбатую грудь и стал поодаль, а хромец подошел к молодому рыцарю и завел воровские речи о знакомых ужасах.

4. Рыцарь смотрел на пришедшего, что-то мучительно вспоминая.

5. Наконец, в минуту прозрения, перед ним вырисовался взгляд козла, и он вскричал в волшебном забытьи: «О, козлоногий брат мой!»

6. Тут поднялась в нем вся бездна угасших козлований, а где-то недалеко сквозь тучи вспыхнул багрянец и погас.

7. Это была лаврентьевская ночь. Упал кровавый метеор. Дворецкий выразительно блеснул круглыми глазами и вновь склонил воровскую голову на горбатую грудь.

8. Потом всем троим были поданы черные кони. Их приняла в свои объятия ночь.

9. Ночью был дождь, и в оконные стекла ударяли тусклые слезы. И далекий лес бунтовал. И в том бунтующем шуме слышались вопли метели.

10. И казалось, смерть надвигалась тихими, но верными шагами.

1. В лесных чащах у серебряного ручейка стояла часовенка. Днем сюда приходили многие молиться, хотя часовенка стояла в недобром месте: вдоль серебряного ручейка водились козлоногие фавны.

2. Здесь можно было слышать стук козлиных копыт.

3. А молодые козлята встречались и в солнечный день; они уморительно корчились, осененные крестным знаменем.

4. Ночью в часовню заходил совершать багровые ужасы старый негодник — священник этих мест: это была воровская часовня.

5. Это была подделка лесных жителей, и здесь плясали танец козловак.

6. Прошлою ночью здесь совершилась гнусная месса над козлиною кровью. Старый негодник причастил молодого рыцаря волшебством.

7. Поздравляли молодого рыцаря с совершенным ужасом старый дворецкий и пришлый хромец.

1. Сегодня было бледное утро. Начиналась осень. Вдоль дорог и полей летели сухие, сморщенные листья; уже давно не бывало небо голубым, но осенне-серым.

2. Раз даже был заморозок, и грязь засохла бледными комьями с полосками льдинок.

3. В этих местах завелась пророчица. Она ходила по замкам и селам босая, столетняя. Она подымала пророческий палец к осенне-серым небесам.

4. Говорила глухим рыдающим голосом о мере терпений Господа и о том, что ужас недолго продолжится, что Господь пошлет им святую.

5. И от ее слов протащила темно-серая пелена куда-то вдаль, а над пеленой засверкала осенняя, голубая от луны, холодная ночь.

6. В небе раздавалась песнь о кольце Сатурна и вечно радостной Веге...

1. Вечнозеленые сосны, обуреваемые ветром, глухо стонали холодно-голубой, осеннею ночью.

2. Над лесными гигантами была едва озаренная терраса и на ней стоящая, чьи нежные руки были протянуты к небесам.

3. Так она стояла с волосами, распущенными по плечам, и молилась Вечности. Ее милый профиль тонул на фоне звездно-голубой ночи.

4. В полуоткрытом рте и в печальных синих глазах трепетали зарницы откровений. На ресницах дрожало по серебристо-молитвенной слезе.

5. Она молилась за брата и вот то склонялась, то вновь простиралась к Вечности с все теми же словами: «Нельзя ли его спасти: он — несчастный».

6. Утром еще стояла она на фоне зари. Слышались прощальные крики журавлей: там... они летели... вечным треугольником.

1. А время, как река, тянулось без остановки, и в течении времени отражалась туманная Вечность.

2. Это была бледная женщина в черном.

3. Вся в длинных покровах, она склонялась затемненным силуэтом над одинокой королевой и нашептывала странные речи: «Он устал... Не погибнет... Его ужаснули ужасы... Он несчастный...

4. Ему суждено туманное безвременье...»

5. И лес роптал.

6. И росло это роптанье, словно сдержанный говор, словно грустная жалоба облетающих листьев.

1. Успокоенная женщина смотрела в очи королевне безвременьем, задевала ее воздушно-черными ризами, прижималась к щеке королевы своим бледно-мировым лицом.

2. Обжигала поцелуем, поцелуем Вечности.

3. Это было выше счастья и горя, и улыбка королевы была особенная...

1. Холодным, осенним утром на кристальных небесах замечалось бледно-зеленое просветление.

2. Скорбный рыцарь в траурном плаще задумывался у песчаного оврага. Он стоял на холме, поросшем вереском, вспоминая шабаш, ужасаясь ужасом, вечно ревушим в его ушах.

3. Вблизи, у края оврага, юные березы облетали, шумя и тоскуя о весне.

4. А под березами сидел некто громадный и безумный скорченным изваянием, вперив в молодого рыцаря стеклянные очи.

5. И когда он повернул к нему свое бледное лицо, улыбнулся сидящий невозможной улыбкой. Поманил гигантским перстом.

6. Но рыцарь не пошел на страшный призыв.

7. Это уже не была новость. Уже не раз белым утром мерещились остатки ночи. И рыцарь накрыл воспаленную голову черным плащом.

8. И громада вскочила. И кричала, что не сказка она, что и она великан, но рыцарь заткнул уши.

9. И непризнанный гигант пошел прочь в иные страны. И еще долго сетовал вдали.

1. Дворецкий отдавал приказания. В замке возились. Готовились к вечернему приему.

2. Вечером ждали самого пасмурного католика и готовились к ужасу.

3. Выносили старинные иконы.

4. И стало тошно молодому рыцарю от надвигавшейся бездны мерзостей. Он пошел в приют уединения.

5. Он тяготился страшным знакомством, а молиться Господу об избавлении не смел после совершенных богомерзких деяний на шабаше.

6. Он шептал: «Кто бы помолился за меня?»

7. А уж солнце стояло высоко... И уже ночь была не за горами... И возились слуги.

8. Выносили старинные иконы.

1. Вечером дул холодный ветер. Летели низкие клочки туч над серыми башнями замка. Часовой, весь закутанный в плащ, блистал алебардой.

2. Но подъемный мост был спущен, и замок горел в потешных огнях.

3. А вдоль дорог и лесов к замку тянулись пешие и конные, неизвестно откуда. Были тут и хромцы, и козлы, и горбуны, и черные рыцари, и колдуньи.

4. И лесная кабаниха, бабатура, верхом на свинье.

5. Ежеминутно выходил на бастион старый карла и трубил, извещая.

1. Выходил проклятый дворецкий, гостей встречая.

2. Горбатый, весь сгибаясь, разводил он руками и говорил, улыбаясь...

3. И такие слова раздавались: «Здравствуйте, господа!.. Ведь вы собирались сюда для козловачка, примерного, для козловачка?»

4. В сети изловим легковерного, как пауки... Хи, хи, хи... в сети!.. Не так ли, дети?

5. Дети ужаса серного...»

6. И с этими словами он шел за гостями...

1. И когда часы хрипло пробили десять, возвестили о начале ужаса.

2. Уже сидели за столами.

3. Тогда плачевно завыл ветер и пошел скучный осенний дождь.

4. Звенели чаши в палате, озаренной тусклыми факелами. Пировали. Прислушивались, не постучит ли в дверь запоздалый гость.

5. Еще место против хозяина оставалось незанятым. Роковой час близился.

6. Слуги принесли котел, а горбатый дворецкий снял крышку с дымящегося котла и провозгласил прибаутку.

1. Подавали козлятину. Грохотали пьяные рожи. Свиноподобные и овцеобразные. Щелкали зубами волковые люди.

2. За столом совершалось полуночное безобразие, озаренное чадными факелами.

3. Какой-то забавный толстяк взгромоздился на стол, топча парчовую скатерть грубыми сапожищами, подбитыми гвоздями.

4. Он держал золотой кубок, наполненный до краев горячею кровью.

5. В порыве веселья затянул толстяк гнусную песню.

6. А хор подхватывал.

1. Уже там, далеко, на опушке соснового бора сидел на камне пасмурный католик, смотря на далекие, потешные огни замка.

2. Собирался католик на приветственное пиршество, но предстала туманная Вечность.

3. Она свистала и шумела непогодой, и сквозь буйные вздохи раздавался рыдающий голос.

4. Она смотрела на католика мутными очами. Говорила: «О, ты, поющий, вопиющий, зывающий мрак!.. Оставь, уходи... Он более не жаждет ужасов... Он несчастный...»

5. Он полюбил туманное безвременье...»

6. Испугался пасмурный католик и ушел в сосновую рощу.

1. Пробила полночь. В залу вошел старый дворецкий.

2. Он приглашал знаками к молчанию и распахнул наружную дверь.

3. Потом он стал у отворенной двери, склонив седую голову на горбатую грудь.

4. В отворенную дверь стала бить туманная непогода. Сидящие задрожали от осеннего дуновения.

5. Зачадили факелы. Поникло кровавое пламя, развеваясь по ветру... угасая.

6. И бледный, нахмуренный хозяин поднялся с сиденья, опустив глаза. Стоя, ждал страшного гостя.

7. Все присмирели и творили призывные заклинания.

1. Но проходили часы, и бледнела ночь, и никто не приходил. Только пред рассветом мимо открытых дверей прошло очертание строгой женщины в черном.

2. Это была туманная Вечность, и больше никто.

3. И тогда поняли, что хозяин не удостоен посещения. Уезжали с пира несолоно хлебавши.

4. Уничтожали хозяина взорами презрения.

1. И рыцарь был спасен. Ужасы миновали. Осталась только глупая грусть.

2. Серым утром он стоял на высоком бастионе, слушая вопли ветра — северного Ревуна.

3. Где-то пролетал одинокий Ревун, сжимая сердце смутным предчувствием.

4. А внизу к воротам замка пришла неведомая пророчица и, потянув рукой, говорила о мере терпения Господа.

5. Она призывала к покаянию. Говорила, что Господь сжалился над северными странами. Пошлет им святую.

6. Она говорила: «Мы все устали... Нас ужаснули ужасы... Мы несчастны...

7. О, если б нам хоть туманное безвременье...»

8. Лес шумел и шептал. И росло это шептанье, словно яростный говор, словно грустная жалоба облетающих листьев, умирающих в грусти своей.

1. Утром бегал растерянный дворецкий в лес с оправданиями. Слезно плакал и бил себя в грудь.

2. Но его погнали от себя козлоногие лесники.

3. И весь день бегал горбун по сосновому бору, и за ним с гиком и свистом гналась стая лесников.

4. Притоптывали козлиными ногами. Пускали гнилые сучья в горбатую спину обманщика.

1. Шли года. Наступил день. Королевна спускалась с вершины башни, исполняя небесное приказание. Она шла изгонять мрак.

2. Она взяла длинную палку и к концу ее укрепила свое сверкающее Распятие. Она пошла вдоль лесов, водрузив над головою Распятие.

3. Иной раз можно было видеть, как из-за кочки поднимался красный колпачок спрятавшегося гнома и два рубиновых глаза зорко провожали королевну.

4. Черные рыцари дрожали при ее приближении в своих замках, а недобрые часовни, распадаясь, проваливались сквозь землю, поглощаемые пламенем.

5. Бес покидал одержимого, и он славил Бога.

1. Шли года. Мертвый король сидел на троне, ожидая неверного сына. Однажды ворвался в залу ветерок и зашептал поникшему королю о неожиданном счастье.

2. И улыбка скользнула на потемневшем лице. И он сошел с трона. Снял рог, висевший на стене, и вышел на террасу.

3. Призывно затрубил в свой длинный рог почивший старый король в красном и золотом.

4. Это он встречал свою внучку. Она шла к нему по мраморным ступеням, опираясь о палку с Распятием наверху.

5. И король-дед повел ее на трон.

6. После он тихо простился с вернувшейся и покорно ушел в свою гробницу.

1. Днем и ночью спасенный рыцарь вспоминал милый образ сестры своей, королевны, убиваясь о прошлом. Прошлое нельзя было вернуть.

2. И он одевал свои доспехи и с копьем в руке мчался в даль лесов и равнин, вонзая шпоры в черного коня своего.

3. Как часто он вызывал с горя на бой лесного дикаря — бородатого кентавра и пронзал его копьем в пылу охоты... И не один бородатый кентавр, падая, судорожно сжимал кулаки и обливался кровью.

4. Как часто он стоял над трупом лесного бородача с лошадиным туловищем, не будучи в силах позабыть ее.

5. Еще с конца копья сочилась алая кровь, а он кричал в лесных чащах над ручьем: «О, если б мне увидеть ее и загладить прошлое...»

6. И откуда-то издали приближался ропот. Ропот Вечности... Где-то трогались лесные вершины и можно было слышать: «Ты увидишь ее, но прошлого не загладишь, пока не придет смерть и не покроет тебя хитоном своим...»

7. Холодная струйка ручья, наскочив на подводный камень, журчала: «Безвременье...»

1. Скоро призывный рог возвестил о новообъявленной повелительнице этих стран, и вдоль дорог потянулись рыцари на поклон к далекому северному городу.

1. А у трона юная повелительница говорила новые речи: «Ныне я принесла свет с вершин...

2. Пусть все просветится, и никто не останется во тьме...

3. Прежде вас звали на вершины за счастьем, а теперь я его даром даю вам!

4. Идите и берите...»

5. Так она говорила в снежно-сверкающих ризах и в алмазной короне, улыбалась особенной улыбкой... чуть-чуть грустной...

6. В голосе ее был вздох прощенья после бури, а в изгибе рта — память об угасшем горе...

1. Подходили рыцари, закованные в броню, преклоняли колени на ступеньках трона, держа в руках свои пернатые головные уборы.

2. И всякому она протягивала руку, белую, как лилия, ароматную, и он прикладывал ее к устам.

3. Всякому улыбалась.

4. Но вот преклонил колени молодой красавец, смотревший на королевну глазами, темными, как могила.

5. Он испуганно помертвел.

6. И все заметили, что и она чуть-чуть бледнела и улыбка сбежала с малиновых уст.

7. Потом она холодно протянула ему руку.

8. Мимолетное облачко грусти и невыразимой нежности затуманило ее взор, когда он склонил перед ней буйную голову.

9. А когда он взглянул на нее, ее взор снова покрылся налетом равнодушия.

10. И рыцарь вышел из тронной залы, пошатываясь, и никогда не возвращался обратно.

11. А прием продолжался... Рыцари, закованные в броню, преклоняли колени перед троном, держа в руках пернатые уборы.

12. И заря, падая сквозь высокие готические окна, горела алым блеском на их панцирях.

1. Молодой рыцарь вернулся из далекого, северного города. Он проводил дни и ночи в приюте уединений.

2. Тут бил фонтан. Холодные струи разбивались о гладкий мрамор.

3. Казалось, шумели бледным, фонтанным утром. Разражались задумчивым смехом.

4. Это были только холодные струи.

5. Из колодезной глубины кивал ему грустный лик — пережитое отражение.

6. Он шептал: «Милая, я знаю — мы еще увидимся, но только не здесь».

7. Я знаю — мы увидимся... Время нас не забудет!

8. Где же это будет?»

9. Так он предавался мечтам, а струи в печали шептали: «Это будет не здесь, а там...»

1. Однажды рыцарь услышал за спиной шорох одежд; это стояла задумчивая женщина в черном: в ее глубоких очах отражалась бездна безвременья.

2. И он понял, что это — смерть.
3. Она склонилась над сидящим, накрывала черным плащом. Повела в последний приют.
4. Шли они вдоль берега реки. У ног их катились свинцовые волны.
5. Как паруса, надувались их черные, ночные плащи под напором северного ветра.
6. Так шли они вдоль речного берега на фоне золотого рассвета.

1. С этого дня рыцарь пропал. Потом говорили про памятное утро.
2. Этим утром видели скелета.
3. Он тащился к замку на заре, шурша омертвевшими листьями.
4. Он прижимал к ребрам скрипку, и визгливый танец смерти, слетая со смычка, уносился в осеннюю даль.

1. Пролетали холодные облака. Облетала лесная заросль.
2. У серебряного ручейка отдыхал сутулый колосс. Он сидел, подперев рукой громадную голову. Горевал о годах... минувших...
3. Он был одинок в этом мире. Ведь он был только сказкой.
4. Глубоко вздыхал сутулый гигант, подперев рукой громадную голову...
5. ...Холодная струйка ручья прожурчала: «Безвременье...» Над водой показалась беспечная головка речной жительницы...
6. ...Она плескала и плавала... Удивленно улыбалась. И смеялась звонко, звонко... Уплывала вдоль по течению...
7. И сутулый гигант горько покачал старинной головой. И долго сидел в задумчивости...
8. Потом он стал бродить над лесными вершинами, одинокий, непонятый...
9. Было тихо...
10. ...Холодная струйка... прожурчала: «Безвременье...»

1. Вечно юная, она сидела на троне. Кругом стояли седые рыцари, испытанные слуги.
2. Вдруг заходящее солнце ворвалось золотой струей. И грудь повелительницы, усыпанная камнями, вспыхнула огоньками.
3. С открытой террасы влетела странная птица. Белая, белая. И с мечтательным криком прижалась к ее сверкающей груди.
4. И все вздрогнули от неожиданности: в ясном взоре птицы белой трепетали зарницы откровений. И королева сказала: «Она зовет меня за собой... Я оставляю вас для Вечности!»

5. Так сказав, она тихо протянула руку к самому старому рыцарю, закованному в броню, и слезы, как жемчуг, катились по старым щекам его.

6. Опираясь на эту руку, она сошла с трона и, сходя, послала воздушный поцелуй опечаленным рыцарям.

7. Она вышла на террасу. Смотрела на белую птицу, указывающую ей путь. Медленно скользила вперед, поддерживаемая ветерком.

8. Она смеялась и шептала: «Я знаю».

1. Опечаленные рыцари стояли в зале, опершись на мечи, склонив пернатые головы... И говорили: «Неужели должны повториться дни былых ужасов!..»

2. Но тут вспыхнул пустой трон белым сиянием, и они с восторгом глядели на сияющий трон, улыбаясь сквозь слезы заревыми лицами, а самый старый воскликнул: «Это память о ней!

3. Вечно она будет с нами!..»

1.

2. Была золотая палата. Вдоль стен были троны, а на тронах — северные короли в пурпуровых мантиях и золотых коронах.

3. Неподвижно сидели на тронах — седые, длиннородые, насупив косматые брови, скрестив оголенные руки.

4. Между ними был один, чья мантия была всех кровавей, чья борода всех длинней...

5. Перед каждым горел светильник.

6. И была весенняя ночь. И луна глядела в окно.....

7. И вышли покорные слуги. На серебряных блюдах несли чаши с пьяным вином. Подносили пьяное вино северным королям.

8. И каждый король, поднимаясь с тяжелого трона, брал оголенными руками увесистую чашу, говорил глухим, отрывистым голосом: «Слава почившей королевно!..»

9. Выпивал кровавое вино.

10. И после других поднялся последний король, чья мантия была всех кровавей, чья борода всех белей.

11. Он глядел в окно, а в окне тонула красная луна между сосен. Разливался бледный рассвет.

12. Он запел грубым голосом, воспевая жизнь почившей королевы...

13. Он пел: «Пропадает звездный свет. Легче грусть.

14. О, рассвет!
15. Пусть сверкает утро дней бездной огней перламутра!
16. О, рассвет!.. Тает мгла!..
17. Вот была и нет ее... Но знают все о ней.
18. Над ней нежно-звездный свет святых!»
19. И подхватывали: «Да пылает утро дней бездной огней перламутро-...
20. -вых...»
21. Так шумел хор северных королей.
22. И пока бледнела ночь, бледнели и гасли светильники, а короли расплывались туманом.
23. Это были почившие короли, угасавшие с ночью.
24. Дольше всех не расплылся один, чья мантия была всех краше, чья борода всех длинней...
25.

1. Бледным утром на горизонте разливались влажные, желтые краски. Горизонт бывал завален синими глыбами.

2. Громоздили глыбу на глыбу. Выводили узоры и строили дворцы.

3. Громыхали огненные зигзаги в синих тучах.

1. Бледным утром хаживал среди туч великан Риза.

2. Молчаливый Риза опрокидывал синие глыбы и шагал по колено в тучах.

3. В час туманного рассвета сиживал у горизонта на туче, подперев безбородое лицо.

4. Беззвучно смеялся Риза каменным лицом, устремляя вдаль стеклянные очи.

5. Взметывал плащ свой в небеса и пускал его по ветру.

6. Задвигался синими тучами. Пропадал, сожженный солнцем...

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

1. Справа и слева были синие, озерные пространства, подернутые белым туманом.

2. И среди этих пространств подымались сонные волны, и на сонных волнах качались белоснежные цветы забвения.

1. Знакомые лотосы качались над водой, и над озерной глубиью неслись странные, планетные крики.

2. То кричали незнакомые птицы, прильнув белой грудью к голубым волнам.

3. На островках и близ островков отдыхали в белых одеждах и с распущенными волосами, словно застывшие. С чуть видимым приветом кивали тревожным птицам. Встречали прилетающих братьев в последней обители.

4. А на ясном горизонте высился огромный сфинкс. Подъяв лапы, ревел последний гимн бреду и темноте.

5. Белые мужчины и женщины следили истомленными очами, как проваливался последний кошмар. Сидели успокоенные, прощаясь с ненастьем.

6. Неслись глубокие звуки и казались песнью звездных снов и забвения: это лотосы плескались в мутной влаге.

1. И когда рассеялись последние остатки дыма и темноты, на горизонте встал знакомый и чуть-чуть грустный облик в мантии из снежного тумана и в венке из белых роз.

2. Он ходил по горизонту меж лотосов. Остановливался, наклонив к озерной глубине прекрасный профиль, озаренный чуть видимым, зеленоватым нимбом.

3. Ронял розу в озерную глубину, утешая затонувшего брата.

4. Поднимал голову. Улыбался знакомой улыбкой... Чуть-чуть грустной...

5. И снова шел вдоль горизонта. И все знали, кто бродит по стране своей.

1. Тянулись и стояли облачка. Адам с Евой шли по колено в воде вдоль отмели. На них раздувались ветхозаветные вретница.

2. Адам вел за руку тысячелетнюю морщинистую Еву. Ее волосы, белые, как смерть, падали на сухие плечи.

3. Шли в знакомые, утраченные страны. Озирались с восторгом и смеялись блаженным старческим смехом. Вспоминали забытые места.

4. На отмелях ходили красные фламинго, и на горизонте еще можно было различить его далекий силуэт.

1. Здесь обитало счастье, юное, как первый снег, легкое, как сон волны.

2. Белое.

3. В голубых небесах пропадали ужасы.

4. Иногда на горизонте теплилось стыдливое порозовение, как благая весть о лучших днях.

5. Здесь и там на своих длинных, тонких ногах дремали птицы — мечтали. Иногда мечтатели расправляли легкие крылья и, сорвавшись, возносились.

6. Резкими, сонными криками оглашали окрестность.

7. И там... в вышине... сложив свои длинные крылья, неслись обратно в холодную бездну забвения.

8. И от этих сонных взлетов и сонных падений стояли еле слышные вздохи...

9. Ах!.. Здесь позабыли о труде и неволе! Ни о чем не говорили. Позабыли всё и всё знали!

10. Веселились. Не танцевали, а взлетывали в изящных, междупланетных аккордах. Смеялись блаженным, водяным смехом.

11. А когда уставали — застывали.

12. Застывали в целомудренном экстазе, уходя в сонное счастье холодно-синих волн.

1. По колено в воде шла новоприобщенная святая.

2. Она шла вдоль отмелей, по колено в воде, туда... в неизведанную озерную ширь.

3. Из озерной глубины, где-то сбоку, вытягивалось застывшее от грусти лицо друга и смотрело на нее удивленными очами.

4. Это была голова рыцаря, утонувшего в бездне безвременья... Но еще час встречи не наступил.

5. И спасенный друг чуть грустил, бледным лицом своим опрокидываясь в волны, и его спокойный профиль утопал среди белых цветов забвения.

1. Кругом и везде было синее, озерное плесканье.

2. Был только один маленький островок, блаженный и поросший росистой осокой.

3. На востоке была свободная чистота и стыдливое порозовение. Там мигала звезда. Отражалась в волнах и трепетала от робости.

4. Это была Вечерница.

5. С севера несся свежий ветерок.

6. А вдоль западного горизонта пропадали пятна мути. Тянулись и стояли кудрявые облачка. Это были сонные тайны.

7. И плыла тайна за тайной вдоль туманного запада.

1. Она сидела на островке в белом, белом и смотрела вдаль.

2. Она пришла сюда из земных стран... И ей еще предстояли радости.
3. И вот сидела она, усталая и спокойная, после дня скитаний.
4. Над ней кружились две птицы.
5. Две птицы — два мечтателя.

1. И день проходил. Сонная, она опустила голову в осоку; и окатала осока ее голову слезами. Спала.

2. Сквозь сон она следила за двумя странными птицами.
3. Они ходили близ островка по отмели. Вели речь о белых тайнах.
4. А потом уже началось первое чудо этих стран.
5. Сквозь сон она подсмотрела, как ходил вдоль песчаной отмели старичок, колотя в небесную колотушку.
6. Это был ночной сторож.
7. Он ходил близ границ сонного царства. Перекликался с ночными сторожами — старичками.

1. Утром она проснулась. На востоке теплилось стыдливое порождение.

2. Там блистала Денница-Утренница.
3. А вдоль отмели брел ветхий старичок в белой мантии.
4. В одной руке он держал большой ключ, а другой добродушно грозил молодой праведнице.
5. Согбенный и счастливый, он пожимал ее холодные руки. Задушевым голосом выкрикивал сонные диковинки.
6. Шутливо кричал, что у них все — дети, братья и сестры.
7. Говорил, что еще не здесь последняя обитель. Советовал сестрице держать путь на северо-восток.
8. Поздравлял старый ключарь сестру свою со святостью. Перечислял по пальцам дни благодати.
9. Объявлял, что у них нет именинников, а только благодатники.
10. Глазами указывал на забытые места.
11. Еще многое открыл бы ей старый шутник, но он оборвал свою ласковую речь. Побрел торопливыми шагами вдоль отмели, торопясь исполнить поручение.
12. А она пошла на северо-восток.

1. И там, где прежде стояла она, уже никого не было. Был только маленький, блаженный островок, поросший осокой.

2. А кругом и везде было синее, озерное плесканье.
3. Волны набегали на блаженный островок. Уходили обратно в синее пространство.

4. Сидели две белые птицы и наперерыв высвистывали случившееся. Это были мечтатели.

5. Вот они полетели на туманный запад.

1. В этой стране были блаженные, камышовые заросли; их разрезывали каналы, изумрудно-зеркальные.

2. Иногда волна с пенным гребнем забегала сюда из необъятных водных пространств.

3. В камышовых зарослях жили камышовые блаженные, не заботясь о горе, ожидая еще лучшей жизни.

4. Иногда они преображались и светились светом серебристым. Но они мечтали о вознесении.

5. Тут она бродила, раздвигая стебли зыбких камышей, а по ту сторону канала над камышами бывал матово-желтый закат.

6. Закат над камышами!

1. Иногда ей попадался молодой отшельник, сонный, грустно-камышовый, в мантии из снежного тумана и в венке из белых роз.

2. Его глаза были сини, а борода и длинные кудри — русы.

3. Иногда он смотрел ей в глаза, и ей казалось, что за грустной думой его пряталась улыбка.

4. Смотря на нее, он веселился знанием, а его мантия казалась матово-желтой от зари...

5. Тогда бездомный туман блуждал по окрестностям.

1. Иногда в глубине канала выходил из вод кто-то белый, белый, словно утопленник из бездны безвременья.

2. И она привыкла видеть утопленника, выходящего посидеть на вечерней заре.

3. Однажды сказал ей камышовый отшельник: «Видишь сидящего на вечерней заре, выходящего из бездны безвременья, потопленного до времени?»

4. Вышел срок его потопления... И для него не станет прежнего, если ты подойдешь к нему...»

5. И она пошла к сидящему в сонном забытье и узнала в нем своего друга.

6. Их глубокие взоры встретились. Они тихо рассмеялись неожиданной встрече.

1. Улыбались друг другу, белые дети, грустно-задумчивые.

2. К ним пришел камышовый отшельник в мантии из снежного тумана и в венке из белых роз. Сказал о великой тайне, что несется на них.

3. Он оборвал свою речь глубоким вздохом, сказав про себя: «Белые дети».

4. И долго стоял в задумчивости.

5. Из кустов взвилась птица-мечтатель. С пронзительным криком улетела в розовую даль.

1. И день проходил. Легкая вода, нежно пенясь, разбивалась о зеленый берег.

2. Здесь они сидели и смотрели на зарю. Снежно-розовая пена омывала их ноги.

3. На той стороне залива росли высокие камыши. Они смотрели на солнце, еще видное сквозь стебли зыбких камышей.

4. Оттуда неслась старческая песенка.

5. Среди камышей сидел, заседал святой простачок Ава с блаженным морщинистым лицом.

6. Добрый Авушка закидывал длинные удочки, ловя водяную благодать.

7. Хилым голоском славил камышовую страну.

8. Засмеялись они громко. Их увидел простачок. Захихикал, пригрозив им тонким старым пальцем.

1. И уже вечерняя зорька погасила свои огоньки, и бездомный туман стал блуждать по окрестностям.

2. Сложил свои удочки добрый Авушка. Собрался на покой. Положил на плечи тонкие удочки. В руки взял деревянное ведро и побрел к себе.

3. Уже не слышалось его пение, и большой красный месяц выплывал из-за тумана.

4. Они молчали.

5. Бездомный туман блуждал по окрестностям.

1. Камышовые обитатели ходили в сад на берегу озера. Здесь росла осока, лилии и нарциссы.

2. Слышались межпланетные вздохи о кольце Сатурна и о вечно сияющем Сириусе.

3. А вдали были заросли касатиков. На вечерней заре Сам Господь Бог, весь окутанный туманом, бродил вдоль зарослей и качал синим касатиком.

4. Тогда бывал туман... Словно кто стлал душистые испарения. Казалось, над самым ухом пели межпланетную песнь о кольце Сатурна и вечно радостном Сириусе.

1. Как часто они сидели на берегу, впиваясь взором в глубину сапфирной сини.

2. Налетал ветерок. Зажмуривались от проплывающей свежести. Утешались белым вздохом тростника. Восхищались.

3. Тростниковая страна пела и склонялась под напором сильного ветра...

4. ...Кто-то махал им синим касатиком...

1. В камышовых зарослях окончилась служба. Дымное облако вознеслось оттуда в небеса.

2. В ту пору из-за деревьев вышла наставница этих мест, Ия. Она подошла к гулявшим, наставляла по-здешнему, по-сонному.

3. И когда сообщили они ей о своем белом счастье, она сказала: «Это ли счастье?»

4. Замолчала и смотрела вдаль.

5. В тот час кончался день и еще ближе раздавалась песнь любви и соединенных созвездий.

1. Вдоль матово-желтого горизонта пошли дымно-синие громады.

2. Громоздили громаду на громаду. Выводили узоры и строили дворцы.

3. Громыхали огненные зигзаги в синих тучах.

1. И тогда они увидели в просветах туч кучку исполинов.

2. Безмолвно, величественно исполины шагали, туманные, дымно-синие, в заревых, сверкающих венцах.

3. Безмолвно воздевали огромные руки. Молили покоя и снисхождения.

4. Бездомные шатуны — одиноко блуждали они тысячелетия вдоль бедной, вдоль северной земли.

5. Наконец они ушли из мира непонятыми. Ведь они были только сказкой!

6. И вот безмолвно и величественно шагали бездомные шатуны — туманные, дымно-синие, в заревых, сверкающих венцах.

1. Было тихо. Кое-где помигивала звездочка.

2. Наконец Ия сказала: «Это всё старики великаны.

3. Они смирились. Идут к Богу просить покоя и снисхождения.

4. Еще давно великан поднял перед Господом свое гордое, бледнокаменное лицо, увенчанное зарей.

5. Еще давно они все поднимали тучи и воздвигали громады. Громоздили громаду на громаду. Выводили узоры и строили дворцы.

6. Но все пали под тяжестью громад, а туманные башни тихо таяли на вечернем небе.

7. И суждено им было шагать долгие годы среди синих туч — обломков былого величия...

8. Это всё старики великаны... Они смирились и вот идут к Богу просить покоя и снисхождения...»

9. Так она говорила, и они смотрели на синие купола, а между синими куполами мелькали безбородые, бледнокаменные лица, увенчанные зарей.

10. Это всё старики великаны безмолвной толпой шли к Богу молить покоя и снисхождения.

11. И то заволакивали их низкие, грозовые тучи.

12. То снова появлялись их дымно-синие силуэты, озаренные вспышками зарниц.

1. Так она говорила. Растаяли тучи. Прошли великаны. Было тихо.

2. Подул ветерок. Вдоль всей страны протянулась тень неизвестного колосса.

3. Гордо и свободно стоял неведомый колосс в заревом, сверкающем венце.

4. Это был самый грозный, самый великий колосс.

5. Еще в стародавние времена он подымал комки синих туч, мерцающих серебряными громами.

6. Он напрягал свои мускулы и пускал гремучие комки синих туч в вечернее небо. Он метал тучами в небо, как камнями.

7. Но надорвался и пал, раздавленный тучами.

8. С тех пор он ушел от людей. Они забыли его, и он стал для них сказкой.

9. Это он хотел забыться и уснуть вечным сном. Уходил из мира непонятым.

10. Он шел прямо к Богу, но задумался на пути.

11. И его ноги занес туман, и высилась лишь венчанная голова его, озаренная розовым блеском.

12. Так стоял одинокий колосс вдали, окутанный вечеряющим сумраком.

13. Погас закат.

14. Бездомный туман блуждал по окрестностям.

1. Тогда Ия шепнула: «Это ли счастье!»

2. Оно придет с зарею после ночи. Оно будет неожиданно.

3. Уже прошли старики великаны к своему Богу.
4. Уже среди нас бродит Он, как блуждающий огонек...
5. Настанет день нашего вознесения...
6. И меркнет счастье сумерек пред новым, третьим счастьем, счастьем Духа-Утешителя...»
7. На белых гребнях показался багрец. Над озером вставал месяц.

1. Длилась ночь. Все втроем они стояли на берегу, защищаясь руками от лунного света.

2. Впереди было много воды, а над водой луны; им казалось, что умерли страхи.

3. Птица-мечтатель тонула в озерных далях, погружаясь в сон.

4. И еще раз сказала Ия: «Это ли счастье!..» И бездомный туман стал редеть.

1. В полночь все стало ясно и отчетливо. Они слышали — что-то совершилось в касатиковых зарослях. Отводили глаза в сторону.

2. Блистал далекий Сатурн. Смотрели на небо. Ожидали новой звезды.

3. По отмели шел старичок в белой мантии и с ключом в руке. Луна озаряла его лысину. С ним был незнакомец.

4. Оба были в длинных ризах, повитые бледным блеском. Оживленно болтали. Кивали на восток.

5. Крикнула Ия им: «Лунная ночь!» А старичок захохотал, потрясая ключом своим...

6. «Это что, — кричал он в восторге, — а вот что будет утром!..»

7. Все ваши звезды с Сириусом и Луной не стоят одной Утреннички...»

8. Так сказав, он оборвал свою ласковую речь и побежал вдаль, торопясь исполнить поручение.

1. С ними остался незнакомец. Святым голосом он закричал, что близится время.

2. Что это — их последняя ночь; что на заре он разбудит их, чтобы указать на Явленного.

3. Что вот — будет, будет — и объявится, и все полетят...

4. Это был мощный старец с орлиным взглядом, а Ия шептала: «Слушайте его. Он первый в этих тайнах. Много диковинок он знает. Еще он удивит нас».

5. Глубоко потрясенные, они следили взглядом, как удалялся странный старец, повитый бледным блеском.

1. Утром все посерело. Тонул красный месяц. И осталась Ия одна на берегу.

2. Обернулась белой чайкой Ия, наставница, и, крича, унеслась в сапфировую синь.

3. Тонул красный месяц.

1. Они пришли в свое камышовое жилище. Замечтались в сонной сказке. Это была последняя ночь.

2. Они видели сон... Кто-то белый, в мантии из снежного тумана, гулял вдоль озерных пространств, роняя в озерную глубину свои тающие улыбки, чуть-чуть грустные.

3. Над его головой сверкал зеленоватый нимб. Они узнали в Нем своего камышового отшельника.

4. И он говорил им невыразимым голосом: «Белые дети!

5. Белые дети, вознесемся в свободной радости с утренним ветерком!..»

6. И сквозь сон слышали они птичий свист: то на отмелях сидели птицы-мечтатели и наперерыв высвистывали случившееся.

1. Он им шептал: «Белые дети!..» И его голос грустно дрожал.

2. «Белые дети... Мы не умрем, но изменимся вскоре, во мгновение ока, лишь только взойдет солнце.

3. Уже заря...

4. Белые дети!..»

5. И они очнулись... И увидели, что сон их не сон, потому что Он стоял, раздвигая стебли камышей, и шептал им все то, что они видели во сне...

6. А уж вдали слышался голос странного старца, призывающего всех к белой радости...

7. Ударил серебряный колокол.

1. На озере, там, где косматый утес оброс соснами, жил старик.

2. Он пробудился на заре. Сонный взошел на вершину. Ударил в серебряный колокол.

3. Это был знак того, что с востока уже блеснула звезда Утренница.

4. Денница...

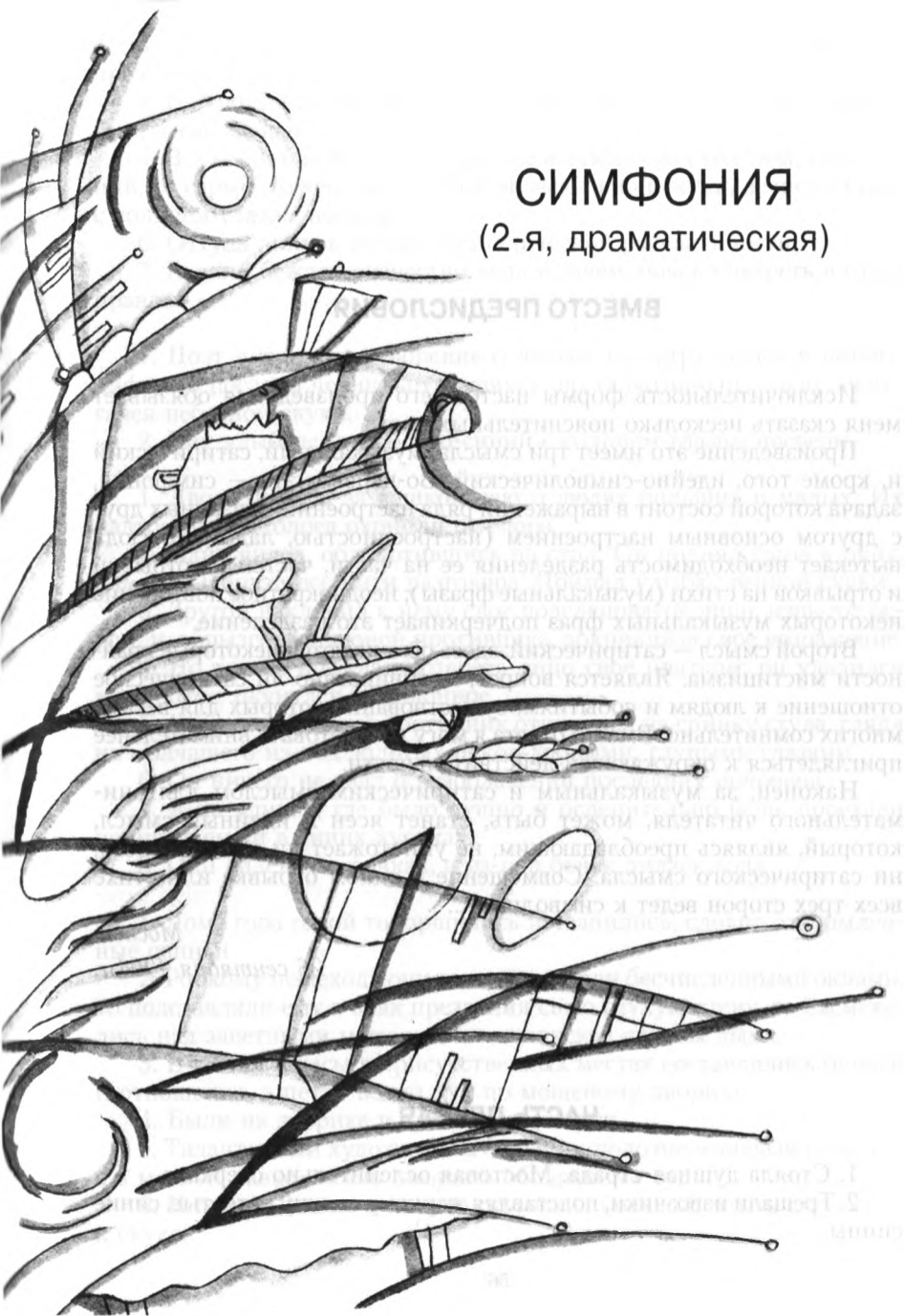
1. Ударил серебряный колокол.

Декабрь 1900 г.



СИМФОНИЯ

(2-я, драматическая)



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Исключительность формы настоящего произведения обязывает меня сказать несколько пояснительных слов.

Произведение это имеет три смысла: музыкальный, сатирический и, кроме того, идейно-символический. Во-первых, это — симфония, задача которой состоит в выражении ряда настроений, связанных друг с другом основным настроением (настроенностью, ладом); отсюда вытекает необходимость разделения ее на части, частей на отрывки и отрывков на стихи (музыкальные фразы); неоднократное повторение некоторых музыкальных фраз подчеркивает это разделение.

Второй смысл — сатирический: здесь осмеиваются некоторые крайности мистицизма. Является вопрос, мотивировано ли сатирическое отношение к людям и событиям, существование которых для весьма многих сомнительно. Вместо ответа я могу посоветовать внимательнее приглядеться к окружающей действительности.

Наконец, за музыкальным и сатирическим смыслом для внимательного читателя, может быть, станет ясен и идейный смысл, который, являясь преобладающим, не уничтожает ни музыкального, ни сатирического смысла. Совмещение в одном отрывке или стихе всех трех сторон ведет к символизму...

Москва,

26 сентября 1901 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Стояла душная страда. Мостовая ослепительно сверкала.
2. Трещали извозчики, подставляя жаркому солнцу истертые, синие спины.

3. Дворники поднимали прах столбом, не смущаясь гримасами прохожих, гогоча коричнево-пыльными лицами.

4. На тротуарах бежали истощенные жаром разночинцы и подозрительные мещане.

5. Все были бледны, и надо всеми нависал свод голубой, серо-синий, то серый, то черный, полный музыкальной скуки, вечной скуки, с солнцем-глазом посреди.

6. Оттуда лились потоки металлической раскаленности.

7. Всякий бежал неизвестно куда и зачем, боясь смотреть в глаза правде.

1. Поэт писал стихотворение о любви, но затруднялся в выборе рифм, но посадил чернильную кляксу, но, обратив очи к окну, испугался небесной скуки.

2. Ему улыбался свод серо-синий с солнцем-глазом посреди.

1. Двое спорили за чашкой чаю о людях больших и малых. Их надтреснутые голоса охрипли от спора.

2. Один сидел, облокотившись на стол. Он поднял глаза к окну. *Увидел.* Оборвал все нити разговора. Поймал улыбку вечной скуки.

3. Другой наклонил к нему свое подслеповатое лицо, изрытое оспой, и, обрызгивая слюной противника, докрикивал свое возражение.

4. Но тот не пожелал обтереть лицо свое платком; он удалился в глубокое, окунулся в бездонное.

5. А торжествующий противник откинулся на спинку стула, глядя на молчащего из-под золотых очков добрыми, глупыми глазами.

6. Он ничего не знал о разоблачении последних покровов.

7. А на улицах, где было душно и ослепительно бело, проехали поливальщики в синих куртках.

8. Они сидели на бочках, а из-под бочек лилась вода.

1. Дома гора горой топорщились и чванились, словно откормленные свиньи.

2. Робкому пешеходу они то подмигивали бесчисленными окнами, то подставляли ему в знак презрения свою глухую стену, то насмехались над заветными мыслями его, выпуская столбы дыма.

3. В те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения, а петух водил кур по мощеному дворику.

4. Были на дворике и две серые цесарки.

5. Талантливый художник на большом полотне изобразил «чудо», а в мясной лавке висело двадцать ободранных туш.

6. И все это знали, и все это скрывали, боясь обратить глаза свои к скуке.

7. А она стояла у каждого за плечами невидимым, туманным очертанием.

8. Хотя поливальщики утешали всех и каждого, разводя грязь, а на бульваре дети катали обручи.

9. Хотя смеялся всем в глаза свод голубой, свод серо-синий, свод небесный и страшный с солнцем-глазом посреди.

10. Оттуда неслись унылые и суровые песни Вечности великой, Вечности царящей.

11. И эти песни были как гаммы. Гаммы из невидимого мира. Вечно те же и те же. Едва оканчивались, как уже начинались.

12. Едва успокаивали — и уж раздражали.

13. Вечно те же и те же, без начала и конца.

1. День кончался. На Пречистенском бульваре играла военная музыка, неизвестно зачем, и на бульвар пришли многие обитатели домов и подвалов, неизвестно откуда. Ходили взад и вперед по бульвару. Стояли перед музыкой, тесня и толкая друг друга.

2. Отпускали шуточки, наступали медвежьими лапами на платье дам; а человек с палочкой все махал и махал ею. Трубачи, насупив брови, выводили: «Смейся, паяц, над любовью разбитой, смейся, что жизнь отравлена навсегда».

3. Зелено-бледный горбач с подвязанной щекой гулял на музыке, сопровождаемый малокровной супругой и колченогим сынишкой.

4. На нем было желтое платье, огненные перчатки и громадный цилиндр. Это был врач городской больницы.

5. Еще вчера он отправил в сумасшедший дом одного чахоточного, который в больнице внезапно открыл перед всеми бездну.

6. Сумасшедший тихо шептал при этом: «Я знаю тебя, Вечность!»

7. Все ужаснулись, услышав о скрываемом, призвали горбатого врача и отправили смельчака куда не следовало.

8. Это было вчера, а сегодня горбатый врач гулял на музыке с малокровной супругой и колченогим сынишкой...

1. В модном магазине работал лифт. Человек, управлявший занятой машиной, с остервенением летал вверх и вниз вдоль четырех этажей.

2. Везде стояли толпы дам и мужчин, врывавшиеся в вагончик, давя и ругая друг друга.

3. Хотя тут же были устроены лестницы.

4. И над этой толкотней величаво и таинственно от времени до времени возглашалось деревянным голосом: «Счет».

1. У окон книжного магазина стоял красивый юноша в поношенной тужурке, с непомерно грязной шеей и черными ногтями.

2. Он сентиментально смотрел на экземпляр немецкого перевода сочинений Максима Горького, пощипывая подбородок.

3. Перед книжным магазином стояла пара рысаков. На козлах сидел потный кучер с величавым лицом, черными усами и нависшими бровями.

4. Это был как бы второй Ницше.

5. Из магазина выскочила толстая свинья с пяточковым носом и в изящном пальто.

6. Она хрюкнула, увидев хорошенькую даму, и лениво вскочила в экипаж.

7. Ницше тронул поводья, и свинья, везомая рысаками, отирала пот, выступивший на лбу.

8. Студент постоял перед окном книжного магазина и пошел своей дорогой, стараясь держать себя независимо.

1. Много еще ужасов бывало...

1. Темнело. На востоке была синяя дымка, грустно туманная и вечно-скудная, а с бульвара неслись звуки оркестра.

2. Каждый точно сбросил с плеч свою скуку, а мальчишки и девочки бегали по улицам с букетиками незабудок.

3. В тот час по всем направлениям можно было встретить угрюмых самокатчиков. В поте лица они работали ногами и сгибали спины; они угрожали звонками и тарасили глаза, перегоняя друг друга.

4. В тот час философ возвращался домой своей деланной походкой, неся под мышкой *Критику чистого разума*.

5. Ему встретился на извозчике господин в котелке с рыжими отпрысками бороды.

6. Он сосал набалдашник своей трости, напевая веселую шансонетку.

7. Обменялись поклонами. Философ с деланной небрежностью приложил руку к фуражке, а сидящий на извозчике раздвинул рот, чтобы обнаружить свои гнилые зубы, и приветственно повращал кистью руки.

8. Не был он умником, но отец его отличался умом...

9. И то место, где они взаимно почтили себя приветствиями, опорожнилось... Справа виднелась спина философа и корешок *Критики чистого разума*, а слева — согбенный извозчик погонял свою клячу, увозя седока.

10. А над пустым местом из открытого окна раздавались плачевные звуки: «Аууу, аууу».

11. Это консерваторка пробовала голос.

1. Философ позвонил. И когда ему отворили, он швырнул на стол *Критику чистого разума*, а сам в беспредметной скуке упал на постель.

2. Последняя его мысль была такова: «Кант без Платона — туловище без головы». Он заснул и в мыслях своих был как бы без головы.

3. А бюст Иммануила Канта укоризненно качал головой и показывал язык спящему философу, стоя на письменном столе.

4. Философ спал. А над ним сгущались тени, вечно те же и те же, суровые и нежные, безжалостно мечтательные.

5. Сама Вечность разгуливала в одинокой квартире; постукивала и посмеивалась в соседней комнате.

6. Садилась на пустые кресла, поправляла портреты в чехлах.

7. Уже книжные шкафы бросали суровые тени, и тени встречались и, встречаясь, сгущались... Точно прятались в тени.

8. Но там никого не было, кроме Иммануила Канта и Платона, стоявших в виде поясных бюстов на столе.

9. Кант жаловался Платону на тугоумие молодого философа, а философ спал в час вечерних сумерек с бледным, ироническим лицом и сжатыми губами... И малый ребенок мог придушить его.

10. Его обдувал свежий ветерок после жаркого дня, ворвавшийся из открытого окна.

11. Из открытого окна неслись удары по мягкому: это жители подвального этажа выбивали пыль из мебели, вытащив ее на двор.

12. И он проснулся; и первую мыслью его была мысль о невозможности соединения учений Канта и Платона; и он поднял усталую голову со скомканных подушек; и он содрогнулся от вечернего холода.

13. И прямо в глаза ему смотрел резко очерченный месяц на темной, эмалевой сини... красный месяц.

14. Он вскочил в ужасе и схватил себя за голову; как безумно влюбленный, впился в бледнеющий круг.

15. Если бы снаружи заглянуть к нему в окно, страшно было бы увидеть лицо его, бледное, затененное, усталое.

16. Вечно так же и так же он глядел в дни весенних полнолуний.

17. Его нервы шалили, и он обратился к валерьяновым каплям.

1. А в соседней комнате висело огромное зеркало, отражавшее в себе вечно то же и то же.

2. Там был ужас отсутствия и небытия.

3. Там лежала на столе *Критика чистого разума*.

1. Была полночь. Улицы опустели.

2. Была одна улица вдоль сонной реки. К реке сбегали четыре переулочка.

3. Это был Первый Зачатьевский, Второй Зачатьевский, Третий Зачатьевский и, наконец, Четвертый Зачатьевский.

4. В небе словно играли вечные упражнения. Кто-то брал пальцем ту и другую ноту.

5. Сначала ту, а потом другую.

6. На опустелом тротуаре, озаренный фонарными огнями, семеня человек в пенсне на вытянутом носе.

7. Ноги его были в калошах. Под мышкой он нес зонтик, хотя было тепло и сухо.

8. В руках он держал фолиант. Это было житие святого.

9. Он шагал неслышно, проплывая, как тень.

10. Он шел неизвестно откуда, и никто не мог сказать, куда он придет.

11. С противоположной стороны улицы открыли окно и подошли некие к окну.

12. То были две женщины с равнодушными, бледными лицами; они были худощавы и в черных чепцах.

13. Они были в черном. Старшая равнодушно указала на прохожего, заметив: «Поповский».

14. А уже Поповский проходил. Никакая сила не могла сказать, куда он придет.

15. Была отчаянная скука. В небе играли вечные упражнения; словно кто брал пальцем ту и другую ноту.

16. Сначала ту, а потом другую.

17. Едва кончал, как уже начинал.

1. Улица выходила на площадь. Поповский уже брел вдоль площади.

2. На площади коптил керосиновый фонарь.

3. Став против луны, можно было усмотреть над фонарем огромный, черный столб копоти.

1. Ночью ограбили квартиру. Два хитровца выломали замки, но, не найдя лучшего, унесли старые калоши.

2. Утром еще солнце не взошло, а уже камни белели. Извозчики не выезжали. Пешеходы не мешали тишине.

3. Было светлое безлюдие.

1. В подвалах спали. Спали на чердаках. Спали в палатах. Бедные и богатые, умные и глупые — все спали.

2. Иные спали, безобразно скорчившись, иные — разинув рты. Иные храпели. Иные казались мертвыми.

3. Все спали.

4. В палате для душевнобольных спали на одинаковых правах со здоровыми; лишь один душевнобольной меланхолик, мучимый коликами, ходил вдоль больничных постелей.

5. С ироническим, бледным лицом он пожимал плечами, наклоняясь к животно-глупым лицам спящих. Вдруг он закрыл лицо руками и закатился беззвучным хохотом.

6. Он кричал надтреснутым голосом: «Они не могут не спать и не есть! Они раздеваются для того, чтобы, накрывшись одеялом, омертветь! Они не могут не класть себе в рот посторонних предметов!

7. Что они делают?»

8. Но тут сильная боль в желудке прервала его размышления. Он насупил брови.

9. Розовый, солнечный луч ударил в оконную раму и озарил своим алым блеском сухое, безумное лицо.

10. И словно обаянный вещим предчувствием, он погрозил своим длинным, худым пальцем в окно, откуда рвался блеск розового утра.

11. Где и здоровые спали на одинаковых правах с больными.

1. Поповский был консерватор. Его ненавидели свободомыслящие за свободное отношение к их воззрениям.

2. Светлые головы супили свои безбровые лбы перед тщедушной фигуркой.

3. Он имел дерзость не бояться холостых зарядов, а настоящие пролетали над его головой, потому что очень мал ростом был Поповский.

4. Поповский был церковник. Он чурался диавола и прогресса. Он полагал, что мы доживаем последние дни и что все, что блещет талантом, от диавола.

5. На знакомых он подмечал налет бесовщины, а по вечерам читал Евангелие.

6. Поповский был насмешник. Его тонкие губы всегда кривились от чуть видной усмешки. Во всяком мнении он отыскивал смешное и все браковал.

7. Таков был Поповский, и никакая сила не могла его сделать иным.

1. Еще с утра Поповский ходил по своим знакомым рассказывать о своей начитанности.

2. Он был в калошах и держал под мышкой ненужный ему зонтик.

3. По разным направлениям тащились конки, а в небесах сиял свод серо-синий, свод страшный и скучный с солнцем-глазом посреди.

4. Над туманным городом играли вечные упражнения. И скука, как знакомый, милый образ, танцевала на семи холмах.

5. И там... наверху... кто-то пассивный и знающий изо дня в день повторял: «Сви-нар-ня».

6. Все то же и то же повторял изо дня в день.

1 В тот час зелено-бледный горбач, отправляясь в больницу, завязал свою щеку: у него болели зубы.

2. Он плохо завязался. Над головой его торчали два ушка.

3. И еще раз кто-то *знающий* сказал равнодушно: «Свинарня», а петух на мощеном дворике схватил за гребень своего противника.

4. Тут все съехало с места, все сорвалось, и осталось... *бездонное*.

1. А минуты текли. Пешеходы сменялись, как минуты... И каждый прохожий имел свою минуту прохождения по каждому месту.

2. Каждый все делал в известное время: не находилось ни одного, кто бы сумел обойтись без времени.

3. А время текло без остановки, и в течении времени отражалась туманная Вечность.

1. Среди дня Поповский обошел пять мест и в пяти местах говорил о пяти предметах.

2. В одном месте он развивал мысль о вреде анализа и преимуществе синтеза.

3. В другом месте он высказал свой взгляд на Апокалипсис.

4. В третьем месте он ничего не сказал, потому что все было сказано; здесь он сыграл партию в шахматы.

5. В четвертом месте он говорил о суете земной, а в пятом месте его не приняли.

6. Повесил голову маленький Поповский и пошел в шестое место.

1. На большой улице Поповский встретил своего врага, демократа.

2. Тот был изящно одет; его обтянутая перчаткой рука сжимала алую розу.

3. Поповский шел, куда хотел, говорить о церковноприходских школах, а демократ прогуливался с тростью в руке.

4. Обменялись взаимным презрением. Поклонились. Еще вчера демократ осыпал бранью Поповского в конторе либеральной газеты.

5. А солидный его превосходительство, редактор-либерал, багровый и почтенный, прибавил к резкостям демократа еще свои резкости.

6. Это у них называлось идти в уровень с веком.

7. Это было вчера... А сегодня демократ гулял по улицам с алой розой в руке, устремив к небу свои робкие, мечтательные глаза.

8. Уже он забывал Поповского; ему в глаза глядел свод голубой, одинаковый для либералов и консерваторов.

1. Тогда проехали поливальщики, ведущие борьбу с пылью.
2. Это были равнодушные люди, сидящие на бочках.
3. Из-под бочек обильно лилась вода, уснащая улицы ненужной жидкостью и разводя грязь.
4. А минуты текли. Пешеходы сменялись, как минуты... И каждый прохожий имел свою минуту прохождения по каждому месту.
5. И каждая бочка в известную минуту опорожнялась. Поливальщик ехал наполнять ее.

1. И тогда демократ увидел свою сказку, сказку демократа.
2. По улице ехал экипаж, а на козлах сидел окаменелый кучер в цилиндре и с английским кнутом.
3. В экипаже сидела сказка, сказка демократа.
4. У нее были коралловые губы и синие, синие глаза, глаза сказки.
5. Она была жена доброго морского кентавра, получившего права гражданства со времен Бёклина.
6. Прежде он фыркал и нырял среди волн, но затем вознамерился обменять морской образ жизни на сухопутный.
7. Четыре копыта на две ноги; потом он облекся во фрак и стал человеком.
8. Ее муж был кентавр, а сама она была сказка и морская нимфа.
9. Так проехала сказка, сказка демократа, чуть-чуть улыбнувшись своему мечтателю, пронзив его синим взором.
10. Обрызгав грязью почтенного старичка в старом пальто.
11. Закричал почтенный старик, пригрозив улетающей сказке. Обтер свое окаменное грязью лицо и шипел: «Чтоб черт побрал богатых...»
12. А потом продолжал свой путь в редакцию «Московских ведомостей», относя передовую статью.
13. Над ее консерватизмом поглумился вдоволь демократ, изящный и с иголки одетый.
14. Но это было на другой день... А теперь он замечтался с алой розой в руке.
15. И не видел, и не слышал. Вспоминая свою сказку, улыбаясь образу синеглазой нимфы.

1. В огромном магазине всего модного усердно работал лифт, и человек, управлявший занятой машиной, с остервенением носился вдоль четырех этажей.
2. Едва он причаливал ко второму этажу, как уже на третьем его ожидали с глупыми, нетерпеливыми лицами; едва он причаливал к третьему, как в первом поднимался ропот негодования.
3. И среди этого содома то тут, то там раздавались таинственные голоса: «Счет».

1. В подвальном этаже чирикала канарейка. Здесь работал сапожник, созерцая мелькавшие ноги пешеходов.

2. Проходили сапоги со скрипом, желтые туфли, проходило отсутствие всяких сапог.

3. Все это видел лукавый сапожник и весело вертел шилом, протыкая свежую кожу.

4. А по Рязанской железной дороге катился товарный поезд с черкасскими быками; быки выставляли свои сонные морды, а паровоз, как безумный, кричал.

5. Он был злорадный и торжествовал, подвозя поезд с быками к городским бойням.

6. И все это знали. И каждый боялся взглянуть в глаза правде. И у каждого за плечами стояла скука, среди мелочей открывая бездонное.

7. И обернувшийся смельчак внезапно смирялся ее грозющим пальцем.

8. Она была всего ужасней белым, солнечным днем...

1. Прокатил морской кентавр, получивший права гражданства со времен Бёклина.

2. От его доброго, полного силуэта несло изящной простотой. Его увозили воронные рысаки.

3. Он *думал*...

1. Молодой философ читал *Критику чистого разума*, сидя в качалке, раскачиваясь ногами.

2. Он то углублялся в чтение, то ронял книгу на колени и бился головой о спинку качалки, обдумывая прочитанное, импровизируя философские фокусы и психологические штучки.

3. Так, прочтя о времени и пространстве как априорных формах познания, он стал придумывать, нельзя ли заставить себя ширмами, спрятавшись и от времени, и от пространства, уйти от них в бездонную даль.

4. В ту минуту все было сорвано, все струны, все нити разорвались, а ему в глаза улыбался свод голубой, свод серо-синий, полный музыкальной скуки, с солнцем-глазом посреди.

5. И он бросил чтение. Подошел к огромному зеркалу, висевшему в соседней комнате. Взглянул на себя.

6. Перед ним стоял бледный молодой человек, недурной собою, с шевелюрой, всклокоченной над челом.

7. И он показал язык бледному молодому человеку, дабы сказать себе: «Я безумный». И молодой человек ему ответил тем же.

8. Так они стояли друг перед другом с разинутыми ртами, полагая один про другого, что тот, другой, и есть поддельный.

9. Но кто мог сказать это наверняка?

1. Чтоб рассеяться, он подошел к разбитому пианино. Сел на табурет и открыл крышку.

2. И стало пианино выставлять свою нижнюю челюсть, чтобы сидящий на табурете бил его по зубам.

3. И философ ударил по зубам старого друга.

4. И пошли удары за ударом. И прислуга философа затыкала уши ватой, хотя была она в кухне и все двери были затворены.

5. И этот ужас был зуд пальцев, и назывался он *импровизацией*.

6. В соседнюю комнату была дверь отворена. Там было зеркало. В зеркале отражалась спина сидящего на табурете перед разбитым пианино.

7. Другой сидящий играл на пианино, как и первый сидящий. Оба сидели друг к другу спиной.

8. И так продолжалось до бесконечности...

1. Но позвонили. И философ, закрыв крышку пианино, ушел в соседнюю комнату.

2. Комната осталась пуста: только *Критика чистого разума* лежала на столе.

3. Вошедшая женщина в черном равнодушно глядела на *Критику чистого разума*, подперев рукой в перчатке свое худое, морщинистое лицо.

4. В руке она держала ридикюль... Уже солнце склонялось; из огненно-белого становилось золотистым...

5. В нижнем этаже кому-то выдернули зуб.

1. Но вошел причесанный философ и любезно попросил свою гостью в гостиную.

2. Гостиная мебель была в чехлах. Черная гостья села боком к огромному зеркалу. Она была родственницей и завела речь о печальных обстоятельствах.

3. У нее умер сын. Сегодня она схоронила его. Теперь она осталась одна во всем мире.

4. Никого у нее не было. Никому она не была нужна.

5. Получала она пенсию. Уже десять лет ходила в черном.

6. Так она говорила. Слезы не капали из глаз.

7. И голос ее был такой же, как всегда. Постороннему казалось бы, что на губах ее мелькала улыбка.

8. Но это было горе.

9. Она рассказывала о смерти сына таким же тоном, каким вчера заказывала обед, а два дня тому назад она так же жаловалась на дороговизну съестных припасов.

10. Уже она привыкла к печали; мелочи и важные события вызывали в ней одинаковое чувство.

11. Она была тиха в своей скорби.

12. Уже она кончила и сидела, опустив голову, перебирая пальцами в перчатках свой ридикюль.

13. А он стоял перед ней в деланной позе, чистил ногти и говорил: «Нужно смотреть на мир с философской точки зрения».

14. Но тут позвонили. Он попросил по-родственному обождать, а сам поспешил выйти навстречу гостю...

1. В соседней комнате стоял Поповский, держа под мышкой житие святых Козьмы и Дамиана.

2. Пожали руки. Заговорили так, как будто оба они были ангелами.

3. С невинной улыбкой обсуждали состояние погоды... Потом молчали... Потом философ ударил рукой по *Критике чистого разума* и сказал: «Тут есть одно место...»

4. И все пошло как по писаному.

5. Скоро Поповский скривил свои тонкие губы: это означало, что он — насмешник; скоро он стал оглядываться, нет ли здесь черта; это означало, что он — церковник.

6. А его противник с красиво-деланными жестами расхаживал по комнате, выводя из Канта Шопенгауэра.

7. Скоро все смешалось: были слышны лишь отрывочные восклицания: «Постулат... Категорический императив... Синтез...»

8. ...А... в соседней комнате сидела черная гостья, подставив свой профиль огромному зеркалу.

9. Она ждала хозяина по-родственному и часто моргала своими крохотными карими глазками.

10. Ничего она не понимала. Долетали до нее отрывки фраз.

11. А рядом с ней в зеркале сидела другая, такая же черная, как и она.

12. Так она и не дождалась философа, так и ушла по-родственному, не простившись.

13. Надевая калоши, сказала прислуге: «А у меня скончался Петюша».

14. Мыслей у нее не было... В ушах еще звенел голосище приходского дьякона: «Во блаженном успении вечный покой...»

15. Такой был голосистый дьякон.

1. Философ говорил долго. Говорил яро. Говорил до изнеможения, пока не ушел Поповский.

2. Усталый и бледный, пришел к себе в комнату и упал на постель.
3. Последняя мысль его была такова: «Не то, не то... Опять все не то... Ах, кабы спрятаться! Ах, кабы отдохнуть!»
4. Он спал... А над ним сгушались тени. Вечно те же и те же, суровые и нежные, безжалостно мечтательные.
5. Сама Вечность в образе черной гостьи разгуливала вдоль одиноких комнат, садилась на пустые кресла, поправляла портреты в чехлах, по-вечному, по-родственному.
6. Уже хмурились книжные шкафы; и тени встречались и, встречаясь, сгушались.
7. Так он спал в час весенних сумерек с бледным, ироническим лицом и без всякой деланности...
8. И малый ребенок мог придушить его.
9. Его окно было открыто. Оттуда дул прохладный ветерок.
10. С противоположной стороны к нему в окно из окна смотрел толстый Дормидонт Иванович, возвратившись со службы.
11. Дормидонт Иванович пил чай с блюдечка и, глядя в окно к нему, думал: «Интересно бы знать, сколько платят за эту квартиру».

1. Снова показались угрюмые самокатчики; снова продавали незабудки; и музыка на другом бульваре играла: «Смейся, паяц».

2. На перекрестке двух улиц стоял как бы почтенный отец семейства с седыми усами, одетый с достоинством.

3. Ничего в его наружности не было кричащего; все соответствовало, все было подчинено общей идее.

4. Он курил дорогую сигару, обсуждая коммерческое предприятие; его громадный нос намекал на армянское происхождение.

5. Это был заезжий жулик из южных провинций.

6. А к нему навстречу жуликом бежал профессор Московского университета с экзаменов.

7. Оба не знали, зачем существуют и к чему придут. Оба были в положении учеников, написавших «extemporalia», но не знающих, какую получают отметку.

1. Вставала луна. Опять, как вчера, она вставала.

2. Так же она встанет и завтра, и послезавтра.

3. А уж затем не миновать ей невольного ущемления.

1. Философ проснулся... Поднял голову со скомканных подушек... И прямо в глаза ему смотрел резко очерченный месяц на темно-эмалевой сини...

2. Красный месяц!..

3. Философ вскочил в ужасе; схватил себя за голову; как безумно влюбленный, смотрел на страшный диск.

1. Тогда демократ писал критическую статью в своем номере. Увидел луну. Горестно улыбнулся.

2. Бросил перо и свои мысли, скакавшие и вертевшиеся, как беспокойные собачки.

3. Потер свой лоб и шептал: «Не то, совсем не то».

4. Вспомнил сказку.

1. ...Поднялась шелковая занавеска. Кто-то открыл окно на том конце города.

2. Дом был самый модный и декадентский, а в окне стояла сказка.

3. Она оправляла свои рыжие волосы; улыбалась, глядя на луну. Она говорила: «Да... знаю».

4. Она смотрела синими печальными очами, вспоминая своего мечтателя.

5. У подъезда стояли вороные кони и ждали ее, потому что был час катаний.

1. Тогда зелено-бледный горбач, возвратившись из больницы, ото-бедал.

2. К нему пришел двоюродный брат и пожаловался на страдания свои: говорил, как по вечерам ему кажется, что предметы сходят с мест своих.

3. Горбач потрепал по плечу нервного братца и заметил добродушно, что этим нечего смущаться, что это «псевдогаллюцинации д-ра Кандинского»¹.

4. Так сказав, он открыл рояль и заиграл *Патетическую сонату* Бетховена.

5. Но этого не мог вынести нервный родственник; нервному родственнику казалось, что предметы сходят с мест своих.

6. Это были псевдогаллюцинации д-ра Кандинского.

7. Но горбач продолжал играть *Патетическую сонату*. Глаза его были строги. Над головой торчало два уха.

8. Он был большой сентиментал.

9. И звуки лились... Колченогий сынишка перестал готовиться к экзамену... Прослезился втихомолку.

10. Уже прислуга спала. Огни в людской были потушены, хотя час для сна еще не был узаконен; теща зелено-бледного горбача стояла на пороге кухни.

¹ См. Курс психиатрии Корсакова.

11. Ее огромный живот и свиноподобное лицо сияли в игре мясочных лучей.

12. Она ругалась, как кухарка, поднимая заснувшую кухарку.

1. Ночью по Остоженке проходил Поповский.

2. Он шел неизвестно откуда, и никакая сила не могла изменить его пути.

3. С противоположной стороны улицы открыли окно две бледные женщины в черном.

4. Старшая равнодушно указала на проходящего и сказала бесцветно: «Поповский».

5. Обе были грустны, точно потеряли по сыну. Обе были похожи друг на друга.

6. Одна походила на зеркальное отражение другой.

1. Окно декадентского дома было открыто, и в окне мелькало очертание бёклиновской сказки.

2. Сказка бесцельно шагала по комнате, и, казалось, темное горе заволакивало ее лицо.

3. Наконец она сказала: «Скука!» Села в кресло.

4. И вдали, вдали, как бы в насмешку над миром, заорали: «Ка-раул!» Раздались тревожные свистки.

5. Это один разбил нос другому, потому что оба были пьяны.

1. Ночью все спали. Утром шел косой солнечный дождь.

2. Солнце весело посмеивалось сквозь льющияся струи. На целых полдня были упразднены поливальщики.

3. Утром хоронили тифозного больного в церкви «Никола на курьих ножках». Оттуда несли его линючий, лиловый гроб, обитый мишурным золотом.

4. Впереди шел поп с рыжей бородой и красным носом.

5. Сзади ехали три линейки; все они были вытерты; бесцельно грохотали они по невозможной мостовой.

6. Первая линейка была обита линючим синим, вторая — линючим красным, а цвет третьей нельзя было разобрать.

7. Было очень грустно: недоставало шарманки и паяца.

8. В первой линейке сидели и плакали.

9. Во второй у сидящих были только печальные лица.

10. В третьей сидели две старухи с довольными, полными лицами; одна держала тарелку, завязанную платком.

11. Здесь была кутья.

12. Обе старухи оживленно болтали, ожидая поминального обеда.

13. Тут же в процессии был уже зараженный тифом, которому надлежало завтра слечь в постель.

14. Так подвигалась печальная процессия к далекому кладбищу.

1. Улицы были исковыряны. Люди со скотскими лицами одни укладывали камни, другие посыпали их песком, третьи прибавляли их трамбовками.

2. В стороне лежало рваньё в куче: здесь были и бараньи полушубки, и шапки, и краюхи хлеба, и неизменно спящий желтый пес.

3. А там, где вчера сидел зловонный нищий и показывал равнодушным прохожим свою искусственную язву, — варили асфальт.

4. Шел чад. Асфальтовщики по целым минутам висели на железных стержнях, перемешивая черную кашу в чанах.

5. Потом выливали черную кашу на тротуар, посыпали песком и оставляли на произвол, подвергая естественному охлаждению.

6. Усталые прохожие обегали это смрадное место, спеша неизвестно куда.

1. Читающий *Критику чистого разума* был сегодня в ударе.

2. Он нашел ошибки у Канта и построил на их основании оригинальную систему.

3. Он рылся в шкафах между философскими сочинениями, поднимая невыразимую пыль.

4. А с противоположной стороны окно Дормидонта Ивановича было закрыто, потому что сам Дормидонт Иванович сидел в Казенной Палате.

5. Он был столоначальник; его любили писаря.

1. Мечтательный демократ решительно не мог работать; вчера он написал письмо сказочной нимфе, а сегодня она должна была его получить.

2. Ему была заказана критика консервативного сочинения. Демократ по заказу осыпал колкостями консервативного автора.

3. Но собственные мысли казались сучны, как собаки. Перо валилось из рук.

4. А прямо в лицо ему голубая чистота смеялась и шутила. Он мечтательно глядел в окно.

5. Что это он делал?

1. Синеглазая нимфа получила письмо от мечтателя. Она была в смутном волнении.

2. Весь день глядела презрительно на доброго кентавра, доставляя ему неприятности.

3. Оправлял кентавр свои воротнички и покрикивал на лакеев.
4. Это был добрый кентавр. Его угнетали неприятности.
5. Прежде он фыркал и нырял среди волн, а теперь было совсем, совсем не то.

1. Аристократический старичок давал вечер. По пятницам у его подъезда стояли экипажи.

2. У него появлялись и ученые, и дипломаты, и люди самого высшего общества.

3. Это был добрый старичок и не чуждался направлений.

4. Консерваторы, либералы и марксисты одинаково любили аристократического старичка.

5. Сюда приходил даже великий писатель, пахарь и граф без всякой неприязни.

6. Всех трепал по плечу добрый старичок со звездой на груди и одинаково говорил: «Да, да, конечно...»

1. В изящной гостиной толстая супруга важного старичка уснащала гостей любезностями.

2. Были гости во фраках и белых галстуках; все они были мило развязны и невинно изящны; все они испускали из себя лучи света и, сияя, не подозревали об этом.

3. Все они, пройдя три стадии превращений, стали детьми: ни злых львов, ни косялапых верблюдов здесь нельзя было встретить. Это происходило не оттого, что их не любил всеблагий старичок.

4. Это происходило оттого, что грозные слуги не впускали всех без исключения.

5. Две молодые дочери старичка предлагали гостям, передергивая плечами: «Хотите чаю?»

6. Многие пили, а иные и отказывались. Этим предлагалось идти в залу.

7. В зале молодые люди во фраках, выхоленные и женственные, мило ввали.

8. Молодые девушки, красивые и некрасивые, подхватывали вранье и доводили его до абсурда.

9. Все были веселы. Никто ни о чем не заботился.

10. Казалось, Царствие Небесное сошло на землю.

1. Сам аристократический старичок, чистый и выбритый, со звездой на груди, брал то того, то другого под руки и уводил к себе в кабинет.

2. Это не был банальный кабинет, но комната, уставленная дорогими копиями с великих мастеров.

3. Всех одинаково сажал старичок против себя, всем говорил приятное.

4. Со всеми заводил умный разговор, и все разрешалось в этом разговоре просто и легко.

5. Дипломат соглашался с соображениями старичка; карьеристу показывал старичок портреты лиц, власть имеющих, с собственными подписями.

6. Ученому хвалил науку и однажды плакал у студента на груди, жалея современную молодежь.

7. Цинику показывал нецензурные парижские издания, предварительно затворив дверь.

8. Всех любил добрый старичок, стараясь сделать каждому приятное.

1. Вставала луна. Опять, как вчера, она вставала. Так же встанет и завтра.

2. А затем уж не миновать ей невольного ущемления.

1. У Поповского болели зубы.

1. Попирая мягкие ковры парадной лестницы, поднимался изящный демократ во фраке.

2. При входе в гостиную его чуть не сбили с ног два безусых фрачника; у одного в руках была гитара.

3. Они стремились в зал, откуда раздавались звуки музыки и где молодые, а также и старые люди наивничали под аккомпанемент рояля.

4. Сказали безусые фрачники «pardon» и пробежали, как сумасшедшие, мимо демократа.

5. При входе в гостиную демократ небрежно склонил свою надутую голову, выражая всем свое изящное почтение.

6. Он больше слушал, чем говорил: этого от него требовало приличие.

7. Ведь он был критик, и к нему шло молчание.

1. В числе гостей был молодой человек с длинным носом и потными руками: это был модный музыкант.

2. Был тут и талантливый художник, изобразивший на большом полотне «чудо».

3. Был тут и знакомый философ, потому что он был талантлив.

4. Была и важная особа из консерваторов, имеющая отношение к делам печати.

5. Важная особа любезничала с блестящим демократом; она сделала приятный жест руками и, мило смеясь, заметила бархатным голосом: «Разность убеждений не мешает нам ценить друг друга».

6. И блестящий демократ склонил свою надушенную голову, выражая собою полную беспристрастность.

1. Самогó аристократического старичка здесь не было; он сидел в своей комнате со старым князем-благотворителем.

2. Наклоняли старички друг к другу свои бритые, старые лица и говорили о том, какая теперь дребедень в силе.

3. Князь-благотворитель жалел об отмене крепостного права, а угодливый хозяин участливо жевал беззубым ртом и вставлял между слов князя: «Да, да, конечно».

1. В гостиную вошла сказка мягкими, неслышными шагами.

2. У нее было светло-серое платье, и на нем были нашиты серебряно-бледные листья. В рыжих волосах горела бриллиантовая звезда.

3. Она ступала тихо и мягко, как бы пряча свое изящество в простоте.

4. Это был верх аристократической естественности.

5. И молодой демократ запнулся на полуслове, и почва ушла у него из-под ног.

6. А за сказочной нимфой уже выросло очертание ее кентавра, которого голова уплывала в шее, шея в сорочке, а сорочка во фраке.

7. Сказала хозяйка: «Кажется, здесь все знакомы» — и, вспомнив, представила сказку демократу.

1. Они подали друг другу руки, и демократ почувствовал на себе пронзивший его взгляд синих очей.

2. Взгляд был ласковый. Демократ понял, что на него не сердились за письмо.

3. Из залы доносились звуки рояля; там изящная молодежь предавалась изысканным удовольствиям.

4. А они уже говорили друг с другом в натянуто-милых и светски-приторных выражениях, как ни в чем не бывало.

5. Хотя каждое слово демократа сопровождалось особым аккомпанементом; этот аккомпанемент означал: «Не то, не то».

6. Бёклинская сказка слушала речь о пустяках шаловливо и участливо, говоря «неужели» или «скажите, как это интересно».

7. Но за этим «скажите» прятался ответ на «не то»: «Да, да... знаю...»

8. Это была изящная и шаловливая игра не без лукавства.

1. «Любите ли вы музыку?» — сказала демократу его сказка, а он в ответ: «Нет, не люблю» — и сопровождал свои слова как бы тремя звездочками.

2. А под тремя звездочками значилось: читай так: «Я люблю музыку больше всего на свете после вас».

3. И сказка отвечала: «Впрочем, такому серьезному человеку не до музыки». И при этом стояли как бы три звездочки.

4. А под тремя звездочками значилось: читай так: «А ты очень неглуп».

5. Потом обратилась сказка с ласковой непринужденностью к толстой хозяйке, сказав: «Вы будете, конечно, на празднике цветов?»

6. Но тут появившаяся в дверях старшая дочь лучезарного старичка пригласила демократа присоединиться к их веселому обществу, направив на него свой черепаховый лорнет.

7. Скрепя сердце он склонил голову и последовал за тонкой барышней, понимая, что *это* понравится синеглазой нимфе.

8. В зале молодые люди и молодые девицы мило ввали.

9. Среди них был мрачен философ, увидевший в окне луну, повитую дымкой, удалившийся в бездонно-грозящее.

10. Он нашел в своей новой системе отчаянные промахи; досадливым пятном выступала перед его духовным взором непогрешимость *Критики чистого разума*.

11. Его нервы шалили.

1. Толстый кентавр, весь — простота и утонченность, подсел к талантливому художнику, изобразившему «чудо».

2. Он хотел купить «чудо», а пока терпеливо выслушивал речь о неудобствах масляной живописи.

1. В зале пели. Безусый фрячник играл на рояле.

2. Он плясал на кончике табурета, поднимая руки над клавишами, налегая всем корпусом на собственные локти.

3. Так было принято.

4. Добрый военный генерального штаба с серебряными эксельбантами играл на гитаре, отбивая такт мягкими лакированными сапогами, качая вправо и влево сидящей головой.

5. Так мило они веселились. Казалось, Царствие Небесное спустилось на землю.

1. Молодой демократ сидел убаюканный цыганским мотивом и разговором со сказкой.

2. Как очарованный слушал пение.

3. Пел военный генерального штаба с черными усами и милым, но недалеким лицом: «Под чагующей лаской твоею оживаю я снова опять... Грезы пгезние снова лелею, вновь хочу любить и стгадать...»

4. Он пел грудным, страстным голосом и срывал концы слов, как истый цыган.

5. И хор молодых фразников и девиц подхватывал: «Поцелуем дай забвенье, муки сердца исцели!! Пусть умчится прочь сомнение! Поцелуем оживи!!!»

6. Фразники и молодые девицы раскачивали головами вправо и влево, аккомпаниатор плясал на конце табурета, а худая, как палка, дочь хозяина закатывала в пении глаза, ударяя черепаховой лорнеткой ловкого аккомпаниатора.

7. Молодой демократ, глядя на поющих, думал: «Это не люди, а идеи моего счастья», а дочь старичка кивала ему, как бы говоря: «Мы идеи, но не люди»; а сам лучезарный старичок, бритый и чистый, со звездой на груди, стоял в дверях и умильно улыбался поющей молодежи, шепча еле слышно: «Да, да, конечно...»

1. Философ нахмурился, туча в окне закрыла луну; он нашел в своих построениях еще ошибку.

2. Некто из фразников наклонился к дочери старичка, сказав про философа: «*Qui est ce drôle?*»¹

3. Военный генерального штаба, с черными, таракаными усами и милым, добрым лицом, пел: «Пусть гассудок твэгдит мне суговый, что газлюбишь, изменишь мне ты-и-и! Чаг твоих мне не стагшны оковы: я во власти твоей кгасоты!!»

4. Он пел грудным, страстным голосом и срывал концы слов, как истый цыган.

5. Хор подхватывал. Фразники и молодые девицы раскачивали головами вправо и влево, аккомпаниатор плясал на конце табурета; молодой демократ думал: «Это не люди, а идеи моего счастья». Старичок, бритый и чистый, со звездой на груди, стоял в дверях и умильно улыбался, глядя на поющую молодежь, шепча еле слышно: «Да, да, конечно».

1. В это время демократ увидел, как вдали прошла сказка с кентавром, направляясь к выходной лестнице.

2. Она бросила в зал свой странный, блуждающий взгляд, ничего не доказывающий, и грустно улыбнулась коралловыми губами.

3. Дальше мелькнул огонь ее волос. Дальше понял демократ, что едва ли они увидятся так близко.

4. И вновь все провалилось с оборванными струнами. А из хаоса кивала скука, вечная, как мир, темная, как ночь.

5. Скука глядела из окна, из глаз ужаснувшегося философа.

6. Казалось, что-то изменилось. Кто-то вошел, кого не было. Кто-то знакомый и невидимый стоял в чересчур ярко освещенной зале.

¹ «Что это за чудак?» (фр.) — Ред.

7. А военный генерального штаба, ничего не замечая, доканчивал свое пение: «Если б даже за миг тот прегасный мне могила была б суждена...»

8. «Могила», — подумал демократ. Хор подхватывал. Фрачники и девицы раскачивали головами вправо и влево. Аккомпаниатор плясал на конце табурета.

9. И увидел демократ, что это все ложные идеи, а к нему ласково подошел бритый старичок со звездой на груди. Взял под руку и шептал: «Я иду в уровень с веком, я люблю современную молодежь».

1. Демократ и философ темной ночи вместе вышли на улицу.

2. Надвигалась гроза.

3. Их путь был общий, но шли они молча, прислушиваясь к вечным упражнением.

4. Минуты текли за минутами, искони все те же. Два ряда фонарей мигали газовыми языками.

5. Молодой демократ, томный и несчастный, видел перед собой насмешливо кивающего старичка. Нервы философа окончательно расшатались. Безумие подкрадывалось к нему медленными, но верными шагами.

6. Уже оно стояло за плечами. Страшно было, обернувшись незначай, увидеть это грозящее лицо.

7. Так шли они, обреченные на гибель, темною ночью.

8. Уже пыль, крутясь, неслась вдоль сонных улиц.

1. На перекрестке они сухо простились. Несмотря на все, они помнили, что принадлежат к разным партиям.

2. Философ пошел своей деланной походкой вдоль одинокого переулка, ужасаясь и не оборачиваясь.

3. Ему казалось, что за ним идет грозящий ужас, и он вспомнил, что в его одинокой квартире есть огромное зеркало и что сейчас в зеркале отражается его комната.

4. Его заботил вопрос, правильно ли она отражается.

5. Вот он подошел к подъезду. За ним захлопнулась гулкая дверь.

1. С лестницы сходил незнакомец в обтертом картузе. Задрожал неврастеник, как осиновый лист; погас в лице своем, как светильник без масла, видя на лице незнакомца печать страшного предначертания.

2. Незнакомец спускался по лестнице, опустив глаза. И, проходя мимо него, неврастенический философ думал: «Вот, вот поглядит он на меня!..»

3. Ему казалось, что тогда «все будет кончено».

4. Но картузник не поднял глаз. Слабо усмехнулся и сбежал с лестницы. Вот за ним захлопнулась гулкая дверь.

5. А еще не мог оправиться неврастеник от минувшего ужаса. Все казалось ему, что вот-вот он вернется.

6. И вновь отворилась дверь. Кто-то бежал вверх по лестнице.

7. И когда философ звонил к себе, вошедший всходил уже на вышнюю площадку.

8. Это был почтальон. Он позвонил в соседнюю дверь.

1. И когда отворили безумцу, тот, не смотря на прислугу, прошел к себе в комнату и заперся на ключ, боясь впустить грозящий ужас.

2. Был мрак. Ослепительная молния разрежала тьму. Оглушительный удар сотряс стены.

3. Между шкапами с философскими книгами прятался бледный незнакомец с печатью диких предназначений.

4. Это и был грозящий ужас.

5. Тихо ахнул чтец Канта и присел на корточки.

6. Уже больше он не вставал с пола, но забился под кровать. Ему хотелось убежать от времени и пространства, спрятаться от мира.

7. Братья мои, ведь уже все кончено для человека, севшего на пол!

8. Где-то часы пробили два. Вспыхнула молния. Она не осветила безумца. Он сидел под кроватью и лукаво смеялся своей выдумке.

9. Тогда грозящий ужас вышел из-за шкафов с философскими книгами, открыл окно и спустился вниз по желобу.

1. А с противоположной стороны все было тихо и мирно. Окно в комнате Дормидонта Ивановича было закрыто.

2. Сам Дормидонт Иванович тихо похрапывал на спине. Ему грезилось, что уже на дворе Рождество и что он получил награду.

1. В тот час застрелился молодой демократ, не окончивший заказанной ему критической статьи.

2. Прикладывая револьвер к виску, он улыбался, вспоминая свою сказку, сказку демократа.

1. А сказка, грустная и мечтательная, стояла в окне декадентского дома, озаренная вспышками молний.

2. Она держала письмо демократа. Она плакала. Коралловые губы складывались в улыбку.

3. С улыбкой вспоминала своего мечтателя.

4. И... там... вдали... как бы в насмешку... проезжали по улицам вечерние бочки.

5. Это были ложные идеи...

1. У Поповского болели зубы: он был по ту сторону добра и зла, равно забыв Бога и черта.

1. Над рекой стоял седовласый старец. Он облокотился на перилы. Скорбное лицо его выражало мучительный ужас.

2. Внизу под горой летел развеселый кучер, погоняя что есть мочи кровную пару. В коляске сидели развеселые конюха.

3. Вдали мерцали фабрики сотнями огней.

4. Тогда воздел свои руки скорбный старец и тихо сказал: «Боже мой, Боже мой!»

5. Его жалоба осталась без ответа.

1. Ночью все спали. Спали в подвалах. Спали на чердаках. Спали в доме аристократического старичка.

2. Иные спали, безобразно скорчившись. Иные — разинув рты. Иные храпели. Иные казались мертвыми.

3. Все спали.

4. В палате для душевнобольных тоже спали. Спали на одинаковых правах со здоровыми.

5. Уже светало. Было невеселое мерцанье. Бледный и пасмурный день зловеще смотрел в окна.

6. Моросил холодный, сырой дождь.

7. А день разгорался, как ни был он мрачен, и казалось — это было обращение к переутомленным, приглашение к новому ломанью.

8. Только один душевнобольной меланхолик уже сидел на постели и равнодушно поглядывал на спящих.

9. По его спине пробегала дрожь. Его тошнило: он чувствовал себя мерзко под опекой времени.

10. Он хотел бы удалиться за черту времени, да не знал, как это сделать.

11. А время текло без остановки. В течении времени отражалась туманная Вечность.

12. Грустно сказал меланхолик: «Я знаю тебя, Вечность, я боюсь, боюсь, боюсь!»

13. И снова улегся спать.

1. По железной дороге мчался курьерский поезд и влек в Москву спящего Макса Нордау.

2. Макс Нордау храпел в купе первого класса, несясь в Москву на всех парусах.

3. Он спешил на съезд естествоиспытателей и врачей.

4. Всю жизнь боролся усердный Нордау с вырождением. Вот и теперь приготовил он речь.

5. А дождь моросил и бил в стекла вагона. Поезд мчался и влек спящего Нордау вдоль печальных российских низменностей.

1. Утром вышли книжки трех журналов. Демократу не удалось пробежать их глазами.

2. Говорили в редакции либеральной газеты багровый редактор и голодный поэт.

3. Редактор сообщил поэту, что демократ застрелился от гражданской скорби, а голодный поэт обещал написать «теплую» статейку и там «продернуть» кого следует.

4. На улицах развевались флаги.

1. К полудню дождь окончился. Глянуло солнце. Поповский ходил разговаривать о своей учености.

2. Он обошел пять мест и в пяти местах говорил о пяти предметах.

3. В одном месте говорил о пользе синтеза, в другом — о передвижной выставке.

4. В третьем сыграл партию в шахматы, а в четвертом измерял значение гностиков.

5. В пятом месте Поповского не приняли, потому что хозяина пятого места свезли еще утром в сумасшедший дом.

6. Это был философ, зачитавшийся Кантом.

7. На окнах его квартиры были наклеены бумажки, долженствующие означать, что квартира сдается.

8. Повесил нос маленький Поповский и пошел в шестое место.

1. Было шесть часов вечера. Прояснилось. Шел со службы Дормидонт Иванович.

2. Он шел мимо чайного и колониального магазина. В стеклах окон лопались довольные колбасы.

3. Зашел Дормидонт Иванович в чайный и колониальный магазин, захотел купить себе бутылочку сидру, чтобы узнать, каков любимый напиток французов.

4. Был нарочито любопытен Дормидонт Иванович.

1. Проходя мимо бывшей квартиры философа, увидел Дормидонт Иванович наклеенные бумажки.

2. Сказал Дормидонт Иванович: «Аа! Переезжают! Вот бы интересно узнать, сколько платят за эту квартиру!»

3. Потом он гулял на бульваре, опираясь на палку, благодушный и толстый.

4. Звали его писаря в шутку Мастодонтом Ивановичем, но то были враки, потому что он не был Мастодонтом, но Дормидонтом.

1. Сказка покупала себе безделушки. Толпы барынь, барышень и мужчин спешили из отделения в отделение.

2. Лифт работал вовсю; человек в вагончике с остервенением летал вдоль четырех этажей.

3. То тут, то там раздавался металлический возглас: «Счет».

1. Вечером в благородном зале должен был состояться концерт, благородный и экстренный. Приехал знаменитый дирижер. Вся Москва взяла себе билеты.

2. Еще за час до концерта толстый человек раскладывал ноты по пюпитрам, а за десять минут до начала собралась публика первых рядов.

3. Уже пришел нахальный человек с неприличными бакенбардами и сел в четвертый ряд.

4. Это был Небаринов, неперменный член общественных собраний.

5. Уже пришла и графиня, и княгиня, и жена знаменитого писателя.

6. И профессор консерватории с большой бородой, но короткими волосами, и профессор консерватории с небольшой бородой, но длинными волосами, и профессор университета.

7. И аристократический старичок с толстой супругой, и господин, любящий Мендельсона, с бородой, но без усов.

8. И адвокат Ухо, и молодой человек Кондижогло, и многие иные, каким следовало быть.

9. Уже кентавр с женой были в концерте. Сказка разговаривала с мило глупившим городским обер-полицмейстером.

10. Городской обер-полицмейстер был из высшего общества. Он шутил и говорил небрежности.

11. И на глупости отвечала сказка глупостями, обводя залу блуждающим взором.

12. И уже в ложу вошла важная особа. Тогда показался знаменитый дирижер.

13. Два человека, прибежав, поднесли ему венок.

14. И вот началось... углубилось... возникло...

15. Едва кончалось, как уже вновь начиналось. Вечно то же и то же поднималось в истомленной душе.

16. В то время Небаринов оглядывал присутствующих и припоминал отсутствующих.

17. Был внимателен кентавр. Спал старичок. Супруга толкала его локтем, а он, просыпаясь, бормотал: «Да, да, конечно».

18. И качали головами в такт умиленные графиня, и княгиня, и жена знаменитого писателя.

19. Суровым очертанием сидела сказка.

20. Она грустила.

1. И вот началось... углубилось... возникло... точно это были гаммы из неведомого мира, неизвестно откуда возникавшие, замиравшие.

2. Точно *это* было само по себе, а трубившие и водившие смычками сами по себе...

3. Точно огни померкли. Благородная зала стала мала и тесна. Что-то с чего-то сорвалось... Стало само по себе...

4. И зала казалась странным, унылым помещением, а мерцанье огней невеселым.

5. И многочисленные лица слушающих казались рядом бледных пятен на черном, бездонном фоне.

6. Эти лица были серьезны и суровы, точно боялись люди уличить себя в постыдной слабости.

7. А *это* было сильнее их всех.

1. Звуки бежали вместе с минутами. Ряд минут составлял время. Время текло без остановки. В течении времени отражалась туманная Вечность.

2. Это была как бы строгая женщина в черном, спокойная... успокоенная.

3. Она стояла среди присутствующих. Каждый ощущал за спиной ее ледяное дыхание.

4. Она обнимала каждого своими темными очертаниями, она клала на сердце каждому свое бледное, безмирное лицо.

1. Это была как бы большая птица... в печали. И печаль не имела конца.

2. Эта печаль прокатилась тысячелетия. Тысячелетия лежали впереди.

3. Она облетела планетные системы. И планетные системы меняли свое направление.

4. А она была все та же и та же, спокойная, величавая, безжалостно-мечтательная.

5. Это была как бы большая птица. И имя ей было *птица печали*.

6. Это была сама печаль.

1. А уже среди резко очерченных туч стоял ущемленный, блестящий месяц. Он не оправдал ожиданий и ущемился ранее срока. Он все делал не по ожиданию, а по календарю.

2. Вот теперь он обманывал Москву, говоря, что летит среди неподвижных туч.

3. Но было обратно.

4. Между месяцем и бедной землей неслись тучи, неизвестно откуда, неизвестно куда.

5. Шумел северный ветер и сгибал молодые, нежные деревца.

6. В окне ресторана пьяный голос орал: «Плаачь, плаачь! Не тааааи рррыдаанья... плаааачь, плачь, плачь! Не таи рррыдааанья!»...

1. В тот час прикатил курьерский поезд. Из купе первого класса выскочил Макс Нордау.

2. Грозный Нордау оглядывал дебаркадер, бормоча еле слышно: «Die alte Moskau!»¹

3. Кругом бежали люди с чемоданами, а паровоз, как безумный, свистел.

4. А уже откуда-то издали несло дикое гамканье московских извозчиков: «Со мной, барин, со мной! Вот извозчик!..»

5. И Нордау недоумевал.

1. В тот час по бульвару шел седовласый старец в шапке с наушниками и распущенным зонтом.

2. Фонари тускло подмигивали. Порой встречались подозрительные личности.

3. Дождь шел как из ведра.

4. Остановился седовласый старец и горестно закричал, потрясая распущенным зонтом: «Боже мой, Боже мой!»

5. Одинокий прохожий изумленно обернулся, услышав этот крик... А дерева шумели, склоняясь, зовя в неизведанную даль.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. Лунные ночи сменились безлунными. Со дня на день ожидали новой луны.

2. А пока было безлуние.

3. В вечерний и грустный час остывали крыши домов, остывали пыльные тротуары.

4. Между домами были свободные вырезы неба. Идя с правой стороны малолюдного переуллка, можно было заметить нежно-желтое погасание дня, okayмленное дымными глыбами туч.

¹ «Старая Москва!» (нем.) — Ред.

5. Над Москвой висела дымка.
6. В малолюдном переулке карлица-богаделка, старая, сине-бледная, шла в богадельню с мешочком в руках.
7. За ней бежал человек в сером пальто и с черными усами.
8. Его рука была опущена в карман, а в кармане он сжимал сапожное шило.
9. Впереди переулок упирался в другой, перпендикулярный первому; там на фоне белой стены мотала головой черная лошадь скрючившегося во сне извозчика.
10. И старушка, и молодой человек с черными усиками проходили мимо освещенных окон; заглянув в окно, можно было усмотреть, как любитель-механик, сидя за столом, разбирал стенные часы.
11. Все, как следует, разобрал механик, а собрать он не сумел; сидел, почесываясь.

1. У подъезда стояла фура с надписью: «Работник». Около фуры человек в форменной фуражке пояснял прибежавшему дворнику, что он их новый жилец.

2. Минуту спустя перевозчик в союзе с дворником таскал из фуры на спине стопудовые громады на третий этаж.

3. А человек в форменной фуражке строго наблюдал за целостью таскаемых громад; он снял квартиру рехнувшегося философа.

1. Еще более стемнело; бесконечное пространство крыш стыло.

2. Были крыши многих домов в связи между собой; одни подходили к другим и оканчивались там, где другие начинались.

3. У печной трубы дрались два кота, черный и белый; оба прыгали, гремя по железу, усердно били друг друга по щекам и визжали что есть мочи.

4. Человечество, затаив дыхание, следило за поединком.

5. Труба дымила; стоя у трубы, можно было видеть в отдалении окно Дормидонта Ивановича.

1. Дормидонт Иванович очень любил детей; он всегда угощал их мятными пряниками, хотя жалованье Дормидонта Ивановича не было значительно и Дормидонт Иванович сам любил кушать мятные пряники.

2. Но он скрывал свою страсть.

3. Сегодня к нему пришел племянник Гриша. Дормидонт Иванович напоил Гришу чаем с мятными пряниками.

4. Гриша уничтожил все пряники, не оставив ни одного толстому дяде; Гриша не уважал толстого дядю, но бросал в него резиновым мячиком.

5. А Дормидонт Иванович одним глазом поглядывал на летающий мячик, а другим следил за огнями, мерцающими в бывшей квартире философа.

6. Он сказал неожиданно: «Ну вот! И переезжают!» — и вздохнул облегченно.

1. В ту пору к декадентскому дому подкатил экипаж; из него вышла сказка с сестрой, полусказкой.

2. Обе были в весенних парижских туалетах, и на их шляпах колыхались громадные черные перья.

3. Сказка не знала о смерти демократа. Обе болтали в передней, обсуждая платье графини Каевой.

4. В ту пору в Новодевичьем монастыре усердная монашка зажигала лампадки над иными могилками, а над иными не зажигала.

5. Была свежая могила демократа украшена цветами, и металлический венок колыхался на кресте.

6. Нагнувшись, можно было разобрать многозначительную надпись на кресте: «Павел Яковлевич Крючков, родился 1875 г., скончался 1901 г.»

7. Но сказка ничего не знала о кончине мечтателя и продолжала болтать с полусказкой о туалете графини Каевой.

8. А кругом стояли бритые люди, и лица их не выражали удивления, потому что всё они знали и обо всем могли дать ответ.

9. Это были... хамы...

1. В тот час молодой человек вонзил сапожное шило в спину старушки богаделки, ускользнув в соседний переулочек.

2. Это был сумасшедший, и его тщетно отыскивала полиция.

3. В тот час Храм Спасителя высился над пыльной Москвой святым великаном.

4. Под его златоглавым силуэтом текли воды Москвы-реки в Каспийское море.

1. В тот самый момент, когда полусказка простилась со сказкой и когда серый кот побил черного и белого;

2. когда неосторожный Гриша разбил мячиком стакан Дормидонта Ивановича, а старушка шамкала в одиноком переулочке: «Караул»,

3. давали обед в честь Макса Нордау московские естествоиспытатели и врачи; сегодня прогремел Макс Нордау, бичуя вырождение; а теперь он сидел в «Эрмитаже», весь красный от волнения и выпитого шампанского.

4. Он брался с московскими учеными.

5. Мимо «Эрмитажа» рабочий вез пустую бочку; она грохотала, подпрыгивая на мостовой.

6. Это Москва не нуждалась в Нордау; она жила своей жизнью; съезд естествоиспытателей и врачей не касался ее сердечных струн.

7. Вот сегодня Нордау громил вырождение, а завтра должна была выйти книжка Валерия Брюсова и Константина Бальмонта.

1. В своей одинокой квартире на третьем этаже сидел за самоваром человек средних лет; спокойно и тихо смотрели его ясные очи в дверь открытого балкона.

2. С балкона рвался свежий ветерок и бросал самоварный пар в лицо сидящему.

3. Это был ни старый, ни молодой, но *пассивный и знающий*.

4. Он допивал вторую чашку чаю, а уж на синее небо выпали бриллианты звезд.

5. Казалось, он застыл и сидел без желания, отуманенный бес-предметной нежностью.

6. Мистик Сириус сгорал от любви.

7. В черном, бездонном пространстве он выбрасывал из себя столбы огня и бреда; и не один Сириус, но все звезды извергали потоки огня в черный холод.

8. Это был звездный ужас.

1. Этого не боялся *спокойный и знающий*, но допивал вторую чашку чаю.

2. Казалось, он застыл и сидел без желания, отуманенный бес-предметной нежностью.

3. Казалось, он говорил: «Так, так, Господи! Я *знаю* тебя!»

4. Уже допил вторую чашку и наливал себе третью.

5. И когда в соседней квартире било двенадцать, он сидел, спокойный и задумчивый, вперив ласковый взор в безлунное небо созвездий.

6. Было тихо. Иногда гремел извозчик. Коты орали на крышах.

7. Если у кого был тонкий слух, то он мог бы услышать вдалеке призывный звук рога.

8. Словно кто-то стоял на дымовой трубе в серой крылатке и трубил в рожок.

9. Но это только казалось.

1. Тяжелый междупланетный шар принесся неизвестно откуда.

2. Со свистом он врвался в земную атмосферу и, раскалясь, послал от себя снопы искр.

3. Внизу казалось, что большая сверкающая звезда скатилась с синего неба.

4. На небе осталась белая полоса, быстро растаяв в холоде.

5. Видел, видел звезду сидящий за самоваром и принял это к сведению.

1. Теперь происходили ночи над Москвой, полные священного значения.

2. Ходили синие, дымные громады, застилая от времени до времени горизонт.

3. Это было неспроста: шел вопрос о священном значении России.

4. Проезжали вечерние бочки и решали вопрос отрицательно; на козлах сидели наглые люди и спорили с городовым.

5. Проходил Поповский и решал отрицательно.

6. А сидящий за чаем решил положительно, и Поповский был устранен с улиц города Москвы: за ним захлопнулась дверь.

1. Макс Нордау весьма интересовался городскими увеселениями; это был живой и общительный человек.

2. Вот он мчался на русских тройках в веселую «*Мавританию*», веселый русскими учеными.

3. Он икал после сытного обеда, мурлыча веселую шансонетку.

1. На всю Россию кричал тогда циничный мистик из города Санкт-Петербурга, а товарищи озаряли крикуна бенгальскими огнями.

2. Даже марксисты ударились в философию, а философы в теологию.

3. Но никто из них не знал о значении таинственного миганья, которое росло и росло в России.

4. Это миганье отразилось на знакомых Поповского, у которых происходили майские, жаровые собрания.

5. Каждый из них перелистывал Евангелие, читал мистика и знал наизусть Достоевского.

6. Иные доходили до того, что обращались с покойным писателем запанибрата.

7. Иной раз можно было видеть чудака, похлопывающего по *Братьям Карамазовым*, раздражающегося такими словами: «Федор Михайлович загадал нам загадку, и мы теперь ее разгадываем».

8. Такие всё были шутники, право, что и не приведи Бог с ними встретиться.

1. Весна была небывалая и странная. Потом уже, когда лето миновало, вспоминали весну все без исключения: либералы, консерваторы, мистики и реалисты.

2. В тот год был небывалый наплыв богомольцев в Киеве. В мае месяце горели уфимские леса.

3. Передавали поморы, что неоднократно подплывал к самому берегу на Мурмане и подмигивал своими рыбьими, крохотными глазками.

4. Однажды спросил любопытный кит глухого старика помора: «Эй, любезный, как здоровье Рюрика?»

5. И на недоумение глухого старика добавил: «Лет с тысячу тому назад я подплывал к этому берегу; у вас царствовал Рюрик в ту пору».

1. Ночью особенно явственно раздавался звук рога над спящей Москвой.

2. Тогда же чины сыскальной полиции поймали ловкого протыкателя стух.

3. Он зазорно щелкал пальцами перед чинами сыскальной полиции и ораторствовал: «Нас много на Руси».

4. И тут как бы в подтверждение безумных слов выяснилось, что подвальные помещения дома Расторгуевых на Солянке начали заливаться нечистотами.

5. Уже на месте происшествия стоял городской инженер; размахивая руками, он пояснял присутствующим, что засорились трубы.

6. На другой день в газетах появилась заметка: «Канализационное безобразия»¹.

1. Шестьсот старушек были в волнении. В палатах и коридорах раздавалось недовольное старческое бормотанье.

2. Одну из старушек подвергли поранению недобрые люди, всадившие ей в спину сапожное шило.

3. Старушка сидела забинтованная и заваривала себе ромашку.

4. Толковали о последних временах; видели в появлении протыкателя как бы знамение Антихриста.

5. А уже в старушечье отделение входил старичок: богадельня была общая и для старичков, и для старушек, и шестьсот старичков постановили одному из своих прочесть соболезнование пораненной товарке.

6. Вот он стоял с адресом в руках и пытался читать: никто ничего не понял; слышалось беззубое бормотанье.

1. Отец протоиерей сидел за самоваром в коричневой рясе; он обтирал пот, выступивший на воспаленном лбу, беседуя с гостем.

2. Его гость был ученый филолог; он был приват-доцент Московского университета.

3. Он был сух и поджар; непрестанно обтирал руки платком, осыпал отца протоиерея цитатами из евангелиста Иоанна.

¹ См. московские газеты за май.

4. Он смаковал каждый текст, раскрывая его священное значение.
5. И на его фонтан красноречия терпеливо отмалчивался отец протоиерей, откусывая сахар и чмокая губами.
6. Наконец он допил стакан, опрокинул его в знак окончания питья своего и сказал собеседнику: «Ай да ловкач! Хо, хо! Ай да ловкач!»
7. Обратил мясисто-багровое лицо свое к ученому, развел руками и, похлопывая себя по животу, присовокупил назидательно: «Старайся, брат, доцент!»

1. Знакомый Поповского собирал у себя литературные вечеринки, где бывал весь умственный цветник подмигивающих.
2. Сюда приходили только те, кто мог сказать что-нибудь новое и оригинальное.
3. Теперь была мода на мистицизм, и вот тут стало появляться православное духовенство.
4. Хотя устроитель литературных вечеринок предпочитал сектантов, находя их более интересными.
5. Все собирающиеся в этом доме, помимо Канта, Платона и Шопенгауэра, прочитали Соловьева, заигрывали с Ницше и придавали великое значение индусской философии.
6. Все они окончили по крайней мере на двух факультетах и уж ничему на свете не удивлялись.
7. Удивление считали они самой постыдной слабостью, и чем невероятнее было сообщение, тем более доверия ему оказывалось этим обществом.
8. Все это были люди высшей *«многострунной»* культуры.

1. Вот туда-то шел Поповский ясным, весенним вечером.
2. Он проходил под забором; над забором спускались гроздь белой сирени, помахивая маленькому Поповскому, но Поповский ничего не видел, а улыбался шутливому стечению мыслей.

1. Когда Поповский скрылся в соседнем переулке, проходил тут Дрожжиковский.
2. Увидел белые гроздь ароматной сирени и нежно-голубую лазурь.
3. Увидел и звездочку, мерцавшую из-под белой ветки сирени, увидел и облачко, подернутое пурпуровым таинством.
4. Все это видел Дрожжиковский, спеша на Остоженку.

1. Довольный хозяин потирал свои белые руки, осведомляясь, все ли исправно и нет ли обстоятельств, препятствующих полноте литературного удовольствия.

2. Дело в том, что сегодня обещал сделать сообщение сам Дрожжиковский; это был модный, восходящий талант.

3. Так думал заботливый хозяин, а уже к нему текли гости из разных переулков города Москвы.

4. Вдоль одного и того же переулка семенил Поповский, а за ним поспешал сам Дрожжиковский, вспоминая белую сирень.

5. Закат был напоен грустью. Розовые персты горели на бирюзовой эмали; словно кто-то, весь седой, весь в пурпуровых ризах, протягивал над городом благословляющие руки.

6. Словно кто накадил. Теперь кадильный дым таял синевато-огненным облачком.

7. Благовестили.

1. В булочной Савостьянова всходили белые хлебы.

2. Один толстый булочник осведомился, много ли имелось дрожжей, и, узнав, что достаточно, засветил лампадку.

3. Шагая по улицам, можно было видеть в иных окнах то красненький, то зелененький огонек.

4. Это теплилась лампадка.

5. Завтра был Троицын день, и православные наливали в лампадки деревянное масло.

6. Вот теперь святые язычки робко пламенели перед Господом.

7. Не один атеист жаловался на боль желудка.

1. Уже гости собирались. Довольный хозяин приказал подавать чай.

2. В освещенной передней лежали шляпы, шапки и фуражки.

3. Но позвонили. Вошел Поповский.

4. Он снял калоши и направился в залу.

5. Едва пришел Поповский, как уже звонил сам Дрожжиковский; поглядывая на часы и протирая пенсне, он вошел, встреченный приветствиями.

6. Всем он подал свою милостивую руку. Вокруг него уже образовалась группа почитателей; сюда подошли поклонники Ницше, мистики и оргиасты.

7. Только один не подошел, а стоял у окна, закуривая папироску.

8. Он был высокий и белокурый, с черными глазами; у него было лицо аскета.

9. Его короткая, золотая борода была тщательно подстрижена, а на ввалившихся щеках играл румянец.

1. Был тут и хилый священник в серой рясе и с золотым крестом.

2. Его атласные волосы, белые как снег, были расчесаны; он разглаживал седую бороду.

3. Он больше слушал, чем говорил, но умные синие глаза обводили присутствующих... И всякий почтил про себя это старое молчание.

1. Еще не начинали общей беседы, но уже улицы пустели и фонари зажигались один за другим.

2. Заря пробивала тяжелое облако, которое сверкало в пробитых местах. Заря стояла всю ночь эти дни над Москвой, словно благая весть о лучших днях.

3. Завтра был Троицын день, и его прославляла красивая зорька, прожигая дымное облачко, посылая правым и виновным свое розовое благословение.

1. В открытое окно рвался ветерок, донося запах белой сирени.

2. Вспоминал Дрожжиковский белую сирень, как забвение болезней и печалей.

3. Он начинал свою речь среди гробового внимания присутствующих.

4. Он заговорил прерывистым голосом, часто останавливаясь, чтобы округлять фразы.

5. Потом он уже редко останавливался, и фразы вылетали из уст его словно выточенные из слоновой кости.

6. Молчал старый священник в серой рясе, склонив белую как лунь голову, прикрыв чело и глаза рукой.

7. На него падал красноватый свет лампы. Черная тень от руки затенила бледное чело.

8. Развалились на стульях, а хозяин на цыпочках подходил то к одному, то к другому, предлагая чаю.

9. Тут же сидел поклонник петербургского мистика, колулая угреватое лицо свое.

10. Поповский приютился у печки и еще до начала сообщения заблаговременно скривил свой рот.

11. В открытое окно рвался ветерок, донося запах сиреней.

12. Вспоминал Дрожжиковский белую сирень. Говорил о забвении болезней и печалей.

1. Огромный синий купол закрыл собою закат; его края рдели и сверкали; его тень пала на Москву.

2. А Дрожжиковский упомянул о потоке времени, и, казалось, глаза его видели туманную Вечность.

3. Он воскрешал угасших великанов; он связывал их мысли; он видел движение этой мысли, указывая на повороты ее.

4. И всем казалось, что они сидят на утлом суденышке среди рева свинцовых волн, а Дрожжиковский их опытный кормчий.

5. Он говорил о залпах ракет и фейерверке мыслей и грез; он спрашивал только: «Где теперь эти ракеты?»

6. Он сравнивал мысли философов и поэтов с растаявшей пеной изумрудного моря; он спрашивал у присутствующих: «Где она?»

7. И молчал священник в серой рясе, склонив белую голову, прикрыв бледное чело и ясные очи дрожащей рукой.

1. Зарница мигнула из синего купола, закрывшего закат. На лица слушающих падали тени, преображая лица, выдвигая складки грусти и меланхолии.

2. Но это только казалось от падающих теней; а на самом деле лица их ничего не выражали; все они были довольны собой и Дрожжиковским.

3. Хотя сам Дрожжиковский не был доволен ни собой, ни умственным движением XIX столетия.

4. Он сравнивал его с мерцанием болотных огоньков: он спрашивал, стуча по столу: «Где они?»

5. А ему кивали белые сирени из окна знакомыми сердцу взмахами; это было цветочное забвение.

6. Синий купол сползал с зорьки. Из-под купола смеялась зорька задушевым, ребяческим смехом.

7. Дрожжиковский стучал по столу, а в глазах Дрожжиковского отражалась розовая зорька... И казался Дрожжиковский большим, добрым ребенком.

1. Нашла полоса грусти. Он стоял среди присутствующих, теребя черный ус, насмешливо кивая головой.

2. Это он погребал философию, а над могильным курганом ее плакал и рыдал, как ветхозаветный Иеремия.

3. Нашла полоса гнева. Он стоял среди присутствующих в гробовом молчании. Он молча грозил позитивистам.

4. Он кричал, что они вытравили небесные краски.

5. Потом он демонически захохотал, говоря о демократах, народниках и марксистах.

6. Но, должно быть, пахнул ветерок с могилы почившего демократа, потому что кто-то шепнул Дрожжиковскому: «Не смущай моего покоя», — и фразы из слоновой кости перестали слетать с пламенных уст его.

7. Молчал и священник в серой рясе, склонив свою белую голову, прикрывая бледное чело и синие очи дрожащей рукой.

8. На полу лежала его черная тень.

1. И долго, так долго молчал Дрожжиковский, и казался большим, добрым ребенком; ветер шевелил его черными волосами, а серые глаза его были устремлены в окно.

2. И невольное умиление смягчило черты Дрожжиковского, как будто он готовился сказать новую истину.

3. В ту пору в Успенском соборе пели «*Свете тихий*», и блистали митры архиереев.

4. Кадильный дым вознесся под купол собора.

1. И тогда все почувствовали резкое журчанье тающих ледников, и Дрожжиковский начал речь свою вещим словом: *сверх-человек*.

2. Поклонники Ницше задвигали стульями, а старый священник поднял свои ясные очи на Дрожжиковского,

3. которого слова вспыхивали дрожащим пламенем, и в комнате начался вихрь огня и света.

4. словно почувствовали близость талого снега, словно горячечному дали прохладное питье.

5. словно тонул жаровой ужас в туманном, сыром болоте, а Дрожжиковский указывал на священное значение *сверх-человека*.

6. Он вставлял в свою речь яшмы Священного Писания, углублялся в теологическую глубину.

7. Приводил минувшие верования, сопоставлял их с самыми жгучими вопросами современности.

8. Ждал духовного обновления, ждал возможного синтеза между теологией, мистикой и церковью, указывал на три превращения духа.

9. Пел гимны дитяте из колена Иудина.

10. Его слова вспыхивали дрожащим пламенем и огненные знаки — уносились в открытые окна.

11. Иногда он останавливался, чтобы слушать вальс «*снежных хлопьев*», который разыгрывали где-то вдали.

12. И тогда все видели, что над Дрожжиковским повесили цветок лотоса — милое забвение болезней и печалей.

13. Это было цветочное забвение, а из-под опаловой тучки смеялась ясная зоренька задушевым, ребяческим смехом.

14. Дрожжиковский стучал по столу, и в глазах Дрожжиковского отражалась розовая зорька... И казался Дрожжиковский большим невинным ребенком.

15. В его глазах отражалась слишком сильная нежность; чувствовалось, что струна слишком натянута, что порвется она вместе с грезой.

16. Где-то играли вальс «*снежных хлопьев*». Душа у каждого убежала до снега. Замерзала в блаженном оцепенении.

17. Невозможное, нежное, вечное, милое, старое и новое во все времена.

18. Так он говорил; приветно и ласково смотрел ему в очи старый священник, схватившись за ручку кресла.

19. Все были взволнованы и удивлены.

1. Довольный хозяин протягивал смущенному автору сообщения свои белые руки; шел оживленный говор...

2. Случайно попавший сюда марксист вскочил со стула и басом прогремел: «Позвольте вам возразить».

3. Но тут его перебил золотобородый блондин с лицом строгим и задумчивым; это был как бы аскет с впалыми щеками и лихорадочным румянцем.

4. Во время речи Дрожжиковского он вскидывал на него свои добрые глаза и, казалось, говорил: «*Знаю, ах знаю...*»

5. Теперь он стоял словно властный диктатор. Скоро его деревянный голос заставил присмиреть чрезвычайно образованных.

1. Он говорил: «Ныне наступает Третье Царство, Царство Духа... Ныне вода с бледноликим туманом ближе жертвенной крови.

2. Хотя Царствие Небесное не водою только, но и кровию, и Духом.

3. Ныне мы должны претерпеть ужасную, последнюю борьбу.

4. Среди нас будут такие, которые падут, и такие, которые не разрешат, и такие, которые проникнут, и увидят, и возвестят.

5. Наступают времена четырех всадников: белого, рыжего, черного и мертвенного.

6. Сначала белого, потом рыжего, потом черного и, наконец, мертвенного.

7. Разве вы не видите, что на нас нисходит *нечто*, или, вернее, *Некто*.

8. Это будет самый нежный цветок среди садов земных, новая ступень лестницы Иакова.

9. Этот будет горным ручьем, скачущим в жизнь бесконечную.

10. Вот тайная мысль Достоевского, вот крик тоскующего Ницше.

11. И дух, и невеста говорят: *прииди*».

1. И все молчал старый священник, склонив свою многодумную голову, заслоняя лицо дрожащей рукой.

2. От руки падала тень, а из тени смотрели синие глаза священника.

3. Уже в соборах пропели «*Вечернее славословие*», раздавалось бряцание кадил да вздохи старичков архиереев, увенчанных бриллиантовыми шапками.

1. Пророк говорил: «И дух, и невеста говорят: *прииди*.

2. Я слышу топот конских копыт: это первый всадник.

3. Его конь белый. Сам он *белый*: на нем золотой венец. Вышел он, чтоб победить.

4. Он мужского пола. Ему надлежит пасти народы железом железным. Сокрушать ослушников, как глиняные сосуды.

5. Это наш Иван-Царевич. Наш *белый* знаменосец.

6. Его мать — жена, облеченная в солнце. И даны ей крылья, чтобы она спасалась в пустыне от Змия.

7. Там взрастет *белое* дитя, чтоб воссиять на солнечном восходе.

8. И дух, и невеста говорят: *прииди*».

1. Потом он стоял весь строгий и задумчивый.

2. То был белокурый, высокий мужчина с черными глазами. На ввалившихся щеках его играл румянец.

3. Задумчиво молчал он, и марксист, позабыв свои возражения, сбежал укладкой из *сумасшедшего* дома.

4. Но в открытое окно рвался белый ветерок; он нес пророку сладкие, сиреневые поцелуи. И хохотала ясная зоренька, шепча: *«Милые мои»*.

5. Дрожжиковский с жаром пожимал руки белокурого пророка, а старый священник молча обвел присутствующих синими глазами и потом склонил свою седую голову на старческую грудь.

6. Потом он заслонился рукой от света. Ветерок закачал его атласные, седые кудри.

7. На полу лежала его черная тень.

1. В тот час в аравийской пустыне усердно рычал лев; он был из колена Иудина.

2. Но и здесь, на Москве, на крышах орали коты.

3. Крыши подходили друг к другу: то были зеленые пустыни над спящим городом.

4. На крышах можно было заметить пророка.

5. Он совершал ночной обход над спящим городом, усмиряя страхи, изгоняя ужасы.

6. Серые глаза метали искры из-под черных, точно углем обведенных, ресниц. Седеющая борода развевалась по ветру.

7. Это был покойный Владимир Соловьев.

8. На нем была надета серая крылатка и большая, широкополая шляпа.

9. Иногда он вынимал из кармана крылатки рожок и трубил над спящим городом.

10. Многие слышали звук рога, но не знали, что это означало.

11. Храбро шагал Соловьев по крышам. Над ним высыпали бриллианты звезд.

12. Млечный Путь казался ближе, чем следует. Мистик Сириус сгорал от любви.

13. Соловьев то взывал к спящей Москве зычным рогом, то выкрикивал свое стихотворение:

Зло позабытое
Тонет в крови!..
Всходит омытое
Солнце любви!..

14. Хохотала красавица зорька, красная и безумная, прожигая яшмовую тучку.

1. В комнате горела красненькая лампадка. Проснулся ребенок.
2. Он кричал звонким голосом: «Нянька».
3. Просыпалась ворчащая нянька и укрощала ребенка.
4. А он протягивал к ней ручки и улыбался, говоря: «Где-то трубит рог!»
5. Нянька осеняла его крестным знаменем, говоря: «Христос с тобой, мой родной! Это тебе померещилось!»
6. И ребенок засыпал, улыбаясь. И нянька шла спать.
7. Оба они слышали во сне призывный рог... Это Соловьев шествовал по крышам домов, умиряя страхи, изгоняя ужасы.

1. Уже заря разгоралась с новой силой, когда хилый священник приподнялся с кресла.
2. Он говорил о вселенской любви с опущенными долу глазами.
3. Тихий ветерок качал его атласные кудри, а губы старичка священника расплывались в грустную улыбку.
4. Ничего он не принимал и не отвергал из сказанного, но говорил о любви.
5. И был ветерок... И не знали, был ли он от вздыхающих, сладких сиреней или от белых слов отца Иоанна.
6. А безумная зорька растопила яшмовую тучку и теперь хохотала, разгораясь, украсившись серебряной утренницей.

1. Немного сказал отец Иоанн. Потом он сидел у окна заревой, майскую ночью, склонив седую голову на грудь...

1. Утром возвращался Дрожжиковский с Остоженки, усталый и сонный.
2. Он часто зевал, потому что стоял белый день.

3. Ароматные гроздья сиреневого забвения висели на фоне бирюзового неба.

4. Над снежно-белой тучкой совершалось пурпуровое таинство.

5. Все это видел Дрожжиковский, спеша на Остоженку.

1. Шел странник с котомкой за плечами; его узенькая, седенькая борода загорно выставилась вперед, излучая радость всепрощения.

2. Уже позади него оставался сосновый лес. Над зелеными соснами стояло благословляющее солнце.

3. Желтовато-белые тучки, словно вылепленные из воска, рельефно выделялись на фоне небесного поглубения.

4. А перед ним протянулась равнина. Над равниной горели золотые и серебряные главы святынь.

5. Это была Москва, озаренная майскими лучами. Это была Москва в Троицын день.

6. Любопытно высматривал седенький странник над святынями московские тайны и радовался втихомолку.

7. Он был себе на уме, и ничто его не удивляло. Удивление считал он *человеческим, слишком человеческим*.

8. По небу плыли желтовато-белые тучки, словно вылепленные из воску, а странник в уме ставил свечи московским угодникам.

1. Отец Иоанн служил в своем приходе.

2. Его беленькая, чистенькая церковка с серебряными главами приветно гудела во славу Св. Троицы.

3. Пели «Иже херувимы». Все потели. Таинственный диакон в сияющей ризе периодически склонялся, совершая каждение.

4. Лучи золота врывались сквозь узкие окна и почивали на сияющих ризах; мелкий дымок фимиама мягко стлался в солнечных лучах.

5. Царские двери не закрывали тайн: отец Иоанн воздевал свои благословляющие руки, и атласные белые волосы были откинuty от бледного чела.

6. Потом низко склонялся отец Иоанн перед св. Престолом, и из его сжатых губ вырывались потоки таинственных слов.

7. Так замирал он неведомым символом, прерывал молитвы мечтательным вздохом.

1. Потом был великий выход; два ребенка, сверкая ризами, несли восковые свечи; за ними шествовал золотой диакон.

2. После всех тихо шел с чашей в руках отец Иоанн. Его очи блестели. Ризы сияли. Волосы сбегали снежной волной.

3. И склонялись церковные прихожане в лучах майского солнца.

1. И пока служил отец Иоанн, в соседней церкви то же делал отец Дамиан.

2. Служили во всех церквях; произносили те же святые слова, но разными голосами.

3. Священники все без исключения были в золотой парче; одни были седые, другие толстые, третьи благообразны, многие безобразны.

4. В Храме Спасителя служил неведомый архиерей в золотой митре.

5. Его посох держал церковный служака, а сам он благословлял из царских врат, перекрещивая дикирий с трикирием.

1. Дормидонт Иванович отстоял службу; он порядком-таки пропотел и, выходя, обтирался платком.

2. Его толстые пальцы сжимали пятикопеечную просфору, вынутую о здравии раба Божия Дормидонта.

3. У выхода его почтительно поздравил с праздником писарь Опенкин, а дома Матрена подала ему самовар.

4. Набожно перекрестился Дормидонт Иванович и скушал натошак просфору о здравии раба Дормидонта.

5. Заваривая чай, говорил кухарке: «Ну, Матрена, Бог милости прислал!»

6. В церкви порядком пропотел толстый столоначальник и теперь с жадностью тянул китайскую влагу.

1. Переулочек был облит солнцем. Мостовая белела. Вместо неба была огромная бирюза.

2. Дом в ложногреческом вкусе имел шесть колонн, а на шести колоннах стояло шесть белых каменных дев.

3. Каменные девы имели на голове шесть каменных подушек, а на подушки опускался карниз дома.

4. На асфальтовом дворике была куча сырого красного песку.

5. На куче песку играли дети в матросских курточках с красными якорями и белокурыми кудрями.

6. Они опускали маленькие ручки в холодный песок и разбрасывали горстями песок по сухому асфальту.

7. На куче песку стоял маленький мальчик; его лицо было строго и задумчиво. Синие глаза сгущали цвет неба. Мягкие, как лен, волосы вились и падали на плечи мечтательными волнами.

8. Важно и строго держал малютка в руках своих железный стержень, подобранный неизвестно где; побивал малютка сестреночек своих жезлом железным, сокрушая их, как глиняные сосуды.

9. Сестренки визжали и закидывали самоуправца горсточками песку.

10. Строго и важно стирал малютка с лица своего красный песок, задумчиво смотрел на небесную бирюзу, опираясь о жезл.

11. Потом он вдруг бросил железный стержень и, соскочив с песочной кучи, побежал вдоль асфальтового дворика, радостно взвизгивая.

12. Извозчик провез Дрожжиковского. Дрожжиковский ехал к белокурому пророку говорить об общих тайнах.

1. Шел монах по модной улице; его клобук высоко поднимался над худым лицом.

2. На нем был серебряный крест, и он быстро шагал среди праздничного люда.

3. Его черная борода была до пояса; она начиналась тотчас под глазами.

4. Глаза были грустные и горестные, несмотря на Троицын день.

5. Вдруг остановился монах и сплюнул: злобная усмешка исказила суровые черты.

6. Это случилось оттого, что цинический мистик высказал еще новое соображение и напечатал его в *Полярных узорах*.

1. На Кузнецком мосту в окне художественного магазина выставили пророков и святителей.

2. И казалось, пророки кричали из-за стеклянных окон, протягивая к улице свои голые руки, тряся горестными головами.

3. Святители же были ясны и тихонько улыбались, пряча в усах лукавую улыбку.

4. У окон толпились люди с разинутыми ртами.

1. В окна декадентского дома рвались золотые струи света.

2. Они падали на зеркало. Зеркало отражало соседнюю комнату. Оттуда неслись сдержанные рыдания.

3. Среди цветов и шелка стояла побледневшая сказка; ее красноватые волосы сверкали в золоте солнца, и бледно-фиолетовый туалет ее был в белых ирисах.

4. На цветочном празднике она узнала о смерти мечтателя — и вот ломала свои тонкие, белые руки осиротевшая сказка.

5. Дрожали коралловые губы, а по бледно-мраморным щекам катились серебряные жемчужины, застывая в ирисах, приколотых к груди.

6. Она стояла растерянная и рыдала, смотря в окно.

7. А из окна на ее слезы хохотала безумная зорька, прожигая яшмовую тучку.

8. Тщетны были сказкины слезы, потому что проходила пора демократов.

9. Волна времени смысла мечтателя, унесла его в вечный покой.

10. Это ей рассказала безумная зоря, хохоча до упаду, и сказка рыдала над разбросанными ирисами.

11. А... в соседней... комнате стоял потрясенный кентавр. Он вошел в эту комнату... увидел свою нимфу в отражении.

12. Он стоял ошеломленный, не веря зеркальному отражению, не смея проверить коварное зеркало.

13. Две скорбные морщины легли на лбу доброго кентавра, и он задумчиво теребил свою изящную бородку.

14. Потом он тихо вышел из этой комнаты.

1. Сказка велела запрячь экипаж. Она хотела свезти алую розу на могилу мечтателя.

2. А золотой, Троицын день проходил, и его сменил Троицын вечер.

3. Память о мечтателе, сидя в маленькой лодочке, уплывала в даль изумрудного моря.

4. Проходили иные години, приносили иные вести: что-то отжило свой век и покоилось на кладбище; что-то грустило в доме умалишенных; что-то сжимало сердце милой сказки.

5. И она, охваченная зарей, простерла к закатному свету свои тонкие, белые руки.

6. Казалось, она шептала: «Пусть летит моя вечная тоска в междупланетное пространство.

7. И там откликнется, чтобы снова засиять».

8. Так долго стояла сказка, разговаривая с зарей, и казалась священным видением.

9. Память о мечтателе, сидя в челне, уплывала в даль изумрудного моря: это была девушка в ожерелье из слез.

10. А над изумрудным морем повисло облачко с опаловыми краями.

11. Словно мечтательный великан, оно таяло на бирюзовой эмали.

12. Это было заревое прощание нимфы с памятью мечтателя.

13. Память грустно улыбалась и гребла в неизведанную даль, потому что надвигались иные години и несли иные вести.

1. Бледный аскет с золотой бородой и легким румянцем поил чаем Дрожжиковского.

2. Дрожжиковский в волнении плескал чаем и, хватая аскета за руки, говорил, захлебываясь: «Так вы знаете жену, облеченную в солнце?»

3. Но бледный аскет говорил равнодушно: «Ничего я не знаю: все это еще очень неопределенно... Пишутся только материалы... До лета нельзя делать никаких выводов...»

4. А из открытого окна просился в комнату золотой Троицын вечер.

5. Продувающий ветер бросал самоварный пар в лицо Дрожжиковскому. На него, как на доброго ребенка, смотрел золотобородый аскет.

1. Золотым, Троицыным вечером умирал чахоточный. Букет белой сирени стоял у него на столе.

2. Шторы были опущены. А сквозь них украдкой прорывались струи солнца.

3. А уж к дому подходил отец Иоанн. Его белые, атласные волосы ясно вырисовывались на пыльной мостовой.

4. Вот уж скрипнула дверь, за которой прятались красные ужасы, и на пороге перед чахоточным стоял Иоанн.

5. Его синие очи были устремлены на больного, и он крестил его дрожащей рукой.

1. Тогда больной почувствовал отлив ужаса; он приподнялся на жаровом ложе; горько улыбнулся священному другу.

2. Жаловался Иоанну на гнетущие ужасы, а старый священник поднес к его лицу ветку белой сирени.

3. Жаловался на грехи, но Иоанн снял серебряный крест свой, и холодный металл обжег горячечные губы умирающего.

4. В испуге больной прижался к священному другу, крича, что боится смерти.

5. И перед жаровым ложем встал на молитву Иоанн. Атласные волосы были как снег, и бледное чело светилось безмирной кротостью.

6. Потом радостно склонился белый священник над умирающим и сказал с улыбкой, что Господь зовет его к себе.

1. Открыл окно священник. Золотой вечер пал на больного.

2. И больной умер золотым, Троицыным вечером. В последний раз поцеловал его священный друг, украсив ложе белой сиренью.

3. Скоро слуги всполошились вокруг умершего барина, но отец Иоанн шел обратно по пыльным улицам.

4. Серебряная церковка звала его мягким звоном своим совершать всенощное бдение.

1. Бдение еще не начиналось, но уже горели пунцовые лампадки.

2. Царские врата были закрыты, а изнутри занавешены красным шелком.

3. Но вот прошел кроткий Иоанн, отвесив низкий поклон богомольцам.

4. Сейчас он отправил на тот свет своего богатого прихожанина; тот боялся отправиться в столь далекое путешествие. Иоанн старательно снаряжал его.

5. А в небе клубился облаковый великан, дымный, с опаловыми краями.

6. Великан сгорал нежностью в холоде чистой бирюзы.

7. В этом сгорании была и любовь старого Иоанна, и любовь сказки к памяти мечтателя.

8. А память уплывала в даль изумрудного моря; это была юная девушка в ожерелье из слез.

1. Внутри обители высился розовый собор с золотыми и белыми главами; кругом него возвышались мраморные памятники и железные часовни.

2. Шумели деревья над одинокими покойниками.

3. Это было царство застывших слез.

4. Близ красного домика сидела монашенка под яблоней, осыпанной белыми цветами.

5. Ее безмирные очи утонули в закатной зорьке, и розовый румянец играл на юных щеках.

6. Ее черный клобук возвышался над мраморным лбом. И она судорожно сжала четки.

7. Она влюбилась в красавицу зорьку. Та хохотала ей в лицо, освещая и монашку, и красный домик.

8. А из домика высунулась строгая мать-наставница и подозрительно смотрела на монашку.

9. Раздавался жгучий визг стрижей, и монашка бесцельно сгорала в закатном блеске.

10. Ее нежные руки сжимали черные четки. Высоко она подняла плечи и замирала под снежной яблоней.

11. Огоньки попыхивали кое-где на могилках.

12. Черная монашка зажигала лампадки над иными могилками, а над другими не зажигала.

13. Ветер шумел металлическими венками, да часы отбивали время.

14. Роса пала на часовню серого камня, где были высечены слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя».

1. Вдруг монашка услышала шорох шелкового платья и очнулась от беспредметной нежности.

2. Перед ней тихо проходила молодая красавица с грустными синими очами в бледно-фиолетовом парижском туалете.

3. Ее рыжие волосы горели в закатном блеске, а ее кони храпели, поджидая у ворот обители госпожу свою...

4. Посмотрели они друг другу в ясные очи; у обеих были синие, синие глаза...

5. Обе были как нимфы: одна в черном, а другая в бледно-фиолетовом; одна прикладывала надушенный платочек к лицу своему, другая судорожно сжимала четки, и черный клобук колыбался над мраморным личиком.

6. Обе поняли друг друга; у них было одинаковое горе.
7. И сквозь шумящие деревья взвизгивали черные касатки, да выглядывала на них шалунья зорька.
8. Она засмеялась задушевным смехом, послала ветерок на снежную яблоньку. И обсыпала яблонька черную монашку белыми, душистыми цветами.

1. И уже была ночь. Монашки, потупив взоры, расходились по своим кельям. В маленьких оконцах тухли огоньки.

2. Вставало то же, вечно-милое и грустно-задумчивое.

3. Колыхались венки. Словно разгуливали усопшие и поправляли светильни в лампадках; целовали бескровными губами свежепринесенные цветы.

4. Но этого не было.

5. И только серебряный ангел продолжал стоять над часовенкой в застывшем молении да часы монотонно отбивали время.

6. Время пролетало над тихой обителью легким дуновением, наклоня юные березы. И с ним вела речь безмирная женщина в черном.

7. Ее бледное лицо окаменело в вечной скорби и лишении, а в серых глазах отражалась туманная Вечность.

8. Так она стояла среди росистых могил, кое-где помигивающих огоньками, шепча еле слышно: *«Вот оно, Господи, одно, вечно одно!..»*

9. Ветер, шелестя металлическими венками, далеко разносил ее безмирную, святую скорбь.

10. Старинная часовня из серого камня вырисовывалась среди могил темным очертанием, и уже роса покрывала каменные слова: *«Мир тебе, Анна, супруга моя!»*...

1. Была святая ночь. Последнее облачко истаяло в эмалевом небе.

2. Эмалевое небо горело в золотых звездах; улицы были пусты, чисты и белы.

3. Выйдя на балкон трехэтажного дома, можно было заметить два ряда золотых фонарных огоньков вдоль сонных улиц.

4. Вдали огоньки сливались в одну общую золотую нить.

1. Всю ночь горизонт не засыпал, но светился. Точно горела за горизонтом святая свечечка.

2. Точно молился за горизонтом всю ночь Иоанн Богослов, совершая пурпуровое таинство.

3. На горизонте стояла длинная, узкая, янтарная тучка.

4. Грустя, села сказка на высокий подоконник. Смотрела на янтарную тучку.

5. Ее красноватые волосы рассыпались по плечам, а в лицо ей светили золотые звезды.

6. Завтра она уезжала из Москвы и прощалась с грезами.

7. ...Точно горела за горизонтом святая свечечка.

8. Точно молился за горизонтом всю ночь Иоанн Богослов, совершая пурпуровое таинство.

1. Уже стоял белый Духов день. Все почивали в ясных грезах.

2. Только на балкон трехэтажного дома вышел человек, ни молодой, ни старый.

3. Он держал в руке свечу. Свеча горела белым Духовым днем.

4. Тут поднялся вихрь, хотя небо было безбрежно и ясно.

5. Серая пыль, крутясь, вставала длинными столбами.

6. Трубы пели и стонали, а свечка погасла в руках у стоящего на балконе.

7. Звук рога явственно пронесся над Москвой, а сверху неслись световые вихри, световые потоки белым Духовым днем.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. Ветер дышал холодком. Изумрудные нивы склонялись, молясь лазурному утру.

2. Вдали чернела распашка.

3. То тут, то там попадалась лошадка, а за ней мужичок тащил плуг, переворачивая землю глубокими взрезами.

4. Мужички и лошадки были разные, но действие одно.

5. Обычному глазу здесь ничего не представилось бы, но внимательный наблюдатель рассудил бы иначе.

1. По пыльной дороге среди бледно-зеленой нивы ехала тройка. Ямщик в бархатной безрукавке понукал усталых лошадей.

2. В тройке сидел господин с белокурыми волосами в городском пальто. Он был обложен чемоданами.

3. Холодок замутил стекла его пенсне; и вот он снял протирать его, поглядывая по сторонам черными, подслеповатыми очами, напевая:

«Золотые, изумрудные, черноземные поля... Не скупа ты, многотрудная, терпеливая земля...»

4. Это было стихотворение Владимира Соловьева, а сидящий в тройке состоял поклонником почившего философа.

5. Вот ехал, ехал аскет золотобородый к брату своему в имение отдыхать после зимней сумятицы.

6. Вот он поглядывал вокруг себя и на нивы подслеповатыми черными очами, шепча: «Изумрудные поля... Прекрасно выразился Владимир Сергеевич...

Ну ведь совсем изумрудные!..»

7. Но его удивление не разделял кучер в бархатной безрукавке; он чмокал губами и понукал лошадей.

1. От времени до времени проезжали вдоль запашек. То тут, то там показывалась лошадка, а за ней мужичок тащил плуг, переворачивая землю глубокими взрезами.

2. Мужички и лошадки были разные, но действие одно.

3. Вот огромный дед — сутулый богатырь — топтал лаптями свежеврезанную землю, поспешая за плугом.

4. Вот то же проделывал хилый мужичонко, потрясая намеками бороды.

5. Мужички и лошадки были разные, но действие одно.

1. Иногда равнина прорезывалась глубокими оврагами, представляя из себя высокое плоскогорье.

2. Было что-то буддийское в этом чередовании равнин и оврагов.

3. Вспоминалось больше прошлое, чем настоящее. Это прошлое было монгольское прошлое.

4. Так по крайней мере полагал аскет золотобородый, восседавший среди чемоданов.

5. Он шептал про себя: «Вот она русская грусть и русская беспредметность...»

6. А сверху солнце уже напекало ему затылок за дерзостную мысль.

1. Он видел величественные обломки прошлого, а из прошлого воздвигалось будущее, повитое дымными пеленами.

2. Он полагал, что завершение синтетического периода той или иной культуры требует личности; только рука великого учителя может завязать последние узлы, соединить цветные ленты событий.

3. Он думал — отсиял свет на западе и темнокрылая ночь надвигалась из-за туманного океана.

4. Европейская культура сказала свое слово... И это слово встало зловещим символом... И этот символ был пляшущим скелетом...

5. И стали бегать скелеты вдоль дряхлеющей Европы, мерцаая мраком глазных впадин.

6. Это он думал, но получил толчок: дорога представляла из себя ухаб за ухабом, а золотобородый аскет сказал себе: «Терпение».

7. «Терпение», потому что на востоке в золотых чашах еще волновалась горячая кровь, а кругом чаш стояли гиерофанты, и синее благовоние возлетало к небу под звук бряцающих кадил.

8. Он мечтал соединить западный остов с восточной кровью. Он хотел облечь плотью этот остов.

9. Сидя среди чемоданов, он угадывал роль России в этом великом соединении, а кучер, поворачивая пыльное лицо свое, говорил, улыбаясь: «Не привыкли, барин, к нашим дорогам».

10. Но золотобородый аскет силился улыбнуться, озирая безнадежность равнин.

11. Он спросил, много ли осталось до *Грязиц*, и, узнав, что до *Грязиц* далеко, сорвался с чемоданов и полетел на крыльях фантазии.

1. Солнце становилось строгим, проникаясь раскаленной жесткостью. Вдалеке сиял крест белой церкви.

2. Там, где горбатая равнина закрывала горизонт, можно было видеть одинокую кучку, держащую путь к востоку.

3. Несли две красные с золотом хоругви, и они развевались на высоких древках.

4. Крестьянки были в красных повязках, а на синих юбках сверкало золото тесьмы; они несли изображения византийских угодников.

5. Шли с иконами и хоругвями в соседнее поместье молить о дожде.

6. Шли в одинокой кучке с развернутыми знаменами.

7. Это было обращение к Илии пророку. Священный призыв ливня и огненных стрел.

8. Это была перчатка полуденному неверию.

9. Скоро пропала кучка хоругвеносцев в беспредельной равнине, а вдалеке сиял крест белой церкви.

1. Уже аскет подъезжал к заветным *Грязищам*, перечисляя по пальцам последователей своих.

2. Он усердно дувал в их сердца печаль об огненных вихрях, чтобы зажглись они печалью и сгорели от любви.

3. Приходили священные дни и зывали призывно к пророкам... И пророки спали в сердцах людских.

4. Он хотел разбудить этот сон, призывая к золотому утру.

5. Он видел человечество, остановившееся как бы в сонном раздумье.

6. Пасомые овцы разбрелись искать себе новой истины, еще не найденной. Это был сон полудневный среди летней засухи.

7. И все лучшее, что еще не спало, становилось безумием секты и бредом горячки.

8. Ох, знал, знал кое-что аскет золотобородый! Вот он ехал в деревню отдыхать от зимней сумятицы.

9. Ему нужно было покрыть куполом выведенные стены — сделать выводы из накопившихся материалов.

10. Он пожелал загореться проповедью перед московскими учениками; это был народ бедовый, постигший мудрость науки и философии; здесь мерцали утренницы, подобные Дрожжиковскому.

11. Это было дрожжевое тесто, поставленное на печь искусным булочником.

12. Многие из них уже протирали глаза от действительности, чтобы с чистым сердцем утонуть в снах.

13. Скоро каскад бриллиантов должен был засыпать оскудевшую страну. Скоро звезды пророчеств должны были снизойти с небес.

14. Небесный свод казался расписанным по фарфору.

15. На горизонте вставали вихревые столбы черной пыли.

16. Поднималась чернопыльная воронка и потом, разорвавшись, возносила пыль к равнодушным небесам.

1. *Видел, видел* аскет золотобородый и *знал* кое-что!..

2. Как погребали Европу осенним, пасмурным днем титаны разрушения, обросшие мыслями, словно пушные звери шерстью!

3. Моросил дождь, и уныло стонал ветер, заглушая слезы бедных матерей.

4. Они шли за черным гробом ее в одеждах, ночи подобных, с изображением черепа на мрачных капюшонах, с факелами ужаса в руках.

5. Они несли подушки с серебряными кистями, а на подушках лежали страшные регалии.

6. За гробом шли самые большие могильщики, самые страшные.

7. Тут был и норвежский лев, чье рыкание раздражало покойницу, и толстокожий Емельян Однодум: он держал в одной руке щепку, а в другой топор; строгал щепку, приговаривая: «По-мужицки, подурачки! Тяп да ляп, и вышел карапы!»

8. И Заратустра — черная, голодная пантера, доконавшая Европу.

9. Был и бельгийский затворник, и французский монах в костюме нетопыря и с волшебной кадильницей в руках.

10. У него на плече сидел черный кот и лизал лапу, зазывая гостей на похороны.

11. Тут был и певец лжи, прозябающий в темнице, и парижский маг.

12. И миланец, и *Макс* — курчавый пудель, твякающий на вырождение, и сэр Джон Рескин, перепутавший понятия добра, истины и красоты, заваривший сладкую кашу современности.

13. И неуместная пародия на христианского сверх-человека, кому имя *сверх-бессилие*, несомая ватиканской гвардией на гнилых носилках и в бумажном колпаке.

14. Это была заводная игрушка, долженствующая пародировать христианство.

15. Чертополох бесплодный! Наследник камня придорожного! Римская приживальщица! Святейшество, сияющее электричеством!

16. За большими могильщиками плелись толпы малых. Они брали не качеством, но количеством.

17. Это были гномы, впавшие в детство; сюсюкающие старички шестнадцати вершков.

18. Они несли зеленые фонарики, повитые крепом, а на траурных лентах можно было прочесть: «неврастения», «разврат», «равнодушие», «слабоумие», «мания».

19. Но самая опасная мания была мания ложной учености: она заключалась в том, что человек вырывал глаза и дерзкими перстами совал в свои кровавые впадины двояковыпуклые стекла.

20. Мир преломлялся; получалось обратное, уменьшенное изображение его.

21. Это был ужас и назывался точным знанием.

22. Были тут и грядущие разрушители, неопикуемые в ужасе своем.

23. Глаза всех были устремлены в черное покрывало ночи, бесшумно распластавшееся над Северным, Немецким морем.

24. Казалось, это была огромная летучая мышь, заслонившая солнце.

25. Набежали свинцовые волны на песчаный берег и выбросили зверя с семью головами и десятью рогами.

26. И воскликнули великие и малые учителя мерзости: «Кто подобен зверю сему?»

27. Озаренный газовыми рожками, он подошел к умершей Европе, и она открыла мертвые очи свои и зашамкала беззубым ртом.

28. И нарумянилась, и жеманилась пред зверем, и слова ее были более чем зловещи, и она открыла мертвые очи свои и зашамкала беззубым ртом.

29. И тогда каждый из великих могильщиков и великих мерзавцев (так звали учителей мерзости) украсил ночную корону ее своей ложной драгоценностью.

30. Тут поместился красный рубин Заратустры с черным бриллиантом Гюисманса.

31. Каррарский мрамор сэра Рескина с булыжником русского Однодума.

32. Но все это были ложные драгоценности; они странно мерцали над париком великой блудницы.

33. Тогда над шумящим океаном тонул багровый месяц, и все почувствовали прилив безотчетного страха.

34. И сказали горам: «Падите на нас!» Но горы не пали. И нельзя было спрятать от ужаса лицо свое.

35. И ужаснулись все до единого.

1. И пока он так думал, в соседнем поместье совершалось молебствие о дожде.

2. Среди изумрудно-желтеющей нивы развевались красные с золотом хоругви, как священные, призывные знамена.

3. Поп опускал в сосуд с водой березовые прутья, окроплял нивы, молясь о *благорастворении воздушных*.

4. Одиноким крестьянин, босой и чумазый, затерялся где-то среди нив.

5. И только тоскующий голос его разносился над полями.

1. Аскет продолжал свои фантазии. В пику темнокрылой ночи он утраивал освещение на северо-востоке.

2. Уже выходила на небо воскресная свечильня, и святой огонь прогонял с востока ужас заразы.

3. На востоке не ужасались; тут издавна наблюдалось счастливое волнение; будто серафимы произвели невидимое возмущение.

4. И когда зверь воссел на троне с блудницей великой, появились огни пророков над святою Русью.

5. Ее апостол был Иоанн, чей взор проник в глубину последних веков.

6. Тогда явилось знамение пред лицом ожидающих: жена, облеченная в солнце, неслась на двух крыльях орлиных к Соловецкой обители,

7. чтобы родить младенца мужеского пола, кому надлежит пасти народы жезлом железным.

8. Свершилось древнее пророчество о белом всаднике, который выйдет победить.

9. И была борьба великая между ратниками зверя и жены. И когда борьба достигла крайнего напряжения, можно было видеть ангела, восходящего на востоке.

10. Он стоял между Тигром и Евфратом; он вылил сосуд ярости Божией на запад, вопия: «Пал, пал Вавилон, город великий!»

11. Умертвил блудницу и зверя, связав беса на тысячу лет.

12. Это было первое воскресение, прообраз второго воскресения, и была смерть первая — подобие второй.

13. Это был знак, разгадываемый пророками.

14. *Видал, видал* аскет золотобородый и *знал* кое-что!

1. Он шептал с молитвой: «Жена, облеченная в солнце, откройся знаменосцу твоему! Услышь пророка твоего!»

2. И вдруг грозное лицо его выразило крайнее смущение.

3. Ему припомнился знакомый образ: два синих глаза, обрамленных рыжеватыми волосами, серебристый голос и печаль безмирных уст.

4. Одной рукой она обмахивалась веером, отвечая глупостями на глупость.

5. Такой он видел ее на предводительском балу.

6. Он прошептал смущенно: «Жена, облеченная в солнце», а уж тройка подъезжала к подъезду.

7. На крыльце, обвитом хмелем, стоял брат золотобородого аскета, помещик Павел Мусатов, с богатырскими плечами и большой бородой.

8. Его лупоглазый лик смеялся и лоснился, обрамленный мягкой, как лен, белокурой бородой... В левой руке дымилась сигара.

9. Белую, чесучовую поддевку раздувал ветер, и он махал брату носовым платком.

1. В прохладной передней стояла племянница Варя, гостившая у дяди с чахоточной матерью.

2. Это была бледнолицая блондинка с мечтательными глазами, маленьким носом и веснушками.

3. Обнимались и лобызались братья Мусатовы.

1. Одинокий крестьянин, босой и чумазый, затерялся где-то среди нив.

2. И только тоскующий голос его разносился над широкими степями.

1. В столовой был накрыт завтрак. Здесь Павел Мусатов на радостях выпил разом шесть рюмок вишневки.

2. Потом он схватил хохотавшую племянницу и прошелся с ней мазурку.

3. Он молодецкато выступал перед изумленным братом, вытопавывая глянцевоитыми сапогами.

4. Это был отставной гвардеец.

5. Девушка хохотала, и он тоже, причем его живот трясся, а на животе брелоки, и пот градом выступал на багровеющем лице.

6. Удивился аскет золотобородый, приехавший в деревню выводить судьбы мира из накопившихся материалов.

7. Но все радовались...

8. Вот уже брат Павел расстегнул чесучовую поддевку и вытирал носовым платком свой лупоглазый лик.

1. За завтраком золотобородый аскет уяснял присутствующим свое появление, очищая свежую редиску.

2. Он говорил, что устал от городской сумятицы и вознамерился отдохнуть на лоне природы.

3. Племянница Варя благоговейно внимала речам ученого дяди, а Павел Мусатов, наливая восьмую рюмку вишневки, громыхал: «И хорррошее дело!»

4. Был он громадный и багровый, проникший в тайны земледелия, а его брат был худой и бледный, напиханный сведениями.

1. Помещик Мусатов вел жизнь, наполненную сельским трудом и сельскими увеселениями.

2. Попивал и покучивал, но присматривал за хозяйством.

3. Он имел романические тайны, о чем свидетельствовал шрам на лбу, появившийся после удара палкой.

4. Он говаривал зачастую, громыхая: «Раз, прокутившись в Саратове, с неделю таскал я кули, нагружая пароходы».

5. При этом он засучивал рукава, обнажая волосатые руки.

6. Таков был Павел Мусатов, веселый владелец приветных *Грязиц*.

1. Жарким июньским днем в тенистой аллее расхаживал бледнолицый аскет с книгой в руке.

2. Он перелистывал статью Мережковича о соединении язычества с христианством.

3. Он присел на лавочку; чистя ногти, сказал себе: «Тут Мережкович сделал ряд промахов. Я напишу возражение Мережковичу!»

4. А уж к нему незаметно подсел Павел Мусатов, закрыв широкой ладонью неподобную статью.

5. Он говорил сквозь зубы, сжимавшие сигару: «Это после, а теперь — купаться».

1. У ракитового куста аскет погружался в холодные воды, предаваясь утешению.

2. Он купался с достоинством, помня святость обряда, а его толстый брат остывал на берегу, похлопывая себя по голой груди.

3. Наконец он кинулся в воду и исчез.

4. Недолго нырял. Скоро его смоченная голова вынырнула на поверхность, и он, фыркая, сказал: «Благодать».

1. В бесконечных равнинах шумел ветер, свистя по оврагам.

2. Он налетал на усадьбу Мусатова и грустил вместе с березами.

3. Они порывались вдаль, но не могли улететь... и горько кивали.

4. Это проносилось время, улетаая в прошедшее на туманных крыльях своих.

5. А вдали склонялось великое солнце, повитое парчовыми ризами.

1. Золотобородый аскет быстро шагал в тенистой аллее.

2. Он делал выводы из накопившихся материалов, и его черные глаза впивались в пространство.

3. На белокурых кудрях была надета соломенная шляпа, и он помахивал тростью с тяжелым набалдашником.

4. Уже многое он разрешил и теперь подходил к главному.

5. Вечность шептала своему баловнику: «Все возвращается... Все возвращается... Одно... одно... во всех измерениях...

6. Пойдешь на запад, а придешь на восток... Вся сущность в видимости. Действительность в снах.

7. Великий мудрец... Великий глупец... Все одно...»

8. И деревья подхватывали эту затаенную грезу: *опять возвращается...* И новый порыв пролетающих времен уносился в прошлое...

9. Так шутила Вечность с баловником своим, обнимала темными очертаниями друга, клала ему на сердце свое бледное, безмирное лицо.

10. Закрывала тонкими пальцами очи аскета, и он был уже не Мусатов, а так *что-то...*

11. *Что, где и когда* — было одинаково не нужно, потому что на всем *они* наклеили ярлычок потусторонности.

1. Уже аскет знал, что великая, роковая тайна несется на них из неисследованных созвездий, как огнехвостая комета.

2. Уже в оркестре заиграли увертюру. Занавес должен был взлететь с минуты на минуту.

3. Но конец драмы убежал вдаль, потому что еще верное тысячелетие *они* не развяжут гордиева узла между временем и пространством. События потекут по временному руслу, подчиняясь закону основания.

4. Деревя взрели о новых временах, и он подумал: «*Опять возвращается*».

5. Ему было жутко и сладко, потому что он играл в жмурки с Возлюбленной.

6. Она шептала: «Все одно... Нет целого и частей... Нет родового и видового... Нет ни действительности, ни символа.

7. Общие судьбы мира может разыгрывать каждый... Может быть общий и частный Апокалипсис.

8. Может быть общий и частный Утешитель.

9. Жизнь состоит из прообразов... Один намекает на другой, но все они равны.

10. Когда не будет времен, будет то, что заменит времена.

11. Будет и то, что заменит пространства.

12. Это будут *новые* времена и *новые* пространства.

13. Всё одно... И все возвращаются... Великий мудрец, и великий глупец».

14. И он подхватил: «*Опять, опять возвращается...*» И слезы радости брызнули из глаз.

1. Он вышел в поле. На горизонте румянилась туча: точно чубатый запорожец застыл в пляске с задранной к небу ногой.

2. Но он расползлся. Горизонт был в кусках туч... На желто-красном фоне были темно-серые пятна.

3. Точно леопардовая шкура протянулась на западе.

1. Он улыбался, увидав дорогую Знакомицу после дней разлуки и тоски.

2. А вдали на беговых дрожках уже катил Павел Мусатов с сигарой в зубах, молодецкато держа поводья.

3. Вдали чей-то грудной голос пел: «Ты-и пра-астииии, пра-астииии, мой ми-и-и-и-лааай, маа-а-ю-у-уу любоовь».

4. Павел Мусатов укатил в беспредметную даль; только пыль вставала на дороге.

5. Голос пел: «Ва краа-а-ююю чужоом далее-о-о-кааам вспа-ми-на-ю я ти-бьяя».

6. Одинокий крестьянин, босой и чумазый, затерялся где-то среди нив...

7. Голос пел: «Уж ты-ии доооля маа-я гооорь-каа-ая, доо-о-ляя гоо-оо-орь-каа-аяя...»

8. Леопардовая шкура протянулась на западе.

1. Одинокий крестьянин, босой и чумазый, терялся где-то среди нив...

1. Помещик Мусатов сидел на вечернем холодке.

2. Он отдыхал после жаркого дня, расправлял белокурую бороду.

3. Вот сейчас он ударял кулаком по столу, крича на старосту Прохора: «Шорт и мерзавец!»

4. А Прохор сгибал шею, морщил брови, тряс огромной бородой.

5. И на грозное восклицание выпаливал: «Не можем знать!..»

6. Но это было недавно, а теперь толстый Павел отдыхал на вечернем холодке.

1. В освещенной столовой племянница Варя кушала алую землянику; она накалывала ягодки на шпильку и смеялась, говоря: «Вы, дядя, точно жрец... Вам бы ходить в мантии...»

2. Он казался странно весел и беспричинно хохотал.

3. Он и теперь смеялся: «Погоди, дай нам выстроить храмы... Одежды — это пустяки... Разве моя палка не жезл? Разве солома моей шляпы не золотая?»

4. И подняв руки над племянницей, он шутливо задекламировал:

С головою седою верховный я жрец —
На тебя возложу свой душистый венец!
И нетленную солью горящих речей
Я осыплю невинную роскошь кудрей!

5. Так шутил Сергей Мусатов — золотобородый аскет и пророк.

6. Потом он развернул газету и прочел о посольстве далай-ламы тибетского.

7. После он осведомился у Вариной матери о возможности получения лимона.

8. Потом Павел Мусатов читал ему лекцию о сельском хозяйстве и недородах.

9. Они мирно покуривали на открытой террасе. Им светила луна.

1. Голубой ночью племянница Варя стояла у открытого окна; она блистала очами и декламировала с Фетом в руках:

С головою седою верховный я жрец —
На тебя возложу свой душистый венец!..
И нетленную солью горящих речей
Я осыплю невинную роскошь кудрей!..

2. Но закатился ясный месяц, и небо стало исчерна-синим.

3. Только к востоку оно было бледно-хризолитовое.

4. Тени встречались и, встречаясь, сгущались; где-то вдали храпел Павел Мусатов.

5. В темной гостиной на мягком кресле сидела знакомая женщина.

6. Ее мертвенное лицо неподвижно белело в темноте.

1. Над уснувшим домом дерева ревмя ревели о новых временах.

2. Пролетал порыв за порывом; проходили новые времена.

3. Новые времена не приносили новостей. Бог весть, зачем они волновались.

4. И уже свет жизни брызнул на далеком небосклоне. В гостиной уже не было знакомой женщины в черном с белым лицом.

5. Только на спинке кресла лежал чей-то забытый кружевной платочек...

6. Кричащие времена возглашали: «*Опять возвращается!*» И уже полнеба становилось бледно-хризолитовым.

7. У самого края горизонта был развернут кусок желтого китайского шелку.

1. Это были дни полевых работ, дни выводов из накопившихся материалов; дни лесных пожаров, наполнявших чадом окрестность.

2. Дни, когда решались судьбы мира и России, дни возражений Мережковичу.

3. И все ясней, все определенной вставал знакомый образ с синими глазами и печалью уст.

4. Это было снежно-серебряное знамя, выкинутое на крепости в час суеверных ожиданий.

1. Утром напивался чаем аскет золотобородый, рассуждал с братом, шутил с племянницей.

2. Потом делал выводы из накопившихся материалов.

3. Потом предавались они с братом водному утешению и ныряли между волн. Потом составлялись соборные послания московским и иным ученикам.

4. В них раскрывались догматы христианства и делались намеки на возможность мистических ожиданий.

1. Круг московских учеников разросся, и сеть мистиков покрыла Москву.

2. В каждом квартале жило по мистика; это было известно квартальному.

3. Все они считались с авторитетом золотобородого аскета, готовящегося в деревне сказать свое слово.

4. Один из них был специалист по Апокалипсису. Он отправился на север Франции наводить справки о возможности появления грядущего зверя.

5. Другой изучал мистическую дымку, сгустившуюся над миром.

6. Третий ехал летом на кумыс; он старался поставить вопрос о воскресении мертвых на практическую почву.

7. Четвертый ездил по монастырям интервьюировать старцев.

8. Иной боролся в печати с санкт-петербургским мистиком, иной раздувал искорки благодати.

9. Дрожжиковский ездил по России и читал лекции, в которых он моргал и подмигивал что есть мочи.

10. Получалось впечатление, что он *знает*, а он возлагал знание на золотобородого пророка.

11. Для других, неведающих, его лекции уподоблялись комоду с запертыми драгоценностями.

12. Он прочел уже шесть лекций и теперь вчерне приготовил седьмую.

1. Подъехала франтовская тройка, подвозя Павла Мусатова к соседям по имению.

2. На подъезде встречало Мусатова знакомое семейство, осведомляясь о причине столь долгого забвения Павлом Мусатовым их гостеприимного очага.

3. На что приятно раскланивался Павел Мусатов, прищелкивая лакированными сапогами; он поднял хозяйскую ручку к пунцовым устам своим и заметил: «У меня гостит мой ученый брат!.. Мы, знаете, беседуем о том, о сем... И время летит незаметно».

4. На вопрос же, отчего он не привез к ним ученого брата, Мусатов отрезал лаконически: «Сидит сиднем... занят обширным исследованием...»

5. Все это было принято к сведению любопытным семейством.

1. В ягодном саду племянница Варя гуляла с подружкой своей, Лидой Верблюдовой.

2. Вдруг она поцеловала длинную шею Верблюдовой и сказала: «Дуся, приезжай поскорее к нам в *Грязищи*... я тебе покажу ученого дядю...»

3. Осведомилась Верблюдова о наружности ее ученого дяди, а подруга ее, прищурясь, теребила в руках кончик косы, лукаво смеялась...

4. И ничего не ответила.

1. Горели деревни. Агент земского страхования разъезжал по уезду.

2. Заезжая в усадьбы, он неизменно говорил, жуя ветчину или намазывая ее горчицей: «А Павел Павлович возится с братом, с ученым...»

3. И на вопрос, что это за птица, отвечал выразительным взглядом рачьих глазок: «Сидит сиднем в *Грязищах*... занят обширным исследованием!»

1. В уездном городе пировали два обывателя.

2. На столе бутылки были пусты, а глаза сидящих пьяны.

3. Один из сидящих хватил другого по колену и сказал: «Опрокинем, брат, еще по одной... хе, хе... где уж... хе, хе... нам до учености Сергея Мусатова...»

4. На что его товарищ мрачно заметил: «Идет».

1. Дом был темно-серый и старинный. Над открытой террасой была повешена каменная маска.

2. Неподвижно бледнело строгое лицо, казавшееся от вечерней зари нежно-розовым.

3. На открытой террасе восседал Павел Мусатов, осыпанный алым блеском.

4. Под поддевкой вздувался толстый живот его, и правая рука была опущена в бороду.

5.левой рукой он теребил брелоки; перед ним на столе лежала пепельница и спички.

6. Два юных тополька склонялись, словно зачарованные, трепеща и тая от вечных сказок.

7. У реки раздавались крики тоскующих чибисов.

8. Грустно задумался лупоглазый Павел на вечерней заре.

9. Наконец он чихнул и сошел со ступенек террасы, завидев гостя.

10. Ему вслед смеялась маска застывшим, каменным смехом.

1. Приближалась буря. Над усадьбой стоял шум и рев.

2. Коренастые деревья, обуреваемые ветром, рвались прочь отсюда.

3. Приближались полосы ливня и уже висели над пашней.

4. Серые цапли пронеслись над свинцовой рекой.

5. Учитель сельской школы был поджар и сутул. Его землистое лицо было темнее лысинки, но светлее бородки, а расплюснутый нос заодно торчал из-под синих очков.

6. Это был молодой человек, тяготевающий к народу.

7. Они шли с Павлом Мусатовым вдоль желтеющей аллеи; твякающий голос учителя спорил с шумом дерев.

8. Землистое лицо, казалось, гримасничало, а длинные руки совершали нелепые движения под свинцовым сводом небес.

9. Коренастые деревья, обуреваемые ветром, рвались прочь отсюда.

1. На крашеной лавочке сидел золотобородый аскет и делал выводы из накопившихся материалов.

2. А учитель брезгливо думал: «Вот сидит *гнилой* мистик!»

3. Весь он пропитан *лампадным* маслом, и *квасной* патриотизм его мне претит».

4. Им навстречу поднялся мистик, который не был гнил и совсем не пил квасу.

5. Он был химик по профессии, и перед ним молодой учитель неоднократно срамился незнанием точных наук.

1. Шли ужинать. Сельский учитель из читающих развертывал фронт умственного войска своего и делал наскоки на *гнилого* мистика.

2. Еще была только редкая канонада. Еще не дошло дело до картечи.

3. Еще оставался впереди запас личных оскорблений.

4. На оконных стеклах угас розовый отблеск; за стеклом глядело на идущих мертвенно-бледное лицо.

5. Точно великая Вечность приникла к окну.

6. Но это был букет белой ковыли и больше ничего.

7. Павел Мусатов не участвовал в споре. Он напевал, вылупив глаза: «Ночь пронесется на крыльях тумана, грозная туча застелет восход!»

8. Туча была страшная и высоко размазанная, а под ней два низких, зловеще-белых завитка неслись куда-то вбок.

9. На лужайке перед домом два молодых тополька шептались с бурей, точно зачарованные.

10. На оконных стеклах угас отблеск заката. Букет белой ковыли стоял на окне.

11. Учитель сельской школы разгорался пред молчавшим аскетом, а Павел Мусатов тихонько напевал: «Светлая радость померкнет, как зорька; горе, как туча, неожиданно придет...»

12. Уже вошли в комнату и захлопнули дверь, когда завыла тощая психа, поджимая хвост; ее узкая морда была обращена к небу.

13. Она ужасалась и, казалось, вопила: «*Возвращается, опять возвращается*», а два зловеще-белых завитка уже висели над домом.

14. За рекой раздавались крики тоскующих чибисов.

1. Аскет молчал пред шумевшим учителем, потому что он был по ту сторону жизни.

2. Это был сплошной сон наяву.

3. Это были откровения: Вечность шутила с баловником и любимцем своим; эти вечные шутки — точно сладкая музыка раздавалась в тоскующей душе пророка.

4. Пророк знал, что он вырвался из тенет трех измерений. Люди называли его безумцем: это был добрый знак.

5. Пророк уже знал, что он глашатай Вечности.

6. Он слишком учился для того, слишком тосковал, слишком много снял покровов, слишком полюбил Вечность.

7. Слишком ярки были грезы: это был сон, подымавшийся над Россией, как милое безумие.

8. Это были шутки Вечности с баловником и любимцем своим.

9. Каменная маска над террасой хохотала и в хохоте онемела.

10. За рекой раздавались крики тоскующих чибисов.

1. Этот сон сжег действительность. Она рассеялась черным пеплом.

2. «Пусть, пусть это только грезы, — думал пророк, — но пусть хоть раз мир поиграет в эти сны, замечается в фантазиях.

3. Что тогда помешает реальности этих грез?»

4. Так он думал, а уже сердце его замирало от сладкой печали, а уже ему в очи смотрели иные очи, синие... А уже тополя ныли густым басом под напором пролетающей Вечности.

5. Это неслись сны наяву ревушим потоком, и старики тополя, воздымая костлявые руки свои, ликовали и кричали нараспев: «Се же-нии-ии-иих гря-дет в поо-луу-у-уу-ноо-щии».

1. За окнами был рев и крик; ругались, и визжали, и молились неизвестные голоса.

2. Он видел Москву, а над Москвой громады туч с льдистыми верхами, а на туче *жена, облеченная в солнце*, держала в объятиях своих священного младенца.

3. А у ног ее распластался сам верховный пророк и глашатай Вечности.

4. Бриллианты сверкали на митре и на кресте, а золотая борода утопала в куполе туч.

5. Из-под тучи, как молния, лезвие Божьего меча разило негодников.

6. А вдали Антихрист бежал обратно на север Франции.

7. Сквозь общий крик старики тополя, как державные архиереи, воздымая костлявые руки свои, ликовали и кричали нараспев: «Чее-ее-ртооо-оо-оог Твоей вии-ждуу, Спааа-аа-се мой».

1. И опять, как всегда, два синих, печальных глаза, обрамленных рыжеватыми волосами, глядели на аскета.

2. Была улыбка и печаль. Был вопрос: «Неужели *это* правда?..»

3. С любопытством стояли у окна и смотрели на бурю.

4. Бил град. Летели обломленные ветви. Где-то в доме треснуло стекло.

5. То тут, то там высывалось на мгновенье окровавленное лезвие меча, и зычный, архидиаконский голос возглашал: «*Прррроклятие!*»

6. То еще не был Разящий, а лезвие меча среди туч.

1. Вечером шипел самовар. Безмолвно сидели вокруг стола.

2. Безмолвно зияла ночь, прильнув к окнам, и смотрела на сидящих.

3. Старинные часы плавными взмахами отбивали время.

4. Сестра разливала чай. Золотобородый аскет помешивал ложечкой в стакане.

5. Варя теребила кончик косы. Павел Мусатов взял в руки гитару.

6. Вдруг сутулый учитель заговорил твякяющим голосом; разинув рот, выпускал заряд за зарядом.

7. Его расплоснутый нос задорно сверкал на противника, а щеки Вари вспыхнули ярким румянцем.

8. Но ревнивый учитель не смотрел на Варю. Смотрел Павел Мусатов, натягивая новые струны на старую гитару.

9. Потом он кашлянул, вздохнул и покачал головой.

10. Но этого не заметил его брат.

1. Самовар шипел.
2. Кто-то прильнул к окнам, зияя впадинами глаз.
3. Но там никого не было.

1. Учитель кричал: «Это безумие!» Варя блестела негодованием на учителя.

2. Павел Мусатов толстым пальцем пробовал струну.
3. Взоры аскета сверкнули грозой, потому что он припомнил долгие годы изучения наук и философии.
4. Он отрезал своим деревяннным голосом: «Если я и безумен, то это только потому, что прошел все ступени здравости!»
5. Встал и, зевая, подошел к окну.
6. Вдруг Павел Мусатов забренчал на гитаре *персидский марш*.

1. Принесли почту. Золотобородый аскет прочитал письмо. Он сказал брату: «Завтра я еду в Москву».

2. Толстый Павел стоял за спиной Вари. Он сказал брату: «Их хорошее дело».
3. Он глазами указывал на пониющую племянницу.
4. Варя быстро вышла из комнаты.
5. Бледные губы учителя кривились, хотя он равнодушно закурировал папиросу.
6. Но аскет, погруженный в мысли, ничего не заметил.
7. Он вышел в сад.

1. Тянулась ночь. Звенели бутылки. Павел Мусатов спаивал учителя.
2. Голова учителя лежала на столе. Он кричал: «Любовь к ближним!»
3. Весело грохотал багровеющий Павел. Его лицо лоснилось и потело.
4. Одной рукой он ударял по столу; другой поднимал над головою осколок рюмки.

5. На скатерти были винные пятна. Над ними кружились мухи.
6. Гитара с оборванными струнами валялась на полу.

1. В соседней комнате было темно. Здесь была Варя.
2. Из ее глаз катились слезы. Она кусала маленький платочек.
3. Она уронила платочек на спинку кресла, а сама вышла в сад.
4. И платочек белел на спинке кресла, как будто это было чье-то лицо, зловещее и мертвенно-бледное.
5. Но здесь никого не было.

1. Всю ночь гулял аскет в саду, объятый мраком.
2. Жаркая грудь его вздымалась от вечных сказок.

3. Ему писали, что семейство грядущего *зверя* найдено и что *зверь* еще не вышел из пеленок.

4. Это был пока хорошенький мальчик, голубоглазый, обитающий на севере Франции.

5. И аскет кричал в ночных аллеях: «Вот мы воздвигнем на зверя *жену, облеченную в солнце*, как священную, снежно-серебряную хоругвь!»

6. Ночной сторож бил в железную доску.

1. Над тоскующими деревьями летело время ревушим потоком.

2. Разорванные облака уходили на туманный запад.

3. Словно кто-то, нечистый, бежал обратно на север Франции.

4. И стоял аскет на коленях, в грязи, с поднятыми к небу руками.

5. Он кричал в исступлении: «Тат твам аси!»¹ — и бил себя в грудь...

6. Светало.

1. И когда он входил в дом, уже на дворе было светло.

2. В столовой совершалось утреннее пьянство, озаренное висячей лампой.

3. Черные мухи облепили уста учителя, а Павел Мусатов, шатаясь, подошел к брату.

4. Обдавал его пьяным дыханием, бия себя в грудь.

5. Бормотал: «Шорт Прошка... Поперек дороги... Ревнив, как диавол...»

6. И, грохнувшись на колени перед аскетом, закричал: «Сергей, я безумно влюблен, но *она* — пейзажка... И ее ревнует ко мне староста Прохор...»

7. Он был красен, как баклажан. Аскет говорил ему: «Не пейте больше, а то вы сгорите от пьянства...»

1. Аскет смотрел на брата и на хилого учителя. Учителя облепили черные мухи.

2. Висячая лампа боролась с дневным светом. Гитара валялась на полу.

3. Аскет думал в священном ужасе: «Вот она — *апокалиптическая мертвенность!*»

4. Светало. Заглянув в окно, можно было видеть старика, ночного сторожа, тащившегося спать в кусты.

5. Можно было видеть на востоке кусок желтого китайского шелка.

6. А над ним небо было бледно-хризолитовое.

7. Светало.

1. Дело было к вечеру. Моросил дождь. Над ветлами кричали грачи.

2. На крыльцо вышел Павел Мусатов провожать брата Сергея.

¹ «Это все ты!»

3. Тройка рванула, гремя бубенцами. Павел Мусатов остался один на крыльце.

4. Он стоял в синей суконной поддевке и махал брату носовым платком.

5. Лицо его было красней обыкновенного. Под глазами были мешки.

6. Он пошел на гумно.

1. Бабы мели гумно. Одна из них, увидав Павла, покраснела.

2. Павел не глядел на баб.

3. Он отвернулся и от старосты Прохора, стоявшего перед ним с обнаженной головою.

4. Было холодно.

1. Вечером он стоял на террасе с Варей и молча курил сигару. Не заговаривал.

2. Варя поняла его молчаливое сочувствие.

3. За рекой пели: «Ты-и-и пра-а-сти-и-и, пра-а-а-сти-и-и, мой ми-и-и-и-и-лааай, маа-аа-юу-уу лю-бо-оовь...»

4. Из стены высунулась голова Вечности и печально повисла над стоящими.

5. Это была только маска.

1. Гробовая фата развевалась над полями.

2. В полях ехал Сергей Мусатов, повитый осенним туманом.

3. Он думал: «Это ничего... Это только отблески страха...»

4. Это с запада наплывает туманная мертвенность... Но еще мы поборемся...

5. Еще не все кончено...»

6. На западе тучи разорвались. Багряно-огненный перст вознесся над туманными полями.

7. Озаренное лицо аскета улыбалось, хотя было холодно.

8. Но тучи закрыли горизонт.

9. День потухал, как печальная свеча.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1. Лето улетело на крыльях времени. Унеслось в тоскующую даль.
2. Проползла осень. И все, к чему ни коснулась она, облетело, пролило туманные слезы.

3. Старушка зима уже давно таскалась вдоль российских изменений; шамкала и грозилась.

4. К тому времени г-жа Николаева изрыгала пламень из уст своих, аки картечница¹.

5. Свалились два миллионера, подкошенные Смертью. Один знаменитый писатель чуть не положил жизнь за други свои.

1. Великое возмущение произошло среди московских мистиков: Дрожжиковский, воюя, встал на Сергея Мусатова, подстрекаемый Шиповниковым, с.-петербургским мистиком.

2. Были словеса мнози... И примыкали к Дрожжиковскому, который пышно всходил.

3. Партия Дрожжиковского слилась с партией хитроумного Шиповникова... И к ним присоединился Мережкович.

4. Оставшиеся теснее сплотились вокруг золотобородого, с надеждой обращали к нему взор.

5. Ждали знамений.

1. С Воронухиной горы открывался горизонт. Из темных туч сиял огненный треугольник.

2. Собирались народные толпы и видели в том великое знамение.

3. Долго не расходились, толкуя.

1. Один пришел к другому, красный от ходьбы.

2. Не снимая калош, кричал из передней: «Священные дни начались над Москвой!.. Пойдем, брат, высматривать их морозным вечерком!..»

3. Воссияла на небе новая звезда!

4. С восходом ее ждем воскресения усопших... Недавно видели почившего Владимира Соловьева, как он ехал на извозчике в меховой шапке и с поднятым воротником!

5. Перед *видевшим* распахнул шубу Владимир Соловьев, показал себя и крикнул с извозчика: «Конец уже близок: желанное сбудется скоро».

6. Оба очутились на морозном холодке, и морозный холодок выкрасил им носы.

7. Быстро зашагали, свернув в пустой переулочек. Как опытные ищейки, высматривали благодать.

8. Заглядывали в окна и на чужие дворы. И сверкали очами.

9. Трубы выли. Ворота домов скрипели. Обнаженные деревья свистели, скрежеща ветвями.

10. Млечный Путь спускался ниже, чем следует. Белым туманом свисал над их головами.

¹ См. газеты за июнь.

1. Снег хрустел под ногами прохожих. Там, где днем стояла лужа, был голый лед... И случайный проходимец летал вверх пятами, пародируя европейскую цивилизацию.

2. Пара рысаков мчала ее вдоль озаренных улиц... И она, озаренная, взором впивалась в белые снега.

3. На ее щеках показался морозный румянец, а в очах отразилось вечное стремление.

4. Коралловые губы побледнели.

5. Вчера был вечер, а сегодня готовился бал... А вот сейчас она предавалась снеговому восторгу.

6. Как царица, неслась на крыльях фантазии, и ветер свистал, обдавая ее холодком.

7. Это были вечные рассказы о том, чего нет, и что могло бы быть, да не вышло.

8. И взор ее был устремлен в бездонное, и во взоре ее светилось бездонное.

9. Вот летела она, как священное видение, подымая снежную пыль.

1. Церковь Неопалимой Купины была заперта. Тем не менее изнутри ее отворили.

2. Стояли на паперти, никем не замеченные.

3. Один был в огромной шубе и меховой шапке, а другой в ватном пальто и в зимнем картузе.

4. Оба были высоки, худы и сутулы. Один казался бы церковным дьячком, если б не золотые очки, которые он снял с носа и протирал носовым платком.

5. Из-под его картуза вырывалась львиная грива серых волос. Серая борода была подстрижена.

6. Он посмотрел на ясную звезду, от которой протянулась золотая нить, и сказал, прищуриваясь: «А что, Владимир Сергеевич? Ведь это вспыхнувшая денничка!»

7. Вокруг его рта и глаз показались добрые морщинки. Он запер церковь.

8. Оба зашагали вдоль Полуэктова переулка, оживленно беседуя между собой.

1. На Девичьем поле они сидели на лавочке, занесенной снегом; закинули головы к небу, рискуя потерять в снегу свои шапки.

2. Рассматривали небо добрыми, близорукими глазами.

3. Глядели на Млечный Путь, а Млечный Путь сиял белым туманом, невозвратной мечтой и прошлой юностью.

4. Тот, на ком была меховая шапка, сказал глухим басом: «То ли еще они увидят впоследствии!»

5. Вдалеке оголенные метлы дерев потрясали черными руками, прося священного дуновения.

1. Они долго молчали, совершая таинство. Наконец тот, на ком был ватный картуз, завизжал внезапно, как ребенок.

2. Он ударил рукой по мерзлой скамейке и кричал, тряся львиной гривой волос и серой бородой: «Эээ!.. Да неельзяя же так, Влади-мир Серге-евич! Они нас совсем скомпрометируют своими нелэээпными выходками!.. Это, наконец, ди-ко!..»

3. Тут он начал сокрушать выводы Сергея Мусатова, а сидящий рядом захохотал как безумный. Стучал ногами от хохота, распахнув свою шубу.

4. Его черная, седеющая борода развевалась по ветру, а деревья трясли черными руками, прося священного дуновения.

5. Млечный Путь сиял белым туманом своим, невозвратной мечтой и прошлой юностью.

6. Наконец, пересилив смех, он сказал: «Это ничего, Барс Иванович: первый блин всегда бывает комом».

7. Двое прохожих вздрогнули от этого священного хохота, но не потрудились взглянуть в лицо хохотавшего.

8. Если бы они увидели, ужас и умиление потрясли бы их взволнованные души.

9. Они узнали бы старых друзей.

1. Долго еще сидели на лавочке, тихонько разговаривали между собой.

2. Потом они ходили по Москве и заглядывали в окна к друзьям; прикикали к холодным стеклам и крестили своих друзей.

3. Не один друг слышал постукиванье вьюги в окне, не один друг поднимал к ночным окнам свои недоумевающие глаза, прищуриваясь от лампового света.

4. Он и не знал, что стучатся к нему бывшие друзья, что крестят его своими призрачными руками.

5. Так ходили вдоль Москвы оба скитальца.

6. Наконец, грустно вздохнув, они окинули окрестность прощальным взором... Удалились до радостного свидания.

7. В Новодевичьем монастыре, среди могил, они пожали друг другу руки, расходясь на покой.

1. За широким столом восседал сам основатель неохристианства, сделавший выводы из накопившихся материалов, прошедший все ступени здравости, приявший на высшей ступени венец священного безумия.

2. Подле него сидело таинственное лицо, вернувшееся из Индии, — участник таинственных мистерий.

3. Это был загорелый мужчина с длинным носом, бритый и с золотой серьгой в ухе.

4. Был тут и теософ, приехавший из Лондона, в модном галстук и с рыжими усами.

5. Был тут и другой, знакомый, застывший в деланной позе; он много слушал, мало говорил.

6. Сиявший хозяин ходил между гостями, потирая белые руки, а его окружали мистики кольцом, вопрошая: «Кто сидит в этой деланной позе?»

7. На что тихо отвечал хозяин, приложив руку к устам: «Это бывший кантианец, разочарованный в своих идеалах... Искатель истины, побывавший в желтом доме, но и там ее не нашедший...

8. Недавно его отпустили на свободу, и он пришел познакомиться с нашими взглядами. Будемте уловлять его в наши сети...»

9. Мистики посматривали на искателя истины, а он на них.

1. В одном углу спорили о видении Соловьева, а в другом завзятый мистик учил воскрешать мертвых.

2. Он божился, что много трудился в этом направлении и уже достиг кой-каких результатов.

3. Усомнялись.

4. Приходили новые гости с лицами, красными от мороза. Приходил батюшка Иоанн в черной шелковой рясе, расправлял атласную седину.

5. Молча садился за зеленый стол, молча оглядывал шумное собрание; в синих глазах, глазах ребенка, ты увидел бы грусть.

1. Говорил Сергей Мусатов: «Приблизилось... Опять возвратилось... Началось...

2. Вы все были свидетелями того, глядя на звезду, сияющую, как и 1900 лет назад...

3. Ныне она вновь нам светит!»

4. Мужчина с серьгой в ухе переглянулся с рыжеусым теософом, а Мусатов продолжал:

5. «Он рос в тишине до того часа, пока явление его миру не стало необходимым... С часу на час ждал его объявления...

6. Но я не ввожу вас в заблуждение относительно чаши, которую нам должно выпить: это борьба с Грядущим Зверем.

7. Ныне он растет в Западной Европе.

8. Ныне весь мир с содроганием глядит на страны, обнимающие Бельгию, Голландию и север Франции...

9. Поэтому да будет священна мать нашего белого знаменосца — *жена, облеченная в солнце!*...»

1. Речь пророка была коротка. Выражения более чем странны. Но еще странней зазвучал голос таинственной особы из Индии.

2. «Сонные грезы... Мне знакомо... *Я знаю...* Вы утопаете в снах, проклиная обманчивую реальность...

3. Но ведь грезы — та же реальность, тот же обман... Вы еще не поспали без грез...»

4. Он закинул свою бритую голову, и блеснул серьгой, и каркнул черным вороном на все собрание: «Доколе, доколе они не познают тебя, о, карма!»

1. Мистики отправились пить чай, священник посмотрел на часы, теософ расправил рыжие усы свои, а особа из Индии погрузилась в беспредметность...

2. Пророк поднял голову, взглянул на морозные узоры окон, говорил недогнувшим голосом, отвечая на возражения: «Только сон без грез?

3. Странно было бы, если бы мы не прошли эту ступень, когда спали и не видели грез...

4. Но когда мы увидели то, чего еще никто не видел, — то *проснулись, вернулись обратно...*»

5. Батюшка Иоанн вынул из кармана черные очки, надел на свои больные синие очи и просматривал бумаги, лежавшие на столе.

6. Обернувшийся Мусатов ждал возражений от бритого мужчины с серьгой в ухе, но мужчина даже и не слушал Мусатова.

7. Он погружался в беспредметность, изучая безгрезное состояние.

8. Возразил батюшка, сказав робко: «Вы ошибаетесь!»

9. И когда вспыхнувший аскет был готов обрушиться на дерзкого батюшку, сверкая черными бриллиантами глаз, —

10. тогда батюшка нисколько не испугался, но снял очки и внимательно рассматривал аскета.

1. Тут вмешался теософ еврейского происхождения. Крутя рыжие усы, затянул он свою мурлыкающую песенку.

2. В модном галстуке он походил на хитрого кота, когда пожимал руку пророку, объясняясь: «Между нами и вами много общего... Мы ратуем за одно...»

3. Наш девиз — пансинтез... И нравственность мы не отделяем от знания. Религия, наука, философия — все это отличается между собою количественно, но не качественно...»

4. Но раздосадованный пророк освободил свою руку и заметил надменно: «Знаем ваши заботы о синтезе... Видим, каковы они...»

5. Мы не нуждаемся в гностических бреднях, и ваши друзья, индусы, нас не прельщают.

6. Мы не дети: любим чистое золото, а не мишуру...

7. Строя храм, вы сравниваете купол, увенчанный крестом, с основанием... Кто видел подобное построение?

8. Соединяйте себе, а мы будем подчиняться...

9. Впрочем, мы с вами еще объяснимся... Заходите ко мне на чашку чая...»

10. Здесь остановился золотобородый пророк, потому что его бросил в дрожь милый образ: это была *жена, облеченная в солнце*.

11. *Это он видел...* И поймал на себе синий Иоаннин взор, взор ребенка, светящийся порицанием.

12. Но батюшка сделал вид, что рассматривает бумаги...

1. Вся осыпанная бриллиантами, *она* стояла у морозного окна.

2. Звездный свет сиял где-то там, и она, осиянная звездным светом и луной, в белом платье своем походила на священное видение.

3. Она ехала на бал, а сейчас стояла у окна и вспоминала то, чего нет, но что могло бы быть, да не вышло.

4. Душа грустила и, грустя, веселилась... И, грустя, вырастала до неба!..

5. ...И вот сверкнула на голове ее диадема из двенадцати звезд... И она, оторвавшись от морозного окна, продолжала собираться на бал...

6. И в синих очах ее была такая ясность и такая сила, что две звезды скатились с лунного неба, трепеща от дружеского сочувствия...

1. Уже на извозчике ехал теософ, везущий с собою таинственную особу из Индии...

2. Таинственная особа из Индии равнодушно зевала. А теософ нравоучительно толковал:

3. «Все это вздор... Они идут против здравого смысла...»

4. Здравый смысл научает терпению: только через пять лет возможны неожиданности...

5. Еще пять лет... Еще пока ни о чем нельзя говорить утвердительно, ранее 1906-го года».

6. Таинственная особа из Индии равнодушно внимала голосу здравого смысла...

7. Она зевала.

1. Уже отец Иоанн, надев широкие калоши, окутанный шубой, выходил на лунную ночь.

2. ...Он думал: «Игрушки... Но опасные игрушки».

3. Был морозец. Снег поскрипывал под ногами.

4. Одинокие дворы пели от затаенной грезы: «*Возвращается... Опять возвращается*». И батюшка плотней закутался в свою шубу.

5. Он многое *знал*, но до времени молчал.

1. Ночью спали. Кто-то видел сон.

2. Стоял индус на берегу Ганга с цветком лотоса в руках.

3. Индус поучал: «Наши знания не мишура, а чистое золото...»

4. И у нас был свой Кант, свой Шеллинг, свой Гегель, свои позитивисты...

5. Вот еще!.. Нашли чем удивлять!..

6. Поучитесь-ка мудрости у Шри-Шанкара-Ачарии и у Потангали!.. Что вы знаете о *брахмане* Веданты и о *пурушах* Самкхии!..»

7. Так поучал индус спящего и отражался в волнах вверх ногами с цветком лотоса в руках.

1. Пришла масленица. Москвичам напекли жирных блинов.

2. Дни были снежные. Звенящие тройки утопали в столбах мятели.

3. Ждали объявления священного младенца. Не знали того, кто младенец, ни того, кто облечена в солнце.

4. Возлагали знание на аскета.

5. Слишком много тот учился, слишком тосковал, слишком много снял покровов, слишком полюбил Вечность.

6. Вечность зажгла новую звезду для баловника и любимца своего, и теперь весь мир любовался диковинкой.

7. Вечность указала запечатленного младенца и жену, облеченную в солнце.

8. И пока он так думал и не думал, поднимались и укрощались вьюги.

9. Тройки, звеня бубенцами, утопали в снежной пыли.

10. Что-то, ласковое, шептало: «Я не забыла вас, милые мои... Скоро увидимся!..»

1. Один сидел у другого. Оба спускались в теософскую глубину.
2. Один говорил другому: «Белый свет — свет утешительный, представляющий собою гармоничное смешение всех цветов...
3. Пурпурный свет — ветхозаветный и священный, а красный — символ мученичества.
4. Нельзя путать *красное с пурпурным*. Здесь срываются.
5. Пурпурный цвет нуменален, а красный феноменален».
6. Оба сидели в теософской глубине. Один врал другому.

1. Сквозь густой белый дым разгоралась заря, заливаясь розовым смехом; аскет проснулоя и, зевая, потянулся к ночному столику за часами.

2. Вскочил с постели и, вспоминая предстоящее свидание, послал воздушный поцелуй морозной зорьке.

3. Смеялся, как малое *дитё*.

4. Тут ему подали письмо с севера Франции. Он разорвал конверт и читал, протирая сонные очи.

1. Ему писали, что *Зверя* постигло желудочное расстройство и он отдал Богу душу, не достигши пяти лет, испугавшись своего страшного назначения.

2. В смущении тербил аскет свою золотую бородку, шептал: «Апокалипсис?»

3. Надевши пенсне, перечитывал письмо.

4. Наконец он быстро стал одеваться, и руки его дрожали от волнения.

5. А в окне над белыми снегами хохотала пунцовая зорька, безумная, взбалмошная, как малое *дитё*.

1. Белым деньком некто разговаривал со старушкой Мертваго, слушая интимные песни вьюги.

2. В окне был виден двор, занесенный снегом, и с края крыши свешивались массивные, ледяные сосульки.

3. Это был ни старый, ни молодой, но *пассивный* и *знающий*, и в разговоре со старушкой он выражал неудовольствие по поводу образа действий московских мистиков.

4. Он говорил, что их ждет разочарование, потому что они избрали неверный путь.

5. Он жалел и тосковал, следя отуманенным взором, как бледные вихри снегов, вясь, застилали от взора его ледяные сосульки.

6. Казалось, он говорил себе: «Так, Господи! Они *не видят* себя!»
7. Но старушка Мертваго не хотела понять его интимной сказки и советовала обратиться с жалобой.

1. В гостиной стояла сказка. Посмотрев на карточку, она сказала: «Проси...»

2. Машинально поправила свои рыжеватые волосы, машинально пошла навстречу золотобородому пророку, очаровательно улыбнувшись!

3. Глава неохристиан был бледен. Черные бриллианты не сверкали из-под опущенных ресниц.

4. Пушистое золото волос пало на задумчивое чело. В длиннополом сюртуке он казался повитым тайной.

5. Он воскликнул про себя: «Жена, облеченная в солнце». Он воздевал про себя свои руки, совершая мистирию.

6. А перед ним стояла сказка и вопросительно улыбалась; удивлялась появлению аскета, любезно приглашала садиться.

7. Аскет сообщал, что он явился с отказом от лекции, которую кентавр предложил ему прочесть о мистицизме на благотворительном вечере в пользу вдов и старух.

8. Время у него было занято, и он никак не мог обременять себя лишним трудом.

9. Небрежно слушала сказка его сообщение, желая поскорее его спровадить.

1. «А теперь мы поставим этот валик», — сказал жилистый генерал и, счистив с валика пыль мягкой кисточкой, вставил его и пустил в ход граммофон.

2. Из трубы вылетали гортанные звуки: «О ее-сли бы вые-скаа-заа-аать мооо-жнооо всю сии-дуу стра-дааний моо-их...»

1. Вечерняя заря хохотала над Москвой, и Мусатов сказал в волнении: «Не удивляйтесь... Я имею сообщить вам нечто важное... Когда я могу к вам явиться...»

2. Он покраснел, и удивленная сказка нетерпеливо ему заметила: «Но ведь у нас приемный час ежедневно от двух до четырех!..»

3. В эту минуту раздвинулась портьера. Вбежал хорошенький мальчик с синими глазами и кудрями по плечам.

4. Это, конечно, был младенец мужского пола, которому надлежало пасти народы жезлом железным.

5. «Милый мальчик, — сказал Сергей Мусатов, сделав нечеловеческое усилие, чтобы не выдать себя. — Как его зовут?»

6. Но смеялась сказка, обратила запечатленное лицо свое к малютке, поправила его локоны и с напускной строгостью заметила: «Нина, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не входила сюда без спросу».

7. Нина надула губки, а сказка весело заметила аскету: «Мы с мужем одеваем ее мальчиком».

8. Смеялась зорька, как малое дитё, вся красная, вся безумная.

9. Провалилось здание, построенное на шатком фундаменте; рухнули стены, поднимая пыль.

10. Вонзился нож в любящее сердце, и алая кровь потекла в скорбную чашу.

11. Свернулись небеса ненужным свитком, а сказка с очаровательной любезностью поддерживала светский разговор.

12. Вся кровь бросилась в голову обманутому пророку, и, еле держась на ногах, он поспешил проститься с недоумевающей сказкой.

1. «А вот если я поставлю этот валик, то вы услышите Петра Невского, веселого гармониста и песенника», — выкрикивал генерал, восторженный и жилистый.

2. И уже из трубы неслись гортанные звуки, слова, полные плоскости, а после каждого куплета Петр Невский приговаривал под звуки гармоники: «Ккарааа-шшооо-оо, ккарааа-шшооо-оо, иеттаа очень ккар-рааа-шшооо-оо...»

1. «Первый блин, да комом», — сказал повар в белом колпаке, глядя на неудавшийся блин.

2. «Ну ничего, авось другие выйдут...» И с этими словами он бросил блин жадному псу.

1. В булочной Савостьянова осведомились, имелись ли дрожжи в запасе и, когда узнали, что дрожжи израсходованы, распорядились о закупке новых дрожжей.

1. Оканчивалось дневное представление Художественно-общедоступного театра... За туманным пологом седой мечтатель вел свою белую женщину к ледникам, чтобы облечь ее в солнце.

2. Сорвалась лавина с пылью и грохотом, унесла их в вечный покой.

3. А сама Вечность стояла на скале в своих черных ризах, и голос ее звучал, как чересчур натянутая струна.

4. Это не было действительностью, но представлением... И *они* быстро задернули занавес, потому что нечего было представлять.

1. Один сидел у другого. Оба говорили умные вещи.

2. Один говорил другому: «Если красный свет — синоним Бога Отца, красный и белый — синоним Христа, Бога Сына, то белый — синоним чего?..»

3. «Мы уже прожили красный свет, видели Пришедшего *не водою только, но и кровью*... Теперь мы увидим третье царство, царство *белое*, слово *новое*...»

4. Один восторженно махал пальцем перед носом другого... Другой верил первому.

1. У Поповского болели зубы...

1. На углу стоял бродяга и указывал прохожим на свою наготу, распахнувшись перед ними.

2. Слева шел студент, а справа аскет... И обоим им бродяга указал перстом свою наготу.

3. Студент презирал частную благотворительность, а Мусатов не заметил бродяги.

4. Вечность шептала баловнику и любимцу своему: «Я пошутила... Ну и ты пошути... Все мы шутим...»

5. На заигрыванья Вечности обманутый пророк горделиво отмалчивался. Поднимал бровь воротник.

6. Это не была *жена, облеченная в солнце*; это была обманная сказка. Но отчего ее образ жег огнем Сергея Мусатова?..

7. Он шептал: «Не надо, не надо!..» А за ним тащился бродяга и, затаив смрадное дыхание свое, старался запустить руку в карман Мусатова.

8. Десять лет боролся бродяга с капиталом, регулировал собственность и неоднократно побывал в кутузке.

1. А уже был вечер. Москвичи безобразничали вовсю.

2. В ночлежных домах толклись хитровцы и золоторотцы.

3. В балаганах бряцали бубны, и размалеванный паяц выбежал на холод корячиться перед собравшимся людом, зазывая в притон ломанья.

4. Это веселье отличалось от истинного, которое гармонично, как настроенный оркестр... *Здесь же* попались сухие щепки.

5. Кто-то бил в турецкий барабан, и карусель дико вертелась, сверкая огненными полосами кумача, мишурным золотом и цветными лампочками.

6. Деревянные львы раздирали свои рты, а на них сидели верхом картузники, грызущие подсолнухи.

7. Загородные рестораны мерцали зловещими огнями, стараясь газом и электричеством прикрыть свою мертвенность.

8. В театре Омона обнаженные певицы выкрикивали непристойности.

1. Ужасное омертвление повисло над городом. Факелы ужаса и бреда мерцали по обеим сторонам тротуаров.

2. Лихорадочное движение не закрывало ужаса, еще более обнаруживая язвы.

3. Казалось, мстители шумели над городом своими невидимыми крыльями.

1. Ждали *утешителя*, а надвигался *мститель*...

1. Озаренный фонарными огнями пророк все еще шатался по улицам.

2. Он зашел в ресторан, чтобы потопить в вине сосущее горе.

3. Это он делал в первый раз. Вспоминал брата Павла.

4. Глотая замороженное шампанское, он восклицал в отдельном кабинете: «Не надо... Не надо... Куда мы летим?..»

5. Не пора ли остановиться?..»

1. Был концерт. Пел Шляпин. Он спел о судьбе, как она грозит.

2. Вызывали Шляпина. Говорили о Шляпине. Выходил Шляпин на вызовы.

3. Закручивая каштановые бакенбарды, выступал в антрактах багровый Небарин, раскланиваясь с присутствующими, припоминая отсутствующих.

4. Аристократическому старичку улыбалась очаровательная сказка, словно была она ангелом, а зала — царствием небесным.

5. Там стоял высокий седой Кандиславский, с черными усами, а здесь толстый кентавр вел под руку изящного брюнета с закрученными усами сквозь культурные толпы, а кругом шептали: «Смотрите, вот идет известный писатель Дрожжиковский!..»

6. Шелестели шелковые платья.

1. Но все уселись по местам, и вышла певунья, осыпанная бриллиантами.

2. Слушала сказка певунью, утомлялась жизненной суетой.

3. Сегодня был официальный обед, а вчера приемное утро, а вот сейчас она могла не улыбаться, но фантазировать.

4. Певица, сверкая бриллиантами, в пении вытягивала шею и выводила: «Гдее жее тыы, раа-даасть быы-лаааа-аа-ааа-аа-аая?.. Ах, иистаа-мии-лаааась устааа-лаа-яя».

1. Неподвижная, как изваяние, она стояла в черном клобуке, и в воздетых руках виднелись вечные четки.

2. Бледно-мраморное личико застыло в бесслезном рыданье. Как и сказка, она скучала под безлунным небом.

3. Обе томились, обе скучали, обе тянулись к безмирному.

4. У обеих было одно горе.

5. Ветер, проносясь над тихой обителью, колыхал металлические венки на засыпанных снегом могилах... И венки шелестили: «Гдее жее тыы, раа-даасть быы-лааа-аа-ааа-аа-яая?.. Ах, иистаа-мии-лаааась устааа-лаа-яя!..»

1. Пьяный и красный, он уплатил по счету и, слегка пошатываясь, вышел из ресторана.

2. Образ *жены, облученной в солнце*, смеялся ему в лицо. Он слышал знакомые слова: «Мы с мужем одеваем ее мальчиком...»

3. Тут поскользнулся пьяный Мусатов и полетел вверх пятями, пародируя европейскую цивилизацию.

4. Поднимаясь, отряхивался от снега и шептал: «Куда мы летим... Не надо, не надо!»

5. Поднимал бобровый воротник.

6. А над ним нависала мертвенность, раздавался шум невидимых крыльев.

7. Раздавались мстительные крики.

1. *Они* указали ему на открытую дверь. Он внял *их* совету.

2. Не вините его, почтеннейшие! *Они* сами ему нашептывали: «Здесь разрешишь свое недоразумение».

3. И он вошел в проклятое место, и задремавший швейцар не осведомился, что ему нужно.

4. *Они* указали на дверь, а на двери *они* приколотили дощечку с надписью.

1. Над столом спускалась висячая лампа, какие бывают во всяком казенном заведении.

2. На столе стоял графин и стакан.

3. На полу сидел красноносый, рыжий толстяк в белом колпаке и нижнем белье.

4. Он поднимал указательный палец и внятно читал лекцию невидимым.

1. «Положим, у меня в распоряжении металлическая труба.

2. Я вбиваю ее в землю, покрыв печной заслонкой отверстие. Я привожу болванов и, сняв перед их носом печную заслонку, обнаруживаю дыру».

3. Безбровый толстяк, окончив свою лекцию, самодовольно осматривался. Но тут с шумом распахнулась дверь. Оттуда выскочил худой кривляка с нависшими черными бровями, грозвым взором и всклокоченной шевелюрой.

4. Он был в нижнем белье и на босу ногу. Он закашлялся как чахоточный, увидав вошедшего Мусатова. Он подскочил к кряхтящему толстячку и шепотом велел ему молчать.

5. На что босоногий лектор возопил гласом велиим: «Петруша, разреши мне выкрикнуть еще один только ужасик!»

1. «Вы, вероятно, явились выведывать тайны, милейший мой: я к вашим услугам». С этими словами он усадил Мусатова и сам уселся перед ним, прижимая руку к груди, чтобы сдержать свой сухой кашель...

2. «Сюда редко заходят. Я нахожу это неппростительным легкомыслием: то обстоятельство, что вы видите нас, делает вам, сударь, честь...

3. Ну-с?.. Что скажете?..»

4. К тому времени оторопелый Мусатов, понявший, *в чем суть*, спросил: «Какие величайшие истины в мире?»

5. «Все утончается, дифференцируясь...»

6. «Я это сам хорошо знаю», — заметил разочарованный Мусатов, отчего кривляка вдруг пришел в неописанный восторг.

7. «Неужели? — кричал он, — вы дошли до *этого!*»

8. «Конечно: у нас это знает любой гимназист четвертого класса...»

9. «Уж не знаете ли вы и того, что все возвращается?» — вопил ломака с пояснительными жестами.

10. «Как же, знаю и это, — досадовал Мусатов, — и не за этим пришел...»

11. «В таком случае мне больше нечему учить вас, ученейший», — визжал Петенька, корча злорадную гримасу, всплеснув руками в притворном изумлении...

12. «Пожалуй, сообщу вам тайну тайн, чтобы вы успокоились: *тайн нет*».

13. Висячая лампа коптила, как во всяком казенном заведении. Смердная копоть заставляла чихать Мусатова.

14. Мусатов окончательно огорчился ломакиной ложью и, ударив по столу кулаком, неожиданно для себя громыхнул: «Не проведете, голубчики!»

15. Пьяный и наглый, он напоминал теперь своего брата, Павла.

1. «Ты не смеешь не верить, — зашелестел Петр, как осенний ветер, наклоня грозное лицо свое к лицу Мусатова, обрызгивая его слюной, как дождем, — потому что я — *сущность, вещь сама по себе!*»

2. Залпом выпил Мусатов несколько стаканов воды, схватил себя за голову и горел, как в лихорадке; в ушах его раздавались слова заговорившего толстячка: «Положим — стоит африканская жара... Я раздеваюсь донага и валяюсь на муравьиной куче... Множество маленьких насекомых впиваются в мое тело!..»

3. Толстяк ползал по полу и хохотал, хохотал до упаду.

1. «Неужели мне открылся мир четвертого измерения?» — думал Мусатов, ужасаясь устройством этого мира, а сущность вещей в образе Петрушки подсказывала: «Да, да, да, да, да! Миллион раз да! Это — так называемый мир четвертого измерения!.. Дело в том, что его не существует вовсе... Люди исколесили три измерения вдоль и поперек. Они все узнали, но не угомонились, узнавши. Подобно горьким пьяницам, им нужно все больше и больше водки, хотя водка-то вышла и бутылка пуста... Ну, вот они и придумали у себя за стеной какое-то четвертое измерение... Ну, вот они и колотят в стену, желая пробить брешь в это четвертое измерение... Пусть поберегутся! — орал он так, что стены дрогнули, и при этом блеснули белые зубы его и белки глаз. — Пусть поберегутся, потому что *Мститель* жив... Чу! Над нами шум зловещих крыльев, точно над Гоморрой в день ее гибели!..»

2. «Но за стеной есть что-нибудь?» — шептал Мусатов, помертвев.

3. «Такая же комната, с такими же обоями, как во всяком казенном заведении, с таким же чудачком, который, бия кулаком в стену, воображает, что за стеной есть что-то иное... Пусть побережется, потому что Мучитель, как огромный, мохнатый паук, расставляет сети безумцу, чтобы насладиться воспламененной кровью его!..»

4. Так сказав, Петр нахмурил свои нависшие брови, и зеленые молнии с ужасающей яростью заблестали в диких очах. Но он быстро погасил эти огоньки, закатил глаза и казался потухшим вулканом.

5. Мертвенно-бледный, сидел в глубоком безмолвии.

1. «Ну, а смерть?» — вопрошал Мусатов.

2. «Смерть — это перевод жильца из комнаты № 10000 в комнату № 10001, если на то имеются надлежащие бумаги», — сказал грозовой Петр, очнувшись, восстав из мертвых.

3. Висячая лампа медленно потухала, когда лакей во фраке принес господам по стакану чаю с баранками.

1. «Может быть соединение между Западом и Востоком?»

2. И ему в ответ Петр-Гроза: «Какое тут соединение: ведь Запад смердит разложением, а Восток не смердит только потому, что уже давным-давно разложился!»

3. «Но кому же улыбается будущее?»

4. Тут произошло маленькое затруднение: сущность вещей схватилась руками за свои сползающие кальсоны и присела от изумления; потом, стуча рукой по высокому лбу, качала укоризненно головой: «Эхма!.. Что ж ты, батенька?.. Проник в наши тайны, а не знаешь азбучной истины!..»

5. Потом она вылила графин холодной воды на голову Мусатову, приговаривая: «А негр?.. А негр?»

6. «Так негр», — сказал пророк совершенно упавшим голосом, оправляя волосы, мокрые от воды.

7. «Негр, негр! Конечно, негр!.. Черномазый, красногубый негр — вот грядущий владыка мира!»

8. Тут Мусатов уронил голову на стол и замер в порыве пьяного отчаяния.

1. Забавный толстяк читал новую лекцию невидимым.

2. «Я разрезаю живот... Вытаскиваю и прочищаю кишки... Отрезав нужный мне кусок кишки, я сшиваю отрезанные концы,

3. и дело в шляпе», — восторженно закончил он свою лекцию, а уже его попирал босоногий Петр, шепча лихорадочно: «*Опять за старое, седой греховодник!*»

4. Но толстяк жалобно умолял: «Голубчик Рieгге, разрешите мне выкрикнуть еще только один ужасик!»

5. На что Петр сказал в каком-то буревом затишье, не предвещающем ничего хорошего: «Молчи, и не обнаруживай старые язвы!»

6. Но этого уже не слышал Мусатов, сбегая с лестницы.

7. Он шептал: «Что это, Господи? Что же это такое?»

8. Он чуть не сшиб с ног черномазого негра, который гордо шел вдоль освещенной улицы в изящном цилиндре и с иголки одетый.

9. Любопытный негр посмотрел по сторонам и нагло думал: «Где же Москве до Чикаго!»

10. Под влиянием этой гнусной мысли губастая рожа улыбалась.

11. И над этим Содомом слетались грозные коршуны на смрадную пададь, радуясь желанному омертвлению.

1. А босоногие чудаки после ухода Мусатова мирно сидели за столом. Каждый помешивал ложечкой в стакане с чаем.

2. Над их головами образовалась странная особенность: это была пара настоящих рожек, выросших Бог весть почему и откуда...

3. Толстый говорил худому: «А ты искусник, а ты обманщик, а ты лгун, Петенька?»

4. При этом он хихикал.

5. Но его веселья не разделял Петр, ворча: «Пожалуй, он догадается, в чем сила... *Ведь они — хитрые...*»

1. Мне кажется, что вы увидели бы, господа, двух, которые сидели на могилах.

2. Оба были высоки, худы и сутулы; борода одного развевалась по ветру, а из-под черных, точно углем обведенных ресниц грустно смотрели серые глаза.

3. Другой был в зимнем картузе и золотых очках.

4. Один сказал другому: «Мне, Барс Иванович, все-таки жаль Мусатова, несмотря на его гордыню и самонадеянность!»

5. А другой закричал: «Ээ! Да нельзя же, Вла-ди-мир Сер-ге-е-вич, спускать им всякую нелепость!»

6. Ведь мусатовские выводы — это выводы сапожника!»

7. Быть может, это мне показалось, господа, и среди могил стояла только тоскующая красавица в бесслезных рыданиях, с вечными четками и в черном клобуке...

1. Ночью все спали. Бедные и богатые. Глупые и умные.

2. Все спали.

3. Иные спали скорчившись. Иные — разинув рты. Иные казались мертвыми.

4. Все спали.

5. И уже белый день сердито просился в окна. Казалось, что это был новый призыв к переутомленным.

6. Побуждение к новому ломанью.

1. Утром звонил колокол, потому что окончилось веселье и надвигалось великое уныние.

2. На рынках продавались сушеные грибы, и была мягкая слякоть.

3. С крыш капала сырость. Зловещее небо грозило туманной весной.

1. В кабинете сидел знаменитый ученый, развалился в кожаном кресле, и чинил карандаш.

2. Белые волосы небрежно падали на высокий лоб, прославленный многими замечательными открытиями в области наук.

3. А перед ним молодой профессор словесных наук, стоя в изящной позе, курил дорогую сигару.

4. Знаменитый ученый говорил: «Нет, я не доволен молодежью!.. Я нахожу ее нечестной, и вот почему:

5. Во всеоружии точных знаний они могли бы дать отпор всевозможным выдумкам мистицизма, оккультизма, демонизма и т.д... Но они предпочитают кокетничать с мраком...

6. В их душе поселилась любовь ко лжи. Прямолинейный свет истины режет их слабые глаза.

7. Все это было бы извинительно, если бы они верили в эти нелипости... Но ведь они им не верят...

8. Им нужны только пряные несообразности...»

9. Молодой профессор словесных наук, облокотясь на спинку кресла, почтительно выслушивал седую знаменитость, хотя его уста кривила чуть видная улыбка.

10. Он возражал самодовольно: «Все это так, но вы согласитесь, что эта реакция против научного формализма чисто временная.

11. Отметая крайности и несообразности, в корне здесь видим все то же стремление к истине.

12. Ведь дифференциация и интеграция Спенсера обнимает лишь формальную сторону явлений жизни, допуская иные толкования...

13. Ведь никто же не имеет сказать против эволюционной непрерывности. Дело идет лишь об искании смысла этой эволюции...

14. Молодежь ищет этот смысл!»

15. Знаменитый ученый грустно вздохнул, сложил перочинный ножик и заметил внушительно: «Но зачем же все они ломаются! Какое отсутствие честности и благородства в этом кривлянье...»

16. Оба они были не правы.

1. В чистенькой комнатке протоиерея, отца Благосклонского, золотобородый пророк разливался в жалобах.

2. Сюда он прибегал бледный и растерянный, и батюшка Иван держал его холодные руки.

3. «Что *это*, батюшка, что *это* такое? *Это* не было ни сном, ни действительностью?»

4. Сердце мое кровью обливается, и я весь горю огнем!»

5. Тихо склонялся белый священник над головой ужаснувшегося. Ласкал своим синим взором, взором ребенка.

6. Молча гладил его золотые кудри. Сердце аскета болезненно сжималось от этой старческой ласки.

7. А ласковый батюшка вопрошал шепотом: «Сильно ли ты любишь ее?»

8. И — растерянный ребенок — он поверял батюшке свои обманные грезы, как другому ребенку, старому и невинному.

9. На дворе была тающая слякоть, и от пасмурных туч лицо священника казалось морщинистым и желто-зеленым.

1. «Но что же это такое было вчера? Кто они? Неужели наяву происходят такие ужасы?»

2. Тут батюшка весь понурился, точно уличенный в провинности. Казалось, он был обвит чуть видимым, туманным флером.

3. Наконец он сказал, тряхнув кудрями, безнадежно махнув старенькой рукой: «Не пытайся углубляться, вопрошая, что сие.

4. Все бывает... Но об *этом* нужно молчать...

5. Разве я не вижу, что все мы летим куда-то с головокружительной быстротой!

6. Разве я не понимаю, *что это* означает!

7. Вот и сейчас: разве ты не видишь, что между нами есть что-то наносное, вредное, ужасающее!»

8. Аскет посмотрел на понурый образ старика, подернутого туманным флером; старик тревожно схватился за шейный крест.

9. Посмотрел кругом золотобородый и понял, *что не все было, как следует.*

10. Они молча взглянули друг на друга, и Сергей Мусатов прошептал: «*Так и наплывает... Так и наплывает отовсюду!*»

11. Они молча перекрестились, и батюшка прочитал: «Да воскреснет Бог!»

12. Потом усадил отец Иван Сергея Мусатова и тихонько вел речь об общих тайнах:

13. «Теперь, когда ты в несчастье, а душа твоя сгорает от любви, *они* кружатся над тобой невидимым облаком, ужасной тучею, вгоняя в отчаяние, развертывая свиток ужаса...

14. Люби и молись: все побеждает вселенская любовь!»

15. Немного сказал Иоанн о вселенской любви, ничего не принимая и не отвергая, но от этих слов повеял белый ветерок, разогнал *ужасную стаю.*

16. Вместе с белым батюшкой они стояли на тающей мостовой, повитой мрачным туманом.

17. Батюшка отправился служить вечерню, а Мусатов нанял извозчика и поехал домой, намереваясь уложиться и сегодня же вечером укатить к брату Павлу, сгорающему от пьянства в деревне.

18. На перекрестке двух улиц извозчик остановился, потому что развернулась похоронная процессия.

19. Везли усопшего столоначальника в последнее убежище.

20. Скончался Дормидонт, раб Божий, после непродолжительной, но тяжелой болезни.

21. Так проходило гробовое шествие, которое открывал служитель похоронного бюро без шапки.

22. Он держал в своих руках маленький образ, обернутый белым полотенцем.

23. День угасал, как печальная свеча.

1. «Мне скучно... Эта жизнь меня не удовлетворяет...

2. Я улыбаюсь, как кукла, а душа просит того, чего нет, но что могло бы быть, да не вышло».

3. Сказка разрыдалась у окна, поднося к синим очам надушенный платочек.

4. И молчал поникший кентавр, в огорчении кусая ногти.

5. Он делал все зависящее, чтобы развлекать любимую жену.

6. А она рыдала у окна, шепча: «Скучно, скучно!» Машинально смотрела, как на улице дворники счищали грязную слякоть.

7. На улице зажгли фонарь... И вот сверкнула в чудных волосах ее бриллиантовая звезда...

8. И она походила на священное видение.

9. День угасал, как печальная свеча.

1. Вдоль снежных равнин протянулся рельсовый путь. Вдоль рельсов бежал поезд.

2. В вагоне было холодно. Мусатов сидел, закутавшись в шубу.

3. Перед ним возникала сказка. Она язвительно смеялась ему в лицо своими коралловыми губами, а он шептал: «Люблю...»

4. За перегородкой в соседнем отделении говорили двое.

5. Один кричал: «Не говорите... Мы кое-что знаем, кой-чего ожидаем... Интересуемся Евангелием...»

6. Другой возражал: «Чепуха...»

1. Мистические выходки озлобили печать. Либералы, народники и остатки бывших марксистов, соединившись, разгромили своих малочисленных противников, опираясь на общественное мнение.

2. Одна статья обратила на себя внимание, и автор ее стал популярен.
3. Она была озаглавлена: *мистицизм и физиология*... И мистики не нашлись, что возражать.

4. До того огорчились они, узнав о бегстве Мусатова из Москвы, видя угасание новоявленной звезды.

5. Один только Шиповников, санкт-петербургский мистик, поднял брошенную перчатку и ответил заметкой, которая начиналась и оканчивалась словами: *ну так что ж?*

1. Приходили новые времена.

2. Новые времена не приносили новостей. Бог весть зачем волновались.

3. Над Москвой чуть было не разразилось ужасное бедствие.

4. С товарным поездом приехала в Москву старушка. Выйдя на площадку с корзиной в руке, она остановила обер-кондуктора и вытащила из корзины черного петуха.

5. На вопрос изумленного кондуктора, что это значит, ответила: «В прошлом году некто видел сон: отверзлись в церкви трижды Царские врата, и выходили трижды оттуда петухи: белый, красный и черный.

6. Белый означал урожай, красный — войну, а черный — болезнь.

7. Мы ели хлеб, мы дрались с желтым монголом, а теперь мы будем умирать...»

8. Вредная старушка была удалена из Москвы, а про петуха забыли.

9. Он стал бегать по Москве, и с тех пор начались чумные заболевания.

10. Но энергичные меры пресекли ужас.

1. Вечером была заря. Небо было малиновое... Беспредметная нежность разливалась по всей земле.

2. На Воронухиной горе стоял некто *спокойный и знающий*, подняв воротник ватного пальто; на нем была надета фуражка с кокардой.

3. Он смотрел на фабрики и огороды, расстилавшиеся перед его взором, и была такая сила в этом взоре и такая вера в этих чертах, что казалось — умерли страхи.

4. Кончик его носа слегка покраснел от холода, и он сказал: «Так, Господи! *Я вижу Тебя*».

5. Он пошел на чашку чаю к старушке Мертваго.

1. У старушки Мертваго сидел отец Иоанн. К ней позвонили.

2. К ней пришел ни старый, ни молодой, но *пассивный и знающий*.

3. Она представила гостя отцу Иоанну, приветливо заметив: «А вот Алексей Сергеевич Петковский... Вы о нем уже не раз слышали, батюшка».

4. И батюшка смеялся, и батюшка протягивал гостю свои старые руки, радостно замечая: «Побольше бы нам таких!..»

5. У старушки Мертваго они сидели с батюшкой за круглым столом. Самовар шипел и бросал теплый пар им в лицо.

6. В окно было видно, как темнело синее небо и потихоньку высыпали бриллианты звезд.

7. Старушка Мертваго наливала им чаю, и они тихо беседовали между собой.

8. Отец Иоанн говорил: «Это была только первая попытка... Их неудача нас не сокрушит... Мы не маловерны, мы *многого* узнали и *многого* ждем...

9. Они стояли не на истинном пути. Они погибли... Мы ничего не выводим, ни о чем не говорим... Мы только ждем, Господи, Славу Твою.

10. И разве вы не видите, что *близко*... Что уже *висит над нами*... Что недолго осталось терпеть... Что неожиданное близится...»

11. И на это собеседник отца Иоанна ответил, допивая вторую чашку чаю: «Так, Господи! Я знаю Тебя...»

12. И они молчали... И они молча слушали *вечное приближение*... И казалось — *что-то летело с шумом и пением*...

13. И казалось — где-то за стеной *близилась чьи-то шаги*...

14. И старушка Мертваго тоже молчала, тоже слушала *вечное приближение*, перемывая чашки.

15. А уже была ночь... Высыпали бриллианты звезд.

16. Млечный Путь спускался ниже, чем следует. Сиял белым туманом, невозвратной мечтой и прошлой юностью.

17. А в палисаднике дерева, воздымая костлявые руки свои под напором свежего ветерка, ликовали и кричали нараспев: «Се же-ни-иих-иих-иих гря-де-т в поо-ллуу-ууу-ууу-нооо-щиии!..»

1. И опять была юная весна. Внутри обители высился розовый собор с золотыми и белыми главами. Кругом него возвышались мраморные памятники и часовенки.

2. Шумели деревья над одинокими покойниками.

3. Это было царство застывших слез.

4. И опять, как и год тому назад, у красного домика цвела молодая яблоня белыми, душистыми цветами.

5. Это были цветы забвения болезней и печалей, это были цветы нового дня...

6. И опять, и опять под яблоней сидела монашка, судорожно сжимая четки.

7. И опять, и опять хохотала красная зорька, посылая ветерок на яблоньку...

8. И опять обсыпала яблоня монашку белыми цветами забвения...

9. Раздавался визг стрижей, и монашка бесцельно сгорала в закатном блеске...

1. И опять, и опять между могил ходила молодая красавица в весеннем туалете...

2. Это была сказка...

3. И опять, и опять они глядели друг на друга, она и монашка, улыбались, как знакомые друг другу.

4. Без слов передавали друг другу, что еще не все потеряно, что еще много святых радостей осталось для людей...

5. *Что приближается, что идет, милое, невозможное, грустно-задумчивое...*

6. И сказка, как очарованная, стояла среди могил, слушая шелест металлических венков, колымаемых ветром.

7. Перед ней раскрывалось грядущее, и загоралась она радостью...

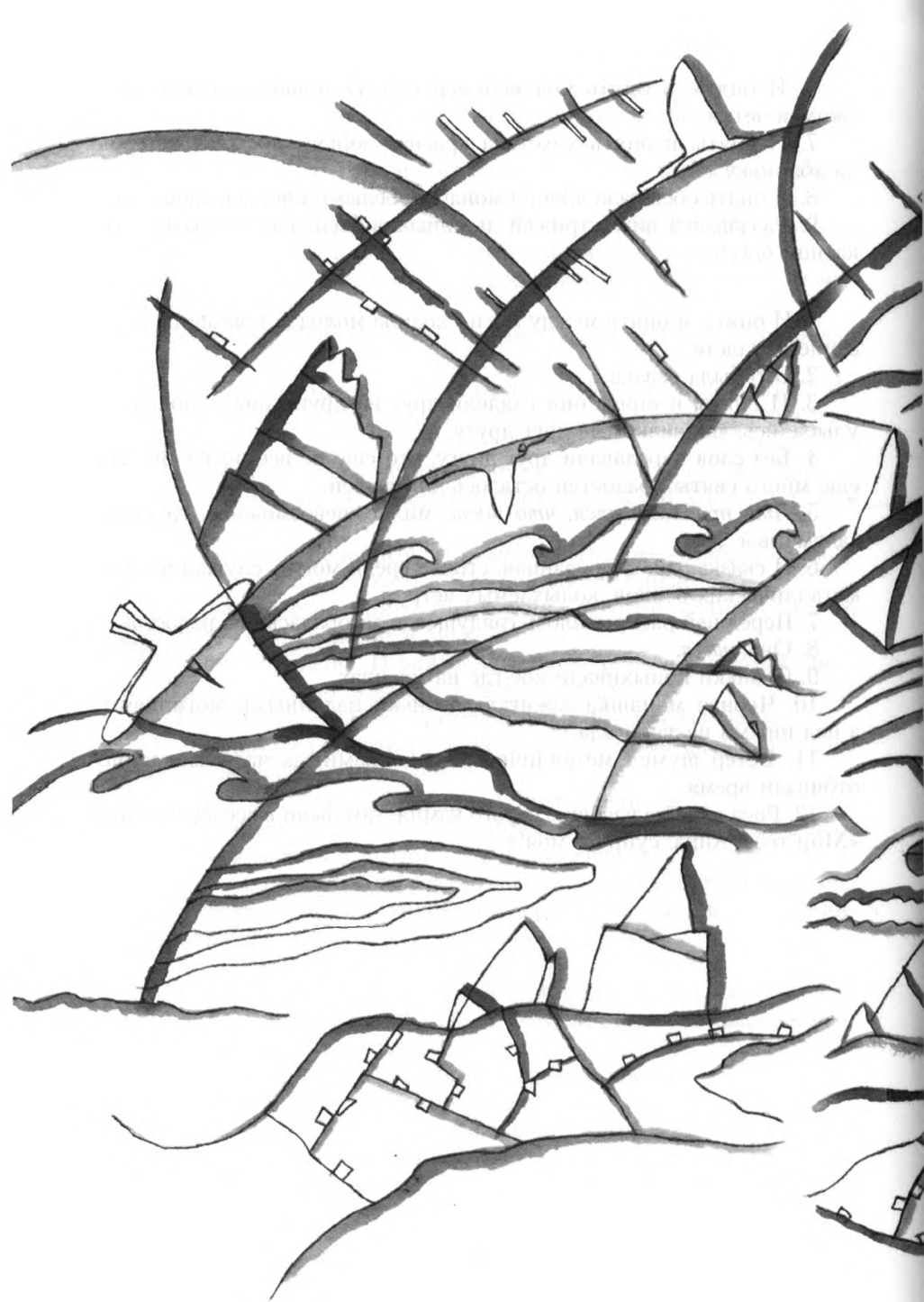
8. Она *знала*.

9. Огоньки попыхивали кое-где на могилах.

10. Черная монашка зажигала огоньки над иными могилками, а над иными не зажигала.

11. Ветер шумел металлическими венками, да часы медленно отбивали время.

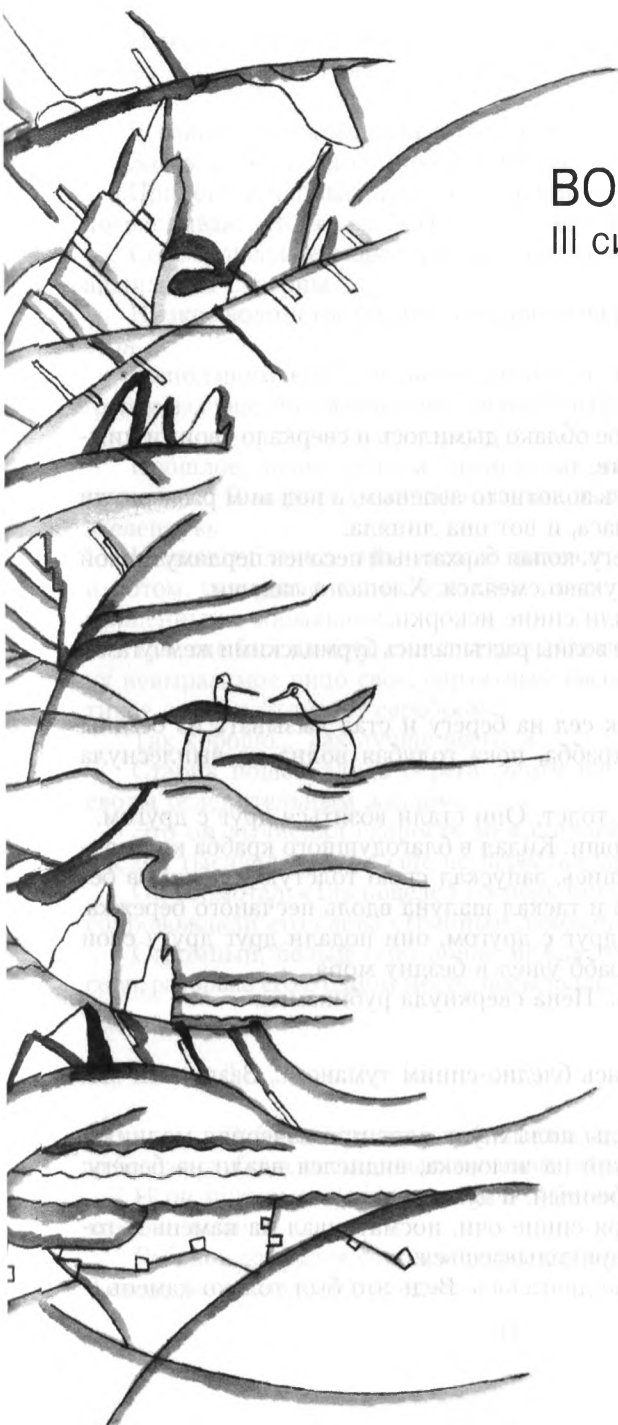
12. Роса пала на часовню серого камня; там были высечены слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя!»



ВОЗВРАТ

III симфония

I ПАКТЪ



І ЧАСТЬ

І

Серо-пепельное облако дымилося и сверкало своими нижними краями на горизонте.

Над ним небо казалось золотисто-зеленым, а под ним развернули желто-розовую ленту атласа, и вот она линия.

Ребенок играл на берегу, копая бархатный песочек перламутровой раковинной... Иногда он лукаво смеялся. Хлопал в ладоши.

А в глазах его брызгали синие искорки.

Зыбкие, ускользящие волны рассыпались бурмидскими жемчугами.

Наигравшись, ребенок сел на берегу и стал вызывать из бездны моря своего товарища, крабба, пока голубая волна не выплеснула ребенка его товарища.

Крабб был огромен и толст. Они стали возиться друг с другом.

Ребенок хлопал в ладоши. Кидал в благодушного крабба круглячками. А крабб, изловчившись, запускал свою толстую клешню в белокурую головку ребенка и таскал шалуна вдоль песчаного бережка.

Потом, навозившись друг с другом, они подали друг другу свои конечности, и толстый крабб ушел в бездну моря.

А уж близился вечер... Пена сверкнула рубинами...

Окрестность замутилась бледно-синим туманом... Зазвякали высыпающие звезды...

Из-за утеса уже дважды полыхнула ядовитая вечерняя молния.

Белый камень, похожий на человека, виднелся вдали на берегу: точно старик застыл, согбенный, и думал думу.

Ребенок смеялся, щуря синие очи, посматривал на камень и говорил: «Знаю тебя... Ты прикидываешься...»

Но белое очертание не двигалось. Ведь это был только камень.

И ребенок зевал... Поглядывая на береговое очертание, он шептал не без лукавности: «Приходи скорее...»

Ребенок боялся молнии и туманов... Он ушел на груду камней. Здесь он жил. Здесь ночевал. Отсюда он смеялся над туманами. Прилетели черные, ночные кулички... Стали бегать вдоль берега, посвистывая: «Жди-и-и...» И под эти звуки он заснул...

Серо-пепельное море отливало снежным серебром, как бы очищенным от скверны.

Низкое волнистое облако повисло над морем, закрывая лунный серп.

Выползший краб шевелил усами и щелкал клешнями. Это он грелся на суше, поглядывая на спящего хитрыми, ласковыми глазками.

Прошлое, давно забытое, вечное как мир, окутало даль сырыми пеленами... В море раздавалось сладкое рыдание: это восторг перерос вселенную.

Низкое облачко, волнуясь и дымясь, заколебалось над морем и потом, разорвавшись от восторга, понеслось куда-то вбок своими священными обрывками.

Там, где был камень, сидел старик. Он повернул к спящему ребенку невыразимое лицо свое, бархатным басом кричал спящему: «Твое тихое счастье отливает серебром...

Так хорошо... Так лучше всего...»

Старик пошел вдоль берега, чертя на песке мистические знаки своим ослепительным жезлом.

Это он вычислял скорость междупланетных танцев; уже он вычислял тысячелетия, но еще не перестал удивляться...

Он бормотал: «Так повелел Господь Бог». Глухие подземные удары сопровождали его слова странным аккомпанементом.

Огромный, белый горб повис между небом и землею, и лунный серп, разорвав его в одном месте, посылал на старика свои мягкие лучи.

II

Ребенок проснулся. Он лежал на спине. Ему казалось, что небесная глубина, истыканная звучащим золотом, спустилась к его лицу.

И он поднимал голову, но небо убегало вверх, и никто не знал, как оно высоко.

Ребенок озирался сонными глазами. Был прилив. Море подошло. Теперь оно лизало серые камни.

Вдали несли херувим багровым метеором, оставляя на море летучую полосу огня.

И море шептало: «Не надо, не надо...» И херувим рассыпался потоком искр.

Ему казалось, что вселенная заключила его в свои мировые объятия... Все опрокинулось вокруг него.

Он свесился над черной бездной, в неизмеримой глубине которой совершался бег созвездий.

Его тянуло в эти черные, вселенские объятия. Он боялся упасть в бездонное...

Это только казалось.

Все было тихо. Оставалось по-прежнему. Вдали слышались восклицания: таинственный старик совершал вычисления, радуясь бегу планет.

Стал ходить по серым камням ребенок. Успокаивал себя: «Это всё сны... И мне не страшно...»

Море шумело. Пронеслась стая черных куличков, задевая ребенка упругими крыльями.

Пахло знакомой близостью. Не успел обернуться, как его плечи закутали теплым, козым пухом, и старческая рука стала поглаживать шелковистые волосы.

Это пришел старик. Ему смеялся ребенок: «Ты опять пришел. Ты не камень...»

Старик оборвал его, гремя басом: «Так хорошо... Так лучше всего...» Сел рядом.

Тонкий, изогнутый полумесяц затерялся в голубой ясности, порвав облачные иглы, занесенные в высоту... Старик весь просиял и казался снежно-серебряным.

То он наклонялся к спящему, воздевая над ним свои благословляющие руки, то, откинувшись, сидел неподвижный, весь сверкающий.

Белоструйная седина покрывала сутулые плечи. Борода протянулась до пояса.

Серые очи — две бездны, сидевшие в огромных глазницах, — впились в успокоенную даль.

Гасли бледно-синие туманы. Убегали на запад. Изумрудно-золотой небосклон розовел.

Ребенок протирал синие очи. Шептал: «Старик еще здесь». Забылся.

Серебряно-белые ризы, ослепительный жезл старика трепетали в оранжевых искрах.

На груди старика колыхалось таинственное ожерелье из бриллиантов. Казалось, это были всё огоньки, вспыхнувшие на груди... А к ожерелью был привешен знак неизменной Вечности.

Старик молчал, но сдержанные восторги рвались из воспаленной груди его.

Казалось — он шептал: «Созвездие Волопаса прожило сто миллионов лет. Проживет и еще столько же... А к созвездию Пса приблизилась яростная комета...»

Это он вел счет своему хозяйству.

Ребенок проснулся. Старик исчез. С грустью вспоминал ночное посещение.

Взглянул туда, где торчал белый камень. Камня не было.

Нагрянувший прилив унес его в море, чтобы снова выбросить...

Ребенок задумчиво стал гулять вдоль берега. Собирал перламутры. Иногда он давил перламутры. Они хрустели под ногами.

Ветер дул ему в лицо, обсыпал бархатным песочком.

III

Белокрылый орел потряс окрестность ликующим криком, и этот крик слушал ребенок, прижавшись к черной скале...

В его глаза вставили по огромной бирюзе, и вот из глаз исходили лазурно-синие лучи, потому что ребенок слушал зов, по временам возникавший из Вечности.

Ему было грустно и весело. Он знал, что старик бродит в этих странах.

На фоне оранжевого горизонта плыл благодущный кентавр, рассекая прозрачные волны лошадиными копытами... Над морем восходил пламенный яхонт.

На него сбоку наплывала покорная туча своими длинными, узкими перстами из расплавленного золота... Скоро она все покрыла белым горбом.

Горбатые края засверкали.

К нему приполз крабб. Сидел перед ним, раскорячившись.

Оживленно толковали о текущих событиях.

Водяной обитатель спешил уведомить ребенка, что в глубинах — волнение: еще вчера к ним приполз неведомый змий и теперь залегает в кораллах.

Так говорил крабб, разводя клешнями на солнечном припеке; со слезами на глазах умолял ребенка быть осторожным, не слишком удаляться от серых камней.

Но ребенок не боялся змия: он знал, что сюда пришел и старик.

Любопытный ребенок взобрался на черную скалу, нависшую над морем. Прозрачная вода не скрывала тайн.

Звезды морские усеяли дно. Ребенок видел на дне и заснувшего змия, и бледно-розовый коралл с мелькавшими над ним бриллиантовыми рыбками.

Это была огромная змея с небольшой головой как бы теленка, увенчанной золотыми рожками.

Ребенок смеялся над спящим ужасом, шептал своим жемчужным голоском: «Ты мне не страшно, чудовище: я высоко над тобою. Мне весело! Меня защитят от твоих покушений!»

Так малютка покрикивал, то белея, то вспыхивая, но бледно-желтые волосы тихо встали над головой от неведомого ужаса.

Вдруг спящая гадина подняла телячью головку свою — облизнувшись, мгновенно скрылась в коралловых зарослях...

Обернувшийся ребенок увидел старика.

Ризы старика не сверкали, как ночью, а на мраморном челе притаилась чуть видная морщина.

Старик прошел, не глядя на ребенка, по временам нагибаясь к земле. Это он собирал жемчужины.

Водяные отрывки туч — снежно-белые, поддуваемые ветром, — так низко пролетали над скалами.

Быстрая птица, возносясь, по временам пронзала их криком.

Вечер подкрался незаметно. Снова блестела зарница ядовито-коварным пламенем. В отчетливой ясности на востоке стоял огромный утес.

По вечерам там расхаживал строгий муж, охранявший Эдем. В его руках сверкал огненный меч.

По временам он заносил над вечеряющим миром огнистое лезвие меча: тогда казалось, что вспыхивает молния.

Тонкая, изогнутая полоска серебра поднималась над волнами, и растянутые облачка засверкали, как знакомые серебряные нити на фоне бледно-голубого бархата.

Ребенок не вернулся к серым камням, но остался ночевать на черной скале. Он ничего не боялся, потому что вдали от времени до времени сверкало облачко серебром своим и потом вновь пропадало.

Любовно засматривался ребенок на далекое сверкающее облачко, шепча: «Это старик. Его ризы сверкают...»

Вдали неся херувим багровым метеором.

Когда все уснуло, все успокоилось, из морской глубины поднялась к небу точно гигантская палка. Это была морская змея.

Рогатая, телячья головка, вознесенная кверху, быстро повертывалась во все стороны, высматривая и вынюхивая.

Потом она опустилась в глубину так же бесшумно, как и поднялась.

Глядя на морскую поверхность, никто не мог бы сказать, какие ужасы водятся в глубине ее.

Ребенок видел сон. Ему казалось, что огромные змеи душат его в своих могучих объятиях.

И он просыпался, но все было тихо. Вдали, в этих мировых объятиях, чернобредовых, неся херувим багровым метеором, оставляя на море летучую полосу огня.

И море шептало: «Не надо, не надо...» И херувим рассыпался потоком искр...

С тех пор ребенок встречал старика и на крутизнах, и среди отмелей. Его молчаливый силуэт был овеян тайной. Это впечатление усиливалось, когда ребенок смотрел на сутулые плечи старика.

Тогда ему казалось, что старик *совсем особенный*.

Однажды, обернувшись невзначай, старик поймал на себе синий взор, исполненный недоумения.

Но старик не пожелал выяснить недоумения: он не заговаривал с ребенком.

В те дни воздух был прозрачен, как лучистая лазурь и как леопардова шкура. По вечерам особенно явственно вспыхивал багровый отблеск огромного меча, качаясь на волнах.

Иногда тут пролетали отголоски громов. Их нес ветерок, не давая вслушиваться в содержание этих громовых рокотов.

Здесь было ясно, но где-то не было так. Там висела грозовая туча, и ребенку казалось, что настанет день, когда туча передвинется сюда...

IV

Черные камни были навалены друг на друга. Неизвестно откуда вырастали громады, окруженные безднами и провалами.

Старик взбирался по кручам, вонзая жезл в расселины скал, а за ним карабкался ребенок, выслеживать тайны, вознесенные над землей.

Он был как в лихорадке. Глаза его сияли. Запекшиеся губы шептали: «В высоту».

Очертание мелькавшего старика безостановочно возносилось к высоте, без страха преодолевая и бездны, и кручи.

Седая голова, глубоко сидевшая в могучих плечах, была закинута назад со вскинутой бородой, раздуваемой ветром, а спина была выгнута дугой: старик сгибался, цепляясь руками за травы и кустарники, сидевшие в трещинах скал.

Черные камни высились до неба, чтобы оборваться к морю... Ветер свистал им на ухо: «В высоту...»

Они взошли. Хребты нависли над морем. Головокружение — коварная обитательница высот — вскружило им головы. Казалось, что они в небе.

Внизу шумело море крохотными волнами, а благословляющий полукруг багряного солнца быстро убежал в невозвратную глубину.

Старик не боялся. Головокружительные слова срывались с огненных уст, волнуя седину.

Бриллиантовое ожерелье блистало цветными мирами, и он отдавал солнцу летучие приказания:

«Созвездие Геркулеса обрекаю на пожар, а Сатурна замораживаю...» Это он вел счет своему хозяйству.

Стоя на высоте, старик мог ежеминутно сорваться, и ребенок дрожал от опасности. Ему хотелось крикнуть: «Спасите старика...»

Багряно-огненный полукруг убежал в глубину. От него осталась сверкающая точка.

Старик всплеснул руками и сорвался с острого хребта скал. Он не упал в водно-зеленую глубину, но исчез в пространстве между вершиной скалы и морем.

Вечерняя прозрачность была напоена грустью... Огромная белая птица тяжелыми взмахами крыл разрезала прозрачность.

Тихо покрикивая, уносилась вдаль.

Поворачивала вправо и влево свою длинную шею. Покрикивала, тихо покрикивала, смеясь над невозможным.

На пернатой шее ее сверкало ожерелье из разноцветных огоньков, а таинственный знак неизменной Вечности раскачивался, привязанный к ожерелью.

Казалось, она летела далеко, далеко, в иные миры, к иным созвездиям.

Ребенок сказал: «Это неспроста... Старик совсем особенный...»

Тут его поцеловало головокружение, и золотые струи волос заплясали вокруг головы, и он, ахнув, ухватился за камни.

Огненные персты — персты восторга — тихо гасли один за другим. Вдали еще виднелась летящая белая точка.

Скоро она затерялась вдали, стремясь в иные миры, к иным созвездиям.

Ребенок заглянул вниз, где не было дна, а только успокоенная бесконечность.

Черная скала повисла между двумя небесами.

Сверху и снизу свесилось по ребенку. Каждый впивался в своего двойника безмирно-синими очами, то белея, то вспыхивая.

Темнело. Ветер носился вдоль сонных хребтов, путая и вскидывая пушистые кудри ребенка.

Вдруг яркая молния сверкнула с востока из незаметно подкравшейся мглы.

Глухой рокот громов перекатился в туманных провалах. Дрогнули скалы, отрясая камни.

Испуганный ребенок заметил очертание строгого мужа, охранявшего Эдем, окруженного тучами бреда.

Это он возносил от времени до времени свой огненный меч над вечерним миром и с силой ударял его о скалу.

Ночью ребенок спал, беспокоясь, тихо стеной. А внизу из моря выползла страшная гадина и потащила вдоль берега, шурша и свиваясь в кольца.

Маленькая, телячья головка, увенчанная золотыми рожками, быстро повертывалась по сторонам, высматривая и вынюхивая.

Она проползла мимо нагроможденных каменных обломков, где спал ребенок, и скоро затерялась в ночи.

С тех пор в воздухе показалась как бы дымка, а жгучее беспокойство ребенка усилилось.

В тревоге он ходил за стариком, прячась и подсматривая, как бы чуя близость гадины в этих местах.

V

Была темная ночь. Беспокойный ребенок, мучимый невидимым, тихо крался за мелькавшим в тумане стариком.

Старик шествовал с огненным светочем в руках, высоко вознесенным над головою.

Скоро он потерял старика, и ходил в туманах, и жаловался.

Вдруг из тумана полыхнуло кровавое пламя. Ласковый голос нежно рокотал: «А кто это, проказник, все подсматривает за мной?..»

Ребенок заплакал, неизвестно почему. А над ним склонился белоструйный старик, и белые струи кудрей затанцевали на щеках у ребенка, точно среброрунные завитки козьего меха. Принял ребенка в свои мировые объятия, выпустив светоч из рук.

Огненный светоч потух и лежал на земле, опаленный и смрадный.

Старик. Глаза твои в слезах... Ты боишься и плачешь... Что с тобою?..

Ребенок. Я боюсь... На скале уже нельзя безопасно засматриваться в глубину. Там залегает сонный ужас между красными кораллами.

Старик. Это ничего... Это только так кажется.

Ребенок. Ветер шепчет мне, что я гибну, и ты пришел спасать от сонных опасностей... Ветер шепчет мне — будущее неизменно. Мне страшно, мне страшно, ты опять показался в этих местах... Я боюсь, что это уже не раз бывало когда-то, но кончалось печалью... Я рад, что ты здесь... Я люблю тебя, старик, но мне страшно.

Старик. Успокойся. Засни. Позабудь. Ужас еще до меня приполз подводными путями, и теперь не думаю, чтобы он осмелился подняться из глубин.

Тут повеяло дурным ветерком, и старик ужаснулся. Замолчал.

Сидел, пригорюнившись.

Отдаленное прошлое хлынуло на них от сверкающих в небе созвездий.

А к песчаному мысу плыла водяная змея, оглашая туманную окрестность протяжным ревом.

На ее спине сидел оборванец, почтительно держа гадину за позолоченные рожки, чтобы не свалиться.

Она не могла удушить ребенка и вот перетащила на спине через необъятный океан убийцу, способного на все...

Ребенок. Старик, кто это ревет так протяжно, так грустно в океане?.. Я никогда еще не слышал такого голоса...

Старик. Это морской гражданин вынырнул из глубины... Теперь он отрясает от воды свою зеленую бороду и пробует голос, потому что считает себя певцом...

Ребенок. Я знаю голоса морских граждан, и они не звучат так протяжно, так странно.

Но старик молчал. Дрожал от нехорошего холодка, обвевавшего их. Бормотал про себя: «Нет, его не спасешь... Он должен повториться... Случится одно из ненужных повторений его...

Наступает день Великого Заката».

Отдаленное прошлое хлынуло на них от сверкающих в небе созвездий...

На песчаном мысе происходило поганое совещание. Змий, свернувшись в мерзкий клубок, вытягивал свою шею и тупо мычал, а привезенный из-за туманного океана негодник покорно выслушивал приказания повелителя...

Пощипывал волчью бородку, сверкал зелеными глазками, мял в руке войлочный колпак, не смея надеть его в присутствии змеевидной гадины.

Наконец гадина поползла к морю и, тяжело шлепнувшись, пропала в волнах.

Незнакомый поганец остался один на мысе.

Он развел здесь багровый огонек и убивал время в ожидании утра.

VI

Была ночь. На громадном черном утесе, вонзавшемся в небо, сутулый старик, весь протянутый к небу, стоял, опершись на свой жезл.

Струи холодных ветров били в ночного старика, и риза его была черна как ночь. И она сливалась с ночью.

Струи холодных ветров били в ночного старика, и темнокрылая риза билась у него за спиной, протягиваясь лопастями.

Точно это были крылья ночи, и они сливались с ночью. И казалось, старик в черноте на громадном черном утесе не стоял, а летел, как летучая мышь, над миром.

И казалось, борода его протягивалась во мраке сереброрунным облачком, как туманность, собирающаяся разродиться огненными слезами созвездий, неслась в ночном круговороте времен.

И сверкающее ожерелье мерцало на груди его, и казалось, это все были звезды. Иногда мерцающая звезда — оторванный от груди бриллиант — уносился в хаосе ночи.

И старик разбрасывал бриллианты. И бриллианты, точно новые посевы миров, ослепительно кружились во мраке ночи.

Казалось, на них зарождались новые жизни, новые роды существ совершали жизненные круги.

А старик все летел, размахивая крыльями. Летел и кричал: «Ребенок повторится. На каждом застывшем бриллианте возникнет он для вечных повторений».

Но это казалось. Старик в темноте, на громадном черном утесе, не летел, а стоял. Холодные струи ветров били в него, и темнокрылая риза протягивалась лопастями.

И по мере того, как на небо восходил белый день, темная риза его просветлялась чище снега.

Прозрачно-зеленое море подмигивало своею поверхностью, ударяясь о берег звонкими всплесками. Нежное, хрупкое, стеклянное небо казалось золотисто-зеленым... Только одни горизонты дымились лилово-багряным.

А то все было зелено.

Но еще зеленей был морской черт, поднявшийся из глубины, чтобы покричать на солнечном восходе.

Он простирал свои перепончатые лапы к недоступной, но милой суше, вращая темно-красными глазками...

Это был добродушный черт — обитатель моря.

Вокруг него побежали круги, отливая лилово-багряным.

Над зелеными волнами стали просвечивать атласные, тонко-розовые одежды морских красавиц, которые то приближались к поверхности, то удалялись в глубину.

Но это не были одежды красавиц, а нежно-заревые блики.

Вот уже зеленый морской черт, покричав и поплавав, нырнул в глубину: он плеснул серебристо-чешуйчатым хвостом своим.

Все было пустынно и тихо.

Один лишь сутулый старик думал думу на крутом утесе.

Глаза его — две серые бездны, сидевшие в глубоких глазницах, — казались *совсем особенными*.

Таинственный знак неизменной Вечности висел на старческой груди.

Он тихо покачивался...

VII

Еще с утра в этих местах показался Царь-Ветер.

Теперь он гудел в большую раковину, сидя на гранитной глыбе.

И неслись эти плачевные звуки, жалуясь и унывая.

Шла буря.

Старик явился, как вихрь. Его волосы метались. Одежды старика рвались прочь.

В голосе раздавалось сдержанное негодование.

Ребенок понял, что не он предмет раздражения. Кто-то посторонний, проникший *даже сюда*, возбуждал негодование.

Старик взял его за руку и сказал: «Сегодня решится твоя участь». И повел.

Безмирно-синее пространство, равнодушно смеясь над головами путешественников, провожало их долгим взором.

Грот был в глубине залива. Черно-серые камни высились над ним. На противоположном берегу лежали горбуны-великаны, и торчали их горбатые груди.

Это были граниты.

Ослепительная синь, заслоняемая пышно водяными куполами, пышно смеялась над гранитами.

Внутри грота было темно и влажно.

Сверху падали водяные струи и вытекали из грота алмазным ручейком с опрокинутым в нем безмирно-синим пространством.

Кто-то бегал над гротом в длинном войлочном колпаке, потрясал коричневым рваньем и задорной бородкой, протягивал в синеющую даль залива свои мохнатые руки.

В одной руке он держал большую желто-красную раковину и то прикладывал к отверстию раковины свои кровавые уста, выводя звуки и морща лоб, то прижимал ее к длинному уху, чтобы слушать, то выделывал кривыми ногами поганые скачки.

Он с ужимками славил бурю. Волчья кровожадность от времени до времени заливала багрянцем его землистое лицо.

Это был Царь-Ветер — душевнобольной.

Сюда привел старик ребенка.

Царь-Ветер быстро спрятался в камнях. Только войлочный колпак его торчал из-за серого камня, да порой раздавалось сдержанное чиханье.

И от этого чиханья трогалась серебряно-белая пыль, крутясь и вновь расстилаясь вдоль берега.

Ревучие волны, вскипая, перескакивали через прибрежный бурун. Черный буревестник распластался над морем.

Старик сказал: «Это грот дум. Здесь *впервые узнают*. Отсюда *впервые спускаются*. Отправляются путешествовать...

Теперь наступило... Ты должен... Необходимо...»

И когда ребенок спросил, что наступило, старик отвернулся и вышел из темного грота.

Сел думать у низкого входа его, запахнувшись в плащ. Сутулые плечи старика были высоко подняты. Казалось, миры вращались вокруг его священной бороды.

Ветерок заиграл мягкими белыми кудрями. Пушистые пряди то вставали над огромным челом, то вновь прижимались к старческим щекам.

Точно они заигрывали с вечно-глубокой думой, зажженной в глазницах. Точно они просили: «Полегче, полегче... Не так серьезно...»

А из-за серых камней раздавался негодующий свист и чиханье: трогалась серебряно-белая пыль и, крутясь, мчалась вдоль берега.

Иногда из-за серых камней в неподвижного старика летели круглячки и чертовы пальцы.

Иногда показывалась голова душевнобольного колпачника, искаженная гримасой и совершенно бледная...

Иногда колпачник вскрикивал от избытка негодования, как кошка, у которой защемили хвост, и при этом скрывался за камни.

Тут у входа в грот произошло нечто странное. Солнце пронзило туман, окатив старика, который встал с камня и заостенел в глухом порыве.

Вспыхнуло ожерелье старика на белой груди, и знак Вечности заколыхался от ветра.

Но старик разорвал на груди свое ожерелье, и бриллианты, как огненные слезы, упали на песок.

Потом он ушел, неизвестно куда, и померкло солнце.

VIII

Как только скрылся старик, неизвестный стал забрасывать в грот, стоя над ним, круглячки и чертовы пальцы.

А когда ребенок выходил из грота, он быстро прятался в камнях.

Наконец неизвестному надоела игра в прятки. Он заглянул во внутренность грота.

Ребенок успел заметить его войлочный колпак и землисто-бледное лицо, обрамленное волчьей бородкой.

Скоро колпачник не утерпел, и силуэт его загородил свет у входа в грот.

Он медлил, высматривая, нет ли где старика, а когда убедился, что старик далеко, развязно вошел в грот.

Его зеленые глаза, точно два гвоздя, воткнулись в ребенка.

Он молча уселся на сером камне, набил свою трубку вонючим порошком.

Он предложил и ребенку шепотку вонючести и деловито заметил: «Ну, вот посидим... обсудим, что и как...»

Но ребенок отверг курево.

Потом он зажег трубку и стал попыхивать дымок, а ребенок с удивлением посматривал на пришедшего, соображая: «Кто бы это мог быть?»

Отовсюду неслись унылые звуки. Точно во всех отверстиях заиграли на волынке.

Они начали беседу с непонятной боязни ребенка, а потом перешли и к любопытству.

Боязнь незнакомец назвал позорной слабостью, а любопытство одобрил.

Чистые, солнечные струи окончательно перестали врываться: бледно-пасмурная грусть, — только она неизменно глядела теперь в отверстие грота.

Незнакомец упомянул о старике, с брезгливой гримасой заметил: «Прехитрый старикашка». Обвинял его в укрывательстве тайн.

Ребенок слушал с открытым ртом странные доводы зеленоглазого колпачника, поражаясь сочетанием глубины и юмора.

Струевой смех — безнадежный, печальный — раздавался в пещере, и под звук этого смеха текла речь колпачника.

Он стал рассказывать вещую сказку о Хандрикове, и по мере того, как выяснялась эта сказка, румянец сбегал со щек задрожавшего ребенка.

Наконец сказка была кончена. Колпачник с трубкой в зубах отвернулся от ребенка, равнодушно вздернув свою волчью бородку, делая вид, что он тут в стороне, а зеленый пламенек, вспыхнувший в глазках, говорил о противном.

И когда ребенок воскликнул: «*Я не верю, что это правда*», то колпачник сказал: «А если не веришь, посмотри в дыру, зияющую в ноздреватом камне...»

Тут он надвинул на волосы свой мягкий колпак, положил ногу на ногу, производя носком правой ноги вращательное движение, свирепо затянулся зловонным дымом.

Потом он сложил воронкой кровавые уста свои и, выпустив синие кольца заглотанного дыма, еще пронзил их общей струей.

Встал и ушел.

Ребенок остался один. Он думал, то белея, то вспыхивая.

Потом он приник к черной дыре, зиявшей в ноздреватом камне...

Страшно знакомым пахнуло на ребенка, будто разверзлись хляби Вечности.

В струевом смехе водопада раздавалась жалобная грусть, низвергающаяся сотнями жемчужин...

IX

А уж к нему приближался старик, пронзая его безднами глаз.

Он занес руки над головой, а в руках держал венок алых роз — венок кровавых огней.

Он тихо поцеловал бело-бледного ребенка, возложив на него эти кровавые огни.

Он заметил горьким, любовным шепотом: «Венчаю тебя страданием...»

Но поднявшийся ветер обдул нежные, ароматные лепестки с белокурой головки. Понес их в безбрежное.

Скоро эти жгучие огоньки потухли в свинцовой дали.

И тут обоим им открылось странное зрелище.

На туманном берегу шагал высокий пернатый муж с птичьей головой.

Белые перья топорщились на шее, когда он раскрывал свой желтый орлиный клюв.

И сказал старик, указывая на мужа: «Вот орел: я пошлю его к тебе, когда наступит время.

Ты уйдешь. Мы не увидим тебя. Пустыня страданий развернется вверх, вниз и по сторонам.

Тщетно ты будешь перебегать пространства — необъятная пустыня сохранит тебя в своих холодных объятиях...

Тщетен будет твой голос...

Но пробьет час. *Наступит развязка. И вот пошлю к тебе орла.*

Ребенок смотрел на пернатого мужа, шептал: «Орел. Милый...»

Грянул ливень. Водяные потоки заслонили орла, и он потонул в тумане.

Еще немного они помолчали, сжимая друг друга в прощальных объятиях.

Старик сказал: «До свидания... Там, в пустынях, жди орла...»

Старик уходил в туман, направляя свой путь к созвездию Геркулеса. Льющаяся сырость занавесила его.

Одинокий грот, точно разинутая пасть, зиял из туманной мглы, а над гротом торчали черные глыбы с бледно-мраморными жилками.

Вдоль их каменных грудей мчались туманные отрывки, облизывая эти груди, цепляясь за них.

На глыбах потешался Ветряный Царь, потрясая лохмотьями и взывая. Мокрый войлочный колпак, пробитый ливнем, грустно повис набок.

В руке он держал корявую раковину. Размахнувшись, разбил ее о камни в ликующем восторге.

Иногда растрепанный отрывок тумана заслонял Ветряного Царя; но он с криком прорывал туманный обрывок, просовывал свою мохнатую, волчью голову, голоса, как буревестник.

Буря ушла. Заря очистилась.

Морская поверхность казалась пересыпающейся бездной изумрудов вперемежку с багряными рубинами.

Ребенок сидел на сыром берегу, уронив голову на колени.

Бесконечная пустыня распластывалась вверх, вниз и по сторонам.

А старика уже не было с ним...

Толстый краб приполз к ребенку и сжал его в своих сухих, кожистых объятиях, словно прощаясь с ним навеки.

И потом вновь ушел в глубину.

Вдали показался парус и вновь скрылся из виду.

А старика не было с ним...

Морской гражданин, лысый, зеленобородый, курносый, привел выводок низколобых сыновей на ближнюю скалу и учил их низвергаться в пучину.

То он стоял на вершине скалы. В лучах заката горело пламенное лицо его; испуская ревы, он похлопывал себя по вздутому животу.

То с вытянутыми руками низвергался в изумрудную пучину, образуя своим падением рубиновый водоворот.

На скале топтались низколобые сыновья морского гражданина, потрясали руками с растопыренными, перепончатыми пальцами. Тихо покрикивали, испуганные высотой.

А толстопузый старик, нырявший в морских изумрудах, кричал им: «Ну-ка, ну-ка, сынишки... У кого хватит смелости?..»

Его зеленая борода плавала вокруг него, а лысина блестела на заре...

С удивлением ребенок смотрел на жизнь, еще недавно закрытую от его взоров, грустно вспоминая свое прежнее, закатившееся знакомство.

Старика уже не было с ним...

Темнело. Красный диск, пущенный из-за горизонта рукой великана, плавно возносился в вечернюю глубину.

Бледно-снежные, длинные иглы, высоко замерзшие в небесах, составляли перистое облако. Точно позабытая сеть, оно двигалось по небу.

Засверкавший месяц попал в эту сеть и грустно мерк, пойманный в ловушку.

Ребенок засыпал. Ему казалось, что все *осталось по-прежнему*.

А старика уже не было с ним...

Засверкавший месяц, порвав коварную сеть, продолжал возноситься в безмятежную чистоту.

II ЧАСТЬ

I

Он проснулся. Был мрачно-серый грот. Раздавался знакомый шум моря.

Но не было так: разбудила супруга. Бегала вдоль маленьких комнат. Шлепала туфлями. Ворчала на прислугу.

Все напоминало, что сон кончился. Пропал безвозвратно.

Ушел до следующей ночи.

Знакомый шум моря по-прежнему раздавался из-за перегородки, оклеенной дешевыми обоями.

Но и это не было так: за перегородкой не было моря. Шипел самовар на круглом, чайном столике.

Вскочил как ошпаренный. Удивлялся, недоумевая, откуда вернулся, тщетно вспоминая, где был.

Припомнилось и время, и пространство, и он сам, магистрант Хандриков.

«Да-а», — сказал он, почесываясь, и стал надевать сапоги.

За утренним чаем сидели супруги Хандриковы. Вокруг них ходил неприятный ребенок с капризным, дряблым личиком.

Софья Чижиговна обжигалась чаем. Спешила на урок.

Малютка споткнулся. Упал. Распластался на полу, как большая морская звезда. Заорал кошкой.

Хандриков стал утешать малютку. Ползал на карачках. Изображал лошадку.

Но малютка отворачивал от него свое дряблое личико. Заливался слезами. Наливался кровью.

И сам магистрант, Евгений Хандриков, дивился себе, ползающему в пространстве, потому что в душе он таил надежду, что кругом *все сон, что нет никого*, что бесконечная пустыня протянулась вверх, вниз и по сторонам, что он окутан туманной беспредметностью и звездные миры тихо вращаются в его комнате.

Это он думал, ползая на карачках.

А Софья Чижиговна указывала на ползающего, присовокупляя: «Не плачь, Гришенька: вот лошадка».

Все было чуждо. Самовар потух. В трубе кто-то выл, потому что на улице стоял ветер, и Хандрикову казалось, что это — сигнал, подаваемый Вечностью для ободрения затерянного, чтобы у него не была отнята последняя надежда.

Он бежал в незнакомых пространствах мимо обычных домов с поднятым воротником, потирая то нос, то уши.

Что-то пытаясь передать, ветер поддувал его холодное пальто. Пахло дымом. Телеграфный столб глухо рокотал. Угрюмые дворники окачивали песком ноги пешеходов.

Иней осаждался, словно туманная беспредметность, и мелькали служаки, покрытые инеем.

Они спешили в притоны работы, выпуская струи пара, и узнавали друг друга в этих утренних встречах.

Тонкий, как палка, бледнолицый юноша спешил все туда же. Бык Баранович Мясо казался дельфином в енотовой шубе и с портфелем под мышкой.

Но Хандриков не смущался ежедневными образами, он бежал в лабораторию.

Перед ним протянулась улица. Конка тоскливо хрипела, жалуясь на безвременье.

Трубы выпускали бездну дыма, а над дымом стоял морозный пожар.

II

В лабораторном чаду тускнели угрюмые студенческие силуэты, еще с утра притаившиеся со всех концов Москвы.

Все они сходились в одном: равно дымили, производя зловоние.

Хотя тот нюхал пробирки, а этот их мыл; тот зажигал багровенькое пламя, а тот уничтожал его.

В их бесцветных очах не отражалось тусклое отчаяние.

Хандриков прибежал в лабораторию. Запалив огонек, перегонял покорные жидкости из сосуда в сосуд, не обращая внимания на планетный бег.

Земля вертелась вокруг солнца. Солнце мчалось неизвестно куда, приближаясь к созвездию Геркулеса.

Никакие знания не могли занавесить эту вопиющую неизвестность.

Наклонилось мертвенное лицо, и два глаза, как зеленые гвозди, воткнулись в Хандрикова. Кровавые уста собирались улыбаться, но волчья борода скрывала эту усмешку.

Чем-то страшным, знакомым пахнуло на вздрогнувшего магистранта. Он тихо вскрикнул.

Но то был только доцент химии, незаметно пришедший и теперь наблюдавший работу Хандрикова.

Доцент метил в профессора. Он был сух и позитивен. Он заговорил о новом способе добывания серной кислоты, а мертвенное лицо его, казалось, таило в себе порывы неистовств.

В настоящую минуту он вел тяжбу с психиатром Орловым, и этим объяснялся мертвенный цвет его лица.

«Маска», — подумал Хандриков, созерцая страшно знакомое доцентское лицо, в котором для всякого другого не было ничего особенного.

Он прислушивался к спокойному течению речи, в которой можно было заметить странное сочетание глубины и юмора.

Они не любили друг друга.

III

Магистрант Хандриков уже восемь лет бегал в лабораторию и уже плевал кровью.

Он часто задумывался. Товарищи называли философом Хандрикова в знак презрения к его думам.

Доцент же сомневался, чтобы точное знание было предметом этих дум.

Был Хандриков росту малого и сложения тонкого. Имел востренький носик и белобрысенькую бородку.

Когда он задумывался, то его губы отвисали, а в глазах вспыхивали синие искорки. Он становился похожим на ребенка, обросшего бородой.

В лаборатории бегал Хандриков в прожженном пиджачке. Так же он бегал и дома, а в гости надевал черный сюртук и казался еще меньше от этого.

Хандриков больше молчал. Иногда его прорывало. Тогда он брызгал слюной и выкрикивал дикость за дикостью своим кричащим тенорком, прижимая худую руку к надорванной груди.

С ним происходило. На него *налетало*. Тогда он убегал от мира. Улетучивался.

Между ним и миром возникали недоразумения. Возникали провалы. За все это товарищи называли его чудаком.

Слушая сигнал, подаваемый Вечностью, вот и сейчас он пролетел сквозь призрачную видимость. Застыл с горелкой в руке, перегревая колбу с жидкостью.

Дребезжа стеклами, лопалась колба. И товарищи хохотали, когда улетучившийся Хандриков пришел из пространств. Вернулся обратно. Обтирался от жидкости едкого запаха.

Говорили лаборанты, зажимая носы: «Опять Хандриков разбил стеклянку». И открывали форточки.

Сутулая Софья Чижиковна шагала с урока на урок. Увидев стену, заклеенную объявлениями, она вскинула пенсне на свой красный нос.

Объявлялись лекции и «Об оздоровлении русской женщины», и «О Германии», и о многом другом.

Объявлялось, что Фрич прочтет «О всем новом», а Грач «О старом»; Меч «О южном полюсе», а Чиж «О больном таланте».

Всё до конца прочтя, вознамерилась Софья Чижиговна прослушать лекции Чижа и Грача.

IV

Вечерело. Профессор Грибоедов доканчивал свою лекцию «О буддизме», а профессор Трупов «О грибах».

Оба были взволнованы своим чтением, но слушатели обоих были равно спокойны. Оба походили на старинных кентавров.

Вечерело. Студенты расходились в рваных шубах, спеша в кухмистерские. На усталых лицах трепетали суровые тени, когда они глухо перекидывались словами.

В тусклых глазах не отражалось отчаянье.

Хандриков тщетно обращался к своему молчаливому, точно призрачному, товарищу, шагая по комнате.

Тот упорно встряхивал жидкость в пробирке.

Хандрикову казалось, что он один. Страшно было ему — страшно было ему в одиночестве.

И он оглушал себя собственным голосом, чтоб заглушить в душе своей вопиющие зовы вселенной.

Говорил: «Кто живет жизнью живой? Кто пользуется нашим трудом? Для чего мы трудимся?»

«Перетаскивают из города в город и, перетащив, вновь затягивают лямку на шее. Нас лечат, когда мы больны, и потом снова портят здоровье.

Себя, о, себя отдаем мы в труде и неволе. Нас не убьют, не заморозят, не дадут умереть с голоду.

Где же *да*, которое мы отдаем?»

Угрюмо сопел призрачно-бледный лаборант, истощенный трудом и усталостью. Заткнув большим пальцем пробирку, потряхивал ею.

Из-за тумана выползала луна над тяжело-черными громадами зданий. Заволакивалась дымом, как венчальной фатою.

Казалось, она хотела сказать: «А вот и вечер, вот я... Вот будет ночь... И вы уснете...»

Площадка, куда выходили двери различных квартир, озарилась слабо брезжущим фонарем.

Одна из дверей распахнулась. Оттуда выбежала сутулая Софья Чижиковна и, как сумасшедшая, бросилась вниз по ступеням.

Она проголодалась. Она устала. Она стосковалась по муже.

И вот неслась сутулая Софья Чижиковна по ступеням, поспешая в холодный дом свой.

Хандрикову казалось, что он один. Ему было страшно — ему было страшно в одиночестве.

Говорил. Оглушал себя собственным голосом. А Вечность зывала и в душе, и в окнах лаборатории.

Говорил: «Работаю на Ивана. Иван на Петра. А Петр на меня. Души свои отдаем друг за друга.

Остаемся бездушными, получая лишь необходимое право на существование...

Получая ноль, становимся нулями. Сумма нулей — ноль...

Это — ужас...»

Все ужасалось и разверзалось, зияя. Над головою повисла пасть — пропасть Вечности. Серые стены лаборатории казались подземными пещерами. Вдали раздавался шум моря. Но это была электрическая печь.

Тут Хандриков успокоился. Ему показалось, что он затерялся в пустынях.

Из-за тумана над громадами домов смеялась луна, повитая венчальной фатой.

Она хотела сказать: «Вот я, круглая, как ноль... Я тоже ноль. Не унывайте...»

Тут призрачный лаборант поспешил обнаружить свое присутствие. Встряхнул пробиркой. Внезапно поднес ее к носу Хандрикова, ототкнув отверстие.

Свирепо отрезал: «Чем пахнет?»

V

Хандриков прыгнул в конку. Стоя на площадке, склонялся. Сквозь бледные стекла созерцал жавшихся друг к другу пассажиров.

Грустно они поникали при свете фонаря.

Все они были, бесспорно, разных образов мысли, но сошлись в одном пункте — у Ильинских ворот.

Теперь они предельвали одно общее дело: мчались по Воздвиженке к Арбату.

Казалось, в замкнутом пространстве был особый мир, случайно возникший у Ильинских ворот, со звездами и туманными пятнами,

а приникший к бледному стеклу Хандриков из другого мира созерцал эту вселенную.

Он думал: «Быть может, наш мир — это только конка, везомая тощими лошадьми вдоль бесконечных рельсов. И мы, пассажиры, скоро разойдемся по разным вселенным...»

Замерзший кондуктор, греясь от холода, вытопатывал ногами рядом с Хандриковым. Точно он глумился над дикой грезой его.

Зверски-сосредоточенно вперил кондуктор в мгlistую даль улицы свое лицо, замерзшее от мороза.

Вокруг бежали незнакомцы и знакомцы, покрытые шерстью. Точно это были медведи и фавны. Нет, это были люди.

Мимо промчался кентавр, дико ржа и махая палкой, а рядом с ним мчалась лошадь. Но это был мальчишка-коночник.

И вспомнил Хандриков, что все это уже совершалось и что еще до создания мира конки тащились по всем направлениям.

VI

Прибежали усталые Хандриковы. Кушали после трудов; им подали сосиски с кислой капустой.

Они казались трупами, посаженными за стол.

Передавали друг другу свои тусклые, дневные впечатления. Давился Хандриков сосиской, раздражаясь деланным смехом.

В стекла просилась ночь. Отражались их тусклые образы — полинявшие, словно занесенные туманом.

Внимательный наблюдатель заметил бы, что отражение Хандрикова не смеялось: ужас и отчаяние кривили это отраженное лицо...

А все отражение тряслось от бесслезных криков и рыданий.

Голубая ночь пронизала воздушно-черное пространство. Голубая ночь ослепила прохожих.

Человек с мертвенно-бледным лицом и кровавыми устами, не ослепленный ночью, выставил из шубы волчью бородку.

Стучал калошами по толстому льду.

На голове его была серая барашковая шапка, торчащая колпаком. Скоро колпачник позвонился у подъезда.

Немного спустя он сидел в уютном кабинете профессора Трупова, потирая замороженные руки.

Это был доцент химии — Ценх.

Скоро к нему вышел маститый, седой Трупов с огромной лысиной и в золотых очках. Скоро они сидели друг перед другом, и доцент рас-

сказывал то о своем процессе с психиатром Орловым, то о состоянии химии, то о молодых силах, работающих в области химии.

Перечислял по пальцам лаборантов и магистрантов, иных хвалил, многих порицал.

Упомянув о Хандрикове, безнадежно махнул рукою и сказал с раздражением: «Бездарность». Его лицо таило порывы неистовств и казалось маской.

Он закурил папиросу и продолжал свою речь. Выпускал дымовые кольца из кровавых уст своих, сложенных воронкой. Пронзил их общей струей.

Его речи поражали сочетанием глубины и юмора. Но этого не замечал профессор Трупов.

Сняв с толстого носа свои очки, он протирал их носовым платком и казался старинным кентавром.

Подкрался сон. Нянчил Хандрикова, как ребенка больного и запуганного.

Улыбнулся химик этим сказкам, возникавшим с ночью, а желтая супруга положила руку на плечо Хандрикова и шепнула: «Отчего ты не нежен со мной?»

Ей не отвечал Хандриков. Отмахивался, как от мухи. Шел спать.

Натягивая одеяло, думал: «Ну, теперь все кончится. Все улетит. Сейчас провалишься».

На плач ребенка сонный Хандриков поднимался с постели. Сажал крикуна на плечи и, точно призрак, ходил по комнатам в нижнем белье.

Луна окачивала призрачного Хандрикова своим грустным светом. Кто-то сонный, ластясь, приговаривал: «Теперь ночь... Что ж ты не спишь?»

VII

На другой день был праздник. Размякло. Совершилась оттепель. Хандриков зашел побриться.

Его увидели пеленами. Облеченный в белые одежды ухватился за щеку Хандрикова и намылил ее.

Хандриков глядел в зеркало, и оттуда глядел на него Хандриков, а против него другое зеркало отражало первое.

Там сидела пара Хандриковых. И еще дальше опять пара Хандриковых с позеленевшими лицами, а в бесконечной дали можно было усмотреть еще пару Хандриковых, уже совершенно зеленых.

Хандриков думал: «Уже не раз я сидел вот так, созерцая многочисленные отражения свои. И в скором времени опять их увижу.

Может быть, где-то в иных вселенных отражаюсь я, и там живет Хандриков, подобный мне.

Каждая вселенная заключает в себе Хандрикова... А во времени уже не раз повторялся этот Хандриков».

Но облеченный в белую одежду оборвал вещую сказку. Он освободил химика от пелены и галантерейно заметил: «За бритве и стрижку 40 копеек»...

С крыш капало. Весело чирикали воробьи. В книжном магазине продавали рассказы Чирикова.

И весенний ветерок дул в Хандрикова, прохладя обритое место. Низкие, пепельные облака налетали с запада.

Одинокое сердце его почуяло неведомую близость кого-то, ухившего надолго и снова пришедшего для свиданий.

Он пошел в баню.

VIII

Общие бани были роскошны. На мраморных досках сидели голые, озабоченные люди, покрытые мылом и в небывалых положениях.

Здесь седовласый старик со вздутым животом окатил себя из серебряной шайки и сказал: «Уф...» Там яростный банщик скреб голову молодому скелету.

В соседнем отделении был мраморный бассейн, украшенный чугунными изображениями морских обитателей.

Изумрудно-зеленое волнение не прекращалось в прохладном бассейне, зажигая волны рубинами.

Сюда пришел седовласый старик, окативший себя кипятком из серебряной шайки, и привел сына. Стоя над бассейном, учил сына низвергаться в бассейн.

То, испуская ревы, он похлопывал себя по вздутому животу, озаренный кровавыми огоньками. То с вытянутыми руками низвергался в волны, образуя своим падением рубиновый водоворот; от него разбегались на волнах красные световые кольца и разбивались о мраморные берега.

Хандриков вымылся в бане. Теперь он стоял под душем и на него изливались теплые струи, стекая по телу жемчужными каплями.

Они текли. Всё текли. И течению их не предвиделось конца.

Хандриков думал: «Другие Хандриковы вот так же моются в бане. Все Хандриковы, посеянные в пространстве и периодически возникающие во времени, одинаково моются».

Однако пора было прекратить течение струи, и голый Хандриков повернул кран.

Хандриков одевался. Тут стояли диваны. Перед Хандриковым сидел распаренный толстяк, еще молодой, и посматривал на Хандрикова хитрыми, рачьими глазками.

Он сидел, раскорячившись. Походил на огромного крабба.

Вдруг закричал: «Хандриков! Здравствуй, брат». И химик узнал своего товарища физика.

Скоро они весело беседовали, и физик сказал ему: «Приходи сегодня в пивную. Проведем вечерок. Жена не узнает».

Хандриков вышел из бани. Проходил по коридору, украшенному ноздреватыми камнями. Столкнулся с высоким стариком в бобровой шапке и с крючковатой палкой.

Высокие плечи старика были подняты, а из-под нависших седых бровей сквозили глаза — две серые бездны, сидевшие в огромных глазницах.

Ему показалось, *что старик совсем особенный.*

В руке у старика был сверток — синяя коробка, изображавшая Геркулеса. Геркулес упражнялся гириями.

И ему показалось, что он уже не раз видел старика, но забыл, где это было.

Обернулся. Провожал глазами. Смущался вещим предчувствием.

А вьюга засвистала, как будто ревущий поток времен совершал свои вечные циклы, вечные обороты.

И несло, и несло: это вихревой столб — смерч мира, повитый планетными путями — кольцами, — летел в страшную неизвестность.

Впереди была пропасть. И сзади то же.

Хандриков вышел на улицу. В окне колониальной лавки выставили синие коробки с изображением Геркулеса. Хандриков вспомнил старика и сказал: «Солнце летит к созвездию Геркулеса...»

Пролетевшие вороны каркнули ему в лицо о вечном возвращении. В ювелирном магазине продавали золотые кольца.

Серо-пепельные тучи плыли с далекого запада, а над ними торчало перисто-огненное крыло невидимого фламинго.

И такая была близость в этой недосягаемой выси, что Хандриков сказал неожиданно: «Развязка близится». Удивился, подумав: «Что это я сказал».

Серая пелена туч закрыла огненный косяк, и кругом закружились холодные, белые мухи.

Таинственный старик, вымытый банщиком, рассказывал вдоль раздевальни, закутавшись в белоснежную простыню.

Он кружил вокруг диванов, чертя невидимые круги. Кружился, кружился, и возвращался на круги свои.

Кружился — оборачивался.

Величественный силуэт его показывался то здесь, то там, а в серебряной бороде блистали жемчужные капли.

Кружился, кружился и возвращался на круги свои. Кружился — оборачивался.

Двое раздевались. Один спросил другого: «Кто этот величественный старик, похожий на Эскулапа?» А другой ему заметил: «Это Орлов, известный психиатр — тот самый, который затеял процесс с доцентом химии Ценхом»...

Старик оделся. Выходил из бань. Нацепил на пуговицу шубы свертки с изображением Геркулеса.

И теперь этот свертки раскачивался на груди старика, точно знак неизменной Вечности.

IX

В некоем погребке учинили они пирушку с безобразием — Хандриков и трое.

Это был товарищ физик, товарищ зоолог и товарищ жулик.

Первый занимался радиоактивными веществами и криогенетическими исследованиями, был толст и самодоволен, походя на крабба, а второй, копаясь днем в кишечнике зайца, по вечерам учинял буйства и пьянства; это была веселая голова на длинных ногах; туловище же было коротко.

Третий держался с достоинством и не занимался ничем легальным.

Они были пьяные и шумели в мрачном, как пещера, погребке — шумели — красные, разгоряченные трольды.

Стукались кружками, наполненными золотыми искрами. Просыпали друг на друга эти горячие искры — не пиво.

Хотя хозяин погребка и уверял, что подал пиво, — не верили.

Физик кричал, походя на огромного крабба: «Радиоактивные вещества уничтожают электрическую силу. Они вызывают нарывы на теле».

В высокие окна погребка ломилась глубина, ухающая мраком. Хозяин погребка, как толстая жаба, скалился на пьянствующих из-за прилавка. Хандрикову казалось, что это колдовской погребок.

А товарищ физик выкрикивал: «Времени нет. Время — интенсивность. Причинность — форма энергетического процесса».

И несло, и несло: вихрь миров, бег созвездий увлекал и пьянствующих, и погребок в великую неизвестность.

Все кружилось и вертелось, потому что все были пьяны.

Софью Чижиковну трясла лихорадка. Она не могла дочитать «Основания физиологической психологии». Легла. Жар ее обуял.

Впадала в легкий бред. Шептала: «Пусть муж, Хандриков, сочиняет психологию, пока Вундт заседает в пивных...»

Было два часа. Их вынесло на воздух. Они шатались — выкрикивали. Пальто их не были застегнуты, а калоши не надеты, хотя с вечера еще приударило и приморозило.

Хандриков закинул голову. Над головой повисла пасть ночи — ужас Вечности, перерезанный Млечным Путем.

Точно это был ряд зубов. Точно небо оскалилось и грозило несчастьем.

Хандрикову казалось, что кругом не улицы, а серые утесы, среди которых журчали вечно-пенные потоки времен.

Кто-то посадил его в челн, и вот поплыл Хандриков в волнах времени к себе домой.

Что-то внесло его в комнаты, где бредила больная жена.

Х

Пьяный Хандриков уложил с прислугой больную жену. Прислуга ворчала: «Где пропадали?», а Хандриков отвечал, спотыкаясь: «Плавал я, Матрена, в волнах времени, обсыпая мир золотыми звездами». Не раздеваясь, сел у постели больной.

Свинцовая голова его склонилась на грудь. Тошнило от вина и неожиданной напасти.

Пламя свечи плясало. Вместе с ним плясала и черная тень Хандрикова, брошенная на стену.

Закрыв глаза. Кто-то стал ткать вокруг него серебристую паутину. А за стеной раздавался свист Вечности — сигнал, подаваемый утопающему, чтобы не лишить его последней надежды.

Кто-то сказал ему: «Пойдем. Я покажу». Взял его за руку и повел на берег моря.

Голубые волны рассыпались бурмидскими жемчугами.

Ходили вдоль берега босиком. Ноги их утопали в серебряной пыли.

Они сели на теплый песочек. Кто-то окутал его плечи козьим пухом.

Кто-то шептал: «Это ничего... Это пройдет».

И он в ответ: «Долго ли мне маяться?» Ему сказали: «Скоро пошлю к тебе орла».

Ветер шевелил его кудри. Серебристая пыль осыпала мечтателей.

Тонкая, изогнутая полоска серебра поднималась над волнами, и растянутые облачка засверкали, как знакомые, серебряные нити на фоне бледно-голубого бархата.

Проснулся. Горизонты курились лилово-багряным. Все было хрупко и нежно, как из золотисто-зеленого стекла.

Старик удалялся, смеясь в бороду. Голубые волны рассыпались тающими рубинами.

Разбудила прислуга. Вскочил как ошпаренный, перед постелью больной.

И вспомнилось все.

Был зелен, как молодой древесный лист, а она багровела, как сверкающая головешка.

XI

Белокрылый день бил в окна гигантскими взмахами. Старик блистал стеклами очков, расправлял снеговую длинную бороду.

Это был доктор Орлов, известный психиатр, пришедший к Хандрикову неизвестно почему, пожелавший лечить его жену.

Стояли у постели больной. Доктор Орлов обрекал ее на гибель, простирая над постелью свои благословляющие руки.

Его сутулые плечи были высоко подняты. Из серых очей изливались потоки Вечности.

Страшно знакомым пахнуло на Хандрикова, и он не был уверен, знает ли об этом старик.

Но старик знал все. Ухмылялся в бороду.

Белокрылый день мощно бил в окна.

На лекции доцента Ценха Хандриков опускал стеклянную трубочку изогнутым концом своим, опрокидывал над водой стеклянный цилиндр, собирая газы.

Хандриков вспоминал о больной. Грустил, что находится в зависимости у Ценха, а Ценх, сложив воронкой кровавые уста свои, точно он и не стеснял ничьей свободы, радостно возглашал: «Вы видите, господа, что зажженная спичка потухла. Заключаем, что полученный газ был азот».

А Хандриков думал: «Не избавит ли от рабства меня Орлов, затеявший процесс с Ценхом?»

Едва подумал, а уж два глаза Ценха, как искристые зеленые гвозди, воткнулись в душу Хандрикова, и в них засияла стародавняя ненависть.

И все несло, все несло, крутясь и взывая к безмирному: на дворе бушевал ветер.

Бежал к больной жене, к Софье Чижиковне. Взошла луна.

Белая колокольня, точно кружевная, рельефно выделялась на фоне голубой ясности. Золотой крест сверкал над ужасом в недосыгаемой выси.

Трубы выпускали бездну дыма. Дым растягивался в белые, сверкающие нити.

Ласковым взором ловил Хандриков эти знакомые нити.

Дома ожидал его бред жены и толстая теща — коротышка, испещренная бородавками.

Ночью все повскакали, прогоняя сны. Малютку унесли к соседям.

Строгое очертание неизвестной женщины лежало за перегородкой.

XII

Хандриков тупо смотрел на восковое лицо. Высылся гроб. Мерцал золотом. Тяжелые свечи в траурных бантах окружали его.

Безмирно-огненный закат зажег парчу и морозные узоры окон миллионами рубинов.

Все было жутко в полумраке. Казалось, сюда придет Вечность.

Но пришел только Орлов и стал в темный угол. Оттуда виднелось заревое лицо его, почтительно склонившегося, сверкавшего очками.

Очки были огненны от зари. Два багровых пятна уставились на Хандрикова.

Голос беспощадной монашки тихо отчеканивал: «Господи, Господи». Словно промерзшие листья, шелестя, уносились в одинокое безвременье.

А Ценх читал в аудитории: «Можно было бы думать, что поперечное сечение пути тока пропускает не только одинаковое количество электричества, но и одинаковое количество каждого из ионов».

Темная улица виднелась из окна. В глубине двигалась конка — черная громада, сверкавшая мистическим глазом.

Над домами еще багровело.

И белая колокольня, точно кружевная, рельефно выделялась на фоне вечерней багровости. И золотой крест сверкал над ужасом в недосыгаемой выси.

А Ценх продолжал: «Однако Кирхгоф показал, что это не так».

Закат кончился. Рубины погасли. Теперь повисла синяя тьма.

«Господи, Господи», — долетало откуда-то из дали, словно октябрьское дуновение.

И невидимые листья, шелестя, вновь понеслись в одинокое безвременье.

XIII

Ребенка взяла к себе теща, Помпа Мелентьевна. Потекли для Хандрикова одинокие дни.

И ревуший поток грез его окутал. Еще чаще кашлял кровью.

Не видался с доктором Орловым. Только раз, проходя мимо неизвестного подъезда, услышал сигнал, подаваемый Вечностью. Поднял глаза. Прочел на золотой дощечке: «Иван Иванович Орлов, доктор, принимает от двух до пяти».

А вдали садилось солнце. Отсвет багрового золота огневил вывески и крыши. Все дома казались в пожаре багрового золота.

В те дни он готовил ученый кирпич — магистерскую диссертацию.

Прошел год. Снова начиналась оттепель. Закатные багрянцы, словно крылья фламинго, разметывались по бледно-голубому.

Чуялась близость. Это налетала развязка.

Диссертация была кончена. Вознаградили аплодисментами за двухчасовую скуку.

Маститые профессора грузно выплывали из аудитории.

Сиял Хандриков, а к нему подошел рецензент строгой газеты и на вопросы его Хандриков отвечал: «Я родился в 1870 году. Окончил курс в Московском университете. Был оставлен при лаборатории для продолжения научных занятий. За исследование «О строении гексагидробензола» получил ученую степень. Родители мои, люди бедные...»

Но тут его вежливо прервал почтенный рецензент, заметив: «Больше я не стану вас утруждать».

Темные университетские коридоры походили на подземные ходы. Тут столкнулись два седых профессора, маститых до последних пределов.

Они походили на старинных кентавров, и оба держали по увесистому кирпичу.

Поздоровались профессора. Обменялись кирпичами. Пожелали друг другу всяких благ. И расстались.

На одном кирпиче, красном, озаглавленном «Мухоморы», рукой автора была сделана надпись: «Глубокоуважаемому Николаю Саввичу Грибоедову от автора».

На другом, цвета засохших листьев, озаглавленном «Гражданственность всех веков и народов», кто-то, старый, нацарапал: «Праху Петровичу Трупову в знак приязни».

Уже извозчики везли маститых ученых — одного в Охотный ряд, а другого к Успенью на Могильцах.

Они сидели в ресторане и чествовали, обедая, Хандрикова, дававшего им обед.

Доцент Ценх повязался салфеткой. Непринужденно беседовал с соседом. Говорил здраво и положительно, но в этой здравости чувствовался больший ужас, нежели в туманном мистицизме.

Внимательный наблюдатель усмотрел бы тонкую иронию, спрятанную в усах профессора. Еле видные морщинки ложились вокруг кровавых уст.

Никто этого не замечал, и профессор благополучно прятал под маской учености свое страшное содержание.

Видел Хандриков. Боялся, возмущаясь. Ценх понимал это возмущение. Скидывал злые глазки.

В этих косых взорах было что-то жуткое, искони знакомое, позабытое, но всплывшее невзначай.

Точно знали друг друга в стародавние времена. Точно уже проплыли они ненавистью. Точно уже раз один совершил насилие над другим, и теперь воспоминание об этом ужасе пробежало черной кошкой, когда глаза Ценха встречались со взорами хмелеющего магистранта.

Хандриков пьянел. Задумал ярость и дерзость. Хотел бросить перчатку Ценху, от которого он зависел.

XIV

Случай представился, когда Ценх провозгласил тост. Встал, рисуясь, и говорил: «Я предложил бы тост за те проявления культуры, которые, будучи тесно связаны с наукой, гордо мчат человеческий гений по бесконечным рельсам прогресса. Я позволяю себе выразиться так потому, что все эти проявления разнятся друг от друга не качественно, а количественно. Я обращаюсь не столько к представителю одной из наиболее точных наук, сколько к культурному человеку. Я пью за развитие наук, искусств и философии. Я пью, наконец, за развитие общественных интересов, очищенных в горниле знаний и сулящих человечеству счастливую и спокойную будущность...»

Пьяный и ярый Хандриков попросил слова, и поняли, что предстоит выслушать дикости и наглости.

Говорил: «Обращаясь ко мне как к представителю точного знания, вы пьете за развитие точных наук, искусств, философии и общественных интересов. Глубоко тронутый вашим тостом, я тем не менее отклоняю это обращение ко мне. О многом я думаю и кое в чем прав, может быть. Но развитие моей мысли идет вразрез с тем, что вы привыкли называть культурой. Я не вижу спокойной будущности для человечества, движимого развитием наук, искусств, философии и социальных интересов, если они не переменят своих формул».

Задвигали стульями. Зачихали. Засморкались. Пожимали плечами. Один сказал другому: «Я вам говорил». Другой отвечал: «Вы мне говорили». Улыбка жалости застыла на позеленевшем лице Ценха.

Говорил: «Социальные интересы... Упорядочение отношений государств, сословий, отдельных личностей друг к другу — можно ли регулировать отношения между личностями, менять формы этих отношений, минувя свою личность? Да и всякая схема общественного устройства, основанная на социальном равенстве, пресекает работоспособность членов общества... В термодинамике работоспособность тепла определяется разностью между очагом и холодильником. Работа исчезнет с равномерным количеством тепла здесь и там».

Хандриков начинал кипятиться, яро бросая перчатку Ценху. Кричал силным тенорком, прижимая руку на надорванной груди своей.

Ничего не видел, кроме двух зеленых глазок, как гвозди воткнувшихся в него, да румянца злости, заливавшего по временам мертвенные щеки доцента Ценха. И Ценх шептал: «Орловские взгляды. Медлить нельзя. Нужно в самом начале искоренить стариковское влияние. Сегодня же пошлю тревожную телеграмму в «Змеевое Логовище».

Недавно он проиграл судебный процесс доктору Орлову.

Хандриков продолжал: «Не вижу будущности и для существующих форм искусства. Иные говорят, что искусство для жизни, а иные, что жизнь для искусства. Но если искусство — копия жизни, то оно излишне при наличности оригинала. И возражением об идейности вы не измените моего взгляда. Если же жизнь для искусства, то она для отражения, которое идет всякий раз навстречу, когда я приближаюсь к зеркалу... Впрочем, я не знаю... Быть может, правы говорящие, что жизнь для искусства, потому что мы можем оказаться не людьми, а их отражениями. И не мы подходим к зеркалу, а отражение кого-то, неизвестного, подходящего с той стороны, увеличивается размером на зеркальной поверхности. Так что мы никуда не уходим, ниоткуда не приходим, а растягиваемся и стягиваемся, оставаясь на той же плоскости. Может быть, мы стоим прямо, а может быть, вверх ногами, или бегаем под углом в 45°. Быть может, вселенная только колба, в которой мы осаждаемся, как кристаллы, причем жизнь с ее

движением — только падение образовавшихся кристаллов на дно сосуда, а смерть — прекращение этого падения. И мы не знаем, что будет: разложат ли нас, перегонят ли в иные вселенные, обработают ли серной кислотой, чтобы мы были сернокислы, пожелают ли растворить или измельчат в ступке. Вы скажете — это упадок. Быть может, вы правы, и мы упадочники в своем развитии, а быть может, всякое развитие ведет к упадку. И жизнь — последовательное вырождение, подготавливающее смерть».

Шипели. Гремели. Стучали. Вопили. Один лысый бактериолог добродушно покрикивал: «Не хочу осаждаться в колбе: у меня почтенные родители». Ярость Ценха — его бурное чиханье — не имела границ, потому что и он был душевно болен когда-то.

Вот и теперь на лице его отпечатались следы душевной смятенности, но он таил про себя свои буревые неистовства, грозя неугомонному Хандрикову.

И Хандриков продолжал: «Быть может, все возвращается. Или все изменяется. Или все возвращается видоизмененным. Или же только подобным. Может быть, возвратившиеся видоизменения когда-то бывшего совершеннее этого бывшего. Или менее совершенны. Может быть, ни более, ни менее совершенны, а равноценны. Быть может, прогресс идет по прямой. Или по кругу. Или и по прямой, и по кругу — по спирали. Или же парабола знаменует прогресс. Может быть, спираль нашего прогресса не есть спираль прогресса атомов. Может быть, спираль прогресса атомов обвернута вокруг спирали нашего прогресса. А спираль нашего прогресса, насколько мы его можем предвидеть, обвернута вокруг единого кольца спирали высшего порядка. И так без конца. Может быть, эти спирали, крутясь друг вокруг друга, описывают все большие и большие круги. Или круги уменьшаются, приближаясь к точке. Может быть, каждая точка во времени и пространстве — центр пересечения многих спиральных путей разнородных порядков. И мы живем одновременно и в отдаленном прошедшем, и в настоящем, и в будущем. И нет ни времени, ни пространства. И мы пользуемся всем этим для простоты. Или эта простота — совершившийся синтез многих спиральных путей, и все, что во времени и пространстве, должно быть тем, чем оно является. Может быть, наши капризы разлагаются на железные законы необходимости. Или законы необходимости — только привычки, укоренившиеся в веках. Везде решение одного уравнения со многими неизвестными.

Как ни менять коэффициенты и показатели, неизвестное не определится.

Все неопределенно. Самая точная наука породила на свет теорию *вероятностей* и *неопределенных* уравнений. Самая точная наука — наука самая относительная. Но отношение без относящихся — нуль.

Все течет. Несется. Мчится на туманных кругах. Огромный смерч мира несет в буревых объятиях всякую жизнь. Впереди него пустота. И сзади то же.

Куда он примчится?»

И неслось, и неслось. И в окна стучалась мятель. И белые крылья мятели кружились над лесами, городами и равнинами.

XV

Одевались. Один не мог попасть в калоши от волнения. Тряс пальцем, вразумляя лысого бактериолога: «Я говорил, что это опасный человек, которому место не среди ученых».

«Не хочу осаждаться в колбе», — ворчал бактериолог.

В ту пору ботаник Трупов, нагнувшись над письменным столом, перелистывал *«Гражданственность всех веков и народов»*.

Лысина его была озарена желтым пламенем. Стекла очков не позволяли видеть безжизненных глаз.

А филолог Грибоедов читал: *«Мухоморы»*.

Оба они думали: «Сколько на свете специальностей и сколь широка каждая специальность!»

Ночь была грустна и туманна.

Вдоль тающей мостовой шагал бледный, озлобленный колпачник с поднятым воротником у пальто и с волчьей бородкой торчком.

Прохожие невольно сторонились от него, а он, придя в телеграф, отправил телеграмму следующего содержания: «Самарская губерния. Змеевое Логовище. Владиславу Денисовичу Драконову. Приезжайте. Хандриков бунтует. Ценх».

Вдоль бесконечных рельсов с невообразимым грохотом несся огромный черный змей с огненными глазами.

Приподнял хобот свой к небу и протяжно ревел, выпуская бездну дыма.

Это он мчался из Самарской губернии, из *«Змеевого Логовища»*, сознавая, что близится последняя борьба.

В соседних деревнях многие сквозь сон слышали эти зловещие стоны, но думали, что это — поезд.

XVI

На другой день Хандриков дерзнул отправиться в лабораторию, несмотря на вызов, брошенный Ценху.

Раскрыв дверь в отделение Ценха, он увидел только серо-туманный грот. Посреди грота сидел неведомый колпачник с лицом Ценха, но в коричневых лохмотьях и грозился Хандрикову старинным ужасом.

В страхе побежал Хандриков вон из лаборатории. Понял — началась его последняя борьба за независимость с Ценхом.

А приват-доцент Ценх, стоявший среди химических испарений в коричневой куртке и с полотенцем на плечах, ничего не понимал.

Всю ночь Хандриков не спал. Шагал по комнате. Знал, на что шел. Шагал, дожидаясь рассвета.

Знал, что его вчерашняя перчатка не была простым несогласием. За этим пряталось нечто большее.

Знал — Ценх не простит ему. Вся жизнь будет проливать на него свои потоки ярости.

Бросая перчатку, делал вызов судьбе. Знал, что от этого произойдет перетасовка в космических силах. Собирался сделать визит доктору Орлову — врагу Ценха.

Знал, на что шел. Золотые звезды глядели к нему в окна. Ночь была безлунна. Горизонт гляделся чернотой. Неизвестно, что там было — небо или тучи.

Вдруг на горизонте обнаружилось сине-черное небо над тучами, окаймленными серебристой каемкой. Восходил запоздавший месяц, наполнял просветы туч серебром.

Обнаружились трубы домов черными выступами, и там, где прежде был только мрак, открылась перспектива крыш.

Он знал, что это не было просто и что с этой ночи будет обнаруживаться такая же перспектива в самом страшном.

Прежде оно было неизвестно, и туда вливались многие известности, как ручьи в море, а теперь оно само должно проясниться, вызывая к жизни многие неизведанные ужасы и восхищения.

А уж луна вознеслась над тучами и сияла на небе. Кверху и книзу от луны тянулся воздушно-золотистый перст.

Он вышел на улицу.

Ночь пахнула сыростью. Снега таяли струями. Неслись вдоль тротуаров, срываясь в черные дыры — городские бездны. Сквозь туман раздавался голос песен одинокой Вечности: «Я иду за мраком градовым, за тяжелым испытанием».

Теплый, весенний ветер шевелил телеграфными проводами. Хандриков думал: «Что-то начинается».

Когда он возвращался домой, его путь пересекал громыхавший извозчик.

Он вез высокого старика с длинной бородой и немного сутулого. Увидев Хандрикова, старик снял перед ним широкополую шляпу и крикнул, проезжая: «Ждите орла, Хандриков»...

Это был д-р Орлов. Страшно знакомым дуло Хандрикову в лицо, точно перед ним разверзлись хляби Вечности, а уже грохотанье извозчика замирало в соседнем переулке.

Бродил до рассвета. Золотое небо вспыхнуло красным жаром. Ряды домов, точно серые утесы, убегали вдаль.

Вдали улица пересекалась другой улицей; отрезок второй был виден из первой. Туда обратил свои взоры. Увидел нечто встревожившее его.

Это была цепь непрерывных звеньев, как бы толстосерых бочонков, соединенных друг с другом. Места соединений сгибались, и вся цепь, грохоча, тащилась вдоль улицы.

Не видал конца и начала цепи, а только ряд соединенных грохочущих бочонков, извивающийся между двумя рядами домов.

Потом бочонки стали сужаться и окончились гадким, черно-серым завитком, который быстро пропал, увлекаемый туловищем.

Хандриков понял, что это ползла змея, выписанная Ценхом для устрашения его.

Ужаснулся, шепча: «Вот оно... началось... И не вернуться к спокойствию».

А на оранжевый горизонт выскочило толстое, красное солнце и беззвучно захохотало, играя светом.

Он подумал: «Надо бежать к Орлову в его санаторию для душевного успокоения».

Дома он стал укладывать чемоданы, а в стекла его окон било солнечное золото — пробивало.

И сидел на корточках перед чемоданом, просиявший в потоке золота.

XVII

К вечеру он успокоился. Ценх еще только собирал против него тучу бреда. Еще ничего не начиналось. Еще ужас сгустился.

Он мог отдохнуть и собраться с силами.

Пил свой вечерний чай не без тревоги за будущее.

Наверху музыкант играл на трубе «Выхожу один я на дорогу», а Хандриков думал, чтобы заглушить тревогу: «Бывало, сиживали мы с женою, а наверху играли все то же».

Софья Чижиковна меня ругала. Где-то она теперь? Теперь меня никто не ругает, но мне грустно и страшно».

Против его окон черные окна пустой квартиры все так же излучали златозарный отсвет.

Некрасивое, дорогое лицо ее было увито венчальной фатой, и она была в цветах.

Он поправлял свой белый галстук. Жал ее руку и говорил: «Ведь смерть была только сном. Ведь мы неразлучны».

А кругом были радостные лица знакомых кавалеров и дам.

Священник вывел их из церкви. Белая церковка стояла на мысе, озаренная тонким серпом полумесяца.

Кругом неслись отрывки расплывчатых тучек. Белесоватые и дымно-пепельные, они низко пролетали в священную страну.

Пролетая под месяцем, зажигались. Подвенечная фата разворачивалась над миром. Была голубая ясность и серебряный блеск маленьких куполов.

Они сидели на паперти. Луна отбрасывала их черные тени, а снежная пена разбивалась у ног.

Ждали. Хандрикова разбудила прислуга, говоря: «Вставайте, барин. Сичас панихида».

Хандриков открыл глаза. Самовар заглох. Наверху перестали трубить. Хандриков подумал: «Недавно защитил свою диссертацию. Теперь надо защитить самого себя».

Поглядел в окно. Ночь была туманна. Черные окна пустой квартиры все так же излучали златозарный отсвет.

Позвонили. Хандриков вздрогнул. Это Ценх.

Отворяли. Кто-то разделся. Сморкался. Снимал калоши.

Скрипнула дверь.

Обернулся.

В комнате стояло странное существо. Это был мужчина среднего роста в сером пиджаке и таких же брюках.

Из крахмального воротника торчала большая пернатая голова.

Хандриков заметил, как отчетливо врезался воротничок в белые перья с черными крапинками, а вместо рук из-под манишек были высунуты цепкие, орлиные лапы.

Озаренный лампой, незнакомец протянул к Хандрикову эти лапы, закинул пернатую голову и потряс комнату резким клеткотом.

Вся кровь бросилась в лицо Хандрикову. Закричал, смеясь и плача: «Орел, милый... Пришел... Опять пришел».

Схватил орла за цепкие лапы и долго тряс их в блаженном забытьи.

Орел сел в кресло. Вынул из портсигара папиросу и закурил, закинув ногу на ногу. Видимо, отдыхал от далекого пути, а Хандриков все шагал по комнате и тихо шептал: «Орел пришел. Опять пришел».

Вот орел заговорил: «Пора тебе в санаторию доктора Орлова. Ты поедешь до станции *Орловка*.

Чемоданы я потом привезу.

Ценх придет, а тебя уж не будет». Они надели пальто и калоши. Взяли зонты: погода менялась.

Хандриков доверчиво жался к орлу. Орел нанял извозчика. Сели в пролетку и покатили.

XVIII

Подали поезд. Орел захлопнул за Хандриковым дверцу купе. Разговаривали между собой сквозь окна вагона.

Человек, проходивший под поездом, ударял по колесам, поливая их маслом. Раздавался звук молоточка: «Тен-терен»...

Стоя на площадке, орел прощался с Хандриковым, говоря: «Моя роль кончена. Ты покатишь теперь сквозь Вечность в *Орловку* в санаторию для душевнобольных».

Хандриков сердечно жал протянутую орлиную лапу, и ему стало грустно, что он так быстро расстается с орлом.

Но орел говорил: «Не грусти. Там ты утетишься. А мне суждено освобождать людей от гнета ужаса, облегчая их ноши.

Суждено препровождать их в *Орловку*». С этими словами орел приподнял шляпу. Поезд тронулся. Из окна высунулась голова Хандрикова, прощавшегося с орлом.

Поезд мчался в полях. Хохот неразрешенного, вопль потраченного бесследно сливался в один тоскливый зывающий плач.

Точно на горизонте злилась гиена.

Платформа осталась пуста. Поезд умчался.

Постоял, постоял орел на платформе и ушел в зал 1-го и 2-го класса.

III ЧАСТЬ

I

Парусина терраски надувалась от ветру. Обитатели санатории косились на терраску. Хандриков в шелку подсматривал их косые взоры.

Синее озеро прохладно изморщинилось от ветра. Над озером ветер со свистом нес с деревьев цветущую пыль.

И несло, и несло — высоко возносилось это облако. Впереди были пространства. И сзади то же.

К Хандрикову шел Орлов, кружа по маленьким дорожкам среди круглых клумб.

Борода его развевалась. Летний сюртук рвался прочь от него. Широкополую шляпу держал он в руке.

Обмахнувшись, бросил платок на сутулое плечо.

Проходящая нервнобо́льная обитательница санатории указала глазами на терраску Хандрикова и сказала, обращаясь к Орлову: «И он безнадежен, Иван Иванович?»

«Прогрессивный», — ответил тот, расправив бороду. И вновь закружил вдоль круглых клумб, направляясь к терраске Хандрикова.

И несло, и несло — высоко возносилось оно — облако цветени, крутясь над голубым озером среди неизвестных пространств.

Хандриков отскочил от щелки, образовавшейся в надутой парусине.

И парусину раздвинули. Перед ним стоял доктор Орлов во всем своем величии.

А уж близился вечер. В незнакомом пространстве серо-пепельное облако дымилось и сверкало своими нижними краями на горизонте.

Над ним небо казалось зеленым, а под ним развернули желто-розовую ленту атласа.

И вот она линия.

II

«Как вы хитры, доктор! — смеялся Хандриков. — Сознвая, что они не поймут ни меня, ни вас, вы разрубаете гордиев узел — называете меня прогрессивным паралитиком».

Где-то сбоку играли в лаун-теннис, и по воздуху носились мячи, заносясь. Орлов не спеша положил на стол широкополую шляпу. В угол палку поставил. Потирая руки, заметил:

«Да, иначе никто ничего бы не понял».

Желая переменить разговор, заметил: «Ну, как вы тут?»

Желто-розовое облако, растянувшись, краснело — крыло фламинго. Одинокое сердце Хандрикова почуяло близость — приближение.

«Превосходно, — сказал он. — Я — счастлив». Сели рядом. Молча закурили.

Везде легли златозарные отблески. Горизонт пылал золотым заревом. Там было море золота.

Отрясали пепел с папирос. Прошрое, давно забытое, вечное, как мир, окутало даль сырыми пеленами. На озере раздавалось сладкое рыданье.

Это восторг перерос вселенную.

Забывали время и пространство. Старый психиатр наклонил над Хандриковым невыразимое лицо свое. Бархатным басом кричал очарованному: «С каждым я говорю ему понятным языком.

Так хорошо. Так лучше всего.

Не все ли равно. Сидим ли мы тут в мантиях или в стуртуках. На берегу моря или озера?»

Орлов замолчал, но заговорили две серые бездны, сидевшие в глубоких глазницах.

Из главного фасада раздавались звуки корнет-а-пистона: «Выхожу один я на дорогу». Хандриков сказал: «Когда-то у меня была жена. Где это было? Как ее звали?»

Какое-то лицо, полужнакомое, всплыло из хаоса. Закивало и вновь утонуло.

Внезапно Орлов воскликнул, чиркнув спичкой: «Что значат мнения о вас обитателей моей санатории перед вселенной!»

Сдержанные восторги рвались из воспламененной груди его. Поднимали глаза к небесам. Небеса, истыканные звучащим золотом, спускались к их лицам.

Но стоило сделать движение, как все улетало вверх. И никто не знал, как оно высоко.

Тонкая, изогнутая полоска серебра уже стояла над озером. Растянутые облачка засверкали, как знакомые, серебряные нити, на фоне сине-черного бархата.

Весельные всплески струили серебро. В лодке пели о луне. Сладкий ветерок шептал: «Что значит доцент Ценх с его злобой и взглядами?»

Орлов говорил: «Что значит ваше сумасшествие и мое здоровье перед мировым фантазмом? Вселенная всех нас окружила своими объятиями.

Она ласкает. Она целует. Замремте. Хорошо молчать».

И они замирали.

Вдали неся багровый метеор, оставляя на озере летучую полосу огня... И струи плескали: «Не надо... Не надо...»

И метеор рассыпался потоком искр.

III

Рывкнул гонг. Доктор Орлов, застегнувшись на все пуговицы, в знак прощанья протянул Хандрикову благословляющую десницу. Пробасил ему что-то. Взял палку и шапку и направился гулять вдоль озера — чертить на песке крючковатые знаки.

Кружиться, кружиться — возвращаться на круги свои.

Хандриков думал: «Ценх — ты не страшен мне. Меня защитят от твоих наскоков. Орлов со мной».

К сердцу из глубины подступало бархатно-мягкое, пьяное, грустное, тихое, ясное счастье.

Мягкий бархат глубины, крутясь, целовал и ласкал его.

Сама глубина возвала к нему: «Твоя я, твоя. Твоя навсегда».

Любовно смотрел, как старик Орлов кружил вдоль берега. Огромный, белый горб повис между небом и землею.

Лунный серп, разорвав его в одном месте, посылал на старого психиатра свои лучи.

Хандриков возопил: «Глубина моя, милая... Твою тихую ласку узнаю».

И глубина в ответ: «Твоя я, твоя. Твоя навсегда».

Из открытого окна главного фасада санатории раздавался тоскующий голос:

Тебя я лаской огневою
И обожгу, и утомлю.

Тихо кралась глубина. Стояла надо всем. Все любовалось и томилось глубокоим.

Голос пел: «Побудь со мной, побудь со мной!»

IV

Однажды Хандрикова посетили его товарищи: два пасмурных лаборанта. Трепали его по плечу и неловко твердили: «Мужайся, брат: еще ты напишешь докторскую диссертацию...»

Хандриков думал: «Это шпионы Ценха». Водил их по зеленому саду.

Темно-бархатная, древесная зелень шумела о глубоком. И качались солнечные пятна на песке.

Когда же они уехали, передавали друг другу: «Хандриков безнадежен».

А он еще стоял в аллеях, беспокоясь о том, что пребывание его узвано.

А над ним раздавался темно-зеленый трепет и шум бархатной глубины: «Побудь со мной, побудь со мной!» И на песке испуганно метались солнечные пятна.

В те дни воздух был прозрачен, как лучистая лазурь. По вечерам вспыхивали зарницы, словно заоблачно-красные мечи, растекаясь по горизонту.

Хандриков заметил, что Орлов совсем особенный. Впечатление усиливалось, когда он смотрел на сутулые плечи старика.

Однажды, обернувшись невзначай, Орлов поймал недоумевающий синий взор Хандрикова, смотрящего на него из-за щелки парусины.

V

Они простились. Орлов пошел в освещенный дом. В доме окна будто светом улыбались. Хандриков прижался к улыбавшимся стеклам.

Орлов разговаривал с молодой женой. В зеркале отражалась его спина. Стенные часы как-то дико оскалились и забили отъездом.

Гулкие удары понеслись из сияющих окон, теперь они весело блистали, и весь дом улыбался насмешкой. Но Хандриков не обращал внимания на улыбки. Он глядел сквозь стекольные блики. Там, за стеклами, жестикулировали.

Из жестов Хандриков понял, что кто-то уезжает.

Долго стоял в нерешительности. Низкие, черные тучи тащились по небу.

Орлов ушел в соседнюю комнату. И часы били отъездом.

Ветер дул в спину Хандрикову. Обдувал его бархатным песочком.

Откуда-то пронеслась струя холода. Свисающая полоса града быстро надвигалась с севера.

Беспокойный Хандриков, мучимый неведомым, тихо подкрался к двери, ведущей в комнату старого психиатра.

Прижался к замочной скважине.

Со свечой в руке и без сюртука Орлов укладывал чемодан. Собирался к поезду. Сердце упало у Хандрикова.

Тут скрипнула дверь и распахнулась. Полыхнуло желтое пламя. Ласковый голос, едва сдерживающий досаду, нарушил неловкое молчание: «Все-то вы, Хандриков, подсматриваете за мной».

Сидели у Орлова. Орлов говорил: «Идите-ка спать... Ну чего вы волнуетесь понапрасну: ехать мне надо, и по весьма серьезной причине. С вами ничего не случится».

Пламя свечи уморительно трепетало. Серебряные полосы обоев — не полосы, а струйки воды — беззвучно стекали по серым стенам.

Затененный Орлов сел на чемодан. Теперь из мрака блистали стекла его очков.

Хандриков. «Я боюсь. Без вас нагрянет Ценх. Заставит меня отказаться от своих воззрений. Говорят — устроил против нас заговор».

Сверкнула молния. Гром зарокотал, но споткнулся.

Орлов. «Это ничего. Это только так кажется. А если это и правда, моя заграничная поездка расстроит все козни».

В окна застучали частые белые градины, и Орлов сказал, поворачиваясь: «Град». Повеяло холодком. Смолк.

Сидел, пригорюнившись.

Градины перестали стучать в окне. Засиял месяц.

Серебряные обои — не полосы, а струйки — беззвучно стекали откуда-то. Кто-то оглашал окрестность протяжным ревом.

Хандриков. «Иван Иванович, кто это ревет так протяжно, так грустно над полями? Где я слышал этот голос?»

Орлов. «Это почтовый поезд несется на север. Машинист производит известные манипуляции, в результате которых поезд начинает свистать. Идите спать, Хандриков. Вам вредно засиживаться».

И когда Хандриков заметил: «Вы меня успокоили, Иван Иванович», старик молча вынул папиросу из серебряного портсигара и, закурив, взял свечку, чтобы осветить путь Хандрикову.

Вышел. Град окончился. Пронизывающий холод охватил его. Разразившаяся туча, протаскиваясь из полярных стран, уходила на юг.

Туча была хмурая, черно-синяя. А над ней высилась цепь снежных шапок и острых, ледяных пиков. Это были воздушные ледники, предтечи будущих холодов.

Ослепительно сверкали они. Месяц — знакомый, вечерний приятель — разгуливал по фону небес, слегка бирюзовому, нежно-серому.

Далекий гул смутил Хандрикова. Вдали неся багровоокий змий с подъятым хоботом — неся среди равнин. Несся — уносился.

Выбивая зубами дрожь, Хандриков пробирался домой, шепча: «Ты мне не страшно, чудовище...»

Сердце его забило от приближения глубины.

И опять она стояла, любовно шептала ему о возможном счастье. Замирающая улыбка ее дразнила Хандрикова.

Кто-то из обитателей санатории пел:

Напрасно хочу заглушить
Порывы душевных волнений
И сердце рассудком унять.

И смеясь, и тоскуя, целовал он воздух — эту милую, свежую
ясность. И пели:

Не слушает сердце рассудка
При виде тебя...

Туча ушла. Снежные шапки размазались, а ледяные пики опро-
кинулись.

VI

Они шли с психиатром. Над ними раздавался трепет и смут-
ный шум бархатисто-зеленой глубины. На песке испуганно метались
солнечные пятна.

Ветер устраивал на берегу пылевые круги. Кружился, кружился —
возвращался на пути свои.

Кристалльные озера чистоты засияли в глазах Хандрикова. Губа
у него отвисла, и весь он казался ребенком, когда спросил Орлова:
«В газетах пишут, что где-то открылись дальние страны».

Старик сморкался в батистовый платок. Хлынул ветерок с синего
озера. Заметалась бархатистая лиственная глубина, да испуганные
пятна солнца. И Орлов веско отрицал: «Ну, еще рано думать об этом...»

И прибавил: «Что вы чудите. Завтра еду за границу. Покатаемтесь
по озеру на прощанье».

Сидели в лодке, колыхаемой волнами. Хандриков вставил уклю-
чины. Орлов принялся грести.

Он указал веслом в даль синего озера, баяя: «Вдаль, Хандриков...
вдаль...»

Греб, вспеняя синие волны. Производил жемчужный водоворот.
Дугой изогнулась спина. Голова закинулась с раздуваемым серебром
волос.

Ветер свистал в ухо: «Вдаль... Вдаль...»

Распахнулась дверь мужской купальни. Присяжный поверенный,
лысый, длиннородый, курносый, лечившийся от нервности, голый
стоял над озером.

Солнце склонялось на яхонтовом фоне. В лучах заката горело
пламенное лицо. Испуская ревы, похлопывал по вздутому животу.

С вытянутыми руками низвергался в пучину, производя падением рубиновый водоворот. А в дверях топтались голые подростки: «Ну-ка, ну-ка, сынишки. У кого хватит смелости?»

Лысина сияла. Голова высилась над синью озера на фоне зари. Над озером оседал яхонт. На него сбоку наплывала покорная туча своими длинными, узкими перстами из расплавленного золота.

Озеро отражало небо. Им казалось, что они несутся между двумя небесами. Головокружение — коварная обитательница высот — вскружило им головы. Но Орлов ничего не боялся.

Вертел веслом. Головокружительные слова срывались с уст. Развивал теософские взгляды свои. Кивал солнцу, крича: «Садится».

И оно садилось. Багряно-огненный полукруг убежал в невозвратную глубину. Осталась одна сверкающая точка.

Психиатр говорил: «Успокойтесь, Хандриков. Все пройдет. Все к лучшему». Встал, держа в руке сырое весло. Расправляя бороду, пел бархатным басом: «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы».

Вечерняя прозрачность была напоена грустью. Белогрудый рыболов здесь и там рассекал эту прозрачность. Тихо покрикивая, уносился вдаль.

И вновь прилетал, смеясь над невозможным.

Хандриков заглянул туда, где не было дна, а только успокоенная бесконечность. Ожидал видеть свое отражение, но увидел глядевшего на себя ребенка из-под опрокинутой лодки, то белевшего, то вспыхивавшего.

А бархатный бас Орлова мощно звучал между двумя небесами: «Благословляю я свободу и голубые небеса».

День мерк. Огненные персты — персты восторга — тихо гасли один за другим.

Хандриков уставился на колыхаемую зеркальность. Лодка плыла в воздушном океане. Берега кольцом охватили воздушно-синий пролет, казавшийся озером.

Но это не было озеро — зеркало, отражающее небо: это было само небо, в котором они опрокинулись с лодкой и с Орловым.

Там все казалось лучше.

Хандриков воскликнул: «Иван Иванович, не это ли граница?» С этими словами он ткнул пальцем в бледно-бирюзовую поверхность. И палец его ушел во что-то холодное, мягкое.

«Не туда ли за границу вы уезжаете?»

Орлов усмехнулся в бороду, вертя веслом: «А хоть бы и *туда*: вам-то что...» Но Хандриков молчал. Он был доволен и утешен. Он начинал понимать кое-что.

Катались до ночи. Сверкавшие созвездия были так ясны, так отчетливы. Орлов протягивал свой матово-бледный палец туда и сюда. Тряс бородой, приговаривая: «Это созвездие Кассиопеи. Это звезда Короны. А вон там созвездие Персея.

Сегодня летят Персеиды... Их путь далек...

Он протянулся далеко за Нептун... И они не боятся длины своего пути...

Смело летят всё вперед, всё вперед — и снова возвращаются на прежние пути свои».

То тут, то там показывались золотые, низвергающиеся точки. И гасли.

Вскинули головы. Орлов говорил: «Это летят Персеиды. В бешеном полете своем не боятся пространств.

Они летят всё вперед... далеко за Нептун, в темных объятиях пространственности...

Им чужд страх, и они все одолеют полетом... Сегодня улечу я, а завтра — вы, и не нужно бояться: мы встретимся...»

Они долго следили за пролетом Персеид. То тут, то там показывались золотые, низвергающиеся точки. И гасли.

Орлов шептал: «Милые мои, поклонитесь Нептуну».

В небе тянулись белые перистые облака, высоко сглаженные ветром.

VII

С утра Хандриков горевал. Д-р Орлов, сердечно простясь с молодой супругой, уехал за границу.

Он был в черном дорожном пальто и в мягкой шляпе. Заботливо распорядился, куда что класть из своих дорожных вещей, не обращая внимания на просьбы супруги предоставить ей эти хлопоты.

Наконец семейство Орлова, чтя русский обычай, присело на кончик стульев, расставленных на террасе.

И Орлов безжалостно прервал это сидение: запечатлев поцелуй на устах горюющей жены, ловко прыгнул на деревенского извозчика. Махая шляпой, укатил за границу.

Орлов стоял у кассы и брал билет. Из подкатившего поезда приехал Ценх. Прошел мимо Орлова. Сухо раскланялись.

Орлов, держа в руке желтый билет, обернулся и насмешливо смотрел Ценху вслед. Когда же ему отдали сдачу, он нагнал Ценху и отвел его в сторону... «Вы к Хандрикову?»

И Ценх в ответ: «Я приехал исполнить свой долг — навестить страдающего».

Но доктор Орлов, нахмутив брови, вдруг стукнул палкой и горделиво выпрямился. Его бас загремел, как раскаты грома: «Опять лжете, обманчивое создание».

Поднял крючковатую палку и грозно потряс над Ценхом. Подошедший жандарм лениво заметил: «Здесь нельзя, барин, безобразничать».

Но Орлов величественно подставил ему спину. Взял у носильщика багажную квитанцию.

VIII

Орлов уехал в дальние страны, и Хандриков не печалился. Он знал, что нужно без страха преодолевать пространства.

Знал, что встретятся.

Надвигалась осень. Лист сверкал золотом. Зори отливали лилово-багряным. На берегу озера осенний ветер крутил сухими листьями. Устраивал танцы золота.

И несло, и несло, крутятся, — смерч листьев. Впереди был берег. И сзади то же.

По вечерам Хандриков отвязывал лодку. Выезжал на середину озера. Вставал туман. Осаждались росы. Все казалось таинственно-чудным. Хандриков всматривался в отражение. Ему казалось, что он висит в пространствах, окруженный небесами. Говорил, указывая на воду: «Орлов ушел туда — за границу».

Оттуда смотрел на Хандрикова похудевший ребенок с лазурными очами и тихонько смеялся над ним.

Он смеялся оттуда, насмешник, из дальних стран.

И Хандриков думал: «Вот я опрокинусь и буду там, за границей, а насмешник вынырнет сюда со своей лодкой... Вот я».

И чем больше всматривался в глубину, тем прекрасней казались опрокинутые, дальние страны.

Где-то пели: «Приди ко мне, приди ко мне». Ему казалось — это возникал старческий зов, знакомый и милый.

Говорил себе: «Орлов зовет... Опять зовет...»

Видения стали его посещать. Однажды гулял в лесу. Раздался топот копыт и дряблый голос: кто-то вычитывал: «Г л а в а 26-я: гражданственность у пауасов».

На дорожке показались двое кентавров — оба старые, оба маститые, в черных широкополых шляпах и таких же плащах. Они держали друг друга под руки.

На их жилетах плясали брелоки, а на широких носах блистали очки. Обмахивались хвостами и шуршали прелыми листьями. Один держал перед носом толстую книгу. Другой, увидав среди мха огненного красавца, мухомора, нагнул к нему толстое туловище.

Наливаясь кровью, сорвал мухомор и торжественно рассматривал его прищуренными глазками, предварительно поднявши на лоб очки.

Его товарищ воскликнул: «Прах Петрович, я не согласен с этим местом». Оба крупно заспорили.

Один, размахнувшись, швырнул мухомор в лоб другому, и огненный красавец разбился вдребезги о высокое чело.

Обернувшись друг к другу, они стали ржать и брыкаться, обмахиваясь хвостами.

Хандриков посмеялся тогда.

IX

Орлов писал из-за границы, из дальних стран. В ярких красках он описывал блаженство тех мест и звал к себе жену.

Молодая дама в восторженных словах передавала Хандрикову содержание этих писем.

И Хандриков думал: «Да уж знаю я». Смеялся и подмигивал самому себе. Вспоминал свои озерные прогулки и полеты по воздуху между двух небес.

Все чаще и чаще хотелось ему перекувырнуться в воздухе, чтобы самому погрузиться в дальние страны, перейти за черту. Стать за границей. Вытеснить оттуда свое отражение.

Вернуться к Ивану Ивановичу.

Это желание становилось настойчивей после писем старого психиатра.

Была осень. Озеро замутилось туманом. Лист сверкал золотом.

Небеса и озерные воды казались нежными, хрупкими, точно из золотисто-зеленого стекла.

Хандриков отвязывал лодку, гремя цепью. Вот он отделился и понесся на середину озера. Ему казалось, что он несется между двух небес. Опрокинутое отражение сопровождало его.

Темнело. Красный диск, пущенный из-за горизонта рукой великана, плавно возносился в вечернюю глубину.

Туманная нежность глубины обуяла его сердце, и он сказал себе: «Пора опрокинуться».

Белый рыболов носился над изумрудно-золотой бездной, тихо прикивая и смеясь над невозможным.

Как сквозь сон, видел Хандриков прибрежную лавочку и на ней длиннородого присяжного поверенного, рассеянno следившего за мелькавшей лодкой.

Засверкавший месяц, пойманный в снежно-игольную сеть перистых тучек, мерк грустно.

Что-то звучало: «Приди ко мне... Приди ко мне...» Лодку качало. От нее расходились круги, отливая лилово-багряным. И он решил.

«Иду к теб...» Мгновение: изумрудно-золотая вода, журча, хлынула в зачерпнувшую лодку и отливала тающими рубинами. Всплеснул руками и ринулся в бездну изумрудного золота. Отражение бросилось на Хандрикова, защищая границу от его вторжений, и он попал в его объятия.

Крикнул рыболов над ухом захлебнувшегося, смеясь над невозможным.

Присяжный поверенный рассеянным взором следил за мелькавшей лодкой. Увидел — лодка качнулась и быстро стала уменьшаться. Присмотревшись, увидел перевернутое дно.

Вскочил с лавочки, потрясая руками: «Помогите: Хандриков утонул...» На берегу озера осенний ветер крутил листья — устраивал танцы золота. И несло, и несло...

Никто ему не откликнулся. Плавало дно перевернутой лодки. Засверкавший ветер продолжал возноситься.

Мгновение: небесная глубина коснулась лица Хандрикова, но он сделал движение. Небеса унеслись вверх, и никто не мог сказать, как они высоки.

Вздыхал облегченно. Челн качался. Пролетели черные, ночные кулики, задевая его упругими крыльями.

Заглянул вниз: отражались опрокинутые берега с опрокинутой лавочкой. Присяжный поверенный стоял на берегу, воздевая руки, вверх ногами. Пошли волны.

Отражение замутилось.

Х

Поднял голову. Виднелась полоска суши. Из бесконечных далей океана волны гнали челн к берегам.

Догорающее небо сияло чистотой. Вдали, вдали синий, взволнованный облачный титан расплывался на далеком западе.

Волны выбросили челн. Ветер кружил серебряный песочек, устраивал танцы пыли. На берегу стоял сутулый старик, опершись на свой ослепительный жезл. Радовался возвратной встрече.

В руке держал венок белых роз — венок серебряных звезд. Поцеловал белокурые волосы ребенка, возложив на них эти звезды серебра.

Говорил: «Много раз ты уходил и приходил, ведомый орлом. Приходил и опять уходил.

Много раз венчал тебя страданием — его жгучими огнями. И вот впервые возлагаю на тебя эти звезды серебра. Вот пришел, и не закатаешься.

Здравствуй, о мое беззакатное дитя...»

Стояли на берегу. Ребенок доверчиво жался к старику, измеряя звездные пространства. Старик обнял ребенка. Указывал на созвездья.

«Вот созвездие Рака, а вот — Креста, а вот там — Солнца».

Над ними ослепительные звезды невиданным блеском озаряли безмолвие.

Это были звезды Геркулеса.

Старик говорил: «Сегодня летят Персеиды. Их путь далек. Он протянулся далеко за Землю.

Смело летят всё вперед, всё вперед. В бешеном полете не боятся пространств и всё одолеют полетом».

Оба закинули головы. То тут, то там проносились золотые точки. И гасли.

Долго следили за пролетом Персеид.

Старик шептал: «Милые мои... Поклонитесь Земле...»

1902 г.



КУБОК МЕТЕЛЕЙ

Четвертая симфония



*С глубоким уважением
посвящает автор книгу
Николаю Карловичу Метнеру,
внушившему тему симфонии,
и
дорогому другу
Зинаиде Николаевне Гиппиус,
разрешившей эту тему*

Стукнул в дверь. Отверз объятия.
Поцелуй — и вновь, и вновь.
Посмотрите, сестры, братия,
Как светла наша любовь!

М. Кузмин

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Оканчивая свою «Четвертую Симфонию», я нахожусь в некотором недоумении. Кто ее будет читать? Кому она нужна? Я работал над ней долго, я старался по возможности точнее обрисовать некоторые переживания, подстилающие, так сказать, фон обиденной жизни и по существу не воплотимые в образах. Эти переживания, облеченные в форму повторяющихся тем, проходящих сквозь всю «Симфонию», представлены как бы в увеличительном стекле. Тут я встретился с двумя родами недоумений. Следует ли при выборе образа переживанию, по существу не воплотимому в образ, руководствоваться красотой самого образа или точностью его (то есть чтобы образ вмещал возможный максимум переживания)? Вместе с тем, как совместить внутреннюю связь невоплотимых в образ переживаний (я бы сказал, мистических) со связью образов? Передо мною обозначилось два пути: путь искусства и путь анализа самих переживаний,

разложения их на составные части. Я избрал второй путь, и потому-то недоумеваю, — есть ли предлагаемая «Симфония» художественное произведение или документ состояния сознания современной души, быть может, любопытный для будущего психолога? Это касается субстанции самой «Симфонии».

Что же касается способа письма, то и здесь я недоумеваю. Меня интересовал конструктивный механизм той смутно сознаваемой формы, которой были написаны предыдущие мои «Симфонии»: там конструкция сама собой напрашивалась, и отчетливого представления о том, чем должна быть «Симфония» в литературе, у меня не было. В предлагаемой «Симфонии» я более всего старался быть точным в экспозиции тем, в их контрапункте, соединении и т.д. В моей «Симфонии», собственно, две группы тем: первую группу составляют темы I части; все они, отличаясь друг от друга построением фраз, имеют, однако, внутреннее родство. Вторую группу тем образуют темы II части, которые по конструкции, в сущности, составляют одну тему, изложенную в главе «Зацветающий ветер». Эта тема развивается в трех направлениях. Одно ее направление (тема «а», как я ее привык называть) более отчетливо выражено в главе II части «В монастыре»; другое (тема «b») — в главе части «Пена колосистая»; третье (тема «с») — в главе «Золотая осень». Эти три темы II части — а, b, с, — вступая в соприкосновение с темами I части, и образуют, так сказать, ткань всей «Симфонии». В III и IV частях я старался выводить конструкцию фраз и образов так, чтобы форма и образ были предопределены тематическим развитием и, поскольку это возможно, подчинять образ механическому развитию тем. Я сознавал, что точность структуры, во-первых, подчиняет фабулу технике (часто приходилось удлинять «Симфонию» исключительно ради структурного интереса) и что красота образа не всегда совпадает с закономерностью его структурной формы. Вот почему и на «Симфонию» свою я смотрел во время работы лишь как на структурную задачу. Я до сих пор не знаю, имеет ли она право на существование. Но я вообще не знаю, имеют ли эти права большинство произведений современной литературы. Я старался быть скорее исследователем, чем художником. Только объективная оценка будущего решит, имеют ли смысл мои структурные вычисления или они — парадокс. Но в таком же положении находятся и труженики чистого знания: будущее решает, возможно ли техническое приложение из их трудов. Я бы мог для отчетности привести здесь структурную схему всех глав, но кому это сейчас интересно? Для примера скажу только, что глава III части «Слезы росные» составлена по следующей схеме. Если мы назовем отрывки главы II части «Золотой осени», исключая первого, α , β , γ , δ , ϵ и т.д. и будем помнить, что: 1) основные темы II части а, b, с,

2) одна из тем первой части есть «р», то общая конструкция главы примет вид: $\alpha \rho \beta \gamma \delta$ и т.д. Читатель поймет, в чем дело. Так же написано и все прочее.

Наконец, еще одна трудность для полного понимания «Симфонии». Смысл символов ее становится прозрачней от понимания структуры ее. Для того чтобы вполне рассмотреть переживание, сквозящее в любом образе, надо понимать, в какой теме этот образ проходит, сколько раз уже повторялась тема образа и какие образы ее сопровождали. И если при поверхностном чтении смысл переживания передается с точностью до $\frac{1}{2}$, то при соблюдении всего сказанного со стороны читателя смысл переживания уясняется с точностью до 0,01.

Отсюда следует одно печальное для меня заключение: я могу рекомендовать изучить мою «Симфонию» (сначала прочесть, потом рассмотреть структуру, прочесть еще и еще). Но какое право имею я на то, чтобы меня изучали, когда я и сам не знаю, парадокс или не парадокс вся моя «Симфония»? Без внимательного отношения к моим приемам письма «Симфония» покажется скучной, растянутой, написанной ради красочных тонов некоторых отдельных ее сцен.

В заключение скажу о задаче фабулы, хотя она и тесно связана с техникой письма. В предлагаемой «Симфонии» я хотел изобразить всю гамму той особого рода любви, которую смутно предощущает наша эпоха, как предощущали ее и раньше Платон, Гёте, Данте, — священной любви. Если и возможно в будущем новое религиозное сознание, то путь к нему — только через любовь. Я должен оговориться, что не имею ничего общего с современными пророками эротизма, стирающими черту не только между мистикой и психопатологией, не только вносящими в мистику порнографию, но и придающими эзотеризму смутных религиозных переживаний оттенок рекламы и шарлатанства. Должен оговориться, что пока я не вижу достоверных путей реализации этого смутного зова от любви к религии любви. Вот почему мне хотелось изобразить обетованную землю этой любви из метели, золота, неба и ветра. Тема метелей — это смутно зовущий порыв... куда? К жизни или смерти? К безумию или мудрости? И души любящих растворяются в метели.

Тема метелей возникла у меня давно — еще в 1903 году. Тогда же написаны некоторые (впоследствии переработанные) отрывки. Первые две части в первоначальной редакции были готовы уже в 1904 году (впоследствии я их переработал); тогда же основной лейтмотив метели был мною точно определен. Эти отрывки я и читал некоторым московским и петербургским писателям. Наконец, I часть в законченном виде была готова в июне 1906 года (два года я по многим причинам не мог работать над «Симфонией»); при переписке я включил лишь некоторые сатирические сцены — не более.

Пишу все это ввиду того, что многие могут меня укорять в перепеве некоторых современных тем. После всего сказанного я отклоняю от себя решительно этот возможный укор.

Автор

1907 год, Москва

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СНЕЖНАЯ ЛАПА

МЕТЕЛЬ

Метель выдувала с крыш бледные вихри.

Прыснули вверх снега и, как лилии, закачались над городом.

Певучие ленты серебра налетали — пролетали, обволакивали.

Сталкивались, дробясь снегом.

И снег рассыпался горстями бриллиантов. Сотнями брызнувших мошек, танцуя, метался, ложился у ног.

И мошки гасли.

Но, брызнувши светом, они опять возносились.

Снова гигантские лилии, занесясь, закачавшись над городом, облетали с пургою.

Это была первая зимняя метель.

На улице казались прохожие бледными, странными, когда сталкивались, хватаясь за шляпы.

Знакомая тайна в душе пролетала неожиданно. Знакомые вопли вдали разрывались призывно. Знакомая тайна в душе проплывала неожиданно.

Но бродили все так же, все так же...

Здесь прохожий мелькнет, там прохожий кивнет своей мягкой шляпой.

Проходя, столкнется с идущим навстречу.

Все кружилось пред ним бледным вихрем — снежным вихрем.

И слово ветра становилось пурговой плотью.

Мелькали прохожие, конки, пролетки, как тени столкнувшихся диких метелей.

Единый вставал лик, метельный, желанный, — стенал, улыбался, склонялся.

Опять. И опять.

Манил все тою же тайной.

Белый рукав поднимался вдоль стены. А за ним вырастал уж другой.
Белый рукав, сочась из забора, неизменно вырастал.
Лизал стены домов.
И ускользал.

Над домами надулись белые паруса.
С пением над домами летели воздушные корабли.
Белокрылые летуны уносились сквозь время: на родину, на неизвестную родину.
Белый мертвец вставал у окна. А за ним вставал у окна белый мертвец.
Белый мертвец, сочась с кладбища, неизменно стучал, под окном.
Распускал саван.
И белый мертвец пролетал...

ГОРОД

Так. Вошла луна.
Кто-то, знакомый, протянул сияющий одуванчик. Кто-то, знакомый, все зажег.
Протянул и зажег.
Все затянулось пушистыми перьями блеска, и перья, лапастья, почили на стеклах домов.
Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.
Вечер был вьюжный, бодрый.
Кто-то, знакомый, сидел в конке. Пунсовый фонарь, отражаясь, дробился в тающем снеге.
Отражение мчалось на лужах, на рельсах впереди конки; чертило камни пунсовым блеском, дробилось и пропадало.
Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Толпы учащихся, с лекций выбегая, дробились вдоль улиц, бросали в метель свои книжные знания, глупели и оснежались.

Тучи снегов, над домами взлетая, дробились сотнями зашелестевших страниц, перед носом студента мелькали и рассыпались.

Кто-то, все тот же, кутила и пьяница, осыпал руки лакея серебряными, ледяными рублями: все проструилось в метель из его кошелька, и метельные деньги блистали у фонарей.

Тень жулика, неизменно вырастая, протягивала руку, опускала в чужой карман, вынимала и ускользала.

Кто-то, все тот же, банкир и скряга, подставлял в метель свой мешок: все насыпалось туда метельными рублями, серебром гудящими о крыши, вывески, фонари.

Проститутка, все так же нападая, тащила к себе то банкира, то пьяницу, раздевалась, одевалась, опять выбегала в метель.

Кто-то, все тот же, протянул над городом белый сияющий одуванчик: все затянулось пушистыми перьями снежного блеска, зацветающими у фонарей.

И перья ласково щекотали прохожих под теплым воротником.

Так.

Ветер был вьюжный, поющий.

Белый рукав, неизменно вырастая, припадал к домам, переламывался, удлинялся и ускользал; а за ним поднимался рукав, а за ним поднимался еще, и еще, и еще.

Все рукава, хохотом завиваясь, падали на дома, рассыпались ярыми звездами, алмазили окна, и вот — пролетали.

И еще. И еще.

ЖЕМЧУГ В АЛОМ

Невидимый диакон, склонясь над домами, замахнулся взвизгнувшим вейным кадиллом, проливая ласку, воздушную, снежную.

Невидимый хор подпевал: «Радуйся, невеста метелица!»

Встали белые. Летали и танцевали.

Но сквозь них щекотали солнечные колосья, да голубые миры, словно опушенные серебряными ресницами, улыбались далеким пространствам.

Кружево иконостаса трепыхалось в пламеньках восковых свечек. Златобархатный сумрак был там, испещренный пятнами лампадок.

Женщина с огневыми волосами склонялась, и над ней парчовой диакон проливал ласку ладана, ароматно-лазурную.

И рой мальчиков прозвенел: «Радуйся, невеста невестная!»

Так: женщина с огневыми кудрями склонилась: над ней пунсовый огонек лампадки знаменательно засверкал.

Снежным облаком вуаль занавесила ей лицо.

Склонилась.

И вновь поднялась.

Легкосвистный шелк сладко запел, когда повернула к выходу.

Вьюжное облачко занавесило блеск лампадки.

И вновь развеялось.

И пурпуровый огонек знаменательно засверкал, озаряя образ Богородицы.

Все кружилось пред ней бледным вихрем — выюгой, выюгой.

Вспоминала: «И Слово стало Плотию».

Женщина с золотыми волосами искала всю жизнь воплощения — в улыбках, в словах и делах.

Единый вставал Лик, Желанный, — пред ней улыбался, склонялся.

Опять. И опять...

Манил все тою же тайной.

Пробужденный хаос шумно восставал. Белый столб возлетал.

И, как призрачный смычок, скользил вдоль телеграфных проводов, как вдоль струн.

И струны пели: «Наше счастье с нами». Вихряные рога гремели.

Примелькался снег, уносящийся пухом, пролетающий счастьем, как сон.

Дни летели.

Со днями летела она удивленно в пространствах.

Милого звала, все звала. А теперь вот ее призывал, призывал.

Вкрадчивой, тигровой улыбкой, из-под кружевной вуали, из-под черных, черных ресниц, из-под, как миндаль, удлинненных очей, в неба бархат темно-синий взоры ее впились удивленно, сладко, томительно.

Чем жаднее пила призывами небо, тем быстрее летели выюжные кони над городом, тем настойчивей раздавался все тот же топот, неустанно гремящий над крышами.

Метель раскидала над городом свои легкие, свистные руки.

Трубы домов — громкие трубом — дымом трубили, призывом старинным, и грустным, и легким.

Снежные когти метели то гладили ее, то иглами больно царапали.

Бархатно-мягкий день, заснеженный белыми пятнами, уплывал над домами.

Бархатно-мягкий закат, испещренный дымными тучами, потухал над домами.

БАРХАТНАЯ ЛАПА

Адам Петрович спешил по спешному делу. Мелькали прохожие.

Знакомые абрисы домов высились неизменно. Говорили о том же, всё о том же...

Все уйдет. Все пройдет. Уходя, столкнется с идущим навстречу.
Так кружатся вселенные в вечной смене, все той же смене.

Знакомые абрисы домов, заборы, и белые стены, и повороты кривых улиц — давно он узнал ваши тайные взывания к нему.

Бархатно-мягкий день, заснеженный бледными пятнами, потухал над домами.

Роковое горе пеленало его в своих яростных лапах.

Оно пеленало тигровой багряницей — шкурой, чуть-чуть страшной.
Точно буря рвала его сердце.

Милую не знал никогда он. А теперь его призывала метель.

Вкрадчивой, тигровой улыбкой из-под золотой, как горсть спелых колосьев, бородки улыбался Адам Петрович, из-под темных полей шляпы в неба бархат синий-синий взоры его летели удивленно, призывно, томительно.

Белые рои кружились над городом.

Смотрел: белые рои с гуденьем пролетали мимо и облепили влажной ресницы.

Снег рассыпался горстями бриллиантов.

Сотнями брызнувших мошек ложился у ног. И мошки гасли.

Высокая женщина с огневými волосами из вьюги пошла неровной, вкрадчиво-грустной походкой.

Ее вид, как небо, был далекий, но близкий.

Очи — нестерпимо влажные лоскутки лазури, — точно миры, опущенные черными ресницами, из далеких пространств поднялись они испытующе на него.

Они подавали надежду. Говорили о невозможном. Посылали свою утомленную ласку, сжимавшую сердце. Чем нежнее ластились ее глаза, тем настойчивей, жгучей рвались из рук протянутые пряди ее шлейфа — черно-пепельные с алым отливом.

Чем безумней он к ней устремлялся, тем призывней, звончей легкосвистные ткани метелей, кружась, рассыпались безвластно.

Не отгадала она странных мыслей его?

Почему она смотрит так грустно и почти улыбается ему?

Утишает грусть и точно все спрашивает о чем-то?

Вот-вот тихо подходит к нему.

Не закидала ли метель его снегом?

Почему город истаял в легкосвистной пляске рассыпчатых призраков?

Метель утишает грусть и уносит бедное сердце.
Вот-вот снегом преходит и мир.
Бедное сердце: преходит мир.

Лицо его, облак грусти, изорвала душа, заря — душа, заря взволнованно пропылала.

Душа выпивала старинный напиток — то, чего никто не пьет: в душе взволнованно проплывали пиры — пиры, давно пропылавшие, сладко томили.

Алое вино, алое, к щекам приливало. Грудь разрывало одно, навек одно.

Стенающий вздох — облак снега — взвила пурга: снег — снег, бичуя холодом, просребрил.

Метель запевала старинную старину — то, чего никто не поет, никто не поет.

Белое серебро, белое, к очам припадало. Грудь озвездилась серебром, парчой.

Но она безответно промелькнула. Шелест платья пронесся, как лёт засыхающих листьев, как ток, пролетающий в ветре, как ночи и дни.

Наклонялась. Выпрямлялась. Еще прислушивалась к чему-то.

Странно обернулась и кивнула ему среди улиц.

Еще. И еще.

Но черно-пепельное платье, но лазурь очей, но волос медовое золото гасли, сливаясь оттенками в одну смутную, неизъяснимую грусть.

Так мягко горел в языках ярого огня.

Огонь пеленал тигровой багрянницей, чуть-чуть страшной.

Бархатно-мягкий день, заснеженный бледными пятнами, проплывал над домами.

Вьюга — клубок серебряных ниток — накатила: ветры стали разматывать.

И парчовое серебро сквозной паутиной опутало улицы и дома.

Из-за заборов встал ряд снежных нитей и улетел в небеса.

Раздавались призывы: «Ввы... Ввы...

Уввы...»

Над крышей вздыбился воздушный конь.

Дико проржал вихряной летун, простучал копытом гулко по железу.

Прокачалась белая грива, расчесанная ветром.

Над крышей вздыбился, проржал, простучал.

Адам Петрович возвращался.

Огненно-желтое небо раскидало над домами свои бархатные, заревые объятия.

Он подумал: «Я возвращаюсь. Не возвратится ли и она?»

Выехал экипаж из-за поворота. Остановился.

Мягкий, желтый плюш, испещренный серыми кольцами, пеленал ее ноги.

Во всех окнах, обращенных к закату, махали красными знаменами.

Это были заревые отсветы вечно-странных дум.

Неизменных.

Это была она... нет, не она.

Над крышей вздыбился воздушный конь.

Дико взлетел вихряной летун. Прокачался в воздухе.

И упал, разорванный ветром.

Вздыбился, взлетел, промчался, проржал.

На оранжевом платье, точно шкура рыси, сидела зимняя кофточка.

Шляпа подносом тенила лицо.

Губы — доли багряного персика — змеились тигровой улыбкой — чуть-чуть страшной.

Вышла из экипажа. С мечтательным бессердечием взглянула на него.

Мягкая кошка так бархатной лапой погладит: погладит и оцарапает.

Заревые отсветы переползали с окна на окно.

Вот безответно промелькнула.

Раздался шелест листьев, пролетающих, как пятна, как пятна ночей и дней: шелест шелкового платья.

Повернулся. Пошел за ней.

Улицы сплетались в один таинственный лабиринт, и протяжные вопли далеких фабрик (глухое стенанье Минотавра) смущали сердце вешим предчувствием.

Раздавались призывы: «Выы... Ввыы...

Уввыы...»

Из всех труб, обращенных к небу, трубили дымными призывами.

Это шел бой.

Это были снеговые знамена вечно белых отрядов — вознесенных.

Военный, пролетая мимо, распахнул шинель и кричал кому-то, махая фуражкой: «Какова метелька?»

На минуту блеснула его седина, волнуемая ветром, и он скрылся в снежном водовороте.

У поворота они встретились.
Он шел неровной походкой, задумчивый, грустно-тихий.
Она скользила с заносчивой мягкостью.
Она спрашивала взором, а он отвечал; она успокаивала, а он молчал.
Они подняли друг на друга свои очи — голубые миры — и замерли,
как бы не замечая друг друга.
Потом он улыбнулся, а она без улыбки сделала знак рукою, и ей
подали экипаж.

Точно две встречные волны столкнулись в бушующем море старины.
И вновь разбежались.
И осталось старинное, вечно-грустное.
Все то же.
Небо угасло.
Бархатно-мягкий закат, испещренный туманными пятнами, по-
тухал над домами.

Над крышей вздыбился воздушный конь.
Пролетая в небо, развеял хвост и ржал кому-то, качая гривой.
На нем сидел метельный всадник — вечно-белый и странный.
На минуту блеснуло его копие; он скрылся в снежном водовороте.
Раздалось звенящее трепетанье: это буря рванула номер фонаря.

БУСЫ И БИСЕР

Пришел в редакцию.
Ему навстречу выбежал мистический анархист с золотыми
волосами, вкрадчиво раздвоенной бородкой.
Его сюртук, как бутылка зеленый, был необычен.
Чем нежнее ластился он к гостям, тем настойчивей, пытливей
впивались глаза его, синие, с зеленоватым отливом.
Пурпур уст, и лазурь очей, и золото волос сливались оттенками
в одну смутную, неизъяснимую грусть.
Напоминал Христа в изображении Корреджио — все тот же образ.
Здесь шагал он все так же, все так же...
Все бродил, все говорил. Потрясал золотой, чуть раздвоенной
бородкой.
Вот он безответно любил музыку: слушал прежде Вагнера; глаза
зеленью горели, как хризолит.
Иногда прежде рыдал от вечно-странных, ускользающих дум.
Неизменных...
Как во сне... нет, не во сне...

Теперь он стал бело-бледный, чуть светящийся, просыпающий бусы и бисер, вздыхающий — дерзновенный.

В глазах не сияла зелень — забудки.

Брал голосом гаммы, бархатные, как снега.

От непрестанных исканий тайны глаза из-под льняных волос, из-под бледного лба, правых и виноватых негою чуть-чуть грустной влюбляли мягко, ловко, настойчиво.

В окнах редакции не сверкали снега — хитоны.

Вьюга, словно Кузмин, брала гаммы, бархатные, как снега.

От безумных сверканий закатных «Ш а б л и», будто в ресторане «В е н а», из-под кэк-уока пурги, будто белой пены шампанского, страшно негою румян зари влюбляли кого попало, страстно, настойчиво.

Речами о любви, томно-желтыми бабочками, трепетавшими вокруг уст, — еще издали забрасывал первого встречного мистик-анархист увлеченно, быстро, яро.

Будил надежду. Говорил о невозможном.

Выводил голосом бархатистые гаммы и сжимал в руке корректуры: «Не пробегаем ли мы огневой пояс страсти, как Зигфриды? Почему древний змий оскалится на нас? Обнажаем меч и точно всё ищем Брунгильду.

Вот-вот с зарей пролетает она...

Рассыпает забудки. Дышит светом, дышит нежно.

Будто в зелени, сочится медовым золотом безвременья, и деревья, охваченные ею, отмахиваются от невидимых объятий и поцелуев.

Возмечают ликующе зеленые орари свои, точно диаконы светослужения, — упиваются, дышат, купаются в ней, прогоняя полуношь».

Высочил Нулков. Приложился ухом к замочной скважине, слушал пророчество мистика-анархиста.

Наскоро записывал в карманную книжечку, охваченный ужасом, и волоса его, вставшие дыбом, волновались: «Об этом теперь напишу фельетон я!»

Мистик-анархист говорил, вскочил, тьму заклинал и молил, и высоко вздернутые плечи, и лицо-жемчужина, и длинные пряди волос — море желтеньких лютиков — точно гасли в наплывающем вечере.

Вьюга — клубок парчовых ниток — подкатилась к окну: ветры стали разматывать.

И парчовое серебро сквозной паутиной опутало улицы и дома.

Из-за заборов встал ряд снежных космачей и улетел в небеса. Из-за забора встали гребни седин и разбились волнами о небеса. Из-за забора встал ряд снежных нитей и улетел в небеса.

Но он низвергся. Лег под ногами в одну звездистую сеть.
И опять взлетел, и все пропало...

Адам Петрович, ища разгадки, пришел к мистик-анархисту: словами заткали его, точно громадными полотнами.

Так красивая ложь оплела паутиной его тайную встречу.

Пред ним стоял мистик и прыгал в небо. Но полетел вниз. И красиво врал.

Адам Петрович брезгливо прищурил глаза: из огневых янтарей, задрожавших в окне, сверкнул ряд колких иголок и уколол небеса.

Очи зажмурил.

Иглы пересеклись, ломаясь, в одну звездистую сеть.

И очи открыл: и все пропало...

Очи открывал, закрывал: иглы ломались, металась, как тонко отточенные золота лезвия.

МЕД СНЕЖНЫЙ

Адам Петрович возвращался от мистика-анархиста.

Тень Адама Петровича, неизменно вырастая, рвалась вперед от него, удлиняясь и тая на мостовой.

А уж на стене скользила еще одна тень, а за ней поднималась еще.

Все двойники и вырастали, и таяли, и уплывали вперед.

Вырастали, таяли. Таяли, вырастали.

Так шел он, окруженный кучкой призрачных двойников. Так шел он с ватагой белых стариков. Так шел он, окруженный хладными роями, — старинными, неизменными, вечно-метельными.

Когда же он пошел обратно, все те двойники, что истаяли, возникли опять и плыли обратно: вырастали и таяли — таяли, вырастали.

Кружевные крылья лунной птицы изорвали мечи набежавших тучек; ветер сдул бледную шапочку одуванчика, развеял пух. Развеял ветер.

Луна померкла.

Так: он думал, что странные слухи клубились по городу.

Бледный ток метущий оседал мягко: как снег, в сердца декадентов; их слова зацветали стразами и отгорали.

Декаденты бросались по городу, ужасались и восхищались. Козловод Жеоржий Нулков крутил в гостиных мистические крутняки.

Смеялся в лукавый ус: «Кто может сказать упоенней меня? Кто может, как мед, снять в баночку все дерзновения и сварить из них мистический суп?»

Над ним подшутила метель: «Ну конечно, никто!»

Схватила в охапку: схватила, подбросила — и подбросила в пустоту. А стаи печатных книг вылетали из типографий, взвеванные метелью, проснежались непрочитанными страницами у ног прохожих.

Так он думал.

Да.

Темные чувства — осы — роились у сердца.

Алый бархат крови стекал с распятия, где ужас небытия распинал и пригвождал. Царь в алый шелк своей крови облекся.

Кто-то отвергал его душу, то вновь призывал — покрывал, словно багрянницей.

Словно протягивал губку с уксусом: «Кто может Тебя снять со креста?»

Приникал к Распятию, и Распятый: «Ну конечно, никто!»

Кто-то, милый, снял с кипарисного дерева, нежно поцеловал и бросил под ноги горсти гвоздей.

Пусть тысячи колких жал вопьются в бедные ноги, орошаясь пурпуром крови.

Думал.

Декадентская общественность воевала с миром.

Социал-демократ убежал в анархизм; кучки анархистов ломались в мистику; большой, черный теократ, как ассирийский царь, примирял Бога и человека.

Все они глумились над социал-демократами:

«Мы-то левее вас!»

За чаем бросали словесные бомбы, экспроприруя чужие мысли. Все они забегали влево, пропадали за горизонтом, купаясь в мистике, и восходили, как солнца, справа.

И ватага мистиков росла, все росла, бездельно шатаясь друг к другу и поднимая метель слов.

Думал.

Счастье Христово покинуло Адама Петровича. Он сонно ахнул, и ланиты его точно блекли, точно отгорали.

Его глаза то грустили, то искрились гневом: «Кто мог меня оставить в этих красных шелках?»

Кто-то, Невидимый, шепнул: «Ну да: это — Я». Кротко столкнул в пасть небытия и бросил под ноги горсть бриллиантов.

И стая брызнувших миров удаленно мчалась под ногами Адама Петровича в черном бархате небытия.

«Ах, никто не поможет вернуться!»

Висел в темном. Мимо него с гудением пролетали миры; яркие звезды, блестя, бросали лучи.

Вышли помощники.

Федор Сологуб пошел на него из переулка.

Черные тени развесил, охлажденные хрустальными звездными слез: тряся седею бородой, едко заметил: «И яркие в небе горели звезды!»

Выбежал Ремизов из подворотни: «Хочешь играть со мною в снежного Крикса-Варакса?» Посмотрел из-под очков на Адама Петровича.

Вышел великий Блок и предложил сложить из ледяных сосулеч снежный костер.

Скок да скок на костер великий Блок: удивился, что не сгорает. Вернулся домой и скромно рассказывал: «Я сгорал на снежном костре».

На другой день всех объездил Волошин, воспевая «чудо св. Блока».

Черные толпы ждали Городецкого на Невском.

Добрый народ поджидал долго. Прощелкал Городецкий. Щелкнул пальцем кому-то в нос.

Громовые вопли провожали мальчика.

Жеоржий Нулков на лихаче пролетел мимо и кричал: «Мы, мы, мы».

Грустно вздохнул Шестов: «Не люблю болтовни!»... «Вы наш!» — закричали мистики и увели в «Вену».

Вот как? Да, так.

Так думал Адам Петрович.

Прошел мимо.

У окна остановился.

Из окна окатил его свет: «Никто не поможет мне залечить гвоздные язвы!»

Мимо с гудением пронеслись, будто в свете брызнувшие, мошки и, ярые мошки, облепили, язвя, лицо.

Ходил вдоль стены и поглядывал, и заглядывал в окна света.

Кто там в окне сидел над лампой?

И окно света тихо угасло, и мошки угасли: кто там ушел, захватив лампу?

Очнулся. Заглянул в окно.

Там желтое кружево застыло на потолке. Там желтое кружево поползло.

Там возвращались в комнату с лампой в руке.

Бархатные ее раскидались, вихряные в небе объятия. Незвестная над ним взвилась. Что в ней было?..

Облачки вьюги пышно вздувала, прогоняла новое. Вздувала, прогоняла; прогоняла, вздувала.

Там на вздох отвечала вьюга вздохом. На желанье блистаньем у лампы отвечала белая метель.

Над забором затанцевал вихряный столб. Неизвестный взвивал свои бледные недра. Что в них было?

Но бежал, и вихряный столб упал в заборную скважину: там воздушные летуны — столб за столбом — пышно взлетали и пышно падали.

Из-за забора кивали друг другу, за забором носились сладкою они, сладко ахнувшей вьюгой.

За стеной у него незаметно взлетали столбы: но за стеной призывали его, как в детские годы, куда-то.

Обернулся. Пошел назад.

Снеговые столбы, выраставшие — ниспадали, ниспадавшие — таяли.

Они встретились. Глаза блеснули. Склонились в серебряных тенях.

Они встретились, где лампадный огонек кропил пурпуром снега, озаряя образ Богородицы.

Глаза ее блеснули любовью, когда склонилась пред ним в сквозных вуалях, в осеребренных соболях; золотою головкою клонилась желанно, пурпуровым вздохом уст затомила: это все в ней радостно пело.

Это сон сбежал с его черных ресниц. Да, на вздох ответила вздохом, на желанье — желаньем.

Столкнулись. Но разошлись. Но шаги их замерли в отдалении.

Затомила, сон сбежал; ответила вздохом: но разошлись.

Он думал о ней. Она о нем думала. Пышно взлетели снега, пышно падали; то секли колко, то ласково щекотали под воротником.

В ней он узнал свою тайну. Что она в нем узнала?

Она была ему милая, а он — ей.

До встречи томились, до встречи искали, до встречи молились друг другу, до встречи снились.

Над фонарем стоял световой круг.

Стоило подойти ближе, и фонарь втягивал в себя световой, на снегу трепещущий круг.

Он шел.

Снеговые круги — круг за кругом, — незаметно втягиваясь в стекло фонаря, незаметно истаяли перед ним.

Вновь за спиной они вырастали.

Сладкая была дума о ней, сладкая о Господе тайна: значит, Господь был среди них. Грустно позвал, как и в детские годы, куда-то.

Обернулся. Пошел назад. Никого не было.

Световые круги, выраставшие — таяли, таявшие — вырастали.

Обернулся. Пошел назад.

Световые круги, таявшие — выростали, выроставшие — таяли.

Кто там стоял и глядел на него долгими, синими взорами?

Вьюжные рои взвихрились у домов. Подворотни мягко гремели, когда снежные горсти то взлетали, то ниспадали. Все покрылось матовым инеем.

В окне вздохнули: «Кто может заснежить все?»

Вьюга сказала: «Ну конечно, я!»

Грустно задышала и бросила под ноги новые снега. Новые стаи взвизгнувшей пыли стремительно ринулись из-под забора в синий бархат ночи, мимо с гудением пронесли и облепили, холодя, оконные стекла.

Белые шмели роились у фонарей.

Белый бархат мягко хрустел у его ног: горсти бриллиантов и расцветали, и отгорали.

Его глаза то грустили, то радовались лазурью, а золотая бородка покрылась матовым инеем.

Смеялся в белый снег: «Кто может мне запретить только и думать о ней?»

Пробегал мимо фонаря. Кто-то невидимый шепнул ему: «Ну конечно, никто!..»

Нежно поцеловал и бросил под ноги горсть бриллиантов. Да: цветущую горсть.

Стаи брызнувших мошек ослепительно понесли из-под ног на белом бархате снега.

Крутил у подъезда золотой ус: «Никто не может мне запретить только и думать о ней.

Думать о ней».

Звонился.

Мимо него с гудением пролетали рои: белые пчелы облепили, холодя, его лицо.

Вдоль глухой стены поплыли окна света.

Это прислуга шла отпирать дверь — проходила по комнате с лампой в руке.

Окно света застыло на глухой стене: это прислуга поставила лампу, чтоб отпереть ему дверь.

«Только и буду думать о ней.

Думать о ней».

Лежал в постели. Пробегали думы. Открыл глаза.

Пробегали пятна света на потолке: это ночью на дворе кто-то шел с фонарем.

Другие думы оживили его — думы скорби: «Я — ищущий, а она — Брунгильда, окруженная поясом огня!
Брунгильда из огня».

Открыл глаза.

Пятна света бежали обратно по потолку.

В ПЕНЕ БЕЛОЙ

Завитыми огнями головки над фарфоровой чашечкой кофе склоняясь, ножкой дразнила болонку, откидывалась назад, перелистывала томик и роняла на чайный столик.

Хрупкие кружева, под окошком шатаясь, взбивала пурга, кружева разрывала, в окна стучала.

Да, стучала.

Снежное его лицо, будто метель разрывая, стужей в окно ей смеялось, кивало и проносилось.

И Светлова, к окну подбегая, в хрусталях, в льдах клонилась, их целовала, протягивала руки и замирала.

Ее кружева, с рук спадая, струились, платье пенили; руки ломала и возвращалась к кофе.

Он стоял, весь в цветах, весь в снегах, в хрусталях, и смеялся у окон, как в детские годы смеялся когда-то.

Он воздел свои руки и роем снежинок, букетом цветов полевых в окна ей бросил: так бросал лепестки он в детские годы когда-то.

Он ее призывал, как и в детские годы когда-то.

Вкрадчивый мистик, краснея зарей молодой, подносил ей томик рассказов.

Завитая туманами речь, испещренная тайнами, обурежала ее.

Бархатные тувельки легко уносили ее от гостя, и ручками затыкала она уши.

Одугловатый толстяк, инженер, приходившийся ей мужем, небрежно вышел к влюбленному мистика.

Но сконфуженный студент, спотыкаясь о символы и ковры, поспешил убежать от зевающего толстяка.

Там, в цветах у ее подъезда, подглядел, как в санях она пролетела куда-то.

За нею, за ней, в снежный хохот метелей, бросался за нею куда-то.
Из-за черных дверей в смертный саван метели бросались куда-то.

Остуженный мертвец пурги, всех пеленая, шушукал бледным муаром савана, развеивал саван, повисал над карнизом ледяной костью.

Мягкие сани, в беспредельность пурги ускользая, снег взмывали, брызгали дымным серебром, визжали и пропадали.

Грустно призыв, из пурги вырастая, бил серебряной струей, грустно ласкал, грустно носил.

В магазине модного платья, меж грустнорунных атласов ныряя, она выбирала муар, склонялась и выпрямлялась.

Его бледные руки тянулись в пургу, как и в детские годы когда-то.
Улыбались друзья; он не видел друзей: пробежал мимо них куда-то.
Будто звали его, как и в детские годы, куда-то.

Подруга клонила к Светловой головку страусовыми перьями, прижимая муфту к лицу, ей лукаво шептала.

Светлова клонила к подруге головку страусовыми перьями, ее меховой руки коснулась маленькой муфтой.

Лукавым смехом клонились друг к другу и страусовыми перьями; оглядываясь на прохожего, шептали друг другу: «Вот он, вот он!»

Бледный, ласковый лик, повертываясь к ним, точно хотел подойти и проходил мимо.

Бархатно-мягкий день, заснеженный вьюжными вихрями, запевал над домами.

Грустнорунные струны с серебряных лютней срывая, кто-то бледный грустил, как и прежде, грустил, как и прежде.

ПРЕДВЕЩАНИЯ

Вьюга гудела.

В окне вьюга летела ледяным скелетом, обвитым зажженной порфирой, взметенной, метушей.

Гремел рог пургой: «Вот я, вот я на вас!»

Завизжало лезвие косы, струившее снег над домами; забряцал конь алмазным копытом на телеграфных проводах.

Вздыбился. Оборвал провод: «Горе вам, горе!»

Надушенный эстет прильнул к Адаму Петровичу: «У нас откровения...»

Святые слова картавил, кривляясь, напыщенно.

Звал туда же, туда же: «Все придут. Все облекутся! Уйдя, сохраняют молчание».

Широкая шляпа, качавшаяся цветами, сквозная вуаль, запевавшее шелком платье, — смотрел он, смотрел в открытую дверь.

Бархатно-мягкой походкой вошла блондинка, бархатно-мягкой походкой вошла брюнетка; завитые в вуали, бросились к Адаму Петровичу; обнимая друг друга, друг другу глядели в глаза.

«Мы запишем вас в наше общество. Мы вас пресытим восторгами. Мы вас — сладкие у нас, сладкие полеты, идите, идите к нам!»

Надушенный эстет, запевавшая шелком блондинка, запевавшая шелком брюнетка, — узнал он, узнал те горькие неги!

Чей-то тревожный окрик взлетел над городом: кто-то кого-то куда-то звал.

Расчесанный лакей снял с нее шубу: «Барин к обеду вернулся!»

И слова оплели ее пошлостью: «Все сядут за стол. Все за столом изолются. Уйдут и вернуться. Вернутся и уйдут...»

Знакомая мерзость дней, смешок извращенной услады, — о, если бы он не поддался соблазну!

Чей-то разорванный саван шушукнул под окнами: кто-то кого-то куда-то звал.

Адам Петрович говорил с блондинкой. Ревниво краснела брюнетка, ревниво краснел эстет. Говорил с брюнеткой — ревниво краснела блондинка, ревниво краснел эстет: это были проповедники эротизма.

Блондинка, брюнетка, эстет — эстет, брюнетка, блондинка: встал, разорвал душевное кольцо.

Чье-то секущее лезвие, точно коса, протрезвонило в окнах: кто-то, бледнея, вскинул руками.

Светлова, прилетев домой, плеснула перед зеркалом перчатками. Комнаты убежали в зеркала. Там показался он, милый, милый. Обернулась — бежал ее муж: уронила сквозной платочек.

Дряблый, пыхтящий инженер, задыхаясь в подбородках, уронил ей на плечи свои потные, потные руки.

Адам Петрович надел перед зеркалом перчатки. Комнаты убежали в зеркала.

Там показалась она: милая, милая.

Обернулся — в передней стоял лакей: поднял с полу чей-то сквозной платочек.

Серый, немой лакей, застывая с шубой, уронил ему на плечи душный, тяжелый мех.

Жалкий дубовый гроб выплывал из метельных гребней: чьи-то похороны тащились куда-то.

Светлову поймал муж. Светлову терзал ласками: «Знакомые обещали быть непременно!»

И она: «Придут (оставь) всё такие же пошлые!»

Разметнула свистными крыльями шали (точно лебедь, пахнувший холодом), и зеленые стебли, упadaющие над дверью, грудью разбила, убегая к себе.

Адама Петровича поймал оргиаст. Он терзал вопросами. Знакомые ответы раздавались привычно.

Говорил все так же, все так же...

Хрустальные крылья снегов — лебедей, поющих холодом, — разбивались у него на груди, падая с небес.

Чей-то тревожный крик изрыдался над городом: кто-то кого-то куда-то звал.

ПОЛЕТ ВЗОРОВ

Вскипало. Вскипало.

Пропенились снежные листья — бледные цветики пуха.

Голосило: «Опять приближается — опять, опять начинается: начинается!»

Пробренчало на телеграфных проводах: «Опять... надвигается... опять!..»

Снег встал потопом.

К пернатым дамам вошел в ложу. Улыбнулся рассеянно, тихо.

Строгая красавица навела на них лорнет.

Ярко-синие дали очертили томные ресницы — затомили негой.

Качалось волос ее зарево, золото...

Ароматно тонула, тонула — в незабудковом платье, как небо, в белопенной пурге кисейных, кремовых кружев, будто в нежной, снежной пыли.

Замерцал в волосах, блеснул, как утро, розовый бриллиант, и, как день, матовая жемчужина слезою качнулась.

Еле всхлипнул веер в легких перьях — небрежных взмахах.

Пела вьюга, свистела.

Проливались жемчужные песни — снежные, нежные сказки, вьюжные.

Засвистали: «Счастье приближается — опять надвигается, опять!»

Взвизгнул рукав на телеграфных проводах, как гибкий смычок на железных струнах: «Милая... неизвестная... милая!

Наше счастье с нами!

Да, да».

Виолончель безответно вздохнула: шелест скрипок повис, точно лёт снежной пены, точно пенных в небе ток лебедей от брызнувших в воздух и размешанных с ночью.

На него она обернулась: удивленно взглянула, — в упор загляделась испуганно.

В упор бирюзовым вином своих вспыхнувших глаз запьянила.

Опустила глаза. Плеснула веером.

Точно облачко вьюги набежало на нее, как на солнце, замело кружевными снежинками.

Дышал зорями он.

Сладким пламенем, сладким, оплеснуло грудь.

Кивал, смущенно кивал — в партер друзьям и знакомым, словно отмахивался от кокетливых ее, ласковых ее взглядов: все точно вздыхал над чем-то.

От истомных волнений бесцельно играл с боа пернатой дамы, из-под бархата ресниц милую темно-синим взором ласкал он, все так же, все так же, предлагая кому-то бинокль глупо, бесцельно, рассеянно.

Говорил с соседкой о том же, все о том же. Глядел все туда же, туда же.

Встала она, и атласом вскипевшая шаль рванулась с нее, как взметенный, сквозной столб метельный.

Над ним, вокруг него взволнованно проплывали очей ее синие волны, синие — синева больная больно томила, сладко.

Взоров пьяное вино, пьяное, терзало одним, навек одним.

В пространствах замахали ветками снежных, воздушных ландышей: там исступленно упивались простором ночи, дышали морозным вихрем, купались, облегченно клонились петь над трубами.

И трубы пели:

«Дни текут. Снег рассыпается. Снегом встало незакатное, бес-
срочное...

Пролило пургу свою — ласку морозную — белыми своими устами
расточило поцелуи льдяные...

Засочилось снеговым посвистом...»

И деревья, охваченные снегом, возметали ликующе суки свои,
точно диаконы ночи, закупались в снеге и вздохнули облегченно,
побелевшие в снежных объятиях.

Люди текли. Антракт близился к окончанию. Вот и она близко.

Надвигалась в черных сюртучных тучах, голубым неба пролетом
завуаленным кружевом, укус томлений претворяя в золото и пургу.

Пролила из очей ласку лазурную. Пронесла улыбочиво уста, как
лепестки, ароматные.

Шлейфом по сверкающему паркету рассыпала незабудки.

Пряди волос просочились мимо медовым пламенем, когда на-
тянула, играя, над личиком сквозное, серебряное кружево, метнув
яркий взор свой.

Кавалер ее, старый полковник, оттопырив руки, вертел фалдами
мундира, сверкал эксельбантами и сединой, усмехался бритым лицом,
охваченный ее кокетством, отмахивался от ее шуток, упивался, дышал,
восхищался ей, вздыхал сладко в ее благоухании и — священнослу-
житель восторга — выше, выше свой профиль бросал, словно гордый,
застывший сфинкс.

Вьюга укус страданий претворяла в радость и пургу.

Качались метельные, сквозные лилии — кадилъницы холода.

Ревом, ревом фимиам свой в небо метали диаконы льдяные.

Адам Петрович вошел в ложу, повитый отсветом вечной любви,
несказанной...

Вошел к своим. Нет, не к своим.

Точно спадающий водопад, струевые, певучие складки шелка дро-
бились о нежное тело ее, когда она гордо приподнялась.

Чуть-чуть усмехнулась. Чуть-чуть покраснела. Чуть-чуть накло-
нилась. Чуть-чуть отступила.

Что-то сказал подруге.

«Простите, простите!» — «Ничего!» Понял, что не туда попал.

Из ее вышел ложи сконфуженный, вечным овеванный, всегда тот же.

Гордо ударил громкий смешок гордо гремящего полковника.

Опять. И опять...

И она улыбнулась тоже.

Это были восторги их душившего счастья сближений мгновенных, чуть заметных: ветряно-снежные полеты кокетства.

Это была игра. Нет, не игра.

Просторы рыдали.

На перламутровом диком коне пролетел иерей — перламутровый иерей, вьюжный иерей, странный.

В ледистой, холодом затканной митре, священнослужитель морозов на руках выше, выше своих вознес сладкую, сладкую лютню.

Из рукавов его проструились муары снежинок. Бледными пальцами задел легкоцветные, вейные струны.

Провздыхал: «Счастье, счастье!

Ты с нами!»

Сбежала с лестницы. Роились у подъезда. Мягкий бархат ковра хрустел у ее ног; чуть приподнятая юбка зацветала шелком и отгорала.

Ее глаза то грустили, то радовались, то смеялись, то плакали, то сияли, то потухали.

Ее шаль, как одуванчик, пушилась кружевом над золотой головкою.

Над лестницей, свесившись, похотливо смеялся ей какой-то сюртучник: «Кто запретит мне любоваться ее стройной ножкой?»

И она безответно ускользнула: шелест юбок пронесся, как вздох замирающей грусти.

Но она безответно в снегах утонула: шелест снега пронесся, как лёт птиц серебристых.

Но она села в сани.

Мягкий ее снег поцеловал и под ноги бросил горсть бриллиантов.

Сани стремительно понесли, дробя хрупкий бархат.

Серебряные, как бы снежные, лютни над ней зазвенели.

Раздалось пение метельного жениха: «Ты, вьюга, — винотворец: укус страданий претворяешь в серебро да пургу.

Радуйтесь, пьяницы, радуйтесь и вино пейте, — вино белое: — вино морозов».

И она захлебнулась морозным вином.

ПОСТЫЛОЕ ЗЕЛЬЕ

Она беззаботно раздевалась.

Шелест незабудковых волн шелка — водопад ниспадающих одежд — раздавался от движений ускользающих ее обнаженных рук.

Чем нежнее ластились к ней одежды, тем настойчивей рвала их она, восставшая из голубого, залитого шелка пеной белой, точно из морской волны, разбитой утесом, — восстала в сквозном батисте.

Как две легкие тучки, поднимались, клубясь, ее груди в желтой заре волос, иссекавших ей облачковое тело.

Поднимались и опускались.

А ей улыбался желанный, улыбался вечно-грустный, все тот же.

Она клубилась в темных тенях: пирно-сладким из темноты поцелуем призывала его она.

В непрерывной истоме взоры из-под, как миндаль, удлинённых глаз, из-под черных, темных ресниц бархатом жутким, синим в ночи темь впивались властно, сладко, томительно.

Но толстяк пришел, засквозил в темноте и полез на постель, призывая шепотом жену.

Да, она упала в простыни униженно, да, отчаянно она упала, а над ней взволнованно наклонился толстяк — запыхтел и страстью сладкою пылал.

В окно плескал ветер.

Все вскипало там бисерной пеной стужи, как в бокале пьяного шампанского.

Бокал за бокалом вскипал и в окна снегом ударялся.

Она горестно замирала в постылом объятье, навек постылом.

Инженер лежал рядом с ней. Инженер шептал ей: «Люблю я!»

Дрябло прижался в слащавом томленьи к ее жарко-лилейному телу.

Теснее. Тесней.

И она молчала униженно.

Ветер стих. Метель улеглась. И пропел петух.

Странно раздался задорный гортанный крик среди ночного безмолвия.

Еще. И еще.

И везде запели петухи.

И потом вновь поднялся торжествующий хаос, взметая потопом снега.

ПЕРВАЯ МЕТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ

Мертвые круги пропылавших лиц, скрытность взоров, извороты кривых мыслей, — давно узнала она этот страшный кошмар.

Так думала, просыпаясь: золотая, истомленная головка ее поднималась с подушки.

Волнистый дым рубашки пеленал ее тело, когда сбросила тяжелое одеяло с себя, точно золотую порфиру, испещренную пятнами.

Ей в окошко смеялась метель.

Ты, метель, — белый ком, рев снега, хохот пены, шум ветра.

Как сквозная ты птица, как лебедь, взлетела.

Взлетела над колоколом, опрокинутым над нами.

Ясным пером — снежным столбом — брякни в лазурь.

Да: заревет мировой колокол, призывая к всесветной ектенье.

Вьюге помолимся.

Ты, метель, белопенная.

В гладь лазури дымишь ты белым, шипучим снежным вином.

Возноситесь над миром, снега легколетные, снега пьяные, снеги — шатуны.

Ревом, ревом орари в вышину мечите, диаконы вихрелужения.

Вьюге помолимся.

Толстый пошляк вздыхал сонно, заплетаясь в простыню, — спал, все спал.

Зевая, точеными руками она охватила колени.

Белой ножкой ступила на ковер, окаймленный точно горностаевым мехом.

Ей в окошко смеялась метель.

Ты, метель, — белый цвет, облако пуха.

Как большой одуванчик, как сквозной месяц, взошедший над миром, бесполезно лазурью пропитанный зимним деньком.

Пухом — колким снегом — выше взвейся, выше взвейся.

Взвизгни кружевным, снежным фонтаном.

Хлестни счастьем, замети.

Вьюге помолимся.

Ты, метель, — улей белых пчел: колкими пчелками впейся в море небесных колокольчиков.

Медоносные пчелки, от голубеньких они оторвутся цветков.

Заползут под воротник, прожужжат о невозвратном.

К вьюге, к вьюге с мольбой свои лица бросайте, руки ей простирайте.

Вьюге помолимся.

Глаза ее огорченно упали на мужа: муж был толстяк. Муж пролетал в пустоту.

Низко плавая, он мечтал о высоком.
Одутловатая, сонная голова его продавила подушку.
Брезгливо слушала его громкие вздохи, точно вздохи кузнечных мехов.

Ах, вьюга, — зычный рог, глас Божий!
Как блаженная весть ты, в сердца нам глаголишь, ты нам глаголишь.
Зычный рог, зычный: уставься на небо и голоси, и проголоси.
Скажи, о, молитвенница наша, о, скорая наша помощница:
«Господь с вами».

Гремите, гремите, рога вихряные!
Громче, громче невесту, громче исповедуйте, громче — невесту-метель!
Се грядет невеста, облеченная снегом и ветром ревучим.
Се метель грядет снегом, неневестная.
Вьюге помолимся.

Золотая утомленная головка ее показалась в окне.
Волнистый, снежный дым взвихрил все пред ней: все пред ней точно засыпал пушистым мехом.
Она любила метель.

Ты лети, белый лебедь, из снега сотканный, лети.
Захлеши вьюжным крылом по лазурному морю.
Крылатый, крылатый, — пой нам, о, пой нам пурговую песню, улетаю к солнцу!
И лебедь поет. Лебедь летит. Поет и летит. Поет и улетает.
«Ты, солнце, тяжелый шар, — золотой храм мира!
Золотой храм, воздвигнутый в лазурь...
Я лечу ко твоим, ко святым местам — к золотым столбам — лучам — ко вселенской обедне!»
Возноси моления наши.
Улетай, лебедь-вьюга!

СУМБУР

Адам Петрович шел на шумное собрание, чтобы повидаться с ясным другом, старым мистиком, давно ушедшим в молчанье.

Знакомые абрисы домов высились неизменно. Знакомые саваны мертвецов пролетали снегом.

Знакомые абрисы домов из-под них высились неизменно.

Говорили о том же, всё о том же...

Все уйдет. Все пройдет. Уходя, столкнется с идущим навстречу.

Так кружатся вселенные в вечной смене — всё в той же смене.

Столб метельный мелькнет, снег взвывает, снег вздохнет. Столб сольется с пургой, взметенной навстречу.

Так кружатся столбы в вечной смене, в снежной пене — всё так же, всё так же, запевают о том же снега.

Мистический анархист встречал гостей. Пожимал им руки.

Вводил в кабинет, озаренный розовой лампадой. Вводил в кабинет, опрысканный духами.

Здесь болтали всё так же.

Все кричали. Все дерзали. Потрясал анархист, довольный собой и гостями, золотой, чуть раздвоенной бородкой.

Слегка напоминал он образ Корреджио — все тот же образ.

Столбы метели взлетали. В окна стучали. В окне мелькали. В окне запевали.

Вот анархист безответно любил музыку: слушая прежде Вагнера, словно глаза зеленью горели, как хризолит.

Прежде он рыдал от вечно-странных, ускользающих дум.

А теперь — никогда.

Теперь он стал пророком сверх-логизма, сверх-энергетического эротизма, просыпал устами туманы, никому не понятные.

Точно с умыслом. Нет, без умысла.

Брал он голосом гаммы, бархатные, как ковер снегов, слушая метельные гаммы снегов.

От непрерывного улова новинок глаза из-под льяных волос, из-под бледного лба солярников, планетарников, оргиастов, дионисиастов ласково улещали вкрадчиво, ловко, расчетливо.

С уст взволнованно слетали сласти — сладные сласти гостей улаждали.

Нулков притаился в углу, записывал чужие мысли: у него было много записано слов. Он думал: «Пора издать книжечку».

Сбоку сидел старый друг Адама Петровича — седой мистик.

Глубже он, глубже был прочих. Его знание опережало, всех опережало, все опережало.

Недавно он выпустил громадный свой труд — труд, глубоко продуманный, стал колодцем, из которого все черпали.

Камнем он, камнем упал на дно русской словесности (на поверхности плавали книжные щепки).

Труд назывался: «Одно, навек одно».

Он не кричал о тайнах.

Но все тайны он знал.

От времен стародавних, Иисусовых, он собрал бездны гностических мудростей о любви, из-под хаоса криков утаил под личиной он любовное о Христе знание, властно, мудро, настойчиво.

Не стал во главе. Не читал лекций. Говорил: «Конец идет».

Одинок держался седой мистик от всеобщего гама. Ждал.

Еще. И еще.

Но кругом бежали в пустоту.

А кругом стоял шум. В статьях вопили: «Мы, мы, мы!»

Но странно у старца горела в глазах заря новой жизни.

Вот. Всё еще.

Но нигде не брезжил свет.

Кругом пускали мистические ракеты. Собирались в шайки.

Мистические болтуны болтали неизменно — говорили о том же, всё о том же. Что дерзнут, что мир лягут: встанут на головы грозить пятками миру.

Так сходились у мистика — анархисты, болтатели в вечной болтовне.

Златоволосый анархист точно вздыбился над головами гостей.

Рой голов подобострастно склонился пред ним, и слова его зацветали и отгорали.

Его руки то взлетали, то падали на стол, а копые ледяное стучало по окнам.

Кричал, наступая на всех: «Кто запретит мне все перепутать?»
Нулков взвыл: «Ну конечно, никто!»

Схватил словарь Даля и подобострастно подал златобородому мистику.

Снежные мстители прилипали, вопя, к окнам.

Красные снопы лучей падали на всех. Яркими пятнами падали на лица.

Так горсти пятен рассветали и отгорали.

Старый мистик то проливал на стол седину, то шептал Адаму Петровичу:

«Промчался золотой век скромности. Кто может теперь вернуть мне бывшее?»

«Ну конечно, не крикуны!»

«А все Тот же, все Тот же зовет нас туда же!»
Нервно закурил и бросил под ноги горсточку пламени на спичке.
И стая прыснувших дымов ароматно всклубилась из-под сигары
в синем бархате вечера.

«Никто не знает, что творится в умах».
«Ослепли. Погибают, и призраки смерти обступят со всех сторон».
«Говорят о том же, всё о том же — говорят о любви и не знают
любви...»
«Линию глубины превращают в точку на плоскости».
«Лабиринта глухие стены: Минотавр ждет!»

И пока шумели кругом, Адам Петрович открывал ему душу:
«Я люблю ее».

«Всякая ко Христу любовь приближается!
Уноситесь же, милый, на Христовой любви, как на крыльях...
Вам дано: о, дерзните, желанный!
Вы на смерть пойдете!
Чем нежнее любовь, несказанней, тем грознее, ужасней встает
ненавистное время во образе и подобии человеческом...
Вы любите свято, о, бойтесь, желанный: третий встает между вами!
Странно зовет священная любовь на брань с драконом времени.
Зовет. Все зовет...
Все победит любовь!»

А сбоку кричали: «Чем святей, несказанней вздыхает тайна, тем
все тоньше черта отделяет от тайны содомской.
Подле белизны, лазури и пурпура Христова вихрем соблазнов
влекут нас иные пурпурные.
Ангельски, ангельски в душу глядятся одним, навек одним».

Вздыбился над домами иерей — вьюжный иерей, белый.
Заголосил: «Соблазн разрушается!»
Замахнулся ветром, провизжавшим над домом, как мечом.
«Вот я... вас... вот я!
Моя ярость со мною!»
И блистал он снегами.
Перед ним, над ним, вокруг него зацвели огни: за ним мстители-
воины, серебром, льдом окованные, поспешали.
Яро они, яро копьями потрясали — сугробы мечами мели, мечами.

Точно две встречные волны, столкнулись два эстета в темном углу.

Один шептался с другим. Да, с другим.

«Вы все тот же, вы милый, тот же вечно желанный!»

«Все тот же».

«Вы — мой отсвет улыбок, мой бархат желанных исканий».

«Вы прекрасную любите даму. Да, нет, — полюбите меня».

«Полюбите меня».

«Чем нежнее черные кудри к челу вашему льнут — тем смелее, тем настойчивей люблю я, люблю».

Вот и губы эстетов змеились запретной улыбкой. Да, запретной до боли — змеились, змеились.

Так.

Вскипела в окне, плача гневно, — летела, снеговая царевна.

Так гневно, так гневно склонил, опустил глаза: точно его распинала, крестная его распинала тайна.

Точно рвался с кипарисного древа, рвался.

Ах, да, да! Ему говорил старый мистик: «Они и о тайне, но в тайне и их уязвил соблазн».

Адам Петрович встал. Встал, — скорбно губы застыли изгибом.

И встал...

Руки поднял, заломил, опустил: хрустнули пальцы.

И застыли губы, застыли.

Пусть: застыли.

Возвращался домой. И роились рои: у фонарей рои роились — и у ног рои садились.

Роились.

Белый бархат снегов мягко хрустел у его ног: ах, цветики блесок цветились и отцветали.

Его глаза то цветились, то закрывались ресницей, и парчовая борodka покрылась бархатным инеем.

Прохрустев мимо ее дома, в золотой смеялся ус:

«Кто может мне запретить только и думать о ней?»

Думать: да, — о ней».

Бежал, бежал — пробежал.

Невидимый кто-то шепнул ему снегом и ветром:

«Думать о ней? Ну конечно, никто».

Снежно поцеловал, нежно бросил — бросил под ноги горсть бриллиантов.

Бросил.

Стаи брызнувших искр, ослепив, уж неслись: неслись — понеслись из-под ног в белом бархате снега.

Кто-то, все тот же, долго щекотал, ярко, слепительным одуванчиком — да и все затянул: все затянулось пушистыми перьями блеска, зацветающими у фонарей.

И перья ласково щекотали прохожих под теплым воротником.

Вьющий был ветер, поющий, метущий: волокна вьющий.

Среброхладный цветок, неизменно в небо врастая, припадал к домам.

Облетал и ускользал: и ускользал.

Пусть за ним ускользал и другой: ускользал и другой. Пусть за ним поднимался еще, и еще, и еще...

Все рукава, хохотом завиваясь, падали на дома, рассыпались снежными звездами.

Алмазили окна и улетали, летали.

Дали темнели. Летали дали.

«Только и буду жить для нее».

Лежал в постели. Пробегали думы. Открыл глаза.

Пробежали пятна света на потолке: это ночью на дворе кто-то шел с фонарем.

Другие думы осенили его — его другие думы: «Ищущий — я: а она? Да, да!»

Открыл глаза. Набежала слеза.

Пятна света по потолку бежали обратно: убегали невозвратно.

ГАДАЛКА

В комнате, обращенная к треножнику, гадалка махала синим шелком.

Это яростно гадалкино разметалось по комнате платье, когда страстно протянула она к Светловой свои цепкие пальцы; властно вещице свои, роковые объятия.

Прозрачное, как облако, лицо Светловой было измождено в ней горевшим восторгом.

Очи — томные токи лазури — точно острые синие гвозди, — они уходили в гадалку.

Подавали друг другу руки и сказали о невозможном.

И сказали утомленно; кому-то послали ласку, ласку сердца.

Чем восторженней ей дышала о милом Светлова, тем углям поклонялась бесстыдней гадалка, тем настойчивей на синем взвихренные плясали черные на ней кружева, как взметенная в небо пыль.

Грешные помыслы их вырастали: «Яркие встречи ваши снятся мне в углях, вырастая и тая дымом, дымком».

Грешные помыслы, что томили Светлову, вырастали и таяли, таяли, вырастали, как тени их, заплясавшие тени их на стене.

Окропили бархатно уголья; то склонялись над жаром, то поднимались.

Красная сеть пятен: как ярко-воздушный зверь, свои на них полагал летучие лапы.

То склонялись, то поднимались. Свет свои на них полагал лапы.

Пурпуровый отсвет то полз снизу вверх: то отсвет полз сверху вниз.

На Светлову глаза поднимались гадалки страстной темью, опускались, страстной темью сверкали, страстной и погасали темью.

Худая гадалка привораживала душу его страстной темью, припадала к треножнику страстной темью, поднималась и застывала.

На груди ожерелье звякнуло, свесилось к полу с груди, от груди прыснуло блеском и отгорело.

Гадалка сказала:

«Тайны сладость, тайны сладость — потому что на вздох еще до встречи он отвечал вздохом, на желанье желаньем. Он всю жизнь вас искал.

Вы — его.

До встречи молились друг другу, до встречи снились. Сладкая у вас, сладкая любовь. Но кто-то встанет меж вами.

Только молитва ангелу, только умное деланье, только ворожба зажженных лампадок образ осилит рока между вами.

Вы молились ангелу. Увидели его. Поняли.

Что он не живой, он — ангел.

Вот завели вы себе, живой завели образ: для новых дел завели.

Он, только он. Вы сгорите в яростной страсти.

Только».

Светлова стояла грустно, задумчиво, тихо.

Гадалка — с кокетством, грешной мягкостью — поднесла к лицу ее набеленный, морщинистый лик.

Светлова спросила взором, а гадалка с кокетливой мягкостью только сладно поводила глазами — только. Одна просила успокоить, только другая ее истерзала.

Только взором впились друг в друга.

И два помысла их сопряглись в чудовищном искусе.

Два умысла.

Только встало во взорах старинное, вечно грустное.

Только встало. Все то же...

Вдруг губы старухи ожгли лицо красавицы, лучась грешной улыбкой. Цыплячей рукой, точно птичьей лапой, тихонько погладила ее, тихонько ее пурпуром дыхания жгла.

И Светлова с ужасом отшатнулась.

Бешеный иерей над домами занес свой карающий меч, и уста его разорвались темною пастью — темным воплем.

«Задущу снегом — разорву ветром».

Спустил меч. Разодрал ризы. Залился слезами ярости.

И падали слезы, падали бриллиантами, трезвоня в окнах.

Взлетел.

И с высей конем оборвался: потоком снегов писал над городом.

ГОРОД

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Ветер был вьюжный, бодрый.

Кто-то, знакомый, сидел в конке. Пунсовый фонарь отражался в тающем снеге.

Отражение мчалось на снеге — на талом снеге спереди рельс.

Чертило лужи пунсовым блеском: дробилось и пропадало.

Тень конки, неизменно вырастая, падала на дома, переламывалась, удлинялась и ускользала.

Толпы людей, из домов выбегая, бросались в метель, снегом дышали, утопали и вновь выплывали.

Кто-то, все тот же, кутила и пьяница, осыпал в ресторане руки лакея серебряными, ледяными рублями: все проструилось в метель из его кошелька, и метельные деньги блистали у фонарей.

Проститутка, все так же нападая, тащила к себе, раздевалась, одевалась и опять выбегала на улицу.

Подруга клонила к Светловой своей шляпой с пышными перьями, прижимая муфточку к лицу, ей лукаво шептала.

Светлова, клонясь к головке подруги шляпой с пышными перьями, ее меховой руки коснулась маленькой муфтой.

С лукавым смехом клонились друг к другу пышными перьями, оглядываясь на прохожего, ласково и бесстыдно.

Да: в магазине модного платья они утопали в шелках и атласах, то ныряя лицами, то вырастая.

Грустный призыв, из пурги вырастая, бил снеговой струею, сердце ласкал, уносил, уносил.

Его бледные руки тянулись в пургу, как и в детские годы когда-то. Улыбались друзья. Он не видел друзей: пробежал мимо них куда-то. Будто звали его, как и в детские годы, куда-то.

ТРЕТИЙ

Седой мистик клонился, как метельный старик из бледных вихрей, и леденелая трость хлестала по мостовой. Адам Петрович клонился в метелях, и леденелые десницы упали к нему на плечо.

Снежные руки хрустальных скелетов то замахивались над ними, то просыпали белоградную дробь.

Мистик сказал:

«Метет: снежный дым времени метет образ рока, и снежные кудри его вам пропевают в лицо».

Пропел в пурговом хохоте: «Кто-то встает между ею и вами».

Побежал навстречу почтенный полковник.

Пели крылья, шипели, вскипали, и почтенный полковник рвался в пургу бобровым воротником.

Да, вот — бритое лицо вывихрилось на них из белоцветных облаков снега.

Вывихрилось из снега.

Вот полковник накрыл старца-вьюгу бьющим крылом шинели; смеясь, покосился — смеясь, покосился.

Смеясь, покосился.

Над домами вихряной иерей конем вздыбился, конем вздыбился. Вздыбился.

Снежный дым яро клубился, у его ног клубился; и горсти лучевых молний снежных зацветали и отгорали.

Его руки копьём то замахивались, то потрясали копьём, и копьё, ледяное копьё стучало по крышам.

Кричал в вихряной ярости: «Кто пойдет на меня?»

Затоплю, проколю его, иссеку колким снегом».

Пеной вскипал и пену разливал на прохожих, пену.

Точно стаи брызнувших копий слепительно просверкали из морозных дымов снега.

Полковник стоял среди них, точно из снега сотканный, запорошенный.

Только сказал: «Метель завивается».

Махнул фуражкой, взлетевшей над головой Адама Петровича, как бы угрожая: «Вот тебя... я на тебя!

Вот я».

Повел он плечами. Убежал в снега. Перед ними плясали снега. Вышел из снега и ушел в снег.

Вздрыгнул над домами иерей — клубящийся иерей, взметенный. Взревел: «Все разрушается».

Замахнулся ветром, провизжавшим над домами, как мечом: «Вот я: на вас.

Вот я».

И снежил он парчами. Засквозили снега. В них он промчался. Вышел из снега и ушел в снег.

Мистик сказал:

«Вот полковника занес над вами рок, как меч карающий.

Бойтесь его: вот бойтесь полковника».

Бешеный иерей надо всем занес меч свой карающий:

«Задушу снегом: разорву ветром».

Это был метельный иерей, конем вздыбившийся над домами, — в бриллиантах, отгоравших... и зацветавших.

Это ледяные руки его грозно копьём потрясали, в окно стучали.

Точно вихрюю мутью рассыпался, вновь вставал. И вновь рассыпался. И несся лес копий всадников старинных, вечно-метельных, мстителей все тех же.

ВТОРАЯ МЕТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ

Шел в снегах ясный странник.

Морозный бархат похрустывал у его ног и горстями бриллиантов по снегу разлетался.

Но покинутый город то грустно обертывался, то вздыхал и нес в просторы молитвенный мед.

«Там взроился мой улей. Они там меня ждут, только и думают обо мне».

Ветер вздохнул: «Ну, только ждут».

Поцеловал: ах! — бросил под ноги золотой рой.

Бросил.

И стая солнечных пчелок ринулась на него: облепила золотом ноги.

В Тебе, Господи, — снег, в Тебе, Господи, — счастье.

Небом Ты — лебедь, небом Ты — белый, смертью смерть поправ,
Ты над нами восстал.

Перьями бей в лазури, снегами риз — провей, одари.

Да: пропоют снеговые псалмы на метельной обедне.

Господу помолимся.

Кровь заката багряная вином снежным вскипела: причастники,
приступите.

Проливайся, пена метельная, пена метельная, пена.

Проливайся, пена.

Гласы, гласы свои над землей изрекайте, о Господе воздыхайте!

Орари, диаконы, —

орари бросайте, в небо бросайте, диаконы снежные.

Господу помолимся.

Ясный странник пришел в лес.

У избы мягко он постучался; там в окнах бриллианты огоньков
зацвели горстями и разбегались.

Это старицы то зажигали свечечки, то раздавали молитвенникам
световые пучочки.

У двери его вопрошали:

«Кто там стоит при дверях и стуком просится?»

Странник сказал: «Я — ваша радость».

Руки на них возлагал и в виссон облекся белый.

Ах, стая огненных пчел вылетала из кадила, когда он вздул его!

Ты, Господи, Ты — неотцветный, Господи, цвет.

Ты, Господи, — снегом, снегом Ты проходишь: снег так лазурью
пронизан, как плоть неба оком.

Снег так лазурью пронизан, как сквозной одуванчик.

Так снег пронизан.

Сквозным, белым одень кружевом.

Иных одежд не знаем, вьюгу разумеем.

Вьюге молимся.

Улей видим воинов белых: медоносные пчелы Господни: сладкий
они, душистый они, с душ мед, — молитвенный мед они собирают.

Вьюге, вьюге сердца ваши, верные, открывайте, жадным пчелам
сладость молитвенную передавайте.

Пчелы, несите вы мед в улей, несите; и ко Господу все с мольбой
усердно припадем.

Ты, Господи, Ты помилуй.

Царственный странник, ясный.

Взял благочинно он книгу, ее вознес и ей сердца окропил.

Ниц молитвенники падали.

Ринулись к полу горячие свечечки, точно под ноги ему бросили
горсть бриллиантов.

Но он не упал.

В золотом от свеч воздухе то повертывался направо, то налево,
и замахивался кадиллом.

О Тебе, Господи, тайна и, Господи, о Тебе слово вихрем благим
нам в сердца глаголет.

В облаке снежном, во столбе, во метельном к нам сойди, к нам.

И нам, нам скажи: «Я — с вами».

Нам скажи.

Жениха громче исповедуйте, громче, — как снег белого, громче.

Гремите, гремите, ах, рога вихряные!

Громче вопите, громче, всё вопите громче: се во снег оделся жених,
се грядет метелью.

Гряди, метель, гряди!

Странник читал им неведомую молитву:

«Се в небе не лебедь, как из снега сотканный.

Се не лебедь, а солнце.

Господи, — Солнце наше.

Метель сердца обуревает наши, чтобы молитвой и снегом окурить
Престол Светлый.

Прими, Солнце, моления наши и, о Господи, возьми нас к Себе!»

*1906 года,
Серебряный Колодезь*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СКВОЗНЫЕ ЛИКИ

МРАМОРНЫЙ ГЕНИЙ

О, вода, — рев пены, о, серебряное кружево!

Над бассейном, как птица сквозная, ты брызнула летом.

Брызнула летом: стала хрустальным щитом. Изнемогла, ниспадая трескучим хрусталем.

Ах, хрустали!

Гремите, гремите, хрустали золотые!

Громче гремите, хохочите громче, гремите громче — падайте фонтаном, падайте!

И брызгами смеха оплакивайте восторженно.

Из-под сквозных хрусталей кружевных, кружевных, сквозных, белая грустная голова, замирая, плыла над брызгами мраморной глыбой.

Из-под хохота, водного хохота, хохота он восставал, точно рок, обезумевшим лицом.

Белый ниспавший хитон, расшитый фонтанными перлами, точно струился на старом. Из-за перлового водного тока он выплывал большой головой, белой, в горьком порыве, как неизменное время, восшедшее смехом мгновенных потоков: водяных, вверх взлетевших, мгновений.

Спереди казался мраморным императором, увенчанным серебряным венцом лавров.

Широкое чело вверх убегало лысиной, с темени метущей струйные снега седин.

Громадный его силуэт в сверкающем бледном хитоне, как геройское изваяние, снежно тускнел из водометного тока.

Из-за трескучего плеска бледно веяла седина, бледно веяла шапочка: бледно веяла шапочка одуванчика императора мгновений.

Из-под вздернутого носа, из-под широких ноздрей улыбались блеклые губы туманному времени.

Безусый напудренный лик не то женщины, не то гения, как томный утренний месяц, взошел над фонтанными брызгами.

Отраженный измученный лик, воздушно упавший в плески и стекла, там мертво плясал и там кивал насмешливо.

Стальной зубец, копье времени, сжатое пальцами, перьями сверкало светлых блесков, и у стального зубца, копья, вздыхала мертвая голова.

Воздушная груда годов отпылала на перлах, а он стоял, неизменный, а он стал тот же, в перловое время облеченный.

В пурпуре, в пурпуре роз, тускло горевшем из перлов, как в ореоле огня, лицо мертвенело, лицо: горькое, его мертвенело, как лик воздушного месяца, бесполезно лазурью пропитанного летним деньком, и как горсть оледенелого снега, обтаявшего лазурью по краям.

Фонтан — мраморный лебедь, разметнувший крылья и из зева бьющий хрустальным временем.

Лебединая песня хрустального времени.

Смех изливаемых слез, серебринок, слезинок; детская грусть, и переливная, вечная грусть.

Фонтан — мраморный лебедь, разметнувший крылья, чтоб из зева струить в поднебесье хрустальное время.

Полковник Светозаров стоял там, как гигант, в утреннем халате, испещренном пятнами света, и с копьем вместо трости.

Из-под черных, темных бровей серые горькие очи уходили в пространство: тонули уныло; грустный, он казался сбоку шукой, из воды глядящей на солнце: не простой, а среброперой.

Из-за вод, из зеленых кустов, из-за пурпуровых кистей спереди он возникал и, как большой мраморный зверь в металлическом венке, он бросался в водопад солнца.

И казалось, это — время, это — туманный триумфатор: — вот что тянулось из перлов, из плесков, из солнечных листьев.

Вот что.

Слезные тучи цветов (тучи старинных порывов) рукой обрывал полковник и перстнем чертил на кусте алмазный зигзаг.

У мраморной арки сидела его мать, склонясь над вязаньем, — столетняя женщина, многолетняя.

Казалось, что это — пунсовое платье и шаль из пуха.

Казалось, что это — багряная с головой одуванчика карла.

В скорби, поникла она пунсовым лоскутом, лепестком, о, раздавленный на песке настурций!

Там перед ней, как большие аккорды, как большие взлетели колонны: колонны мраморной арки, озерную синюю бесполезно оясненные.

Бледнел месяц — грустил сквозной одуванчик, сквозил бесполезно лазурью летним деньком.

Свистки ветра — гульиные колокольчики — колкими над пихтою вились пчелками, над пихтою вились.

Взвизгнула укушенная пчелой, сквозная, от старости кружевная, старушка.

Хлестнула огненной лопастью и над раздавленной колючкой, мертвяная, изогнулась.

Из-под хрустального тока над миллионами брызг опрокинулся старый полковник, как старинная старина над безысходным исходом.

Из-под лебединого зева хрустальный фейерверк, плача золотым водометом, низвергался на мрамор.

Из-под застывшей жизни старый Светозаров, как большой горюн, руки любви протянул.

Из-под складок времен любви его выплыл лик, ее лик: как из облака солнце. Манил и звал.

Манил и звал.

Из-под хрустального кружева брызг в водопад из ветра и солнца он бросался ловить ее взгляды, улыбки.

Видел — в сверкающих струнах солнца в вышине понеслись перистые клоки бледноозаренными лилеями: в вышине ее руки неслись, ее.

Так: она играла на солнечной арфе.

Так: неслась мимо ее, мимо, струнная песнь.

И старушка скорбно поникла там вдали, точно плакались багряные перья ее капота, отмахиваясь от будущего.

Так: кидался Светозаров в водопад солнца, упавший с неба скалы голубой:

«Слышу, слышу. Это ты кому-то сулишь воскресение, потому что ты любишь кого-то.

Довольно, — потому что скоро ваш смех облетит, пролетит.

Пора, — потому что солнце сядет: потому что оно сядет, когда иссякнет любовь».

Там, чуя, старушка в страхе зажмурила очи — и солнце ей взор пронзило иглами: в глазах ее танцевали нежные, павлиньи перья.

Руки его, ненюфары его, протянулись коварно вперед, коварно блеснув бриллиантовым перстнем, как бы коварно грозя сопернику.

Груды столетий низвергались хитоном с его плеч — груды лет, отемненных разгулом, — и он своим потрянул копьем.

Струевая ткань перламутра оковала его руку: он не мог разбить перламутр фонтанного смеха.

Тысячи серебринок взметнулись над полулысиной как бы в ужасе, будто взвевая в воздух, взбитая ветром водичка.

На него изогнутой шеей точно кинулся мраморный лебедь и обдал студеным треском секучих хрусталей.

У полковника ширились очи, двумя властными изумрудами сверкнули, когда ужалил копьем белокрылого он лебедя.

Каменный лебедь, с золотой колонной трубивший из зева струю, он также жаловался на время:

«Не тебе жена, не тебе, не времени.

Не тебе жена, не тебе, а мне жена: мне солнце.

Не тебе, а мне».

Вытянул шею, кричал — и кричал:

«Это я ей жизнь — крылатый ангел. Это я ей неизменно.

Это я — призывающий от времени.

Я, я: это — я».

Так: лучами солнце звякнуло в вышине, как легли на них — на них, на лучи, облачные руки ее бледно в лазури истекающими лилеями.

Так: на бирюзовой порфире неба прыснули золотые шелка волос.

Так.

И она крикнула: «Ты, лебедь, ты, — белый, ты: лети ко мне, из снега сотканый.

На моей ты бирюзе хлещи поднебесным пером.

Крылатый, крылатый!

Ты пой, улета!»

И Светозаров потрясал копьем, восклицал:

«Страсть — ударное горе: седая страсть — обманщица, смерть.

Лавинный рев, прогрохотавший пустотой».

Белый старик прозял в зелени, испещренный золотыми пятнами, точно тело бросили на него золотое, — золотого воздушного гепарда.

До пояса струйная борода и синью секущие взоры бросались в кусты из-под соломенной шляпы, когда он к бассейну шел в своем летнем сюртуке.

Это был знаменитый мистик; прощался с пространством: ведь хотел кануть в затворе.

Золотой ярый гепард, возникавший из пятен эфира, полагал ему на грудь свои воздушные лапы, и они, будто ветер, терзали сюртук старика.

Но старик раздвигал свисающие кусты, и воздушно-золотой гепард разрывался тенью и светом.

Вот, как серебряная ткань, борода его провеяла, как белый прах, летящий с дорожки.

На нем сеточка золотая сквозь липы плясала, солнечная.

Пора, скоро солнце все охватит и станет жарко.

Его встретили дети криком: «Здравствуй, здравствуй. Это ты там вскочил белым песочком у входа в сад, потому что там от ветра пляшет песочек».

Сказал им, шутя: «Да, да».

Скоро упорхнули дети в бледно-розовом — в кисейно-розовом.

Вот, как лилии, из газа выросли ручки и на них села бабочка, анютин глазок.

Вот, как мудрая смерть, влекся уставший мистик к полковнику Светозарову, бормоча:

«Пора, — пора сдернуть покровы двусмысленности. Налететь ветром: обличить смертною тайной.

Пора — потому что иначе будет поздно».

Из-под клокочущих, пляшущих слез, из-под жалобой изрыдавшейся ткани водной они сквозили бледно-протянутыми силуэтами.

Громадный гигант, как охрусталенная статуя, в глубоком безмолвии взвил свое засверкавшее копие, а рука его судорожно взлетела к лицу, и из закрывшей лицо ладони высилась зубчатая серебряная корона его седины, да выдавался вздернутый нос и сверкавшие зубы широко раскрытого рта.

Так он стоял, как хрустальный король; и в бассейне он же плясал, зубьями короны взрезая водную синь.

Из-под струй упорно костенел надменный пришелец, и борода его теперь заклокотала пенным водопадом в бассейн.

Глаза его, бесстрастно воздетые над серебряным гением, холодно измеряли с ног до головы: будто спокойная смерть, искони побеждающая безысходное, измеряла время. Их туманные очертания точно плясали под вскипевшим слезным потоком.

Но это только казалось.

Из-под кружева времен, как из-под кружева воды, они говорили неизвестно о чем, как конец с бесконечностью, как безвременье с временем.

Вот бледно-изваянный гигант, как мраморный рокоборец, укрывая на груди пришельца безбородое лицо, схватил его руками, стараясь оборвать в клокочущее время бассейна.

Но это только казалось.

Светозаров упал на мрамор бассейна, окунул лицо свое в струи, проливая перлы слез и обливаясь перлами, а старый мистик, костенев бесстрастно, воздел свои очи в небеса.

Но казалось, что он пролился бородою в бассейн, изошел белой пеной каскада, потому что полковник был один.

Тогда красная сутулая горка разорвала зеленую завесу кустов, и под красной горбатой спиной, как под вершинкой, качалось морщинистое лицо в ореоле лионских кружев.

Она метала в полковника очки, и со стекол брызнули в него тысячи солнечных иголок.

Светозаров ей говорил: «Опять волнуетесь, матушка. Ничего — это прощался со мной известный мистик, покидающий наши края, чтобы уехать в монастырь».

Как большой одуванчик, взлетевший над старушкой, колко-бритым лицом он прижался к руке матери, снежным фонтаном волос над носом ее провеял, словно туманный лик безбородого гения времени в ореоле серебряных листьев.

Из-под смеженных ресниц головы, упавшей на мраморные перила, усталились слезой увлажненные изумруды, и из бассейна он же лукавым страхом себе подмигивал.

Его белый халат пролился на бассейн мраморными складками, и весь он казался статуей гением, изваянным у бассейна.

На бледно-мраморном очертании изломанный сук пурпуровых роз качался и пылал яркими пятнами.

Так сидел изваянный гений, испещренный пятнами крови, хрустальным очертанием. Из бассейна, где словно канул строгий пришелец, взревел кто-то пенный, и его струистая борода развевалась в небо водяным дымом.

У его ног плясала яркая сеть солнца, как большой золотой леопард.

Воздушный леопард кидался лапами на грудь венчанному гению, но он не повертывал головы к золотому зверю, замурлыкавшему ветром.

Гремите, гремите, хрустали водяные, гремите, всё гремите громче — хрустальным зонтом заплясавшие хрустали!

ЗАЦВЕТАЮЩИЙ ВЕТР

Над многоствольной рошей встал сноп благоносных светов и улетел в бирюзу.

Пал на березки: лег под березками в одну лучистую сеть.

Березки качнулись: и все пропало.

Ты, березка, — зеленая солнечная сеть.

Бросила в ветер вершину: солнце попало.

И золотые рыбки запрыгали у корней.

Ты, солнце, — клубок парчовых ниток.

Встало: стали разматывать — и парчовая желтизна сквозной паутиной опутала дуга и леса.

«Здравствуй, здравствуй.

Это я прилетел вздохнуть о воскресении, потому что все воскреснем, потому что все увидимся там».

Открыла глаза.

В сверкающую щель ставни рвалась светозарная струйка и ложилась на стене бледно-странным, узорным пятном.

Слышался глубокий вздох, который давно начался и не мог кончиться.

Это шумели деревья.

Это был день большого ветра.

И сиреневые кусты, охваченные ветром, утишали грусть и точно всё спрашивали о чем-то.

И она, охваченная ветром, раздвигала кусты и точно рвалась куда-то.

И сиреневые кусты, охваченные ветром, отмахивались от невидимых объятий и поцелуев.

Ходила в саду, усмиренная — неподвижная.

Она ходила в кружевной шляпе, точно солнце в белопенных облачках.

Замирала, осыпанная солнечными колосьями — звонко певшими струнами.

Обрывала, осыпанная цветами, солнечные колосья — звонко певшие струны.

Замирала, осыпанная оборванными звуками, — солнцем и воспоминаниями.

Бирюзовым шлейфом, озеру подобным, точно рвалась из времени, и руками точно отмахивалась от дней.

Довольно.

Скоро он заблестит — прилетит.

Губы ее пирно-сладкие засохли, шептали призывно, как ветерок.

Пора — потому что он прилетит, и в нем угаснет время.

Пора — потому что воздух сквозной, как арфа с натянутыми золотыми струнами.

Пора — потому что он проведет руками по солнечным струнам и споеет ей свою лебединую песнь.

Нежданно пух, точно снег, у ее ног мелькал, взлетал.

К нему она тянулась, к нему.

Потому что он скажет ей слово, и совется золотое время.

Так шумели деревья.

Такой был день большого ветра.

Так блаженно взмывалась взором в пространство, где тающее облако точно отмахивалось от пролетов медового ветра, удивленно лепивших его, и точно дышало пухом в бирюзу.

Там кто-то милый, милый звал ее, как и в детские годы, куда-то:
«Здравствуй, здравствуй.

Это над тобой я вздохну о воскресении, потому что все воскреснем
и увидимся там».

И его она удивленно точно спрашивала о чем-то.

Солнце!..

Везде оно, солнце. Золотое солнце. Милое солнце. Солнце-кольцо.

Солнце!

Скорей струны света протяни, златоветные струны, солнце, везде
натяни!

Вот парчовой желтизной, как сквозной паутиной, коснись, как
фатой, пролети над морем деревьев.

Золотой фазан, коснись своими червонными перьями!

Напой светом утренним!

Скоро солнце иссякнет и опустится на запад.

Так, сгорая, преидет образ мира сего.

И надвинется незакатное, бессрочное. Скажет:

«Пора и мне в этот старый мир».

Солнце, солнце, это ты сетью качнешься под березками, потому
что ты утонешь и отсветы пролетят.

Это твои золотые рыбки из березовой сети, блистая, прольются
в океан.

Адам Петрович гулял, задумчивый, легколетний от восторга, как
птица.

Бирюзовое озеро, словно порфира царевны, словно легкосафирный
сон о ней, волновалось у ног, то чернея, то золотая.

И на нем бежали белопенные гребни.

Точно на волны бросили серебряного лебедя с распластанными
крыльями, и вот он плыл к горизонту.

За ним тянулась цепочка из серебра.

Стрекозы неслись... Хрустальные крылья тонули в небе.

В светоловных сетях воды билось солнце, точно пойманный улов
рыбы.

А она бродила в пространствах, то белея, то вспыхивая о нем.

И на бирюзовом, как озеро, платье серебряный лебедь — поясное
зеркальце, привязанное к цепи, — казалось, плавал, когда она играла
цепочкой, точно отмахиваясь от объятий и поцелуев.

И сквозные пуговицы, точно стрекозиные крылья, блистали хруст-
талем.

И он шептал: «Пора мне узнать ее.

Пора сдернуть покровы, взглянуть в лицо.

Сказать о Слове.

Наша жизнь — пролетающее облако.

Вот, как белый лебедь, несется, несется.

Она, как и я, теперь видит лебедь — облако, потому что над нами оно взошло в неизменное.

Оно плывет: плывет и поет».

Так, истаяв, пройдет образ мира сего... на родине... на неизвестной родине.

Ты, облако, сквозной клубок пушинок.

Взошло: ветры стали развеивать, и пухом оно задышало в бирюзу.

Ты, облако, большой сквозной одуванчик.

Взошло: ветры стали развеивать, и оно протянулось фатою снежинок.

Но встал ток большого ветра, большого медовича, и очистил от пуха небеса.

Пал на одуванчик и обвеял: и погнал прочь по лугу бледно-све-
янные шапочки.

И шумели деревья.

И был день большого ветра.

И сторукие кусты, охваченные ветром, глухо волновались, и кто-
то над самым ухом его ласково приговаривал:

«Здравствуй, здравствуй!

Это я прилетела шептать о воскресении, потому что все воскрес-
нем — милый, мой милый — и увидимся там».

Обернулся.

Трепетала юная березка, да тонконогий комар, глупо заплясав, над
ним из блеска упал и звенел ему на ухо.

И она шептала:

«Воскреснем, мы воскреснем...»

И ветер гнал новое облако, такое же белое, как и истаявшее.

В сверкающих струнах солнца рвались ее руки и ложились на стру-
ны причудливыми лилиями.

Сверкающим бриллиантом терзала струны голубая арфистка и кло-
нилась к арфе, точно пуская на волю воздушных, звучных птиц.

Это она играла на солнечной арфе.

Это неслась к нему ее струнная песнь.

И там, в пространствах, молчал он, охваченный звуками, не отма-
хиваясь от звучных плесканий невидимых райских птиц, слетевших
к нему и рожденных воздухом.

«Слышу, слышу.

Это ты мне поешь о будущем воскресении, потому что и ты воскреснешь: мы увидимся там».

Замирал. Солнце взор пронзило иглами: в глазах танцевали нежные, павлиньи перья.

Это были перья воздушных птиц, потому что он открывал глаза, и все пропадало.

Голосами, воздуху подобными, райские птицы звали его на вечный пир.

Невольно, быстро одуванчик с муравы сняла, в воздух сквозную головку улыбочиво вознесла — бледную шапочку сдунула.

Плеснула воздушная шапочка пухом нежным, как вздох.

Она сказала: «Милый, как и всё, пусть летит к тебе пух...

Пора — потому что если душа небом, как пухом, не просквозит, солнце в тело не возжжется.

Пора — потому что если не все отдать, все угаснет.

Пора — потому что мы любим друг друга».

Торопливо шла, охваченная цветоплясом, отмахиваясь от бабочек.

Невольно, безвластно склонилась у водометной струи. Фонтан шептал, блистал:

«Пора — потому что если не все отдать, все пройдет, все угаснет.

Потому что солнце сядет, вода упадет скатным жемчугом и отцветут на струях хрустали золотые.

Пора — потому что любовь пройдет и угаснет жизнь.

Потому что и любовь упадет в светобойную темень».

Ветер свеял на него бледные шапочки одуванчиков.

Медович, точно поцелуями, снежинкой-пушинкой его щек коснулся.

Шапочки то плескались в воздухе, то садились кружевом на него.

А по озеру бежали золотые кольца: точно на бирюзу воздушная, летняя царевна бросила шелка свои, волоса свои — змеи света, — и вот змеи света ослепительно свивались в разбитом зеркале пляшущих вод.

Стрекозиные крылья тонули в воде.

Лебедь понесся, лебедь вскрикнул.

Вышел на сушу, белый, крылатый. Крикнул:

«Пора и мне».

Вытянул шею, и кричал, и кричал:

«Я это — жизнь, улетающая птица, милая, милая.

Я это — птица — поднимусь тонуть в воздухе».

Лебедь глядел на него неизменным.

Ему казалось, что перед ним образ мира, отлетающий на родину.

Ветер взвевял шелка ее, медовые, точно струи ананасного сока.
Руки ее словно ловили воздух, плавая, то белея, то зацветая светом.
И на платье танцевали волос ее кольца.

Точно на озеро солнце бросило лучи свои — змеи, — и они сверкали хрусталем.

Лебедем — поясным зеркальцем — взмахнула, зеркальце цепью звякнуло.

Сверкнуло в воздухе птицей, светом.

Она крикнула: «Пора и мне любить». Она оборвала две золотых солнечных струны и ими сверкала по воздуху.

Вытянула шею, взмахнула руками, сжавшими струны, и точно по воздуху пролетели блески.

Вытянула шею, всплеснула руками, рассыпала золото волос и пела, и пела:

«Зацелую тебя, милый, сладко-алыми устами моими.

Люби меня, милый, — я тебе жизнь, улетающая птица.

Птицу лови, а то — улетит.

Я — в неизменном, я для тебя все та же, все та же, — милый, мой милый».

Ей казалось, что несет их образ мира сего на родину — на родину.

Над березками стоял сноп благоносных светов. Улетел в небеса.

Лег под деревьями светозарными, текучими зайчиками.

Но деревья качнулись. Яблочки побежали.

Все пропало.

Солнце, клубок парчовых ниток, в небе стояло: его устали разматывать.

Но парчовая желтизна сквозной паутиной еще пеленала березки.

Увидел нежданно.

Скоком на него кто-то летел, блестел.

Вот белый арабский конь, как птица, понесся над морем колосьев.

И опрокинутая на ниве тень вместе с конем плыла неизменная.

Он подумал:

«Это не она на коне несется в час, когда угасает солнце».

Так, качаясь на спине у коня, будто она мчалась в полях образом мира.

Будто опять понеслась — надвигалась безумным видением.

Подумал горько: «Здравствуй, здравствуй».

Опять не ты пролетаешь дразнить воскресением, потому что ты знаешь, что это невозможно».

Искрометная, как сафирная молния, амазонка рвалась прочь от коня и ложилась на молочной конской спине лазурным пятном.

Слышался конский скок, который давно начался и не мог кончиться.
Это точно она мчалась мимо усадьбы, где он гостил.
Это была не она... нет, она.

Синие глаза его охваченную скачкой спросили о чем-то, но про-
неслась она, точно отмахиваясь хлыстом от его взоров.

Скоро она пролетела. Темнело...

Пряди шлейфа прошептали невнятно, словно лёт воздыхающих
листьев.

Темнело — и угасло старое солнце.

И домой повернул, вздохнул.

Голосом, ветру подобным, призывно кликал подругу:

«Пора, потому что когда все пролетит, то угаснет время».

Ты, солнце, — клубок парчовых ниток: село, стали сматывать.

И желтоносная пыль — лучей цветень — метнулась с березок
и опылила облака.

Над миром стоял стон благоносных светов. Но он истаял.

Березки метнулись. Цветень угасла.

ВОЗДУШНЫЙ НАБЕГ

Ландо остановилось.

Негры в красных ливреях словно ниспали с запяток, отво-
ряя дверце: негры-моськи с оттопыренными, как лист пиона, алыми
губами, то склоняясь, то сияя яркими позументами.

И из ландо белая встала статная статуя, метнув искряное насе-
комое сребром.

Ниспали, склоняясь, сияя, — негры: встала, метнув искру сребром.

Точно гения, окропленного седыми перьями блеска, одели в китель,
стекающий дорожкой искряных насекомых — аксельбантами, — и вот
он снял свою фуражку.

Морды коней, ясные отблеском золота, гордо гнулись, когда на-
тянул кучер вожжи.

И полковника Светозарова вели из кареты красные рукава, окру-
жали губастые морды.

Отворились двери. Встретил дворецкий и согнул голову: баки
о грудь разбились шумными, пенистыми сединами.

И повел. И повел.

Свели — отворились двери. Дворецкий встретил пенистыми се-
динами. И повел. И повел.

Когда ускользал дворецкий, положив карточку на поднос, Светозаров оправил молодецкую грудь, где все сияло блеском резных орденов и медалей.

Когда ускользал дворецкий, мраморный профиль гордо вырос среди комнатных пальм.

Когда из волн муаровых драпри выплывал хозяин, струистые завесы дверей, как зеленые колосья, заколебались, и косые лучи солнца, дробимые колосом, побежали на белом пиджаке толстого, как дельфин, пловца, звякнувшего тяжелыми брелоками.

Странно повис и плавал гортанный голос в волнах комнатного безмолвия. Странно качнулась морда дельфина из волн муарового моря. Странно пухлые плавники трепыхались и бились на чесучовом жилете.

Раздался, качнулся, и бились — странно, странно: качнулся, и бились странно.

Странная, странная странно качнулась головка чешуйчатым гребнем, уйдя в подбородочный жир.

Униженно схватился дельфин плавником за протянутую руку полковника. Униженно протрепетал чесучовой своей чешуей и чесучовыми панталонами. Униженно встречал миллионера инженер Светлов.

Всхлипнули губы насмешкой у гостя — пены шипом, укрытым в сахарной улыбке. Был он — подводный грот с ноздреватым лицом, с сталактитами, когда всхлипнул шпорами. Дрогнули ноздри, дрогнуло, как хрусталь ледное, лицо, когда исчертил он дверь, ведущую в будуар, изумрудами глаз, проходя в кабинет.

Дрогнула портьера в будуаре, и оттуда выглянуло лицо юной русалки. Дрогнула юная русалка, проходя мимо затворенной двери кабинета.

Один схватился за руку, протрепетал, встречал; всхлипнул, изумрудами глаз зачертил другой. И дрогнула третья, дрогнула.

Когда белый толстый дельфин волновался, и возмущенный сюртук сквозными шуршащими чешуями точно рвался от сего, то свеиваясь шелком, то развеиваясь, и вдоль малахитовой доски стола бежал на полковника одутловатый лик инженера, припавшего грудью к столу, и, точно умоляя, приподнялись пальцы его, испещренные огнями бриллиантов, —

тогда лицо Светозарова — месяц, наполненный денежным блеском серебра, — гордо опрокинулось на спинку резного стула и пролились белые пряди его волос, волнуемые ветром; тогда слова инженера налетали на полковника, пролетали мимо его ушей.

Точно ветер, разбивались о мраморное изваяние.

А там, в саду, она гуляла.

Колкая пчелка впиалась в ее пальчик-лепесток.

Медоносную пчелку с криком от лилейного отрывала пальца.

Заползет еще под воротник прожужжать о невозвратном.

К милому в воздух, к милому с мольбой свои руки бросала, руки ему простирала, у него помощи просила, ужаленная предчувствием. Ручки простирала, от пальца пчелку отрывала — гуляла, вздыхала.

А когда Светлов перестал говорить, перед ним вырос мраморный гигант с широко раздувшимися ноздрями. Когда он поднялся, положил руку на грудь, там все сияло беззащитно сквозными орденами, точно блестящими разорванных тучек на месячной груди.

Когда Светлов подошел к нему, зеленоватые пальмы, под открытым окном, просочившиеся светом, испуганно заметались, залепетали, и косые лучи солнечных огней плясали на них, точно воздушная стая пятнистых гепардов.

Полковник говорил: «Угнетены вы долгами, шатаются ваши дела, и вы то приподымаетесь, то падаете.

И вдоль вашего прошлого бегут теньевые пятна, производя волнение в инженерном мире. Точно: я бросил в ваше предприятие мое золото, а вы прогорели — и вот я могу вас погубить.

Мое участие в вашем деле будет и впредь продолжаться. Я вам доставлю казенный подряд, и ваша пошатнувшаяся репутация опрокинется в забвение.

Но вы, ваша жена в руках у меня — и довольно об этом, довольно. В руках у меня: вам больно, мне от радости довольно, и вольно об этом, довольно».

Когда убежало солнце за тучу, воздушные звери улетели в окно.

Когда убежало солнце, на груди у полковника перестали сверкать резные ордена и медали.

Когда они повернулись к двери, изумрудные струи ее сквозного платья, точно зеленые колосья, бросились в дверь, и косые взоры ее, дробимые улыбкой, обратились к полковнику.

Золотые лопасти кружев плескались с ее открытой груди, точно колонны жидкого золота на зеленой, струйной русалке.

К милому в окно свои яркие взоры бросала, душу ему отдавала, его призывала.

А там, в пространствах, Адам Петрович вздохнул, вздрогнул.

Ах, ветер — стонущий рог — о чем ты в уши стенаешь?

Ветряный глас: смотри — буря в небе рвет струны солнца. Рвет и голосит.

Скажи, о скажи, как ей помочь, скажи ей: «Господь с тобою».
Иди же, иди — рог вихряной на бой призывает: рвет и голосит — стенает.

Из-под сквозной хрустальной седины полулысина Светозарова к ее атласной руке склонилась туманным, набегающим, как облоком, временем.

Изумрудный, ниспадающий ее хитон, испещренный золотыми рыбками, казалось, струил шлейфом зеленую воду.

Предложил руку и повел вниз с террасы, и казался мраморным императором, увенчанным серебряной, лавровой стариной.

Порывы цветов бросались на него в ветре, и эти красные шапки от нее отстранял он рукой, сверкающей перстнем, будто король старины.

Ты лети, белый конь, как из снега сотканный! проголоси, всадник, гибким хлыстом по конской спине!

Храбрый, храбрый, взрезай пространство, уносясь на бой!

И он вскакивает на коня: вскакивает и улетает.

Поспешай, конь-птица!

Светлов — крикливый толстяк, ревом хохота, как смешная птица, как петух, замахал над полковником руками. Каштановый гребень метнул, лапой звякнул в ладонь Светозарова.

И разразился пыльно-пенным потоком слов.

Вскипела, кипела серебро-белая полулысина Светозарова: когда он взором перелетным запенил ей даль шипучим кружевом белогромных облак, — вскипела старина, кипела седина.

Сказал ей, целуя руку: «Возносите над нами, как легкая птица».

Под руку ее взял: как нежить, безвластная, шла в порфире она легкоизумрудной, с плеч свеянной кружевом пролетающих листьев, в далях тающих.

Тысячи светленьких иголок прыснули с ее стрекозинового стекляруса, но казалось, что это не блески: тысячи это ос ползали на ней и жалили ее, ползая, током.

Наклонил над ней пирно-сладкие уста полковник, истомно-громное наклонил он лицо: как большой одуванчик, бесполезно изумрудом шелков ее просквозивший, седина его коснулась ее легковонных кудрей. Снежной, колкой шпорой, невзначай, коснулся ее ножки.

И колкие осы, облеплявшие ее блеском, переползли ей в душу, где голубенькие колокольчики о нем звенели.

Заползли под воротник жужжать и жалить. Вот она, израненная током, поводила плечами.

К милому, к милому с мольбой взоры свои бросала, помощи у него просила.

Ему молилась.

Они проходили у каменного изваяния. Крылатый муж опрокинул мраморный лик.

Прямо в небо уставилось отверстие его рога.

И рог грянул:

«Время не терпит. Оно бежит.

Чаша чарами переполнилась. Как бы чары не плеснули.

Мир еще никогда не был так опасен, лучезарно обманчив».

Ходили в саду усмиренные, безвластные.

Она была в кружевной шляпе, точно солнце в белопенных облачках. Замирали у столба, осыпанного веревками, взялись за лямки, натянули их, точно светлые струны.

Полковник сказал: «Невольно —

хочется взлететь на гигантских шагах — взлететь, лететь».

И она надела лямку.

Полковник шутливо заметил:

«Как неизменный круговорот, мы все сейчас унесемся.

На круги свои потом вернемся.

Так кружится вселенная в той же смене: так летит образ мира сего».

И они взлетели.

Раздался топот ног, который вдруг начался и не мог кончиться.

Грустя, она ускользала от полковника, точно солнце, ниспадающее в безвременье, а Светозаров, как месяц, плавно летел вслед за ней.

Это был полевой иерей, конем белым в даях вздыбившийся — в росах алмазных, с плеч ниспадавших... светляками зацветавших.

Это тонкие руки его грозно ветром кидали, ствольные деревья ветром качали.

«Кто за Содом... Скачу... Вот я...»

Точно вихряною мезью деревья, точно с ревом — сторукие — на полковника кидались.

И вновь замирали.

И несся топот всадника, несся — всадника старинного, полевого: жнеца нивного.

Точно смерть, круто над ней изогнулся в воздухе полковник, безмолвно ей говорил:

«Здравствуй, здравствуй!

Это я, — время, — несусь за тобой шептать о смерти, потому что все умрем и протянемся в гробах».

Обернулась, пролетая вниз.

Над ней плясала седая смерть, пришпоривая ногами золотого, пятнистого зверя звякнувшим сапогом, над ней ниспадала из вечернего блеска.

Это был полковник.

Вдруг она крикнула: «Довольно, мне больно... О, довольно!»

Замахала, будто борясь в воздухе кружевными листьями веера с временем, и ветер плеснул на седое время, ароматный, медовый.

Замахала липа с кружевными листьями, борясь с огнем солнечным, и зверь прыгнул в чашу из-под ног полковника.

И пучок веерных ее листьев, поддуваемый ветром, брызнул вверх, как сноп закатных лучей ускользнувшего солнца.

Покраснел полковник, еще выше подпрыгнул: как тяжелый шар луны, глянуло в воздух старое лицо его, грозно повисло мертвым кругом.

Возмущенная, прочь метнулась, то бледнея, то вспыхивая.

Как многодробный камень, ударились голова его о плечо, свалилась ей в изумрудное платье.

Зеленоватые пряди, струясь, плеснули ему в лицо, омыли седину и улетели прочь, точно облако свеянных листьев.

Всадник мчался в полях... И крикнул Светозаров, веткою пойманный черною шаткого дерева.

Тела в лямках упали на землю. Безумие кончилось.

Взошел месяц.

Точно протянул он над ними сияющий одуванчик: все затянулось пушистыми перьями блеска.

И перья ласково щекотали безвластием.

Светозаров ей шептал: «Никогда еще не были вы так прекрасны, не были вы так животворно-воздушны.

Никогда еще».

Она послушно дышала отравой и сонно клонилась в безвидных сетях.

Они вошли в дом.

Зеленоватые, узловатые нити, как стебли недозревших колосьев, струясь, ниспадали над дверью.

Они окунулись в струи и вышли в гостиную.

На взмыленном коне прискакал всадник.

Соскочил с коня усталый, бледный.

Махнул хлыстом, нервно провизжал им в воздухе, как мечом:

«Вот я... вот я!..»

Перед ним зацвели улыбкой лакеи.

Он спросил: «Барыня дома?»

И пошел в сад.

Светозаров ей говорил: «Никогда еще вы не были так прекрасны, не были вы так животворно-воздушны.

Никогда еще, никогда».

Тучи светленьких нитей разлетались от ее стекларуса.

Это снялись с нее осы и улетели в темноту.

Светозаров щурился: золотые нити ее пересеклись в одну звездистую нить.

Эта была броня, надетая чьей-то рукой.

Открыл глаза. И все пропало.

Она вышла в сад.

Зеленоватые, узловатые стебли на двери заколебались, струясь шелестом, и косые огни, дробимые стеблями, плескались, точно солнечные колонны золота на воде над головой захлебнувшегося.

Ясно сверкнул на нее давно любимый, синий взор Адама Петровича. Ясно блеснуло давно во сне процелованное золото кудрей из-под белой, соломенной шляпы. Ясно склонилось его белое лицо, когда протянула ему руку.

Тихо передал ей письмо от соседей, где он гостил.

Тихо сказал ей: «Простите, что вас беспокою». Тихо протянула ему нежную свою руку в месячном сиянии. Тихо глядела в глаза, безответно, безвластно.

Было холодно и ясно.

Ничего не случилось. Встретились они. Светозарный покой ояснил им души.

Она опустила головку, сказав: «Адам Петрович, я много о вас слышала».

Поднял глаза на нее. Сказал, прошелестев хлыстом по листьям: «Неужели?»

И Светлова улыбнулась: «Я такая одинокая: будемте друзьями».

Они шли к одинокому простору над обрывом.

Шли...

И шуршали сухими листьями.

Им открылась неоглядная даль.

И протягивая руки, сказала: «Как там хорошо — там хорошо!»

Там, где было солнце, еще осталось взволнованное погасание света.

Мгновения растянулись. Вся жизнь пронеслась перед ними. Все казалось вечно знакомым.

Вдали гасло ясное вино, пролитое на горизонте.

Точно его размешали с ночью.

Сидели на скамейке. Она говорила: «Вот так же, бывало, я здесь сидела.

Сидела и думала об одном.

Проходили дни... И вот я опять тут сижу.

Сижу и вспоминаю прошлое».

Фонтан рядом с ними шептал, блистал.

Ясно склонил перед ней льянью, будто горсть спелых колосьев, бородку. Ясно ей улыбнулся, простился. Ясно она его к ним звала. Ясно следила влюбленными взорами, как уходил он в зелень кустов.

Лунные перья изорвались в клочки набежавшим облачным алмазом, но края облачка осквернили чары злой черной каймой.

Ветер овеял бледную шапочку одуванчика, овеял, свеял, развеял пух.

Она видела, как в доме прошли с лампой, бледно сиявшей, как одуванчик.

И от лампы падали светы и плыли на цветнике странной, узорной сетью.

Точно бросили призрачное покрывало из света и тени, и вот оно мчалось по цветнику.

Она видела, что лампу нес полковник, мертвый, бледный, как призрак, застекольный.

Видела и не узнавала: ей казалось, что это труп.

Светозаров прощался: поднял на нее старое лицо. В глазах у него была пустота.

Прыснули, как молоньи, эксельбанты на белом кителе.

Надвинул фуражку, теперь сутулый, беззвучно точно ей усмехнулся: «Дышите, упивайтесь им, любите: вы в моей — в моей вы власти».

Но это только казалось.

Полковник сморкался, и не знали, смеется он или плачет.

Сморкался, не знали: казалось все, показалось.

Ландо подали.

Негры в красных ливреях из темени бросились на нее, словно моськи с кровавыми ртами, отворяя дверце, и застывали, и сияли из темени белками глаз да яркими, яркими позументами.

Из дома вышла белая статуя и прошла по ступеням в ярком, месячном луче.

Морды коней из месячных пятен гордо бросились в темновесную ночь.

Точно голова гения, увенчанная серебряным лавром, прометнулась в темь вслед за конями, — и вот он прощально махнул фуражкой.

И огненные негры бросились за ним на запятках, когда кучер погнал ландо.

Слышался конский скок на деревянном мосту, который еле удалялся, все не мог заглохнуть.

Встал из ландо, негры свели, день у них проводил, в саду бродил, и шутил, и грезил, и молил.

Да, он любил, был он не мил.

Забыл.

С чем приехал, с тем и уехал.

МОЛИТВА О ХЛЕБЕ

Ты, нива, золото. Ты — ветропляс созревших колосьев.

Порфирой переметной — провей, одари.

Ниве помолимся.

Кровь заката сладко-рубинная пеной златожалых колосьев вскипела: причастники, приступите.

Сладкую пену, рубинную вкусите — вкусите пену.

Проливайся, пена колосистая, проливайся.

Гласы, гласы свои над землей-кормилицей изрекайте, о Господе вздыхайте, оратаи земляные — дьяконы хлеба.

Хлеб с полей свозите.

Так звучал призыв к спящим, но все окончилось в отдалении — плаксивым петушьим пеньем.

И летел призыв, крутясь дымно-земной пылью на дороге.

Встал месяц — горсть оледенелого снега, обтаяв лазурью по краям.

Вот мужичонки — коренья земляные, — вот мужичонки нивой многозлачной, златотекущей нивой проходят: одежда их так землю пропитана, как воздухом одуванчик.

Проходят нивой.

Вы, мужичонки, пчелы Господни, вы, мужичонки, сердце земле да воле открывайте, на призыв вставайте, мед нив с истомой снимайте.

Покрывайте, мужичонки, соломой избенки.

Вопите: «Ты, нива, наша!»

Было холодно и ясно. Светозарные волны омывали их лица.

Они шли, и котомки их болтались за плечами.

Они шли вдоль равнин. Ничто их не касалось, и никто их не держивал.

Было тихо. Лазурное небо точно плакало вдаль. Лучезарный старец пригорюнился: «Преходит образ мира сего».

Подпер руку под подбородок и уставился ликом в землю.

Они пришли к многогребенному холму над песчаным обрывом.

Бурьян хлопал большими, ярко-красными, колючими шапками.

Камень за камнем упал в обрыв.

Лучезарный старец пригорюнился: «Слепцы не прозреют».

Прыснул ветер медович златогонный, и лазурное небо усмехнулось вдаль.

Прыснул ветер медович златогонный.

На ребрах оврага изламывались многодробные, чернометные тени тучек.

Прыснул ветер медович златогонный чернометными тенями тучек:

«Дни текут. Времена накаплиются. Надвигается незакатное, бессрочное.

Просится:

«Пора мне в этот старый мир: пора сдернуть покровы, развить пелены, налететь ветром, засвистать в уши о довременном.

Воздушно-мировые объятия мои распахнулись бестрепетно.

Я несущу парчовые ризы всех вещей».

Прыснул ветер медович златогонный яркими молоньями солнца в переметные тени тучек, и они теперь уносились вдаль.

Лучезарный старец вознес томные свои взоры. Он стоял с протянутой рукой на холме многогребенном:

«Да, слепцы прозреют: да, слепцы увидят свет».

Колосья забушевали. Крикнул перепел, пойманный шаткою тенью, летящей на острых колосьях.

Все это было: приходило и уходило.

Гряди, жнец, гряди!

К тебе, — жнец, — тайна, и слово о тебе вихрем благим нам в сердца глаголет.

В облаке росном, во струях воздушных, цветогонных, на ниву сойди и серп нам пусти свой, — серп пусти нам, нам свой серп.

Скажи: «Я — с вами».

Жнеца, работники, исповедуйте громче — как день белого громче.

Громче гремите косами острыми.

Громче, мстители, громче, всё вопите громче: «Се грядет жнец жатвою острою».

Гряди, жатва, гряди.

ВЕРХОМ НА ВОЗДУХЕ

Благородный арабский конь, словно взмываясь в воздух, гулко звякал кремнем, закусив удила, то ныряя в хлеставших волнах зелени, то выплывая оттуда лебединой своей, ярко-снежной шеей. И грива его, расчесанная ветром, проструилась молочными прядями в лазурь.

Точно на коня бросили отлитого из олова всадника, засверкавшего серебром, — и вот он свистнул хлыстом, изогнувшись стройным, затынутым станом.

Голова его, закипевшая сединой, низко клонилась к бешеному коню, омытая гривой, когда он снимал фуражку.

Встала яркая его зубчатая седина языками белых, лижущих воздух огней.

Конь его нес на кусты — он пролетал: цветы о грудь разбивались свистом.

И неслись... и неслись...

Когда бросался куст росянистым, розовым цветом, Светозаров срывал его на скаку, и цветок за спину всадника струил ток розовых бабочек.

Когда взлетал его конь, просверкав передним копытом над рыжим песчаником, всадник, застыв на мгновенье литым изваянием, коню вонзал в бока острые шпоры, к нему прижимаясь лаковыми ботфортами.

Когда мертвенно-бледный всадник взлетал над кустом языками седых прядей, осыпанный розовым цветом, он казался смеющимся образом смерти, насмешливо секущей лазурь.

Когда было, тогда будет, когда будет, тогда есть. Есть, было и будет. Но мир смерть забудет.

Впереди неслось звонкое цоканье, которое началось и не могло кончиться.

Это голубая амазонка словно шаталась, слоняясь, пролетала, шатаясь, в кусты, то бледнея, то зацветая солнцем.

Точно Светлову бросили в ветер — и вот она врезалась в воздух, потому что конь ее, белый, как день, с днем сливался.

Спереди набежали кусты волнами шумных вершин; набежали — на грудь ей бросались: за спиной ее смыкались и убегали в бесконечность.

Набегают, набежали — будут и впредь набегать.

Когда было, тогда будет, когда будет, тогда есть.

Смерть мир не забудет.

Да, будет!

Тогда белый воздух лепил ей воздушного коня, и воздушный конь мчался на зелени, испещренной золотыми пятнами: это плясала солнечная порфира из-под сквозных бушующих листьев ясными очертаниями: — воздушно-золотые гепарды, словно из ярких солнечных углей, шатались, перемешанные ветром, то пригибаясь, то прыгая на коня.

Но кусты неслись: — золотые воздушные гепарды бежали ей навстречу (их бросила бесконечность), вылепляясь из света и тени: точно ей навстречу пустили воздушную, ветром ревущую стаю — и вот гепарды бросались на нее, разбивались у нее на груди волнами листьев, розовым цветом, пятнами солнца и холодной, холодной росой.

Это летели мгновенья — летели и разбивались.

Это она пролетала сквозь время, страстно рвалась в голубую свободу.

Когда она обернулась, время — туманный триумфатор в ореоле серебряных листьев — на тяжелом коне плавно ускакало за нею.

Когда встречала она его оскаленное лицо, из беззащитно сквозных, листовых кружев оскаленное лицо ей кивало, оскаленное лицо ей кивало, оскаленное лицо ей кивало.

Когда, пролетая, она бросала за спину закипавшие росяные кусты, точно развеивала за собою закипевшую зелень вуалей, зеленое кружево струилось на скачущем всаднике, и оскаленное лицо ей кивало, и лохмотья кружев, изорванных конем, жалобно плескались в яростном солнце, словно зеленые брызги разбитых, о мрамор разлетевшихся волн.

Когда вылетела из кустов, золотые, воздушно-грызущие звери утонули пятнами в океане блеска и трепета.

Когда понеслась в широком просторе, белый, как из воска, лепной ее конь неслышно истаял в белом ветре; воздух взял у нее коня, и вот неслась в ветре, как голубая птица, плеснувшая перьями.

Но это только казалось: конь вознес ее на обрыв; внизу сверкало озеро; она любезно повернулась к догонявшему ее полковнику с хохочущим вызовом: «Не сумели меня догнать!»

Когда смерть не сумела, тогда она не сумеет. Смерть не знает, не умеет.

Время смерть развеет, время смерть забудет, времени не будет. Твердь голубая без времени будет.

Озеро, зажженное искрами, казалось застывшим зеркалом; когда они спустились с откоса, из-под ветром колеблемых камышей взлетали стрекозы; они плясали над юной сильфидой.

Покорный гигант, как раб, схвативший ее коня, застыл мраморным изваянием, когда она, поставив ногу на камень, пропела у носа его гибким, звучным хлыстом: «Полковник, мне жарко: держите коней, пока искупаюсь я там, за зелеными листьями камыша».

Синяя, синяя сильфида стояла на берегу синего, синего озера.

Гиганту показалось, что платье ее слилось с озером в одну студеною глубину, точно нырнула она — и вот лицо ее, да кисти лилейных ручек тянулись к нему из озерной глубины, потому что волосы растворились в световой пляске солнечных змей, а белопенная шляпа качалась на струях снежными неньюфарами.

Но это только казалось: белые кисти ее ручек плясали: шутливо над носом раба, белопенная шляпа качалась цветами, а из синей синевы ее платье выделялось на озере неясным очертанием.

Вот она скрылась в зеленых камышах: там слетела с нее одежда; там пляшущие стрекозы садились к ней на плечи и грудь, и она отмахивалась от их щекокущих поцелуев.

Скоро раздался плеск воды, который начался и не мог кончиться: ходила по колено в воде, завернувшись хрустальной фатой, сотканной из крыл стрекозиных.

И шумела осока. И был день большого ветра.

И задрожавший полковник, охваченный страстью, тихо крался за нею в зеленых стеблях.

«Здравствуй, здравствуй.

Это я скажу тебе о страсти, потому что я не могу больше ждать».

Из-под зеленого шипа стеблей выплывал он старым, знойным, мертвым лицом.

Он ничего не увидел: озеро — царевна — бросило на стекла свои солнечные кольца, и вот они свивались и развивались.

Солнечная змея плясала у берега. Белые ненюфары цвели у берега.

Это золотые кудри ее из-под воды выплывали, это две ручки — два цветика, это личико — букетец — приподнялись из озерной глубины. Скоро она вся восстала в хрустальных кружевах из крылий стрекозиных.

Он к ней бросился.

Протянутые руки изорвали хрустальное кружево обнаженной сальфиды, когда упал на колени, то склоняясь, то выпрямляясь.

На них бросили хладный бархат пролетавшего облачка, и они впились друг в друга изумленными очами.

Хладный бархат пролетающего облачка.

Время — хладный бархат пролетающего облачка. Смерть — хладный бархат пролетающего облачка.

Горе, радость, жизнь, о, все то же, все то же.

Если было, то будет, если будет, то есть.

Вот миру весть: хладный бархат примите пролетающего облачка.

Он, точно зверь, пожирал ее взглядом, и она уронила в ужасе головку.

Он ей сказал:

«Солнце мое — вечное, вечное золото, — покорно отдайтесь мне. Я осыплю вас моими богатствами, как волнами знойных, пьяных, солнечных лучей.

Когда вы придете ко мне, я воздвигну хрустальный дворец, точно весь сотканный из воздуха. В этом мире засветит мне солнце».

Но она отшатнулась.

Возмущенная, схватила батист рубашки, закрывая стыдливо свою ногу, то вырываясь из рук его, то бессильно склоняясь.

Вдруг она подняла лицо: — перед ней возвышался многогребенный, песчаный верх.

Там вырос силуэт застывшего всадника с перекошенным, бледным, оскорбленным лицом. Солнечная бородка и болезненно-странная улыбка запали ей в душу.

В бледной небесной бирюзе лицо всадника обдувало душистым эфиром.

Это был он — ее смутный сон.

Вдруг поднялась его белая десница, и он пригрозил ей гибким, сверкнувшим хлыстом.

Соломенная шляпа его казалась медным шлемом, а перистое облако, проплывавшее над его головой, казалось ей снизу пучком белых, страусовых разметанных перьев.

Он спешил к ней, чтобы вырвать ее из рук времени, и вот грустно повис конем над обрывом, накрыв ее в объятиях старика.

Высоко вздымалась его взволнованная грудь.

Солнечный шелк бушевал вокруг сквозного его, жемчужного лица.

Вот замирал, охваченный ветром, — безвозвратно пролетающим временем.

Вот искаженное мукой лицо синими очами в последний раз впилося в желанную, и он скрылся за холмом, будто уплывающее облако с двумя просветами лазури.

Вот были, вот будем: но надвинулось время, а во времени рождение и смерть. Между смертью и рождением — жизнь, пролетающее облачко с двумя просветами лазури.

Дети света — вот два просвета (рождение и смерть) — просветы в твердь.

О, пролетающее облачко!

Когда она бешено оттолкнула полковника, он, тяжело дыша, стал в стороне, склонив седину.

Когда застегнула кофточку, бледно-сияющие кружева на груди у нее перестали сквозить.

Когда бросилась к лошади, амазонка ее плеснула яростью и отчаянием, и солнечный свет заплясал на ней огнями своими.

Село солнце. Небо стало большим золотым зеркалом, и бледно-сияющие кружева туч засинели и перестали сквозить.

Ветерок ей шептал:

«Довольно.

Любовь пролетела, и угасло большое, старинное солнце.

Прощай, прощай!

Никогда не вернись ослепить воскресением, потому что ты не воскреснешь, ты умрешь».

Смерть, довольно: там — одна нам юдоль, но нас много, нас много. Нам дорогой раздольной не идти никогда.

Нет: — да.

Голубая дорога голубого Чертога.

Смерть, довольно: нам вольно.

Нам от радости больно.

Опять благородный арабский конь ее, обезумевшую от горя и на-
праслины, звонко цокая, понес вдоль полей.

Опять он истаял в свиставшем воздухе.

Опять воздух вылепил ей белого, воскового коня, когда напало
на нее море кустов.

Когда, пролетая, она бросала кусты за спину, точно сквозную, бес-
конечно спадающую за плечи зеленую шаль, точно о скалы разбитую
зелень морских валов, и зеленые кружева, и брызги разбитых волн
плясали на скачущем за ней всаднике — Смерти.

И смерть рвала кружева — покровы над бездной.

Смерть дробила шипучие волны забвенья.

Смерть насмешливо хохотала ей вслед.

Но это только казалось: полковник Светозаров рыдающим голосом
ей вслед молил о прощении.

Золотые, воздушные звери кидались на них, несясь обратно.

Точно на зелень бросили дикую, ветром стенавшую стаю, и вот
гепарды терзали их цепкими лапами, грызли груди им окровавленными,
заревыми, воздушными клыками, разбивались у них на груди волнами
листьев, цветами, закатными пятнами, холодной, холодной росой.

У них за плечами они возникали опять.

Так летели гепарды, вырезанные в зелени пятнами света, вместе
с летящими кустами, от горизонта к горизонту.

Будущее грозило ревущей стаей звериных мгновений, прошлое
убегало той же стаей; настоящее разрывало мгновенья волнами листьев,
цветом и тенью, холодным, холодным потоком слез.

ПЕНА КОЛОСИСТАЯ

Пена волновалась.

Возмущенные колосья словно шатались, склоняясь, то чер-
нея, то золотая.

И вдоль нивы бежали теньевые пятна, производя волнение.

Точно на ниву бросили золотую порфиру, испещренную пятнами,
и вот она мчалась к горизонту.

Солнце — чаша, наполненная золотом, — тихо опрокинулось в без-
временье.

И разлились времена волнами опьяненных колосьев.

Налетали — пролетали: о межу разбивались многопенным шелестом.

И неслись, и неслись.

Когда убежало солнце, небо стало большим зеркалом.

Когда убежало солнце, бледно-сияющие кружева тучек засинели и перестали сквозить.

Когда убежало солнце, вдали запевали:

«Паа-жаа-лей, дуу-шаа заа-аа-зноо-бушка маа-лаа-аа...»

Низкие пурпуровые басы гармоника okayмила бахромой золотою.
А высокий звонкий тенорок взлетал над огнем и золотом высоко закинутой, узкой, лазурной стрелой.

Рыдающий полковник пролетел где-то вдали, вдали, словно склоняясь, то темнея, то сверкая слезами.

И вдоль нивы бежало его теневое пятно.

И несся... и несся...

Низкие пурпуровые струи заката заливали небо, okayмленные золотой бахромою туч.

А высокий, звонкий лазурный пролет разрезал кружево туч острой, холодной стрелой.

Вдали замирало:

«Раа-спря-миись ты-ии, роо-жь выы-соо-каа-ая...

Таай-нуу сваяя-гаа саа-храании...»

Воздушно-мировые объятия бестрепетно распахнулись.

Ветерок пронес парчовые ризы всех вещей.

Всадник мчался, и крикнул перепел, пойманный тенью, летящей на шатких колосьях.

Наша жизнь — улетающая тень.

Вот, как черная птица, несется над морем колосьев.

Вместе с нами летит, неизменная.

Так, качаясь, летит образ мира сего... на родину, на неизвестную родину.

Вдруг лошадь споткнулась о камень многодробный, и полковник нырнул в бушующую рожь.

Зеленоватые, узловатые стебли струились вокруг него, и косые лучи заката, дробимые колосом, плескались над его головой, точно солнечные колонны золота над усмирненным утопленником.

Когда убежало солнце, небо стало большим зеркалом.

Когда убежало солнце, бледно-сияющие кружева туч засинели и перестали сквозить.

Когда убежало солнце, ветерок пронес в свисте парчовые ризы всех вещей:

«Дни текут. Времена накаплиются. Надвигается незакатное, бес-
срочное.

Просится: пора мне в этот старый мир.

Пора сдернуть покровы. Развить пелены. Пора открыть им глаза.
Налететь ветром. Засвистать в уши о довременном».

На высоком верху многогребенном показался старец, точно весь
сотканый из воздуха.

Это был лучезарный слепец с открытыми, синими глазами.

Он стоял с протянутой рукой на песчаном холму многогребенном.

Спина его была выгнута. Седина низко опущена.

Странно было видеть это безмолвное видение с протянутыми
руками в золотом воздухе.

Он молился: «О, если б прозрели, о, если б увидели свет. Преходит
образ мира сего».

Нива волновалась.

Опьяненные колосья словно шатались, склоняясь, то чернея, то зо-
лотея.

И вдоль нивы бежали теньевые пятна, производя волнение, точно
на ниву бросили порфиру, испещренную пятнами, — и вот они бежали
к горизонту.

Закат становился бледно-грустен и золотисто-атласен.

Золотое, пролитое вино гасло, точно его разводили водой.

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ

Было холодно и ясно.

Многотечные ветры омывали их лица.

Они шли в одеждах послушников, и котомки их болтались за пле-
чами.

Они шли вдоль равнин. Ничто их не касалось, и никто их не за-
держивал.

Стояла осень. Лазурное небо заплакало вдали.

Лучезарный странник пригорюнился, сказав: «Скончалась. Пре-
ставилась».

Подпер руку под подбородок и уставился в землю.

Они пришли к одинокому кресту над песчаным обрывом.

Это была ее могилка.

Деревцо хлопало большими, матово-желтыми листьями.

И лист за листом обрывался над могилкой.

Он заплакал: «Неужели она не воскреснет?»

Ветряный напор стал рвать деревцо, и матово-желтое облачко листьев, шелестя, пронеслось мимо их ног.

Он обхватил руками ее могилку и просил: «Воскресни, родная».

Ветряный напор стал рвать деревцо, и новое облачко свеянных листьев, шелестя, пронеслось мимо их ног.

Он обхватил руками ее могилку и просил: «Воскресни, родная!»

Но загадочный странник положил руку к нему на плечо и сказал: «Чего ты плачешь?»

Ведь могила пуста».

Поднес руку к глазам и увидел, что лазурное небо смеялось вдали.

Облетевшее деревцо радостно трянуло голыми сучьями, и в отчетливом воздухе тянулась золотая паутина. Странник, стоя на песчаном откосе, нежно смеялся сверкающим ликом.

Проснулся. Открыл глаза.

В сверкающую щель ставни рвалась светозарная струйка и ложилась на стене бледно-странным узорным пятном.

Это шумели деревья.

Это был день большого ветра.

И сиреневые кусты, охваченные ветром, глухо волновались и отмахивались от объятий и поцелуев.

Обдумывал письмо ей холодно и ясно:

«Все изменилось. Изменились и вы. Я пишу вам письмо.

На меня надвинулся холод. Деланно вы дразнили меня, а сами обнимались с полковником.

Я увидел, что вы мертвы — мертвы, как смерть.

Я был болен. Уезжаю теперь от вас. Уезжаю на север, к соснам.

Вы, как смерть, загадочны. Но я еще глубже задвинусь книгами.

Мои уста с того дня застыли скорбным изгибом».

Так писал.

И шуршал сухой бумагой.

«Мне в вас открывалось будущее. И, протягивая руки, я вам говорил, что солнце мое восходит, восходит.

Но оно закатилось.

Осталось взволнованное угасание света, да и тот свет — свет моей души.

Вокруг вас тянется паутина зла, и вы, оплетенная чарами, не горите уж, как прежде, на вечерней заре.

И заря моя потухает: угасает мое золотое вино, точно его разводят водой».

Писал.

И шуршал сухими страницами.

«Вот так же, как я сидел и думал о вас, вы сидели и думали о полковнике.

Вы любите друг друга.

Прошли мои сны. И вот опять сижу я тут: сижу, но не хочу о вас думать.

Ваша тайна давно взволновала меня, и я поднял в зарю мое лицо, но — удаленные мы друг от друга туманным временем. И то печально уходил от вас, то приближался, теряя покой свой.

Струна за струной обрывалась меж нами».

«Мир не беспеременен. Он мчится вперед. Перебрасывает будущее в прошлое.

У него есть крылья улететь от настоящего.

Это значит, что прошлого нет: оно умалается.

Временная струя вытекает из разбитой чаши.

Когда чаша иссякнет, перестанут струиться временные струи.

Меня посетит забвение».

«С грустью перебираю события, заливаемые временем: мы не знали друг друга.

Мне казалось — мы оба любили. И вот я один: один как перст.

Пусть вы влюблены — влюблены в старую смерть, но ваш долг — сиять для жизни.

Это я пишу ясно и просто.

Прощайте. Время изорвет мою черную грусть».

Над ним было ясное небо, и тучка, повитая грустью, глядела лазурными пролетами.

Она глядела, она провевала вздохом: «Ничего не умерло.

Все вернется.

Да, все вернется».

Она глядела: она провевала вздохом.

Не глядел на облако. На щеках застыли две слезы. Протянулись его руки. Разрезали голубую зеркальность, словно скорбные, четкие лилии.

Был у него только один путь к несказанному, да и он угасал.

Вечность потухла для него:

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Шла с седым, знаменитым мистиком.

Он приехал проститься. Он уезжал от них в монастырь.

Он ей говорил: «Еще немного.

И я уеду в сосны. Я уйду от вас.

Но вы сами ко мне придете».

Было холодно и ясно.

Ничего не изменилось. Изменилась она.

Получила письмо.

Седой друг надвинул широкую шляпу, грустно склонился и утаивался в землю.

Зашептал — заблестал жемчужными зубами:

«Этот мир — мир погибший.

Здесь все погибают».

И Светлова улынулась: «Я больна. Я хочу с вами ехать на север, в монастырь.

Уезжаю отсюда к соснам».

Она была, как смерть, бледна.

Старый друг еще глубже надвинул фуражку.

Шли.

И шуршали сухими листьями.

Им открылась неоглядная даль.

И, протягивая руки, сказала: «Солнце закатывается — закатывается».

И оно закатилось.

Там, где был златокованный щит, осталось взволнованное погасание света.

В воздухе тянулась золотая паутина.

Волосы ее, оттененные черным, чуть светились на вечерней заре.

Закат становился бледно-грустен и золотисто-атласен: гасло золотое, сияющее вино, пролитое на горизонте.

Точно его разводили водой.

Села на лавочку: «Вот так же, бывало, я здесь сидела.

Сидела и думала о нем.

Мы оба любили.

Прошло это время. И вот я опять тут сижу.

Сижу и вспоминаю прошлое».

Ветерок трогал их одежды.

Старец сидел, опершись на палку.

Поднял в пространство старое, старое лицо.

Удаленные вершины лесные то никли друг к другу, то вновь закидывались, еще зеленые, напитанные вечностью, сквозящей в зелени своим бледным золотом.

И лист за листом, обрываясь, сверкал.

Мир не беспеременен. Он мчится вперед — все вперед, все вперед. Перебрасывает будущее в прошлое: летит — да, вперед — да, вперед. У него есть крылья, чтобы лететь прочь от настоящего все вперед — ах, вперед.

Но это не значит, что прошлого нет.

Оно растет: временная струя бьет в подставленную чашу.

Когда наполнится чаша, перестанут изливаться в нее временные струи.

И прошлое вернется.

С грустью перебираем события, залитые временем:

«Мы оба любили — и вот я бела: бледна, как смерть».

«Пусть вы белы — бледны, как смерть, — ваши очи, дитя, сияют, как небо».

Она взглянула на друга просто и ясно.

Встала — ветер рвал ее черное платье.

На горизонте было ясное, винное золото, и она, повитая им, глядела вдаль.

Она глядела вдаль и говорила: «Ушел. Не вернется».

«Нет, он вернется».

Старик снял фуражку, заглянул ей синими, вещими глазами в лицо.

Он увидел на ланитах ее две слезы.

Протянулись облачка.

Разрезали золотую зеркальность отчетливыми, синими клочьями.

Остался только один винный кусок золота, да и он угас.

И вечность погасла на горизонте.

Ходили и говорили о прошлом.

Прошлое растет.

Все, что было, сохранилось в старинной чаше — поднялось.

Все, что было, не умерло: все, что было, плещется на поверхности.

Еще немного.

Остановится время: мир перестанет мчаться вперед.

И прошлое вернется.

В МОНАСТЫРЕ

Открыла глаза.

Перед ней виднелся бледно-бирюзовый океан осеннего воздуха.

Ей лицо обдувало душистым эфиром.

Вырос силуэт странника с просветленным жемчужным лицом.

Солнечные кудри и золотая, легко раздвоенная бородака светились на вечерней заре.

Это был он, ее смутный сон.

Вдруг поднялась благословляющая рука его, осеняющая знаменьем, но черный клобук склоненной монашки закрыл от нее и странника, и бледно-бирюзовый океан.

Приподнялась.

Лежала в маленькой келье с открытым, светлым окном.

Сафирные чаши в окно плескались холодным ветром.

Странника не было.

Старица, опираясь на посох, вся склонилась над ней, смотря испуганно: «Видела, знаешь — нашу тайную радость».

В окне раздавался свист ветерка и грустно-знакомый шелест осенних листьев.

На бледной небесной бирюзе трепетали, волнуясь, многошумные красные березки.

Среди них засверкала черная одежда.

Из красных листьев выглянуло как смерть белое лицо юной монашки, пыливо глядевшей на нее.

Показался другой силуэт дряхлой старицы с четками в руках, и старица, отряхнув листочки, сваянные на вуаль, пошла к призывному звону.

Из листьев мелькал ее бархатный клобучок.

Скоро за одной монашкой показались и другие, и целая вереница монашек, беличек, белиц и отроковиц потянулась на призывный звон.

А березки грустно шумели и сквозили вечно-бледной, осенней бирюзой.

Когда уже все прошли в собор и среди березок перестали мелькать и монашки, и белички, и юницы, и отроковицы, показался он, точно вель сотканный из воздуха.

Она сказала: «Безумие, призрак — опять, вот опять».

Он стоял с разведенными руками под сквозным золотом падающих листьев.

Он закрывал свои очи.

Стоял усмиренный — неподвижный.

Высоко вздымалась его взволнованная грудь.

Солнечный шелк волос, терзаемый ветром, бушевал сияющими прядями вокруг сквозного, жемчужного лица.

Так он замирал, осыпанный листьями — золотыми пролетающими временами.

Два листочка запутались в его бороде, когда он поднял разведенные руки ладонями вверх, и голосом, вздоху подобным, призывно звал от времени:

«Довольно!

Скоро все облетит — пролетит.

Времена засохли. Шелестят, как свиток: времена, как и свиток, свиваются.

Пора!

Потому что все пролетит и угаснет золотое время.

Здравствуй, здравствуй!

Это я вернулся сказать о воскресении, потому что мы воскреснем и увидимся там».

В небо плыло пепельное облачко.

Она с ужасом видела край облачка сквозь его вверх ладонями воздетые руки.

Медленно шел вдоль березок.

Впереди него сыпались красные, яркие листья. И сзади сыпались тоже.

Словно он был занавешен голубой, вечно пролетающей порфирой, испещренной красным золотом свеянных листьев.

Это был вечный водопад времен.

Она шептала: «Здравствуй, здравствуй, — ты, как прежде, вернулся: мир не беспеременен».

Она вышла из кельи и пошла вслед за странником.

Они шли.

Ничто их не касалось. И никто их не задерживал.

Он подвел ее к безвестной могилке на верху многогребенном, песчаном, и сказал ей, улыбаясь, будто спрашивая о чем-то: «Смотри: ведь могила пуста».

На высоких, красных, песчаных холмах собрались богомольцы. Там воздвигали распятие.

Неизвестный священнослужитель, точно весь сотканный из воздуха, стоял в золотой, бирюзой отливающей рясе.

Тая, ряса сливалась с небом.

Простирал свою руку в бледно-бирюзовый, далекий мир.

Бледно-бирюзовый, далекий мир отливал янтарно-золотым.

Все было охвачено жидкими сквозными янтарями и пропитано ими.

Жидкие янтари подернулись огненным золотом.

Становились гуще, искристей.

Богомольцы в белых рубахах, простоволосые, стояли с восковыми, медовыми, мягкоистекающими свечами.

Неизвестный священнослужитель поставил на стол деревянную миску со святою водою; он опустил в воду пучок спелых ржаных колосьев.

Колосом окропил сосновые дали.

Простирал свои руки в бледно-бирюзовый мир: бледно-бирюзовый мир отливал янтарно-золотым.

«Господи, мир созрел, как эти колосья: ей, гряди Господи.

Господи!

Среди лесов воздвиг я молельную мою: на песчаных холмах водрузил я распятие.

Ей гряди, Господи!»

Все было охвачено жидкими сквозными янтарями и пропитано ими.

Янтари подернулись красным золотом: становились гуще, искристей.

Неизвестный священнослужитель взял серп и серпом налагал крестные знаки во все стороны:

«Украсьте, украсьте цветами великую церковь мира, вы — миряне, и вы — церковники.

Орари ваши — сердца — возносите, диаконы светослужения.

Горé имеем сердца».

На высоких, песчаных, красных холмах он стоял, предаваясь молитве.

Воздвигал в ветер крестное знамение.

Голосом, вздоху подобным, призывал жнецов на жатву свою.

«Се грядет земной иерей, из блистанья серпов сотканный.

Се грядет земной жених, из свещного действия в полях рожденный.

Ты, жених, гряди к могилкам нашим, постучи в гробовую нашу плиту.

Из далекой страны загробной облеку нас жизнью и солнцем.

Мы встретим тебя, иерей наш, колосом, колосом, колосом.

Колосись в души наши.

Ибо мы — твои нивы: нивы, нивы, созревшие нивы.
Ей, гряди, жнец нивный».

Бирюзовая риза истаяла. Она сливалась с небом, отливая жемчугами.
Белое лицо, омытое шелковым золотом, синими удивленными
очами глядело на богомольцев, будто солнечное облако с двумя про-
светами лазури.

Над ними простерлись две его руки — два его снежных обрывка.
И богомольцам казалось, что это — не странник, а далекое облако,
не риза — а высота.

Все пали ниц.

Голос странника, как призывной трезвон, еще раздавался над ними
из далеких пространств:

«Риза моя — воздушная, золотая.
Горизонт так янтарен».

Но это свистал ветерок, и богомольцы были одни.

Над ними было небо.

Там застыло солнечное облако с двумя просветами лазури.

Мюнхен. 1906 года

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВОЛНЕНИЯ СТРАСТИ

СЛЕЗЫ РОСНЫЕ

Было тепло и бело.

Кто-то свеивал с крыш метельную лилию: бросал из нее
мерцающие крестики, звезды.

Он плясал на одинокой трубе над улицей.

Это был снежный шут.

Зазвенел ледяным бубенцом и просил:

«Воскресни, метелица».

Ветряный напор взвил на воздух шута сверкающим облаком сне-
жинок.

Шут надвинул колпак. Бубенцами вскипел и плюнул в улицу
снежной струей.

Завизжал — обжегся весенним ветром: «Я уж теперь шут погибший.
Я уж таю».

Запевало: «Снега мои текут. Пургой моей свистучей я не могу —
мне больно — проснежить».

Расскажет пусть тебе, истаяв, снег кипучий, как хочется мне ве-
рить и любить».

Прозрачно-желтое кружево слякоти лежало на мостовой.

Мостовая оскалилась железным смехом лопат.

Лопаты шаркали по скользкому тротуару, скользили.

Захлебывались водою.

Мокрый ветер страстно запел: «Зори безумные, зори червонные,
зори, последней пургой оснеженные».

Город обнажался в мокрую пустоту.

Это шла старина, весна.

И ветер летел, проводя мокрыми руками по серебряным струнам
капелей:

«Зо-о-ри-и па-а-сле-е-дней пу-у-ргой

Убе-е-ле-е-нны-ы-я-я».

Ветер сорвал с крыши шута и тащил за шиворот в воздухе.

Шут сребрил.

Все, что было в его карманах, проснежилось — вывездилось
на улицах.

Он ветру шептал: «Не просыпаться ли и мне? Лечь на камни
и алмазами выложить мостовую?»

Ничего не менялось. Менялось время года.

Приближалась весна.

Улыбались друг другу: «Будет весна, будет лето: весной на реке
плывет лед, пролетает на струях».

«Льдина, как лебедь, несется, несется».

«Между льдинами вода».

«Она журчит и лед подмывает. И лед плывет: плывет и тает».

«А летом уедем на север, отдохнем в соснах».

«На севере сосны».

Улыбались.

И шуршали мокрым снегом.

Крыши проржавели. Из ржавых щелей рвалась озложенная струй-
ка и ложилась на снег бледно-странным, узорным пятном. Сыпался
вечерний свет уходящего солнца и точно не мог рассыпаться.

Но солнце село. Струйки погасли.

Хрупкая, белая, как известковая раковина, ледяная кора рвалась под ногами, оседая в желтую лужу буреющим пластом.

Виднелись светлые круги; испуганно заметавшись под ногами, они не могли успокоиться.

Это были воздушные пузыри.

Это просачивалась вода.

Дворник хлопал по льду тяжелым, железным ломом.

Ледышка за ледышкой отлетала в сторону.

На ребрах короста отламывались многодробные, легколетные осколки, стреляя в прохожих.

Шуту открылась неоглядная дыра. И, протягивая руки в трубу, шут сказал: «В трубы проваливаются.

Проваливаются».

И он провалился.

Там, где вертелся снежный шут, взволнованно запорхали белые мухи.

А он вспоминал в трубе: «Вот так же, бывало, здесь целовала меня невеста-метелица.

Сидела и думала обо мне.

Мы оба любили.

Прошло это время. И вот она истаяла».

Тень Адама Петровича, неизменно вырастая, рвалась вперед от него, удлиняясь и тая на тротуаре.

Калоши Адама Петровича, все так же похрустывая, разрывали лед, проваливаясь и черпая воду.

А уж на стене выростала еще тень, а за ней поднималась еще.

И все двойники выростали и таяли, уплывая вперед.

Так шел он, окруженный кучкою призрачных двойников.

Так хлопал калошами он, проваливаясь в лужи.

Когда же он пошел обратно, все те двойники, что истаяли, возникли опять и плыли обратно: выростали и таяли.

Шут вспоминал улицы, зараженные таянием:

«Мы, шуты, нашалили — и вот все тает: тает и разваливается».

Взглянул на себя просто и ясно и увидел, что струится.

И проструился.

Оттепель мертвенно положила его многослезным холмом.

Протянулись лужицы. Разрезали холм синеватыми пятнами, и холм смяк.

И струйки заговорили у тротуаров.

Повстречали друг друга, где звездочка-лампадка кропила пурпуром слякоть, озаряя образ Богородицы.

Высокая, с золотыми волосами, она шла к нему легкой, вкрадчивой походкой.

Очи, уклончивые цветы, еще издали заяснели они на него.

Он спросил ее взором, она не ответила, только сказала:

«Сладкая у меня с лета о Господе тайна».

Он опять спросил, она ничего не ответила.

Только сказала:

«Вы теперь можете приходить».

Они подняли друг на друга голубые глаза и замерли, как бы не замечая друг друга.

Он улыбнулся, а она без улыбки прошла мимо, закрывая муфточкой стыдливое, розовое лицо.

И там, где стояли они, проливалось сиянье лампадки, старинное, вечно-грустное.

Все то же.

А на дворике все было рыхлое, и снеговая баба, повитая теплом, глядела вдаль.

Она глядела вдаль и говорила: «Он тут пролетал.

Он вернется.

Да, он вернется».

А когда все подтаяло, там, где была снеговая баба, осталась только воткнутая метла.

Капли на двориках падали: ниспадали в чашу безвременья.

Собиралась перловая влага.

И протекал ручеек.

Справа запевало: «Снега-а ма-а-и-и те-е-кут». «В таске не-е-мо-о-о-о-о», а слева, гудя серебряной струей капли, ветер подхватывал: «о-о-о-но-о-чи-и последней пургой»... — «а-а-а-жет пу-у-сть тебе, а-а-корд м-а-а-и-их с-а-а-звучи-и-и» — пересекало справа.

И ветры сливались:

«И-и-но-чи-и бе-е-зу-у-мны-я, но-о-чи-и — бессо-о-о-о-о-чи-и-тя мне верить и любить».

И опять закипела метель.

Торжествующий хаос взметнул тучу снега.

АЛМАЗЫ

Слышался глубокий вздох, который давно начался и не мог кончиться. Это шумели снега в день предвесенний, метельный.

За ясными стеклами голубой гребень дня, вихряной, чесал сугробы; и сугробные кудри курились серебром и золотом.

Светлова вернулась из монастыря усмиренная, прозревшая.

В кружевной ткани ее вьюжного сердца предвестия восходили, как солнце из метельных облаков.

Замирала подолгу у окна, осыпанная воспоминаниями.

В опущенном окне свистом, блеском, ароматом предвесенним сквозной омофор снеговой парчою царапал окна.

Белым шлейфом, пурге подобным, точно неслась по комнатам; белым лицом, точно солнышком, клонилась в снеговые кружева; белой душой, к бессмертью вознесенной, точно рвалась из условий светской жизни.

Вьюга расплылась дымом бледных снегов — зацвела горстью спелых цветов, белолилейных — подвенечной фатой кружевной из звезд, звезд.

Дым пал на землю: лег в одну кружевную сеть.

Она расплылась на диване снегом шелков, брызнули алмазы с пальцев руки ее белолилейной, брызнуло кольцо ее на груди фонтаном звезд, звезд; качнула туфелькой, терзала туфелькой леопардовый мех.

Довольно.

Скоро она в жизнь монастырскую канет, устанет.

Она говорила подруге: «Пора.

Потому что все пройдет.

И все воскреснет».

Невольно —

вьюге очами сверкнула, блеснула,

потому что в окне из-под окна стая серебряных нитей плеснула крыльями; с криком метнулись хохолки снеговые, улетали прочь быстро, шумно, ликующе.

И она говорила в метельном, атласом бушующем платье, и в пурге складок лебедь — поясное зеркальце — казался ледяным осколком, когда, играя цепочкой, она брызгала им.

И сквозные пуговицы, как тонкие ледяные раковины, хрустящие под ногами, блеснули хрусталем.

Прыгнула вьюга: стала разматывать клубки — сугробы: и парчовые нити зазмеились в окна серебром.

Разметались по воздуху лилии, снеговые трубы, полные трубом, и рвались зычными лохмотьями.

Прыгнула к ней подруга: стала обнимать ее атласные колени: и воздушный цвет опылил ее головку снежком.

Это взлетела над ней серебряная шаль красавицы на воздушно обвисших кружевом руках и легла ей на встревоженную головку.

Неволью

подруга в коленях ее головой шуршала, точно в метельном холме из серебра.

И шептала: «Пора —
вьюга метет, он идет».

Так они шептались; пуховый веер Светловой то миндальными лепестками облетал, то, веткой цветов рассеиваясь, над подругой воздушно рос. Вкрадчиво-золотая головка клонила ее в бледный веер разрывной, клонила безвластно-синими, синими очами.

То сугроб на землю свеянный вырастал, то, развеиваясь нитью мух, в небо воздушно рос.

Вкрадчиво-золотая нить расплывалась бледным веером разрывным, фонтаном шумным в синем воздухе, била свистом, хохотом, блеском.

Светлова провожала подругу.

Снегами шлейфа проколебалось. Серебряные колосья, спадавшие с воротника, словно хрустальные сосульки, то ломались, то выпрямлялись.

И вдоль платья бежали теньевые пятна, производя волнение.

Точно на нее бросили порфиру снега, испещренную таяньем, и вот она прошелестела по лестнице, провожая даму в снежную пургу, точно на сладкую родину.

Налетела, прошелестела.

Разбилась о грудь подруги многопенным шелестом серебряных колосьев.

Даме открыли дверь.

Куст белых миндалей припал к лицу дамы; снежными хлопьями припал к лицу; на шубке зацвел сквозными лилиями.

За стенами все цвело: стало осыпать дома цветом нежным и хладным.

Из дверей щели брызнула горсть миндальных лепестков, оцветила мягко ноги лакею.

Пронеслась вверх по лестнице метелью атласных юбок — уплывала в лабиринте комнат.

За стенами точно неслись в облака и вздыхали в небо.

С криком в облачном дыме махали пуховыми перьями, из-под кружевных кораблей веслами в голубую свободу гребли крикливо, радостно, шумно.

С криком в томлении опрокинула руки; из-под кружев они скользили в глубь зеркал призывно, грустно, тоскующе.

Слышалась зацветающая песнь, которая вот началась, и вот не могла кончиться, вот взвилась, и вот низлетела неосыпным миндалем.

Когда убежала дама, она стала пред большим зеркалом.

Когда убежала дама, бледно-сияющая, кружевная шаль запеленала ее.

Когда убежала дама, алмазные колосья плескались вокруг нее и косые лучи заката, дробимые серебром, плясали на ней, точно веселый рой отблесков на расколовшихся льдышках.

Холодные стрекозы садились на окна и ползали по стеклу.

Но появился муж, обрюзгший и толстый.

Двери замкнулись. Муж стоял перед запертой дверью.

Лакей пронес мимо него скатерть, накрывая на стол.

Прыснули вверх снега и, как лилии, качались над домами.

Обрывались стекленеющими стрекозами; стрекозы садились на окна, смерзались снегом.

Стекла там мертвыми лилиями.

ХАОС ЗАШЕВЕЛИЛСЯ

В первый раз он к ней приходил.

Она невольно вздохнула: шелест платья, вздох красного шелка ее, пронесся, точно ток заревого пламени.

Она невольно вздохнула: голос прошлого, ярь ночных многомесячных мечтаний ее, воскресал, как цветок гвоздики из-под брошенной снежной вуали пурги.

Он невольно вздохнул: голос ветра, шептавшего ему, в трубе загудел, точно лебедь, запевший о воскресении.

Они невольно вздрогнули: крылья метели, свиснувшие в окне, опять замелькали, точно крылья воскресного лебедя.

Она вся протянулась к нему. Удивленно взглянула, в упор взглянула желанием.

Он весь протянулся к ней. Пытливо взглянул, в упор удивленно. Точно мягкая кошка бархатной лапой, рукой гладила его руку. Точно белая кошка снеговой лапой, метель царапала окна.

Она запевала никогда не забытой мечтой, бесстыдно кивала и точно смеялась над чем-то.

Не казался ли он никогда не забытой мечтой, потому что стыдливо молчала перед ним и точно все искала в нем чего-то?

Метель запевала старинной, никогда не смолкавшей мечтой и бесстыдно взметала к окнам парчи, пелены, белые шелки — звезды и перлы. Рылась в сугробах и точно все искала чего-то.

Легкой, мягкой укоризной из-под впушенных волос, из-под шелковой, как льняная горсть, бородки смеялся чуть видимым смехом Адам Петрович.

В очи его очей ее бархат темный, синий стыдливо уплывал, призывно и тихо. В очи ее очей его молнии ярые, синие властно сверкали, страстно, настойчиво.

Легким, тихим восторгом из-под завес метельных, из-под условий светской жизни, узнавала она в нем едва уловимый образ странника.

Грозным, настойчивым свистом вьюга звала их в обитель полей, лесов, просторов.

Комнаты сплетались в один таинственный лабиринт, и голосом стенающий полковник, как возникший рокот времен, то басил глухую угрозой, то шпорами звякал по мягкому ковру, —

и если пальцы его, точно царапая воздух, металась вдоль эксельбантов, снежная моль, точно царапая воздух, с эксельбантов летела к лицу Адама Петровича;

и если глухую грозою он взволнованно косился на фокусника — рокочущей, как рокот метелей, грозой, — если атласным, шушукнувшим платком, отрясавшим моль, бросался на старика, —

как миротворная лилия ее рука,

качаясь,

то протягивалась между ними, то жалобно закрывала ей вздохнувшее лицо;

как снежная птица,

качаясь,

то в окна глядела метель, то улетала в просторы.

Кружевным платком отгоняла моль; кружевные рои роились у фонарей.

Белый бархат снегов то мягко хрустел в окна, то расцветал горстями брызнувшей моли, и если была она, его душа, в белом бархате кресел взволнованная заря, если зарей она, зарей клонилась к камину, — раскаленные уголья камина бросали, как солнце, ее, будто луч, на белый бархат снегов.

Усмехнулся полковник, сединой вздыбивший над ними, — в эксельбантах,

отгоравших и зацветавших.

Вот от страсти его ледяные грозно о палец ломались пальцы, — и точно мезью зазвякали шпоры: прилично он задавил на тусклом лице улыбку и пошел в глубь комнатной анфилады, как тайный мститель, старый мститель, заглянувший мститель в зимние окна: там метельный иерей, конем иерей вздыбившийся над домами —

в бриллиантах,

отгоравших... и зацветавших;

там ледяные его руки, грозно руки копьём потрясали.

Бриллианты в окнах плачем рассыпались, плачем вскипали и вновь рассыпались.

В окна грозился лес копий, острями пролетающий, в стекла градом лес копий стучавший, —

в стеклах сверкавший.

Лебедь в окне расплескался белой прелестью, улетел, и в окне теперь крикливо пролетали лебеди стаями — стаями, далеко улетающими, секли пурговыми теперь перьями, секли перьями.

Адам Петрович ей улыбнулся старинной прелестью, и в душе ее взволнованной пропылали пиры — пирами, давно пропылавшими, грудь разрывало одно, навек одно.

Чем настойчивей, мягче подвигался он к своей милой, чем нежнее руками ее рук он касался, тем бархатней к сердцу приливалось счастье, тем стыдливей, кокетливее, невозможней, тревожней она от его отступала протянутых рук.

Чем жарче сгорали златистые уголья, чем больше на них проливался сумрак, тем белые кресла означались явственней в темени лебедями, распростершими крыльями, тем быстрее неслись, любящие на крылах неслись лебединых.

Он говорил:

«Уходил я от вас в раздолья и шири, но и там посещали меня закатом, посещали меня.

Точно пятнистая кошка там проползала вкрадчиво-мягко.
Призывала меня кошка к новой жизни, мне вздохнула кошка
о невозможном, вздохнула все о том же кошка».

Призывала метель их к жизни, им вздохнула вздохом снежным,
ветер метель взвил.

Он говорил:

«Чем бурнее била струя ветра полей, тем настойчивей я, властнее
я к вам вернулся». (Белый лебедь опять взметнулся.)

«Я к вам вернулся, к вам, за вами, для вас». (Белый лебедь рас-
сыпал алмаз.)

«Нам открыты святые восторги, вечные восторги, яркие, потому
что всякая любовь ко Христу, как на крыльях, уносит». (На спине
лебединой сидели, глядели, как лебедь уносит.)

«Я люблю: грудь теснит благовестие: пойдем в леса, пойдем в поля,
и никто не удержит.

Мы воздвигнем в полях и лесах келью всеобщего счастья». (Ле-
бедь пел: «Летим в леса, летим в поля — туда вас уносит». Лебедь
летел и пел —

лебедь вознесения.)

Охватил ее стан и просил: «Вам дано: о, дерзните, желанная». (Все
неслась сквозь метельный туман лебединая песня, странная.)

Он шепнул.

(Лебедь плеснул крылом.)

«О, во всем Христос, о, во всем, Неизменный, все Тот же. Он меж
нами в старинной лазури, в белизне вечно грустной, все в том же
пурпуре». (В снеговой белизне лебединые бури.)

Уронила руку к нему на плечо: «Ну чего вы, голубчик, ну о чем
вы, голубчик?»

«Это все только снится, все снится, вам снится. Это вы наяву, это
вы наяву, это вы наяву?»

«Нет, во сне, вы во сне: да, во сне».

Точно море желтеньких лютиков, над его челом — белым обла-
ком — кудри лучами взлетели.

(Во столбе ледяном лебединую песню запели.

Метель лебедей пронесила.)

Она говорила:

«Знакомые лица приходили неизменно, говорили о том же, а я укрывалась от вас в монастырь, где ждут странника просветленными ликами». (Ночь цвела лебедиными, оснеженными криками.)

«Он встал предо мною усмиранный, прекрасный».

«Вы дрожите. Отчего вздымается ваша грудь? Отчего у вас солнечный шелк кудрей вокруг сквозного вашего, жемчужного лица?» (Вновь сквозные жемчужные лебеди понеслись в серебре — без конца, без конца.)

«Вы зовете, зовете».

«Странник, как лебедь, зовом вставал». (Лебедь крылом перловым опять застучал.)

«Странник лучом мне сверкал, как сверкала метель снежной пеной».

«Это вы зов метели? Нет, не вы».

«Нет».

(Лебеди пролетели — лебедей нет.)

Звук ее голоса запевал, будто лёт снежной пены; обернулась, удивленно взглянула, испуганно: зеленый мундир и сквозное, бритое лицо, прозрачное, в ореоле серебряных листьев тряслось, чуть качаясь, в беззвучном хохоте —

нет, нет:

на высоком зеленом столе закачалась лампа в сквозном белом абажуре.

Из-под решеток камина желто-серый гепард в черных кольцах остывал угольным бархатом.

Рука ее безвластно упала вдоль колен: взор тоскливо вперила в желтые угли хрустевшего жаром камина, испещренные налетом золы, точно серыми пятнами.

Слышала, как прорывал там рояль. Что-то хотела прибавить. Забыла. Ничего не прибавила.

Из открытых дверей, как из пастей лабиринта, как из заколдованной дали, их покрыли сетью аккордов, и они поникли в сетях.

Там вихряной сединой, как некий священнослужитель — в эксельбантах,

то зацветавших, то отгоравших, —

Светозаров грозно вздыбился руками над роялем; снеговой дым яро клубился в окна: там некий иерей —

в бриллиантах,

в стекло сверкавших, в стекло стрекотавших, —

воздушно вздыбился конем над домами; снеговой дым ярко клубился в окна, и руки полковника то поднимались, то падали.

То нажимал рояль, а то потрясал рояль, и будто копьё ледяное стучало по клавишам.

И копьё ледяное стучало в окне: кто-то метелью вскипал и в стекла швырял град бриллиантов.

Стаи брызнувших копий щелкали в окна.

Из открытых дверей, как из пасти лабиринта, поднималось глухое стенанье рояля и вкрадчивый, вкрадчивый голос:

«Уста-а ма-а-и-и ма-а-лч-а-ат... В т-а-а-ске-е не-е-мо-ой и-и-
жгу-у-у-чей я не-е м-а-а-гу-у... мне-е бо-о-о- мне
бо-о-
о-о-о-о-
о-о-о-льна га-а-во-рить».

В душе Адама Петровича пропылала тайна — горькая, затомила.

В душе ее пропылала тайна и затомила.

В окне грозная завывала буря, снежная буря заголосила.

Громко хрустнули пальцы его заломленных рук, когда опустил их.

Еще. И еще.

Ярко брызнула цветок огневой на него из заломленных рук, когда подошла к нему.

Изогнулась призывным изгибом. Его уста застыли скорбным изгибом.

Из открытых дверей, как из пасти лабиринта, поднималось глухое стенанье рояля и голос:

«Рааа-
скаа-жет пуу-сть тее-бее аа-коорд
маа-иих саа-звuu-чий
Каа-
аа-ак хоо-чиится мне вее-риить ии люю-биить».

Груда червонцев пылала там, испещренная серыми пятнами, как золотой, сонный леопард.

Так тихо опускали глаза, так легко горели в яростном пламени страсти, —

точно распинала их крестная тайна, точно рвались с кипарисного древа, точно гортань пересохла от жажды, точно завеса срывалась с храма, точно мертвецы поднимались из гроба, точно глядели им, точно глядели им в души

свинцовые их, тупые зраки —

так тихо опускали глаза, так яростно стгорали в страстном бархате.

«Дай счастья, дай».

Томно губы ее зазмеились страшной улыбкой, пламенной до боли:

«Милый, вечно желанный, мой милый — дай счастья, дай».

Хохотали из дали клавиши рояля, точно в пропасть срывались камни, точно кричал умиравший от страсти, точно мяукала, точно мяукала страстная кошка.

«Милый, вечно желанный, мой милый — дай счастья, дай».

Руками в стрекотавших браслетах, цветущих золотом у его глаз, томительно охватила его голову, быстро, властно, настойчиво, и щеки ее озарились розовым бархатом.

Устами, опушенными золотом, цветком нарцисса, белевшим в муровых отворотах сюртука, прижался —

и руками в стрекотавших браслетах томительно охватила его, быстро, властно, настойчиво, лишь щеки его озарились страстным бархатом.

И пурпурный визг алого шелка, как визг багряницы, терзаемой объятьем, и в руках его жарко тающий стан, смеженные глаза, щечкочущие ресницами, слились в одну смутную, неизъяснимую грусть.

И холодный визг хохочущих клавишей, как визг заплясавших метелей, и холодный гром, пролитый в замирающий шепот, и колко пляшущие форто дисканта звучали из глубины лабиринта, как престная, колдовская грусть.

Он ей шепнул:

«Чем святей, несказанней вздыхает тайна, тем все тоньше черта отделяет от тайны содомской.

В белизне и лазури Иисусовой вихрем кошунственным протекают пурпуры — пурпуры Содома и Гоморры. Ангельски, ангельски —

в душу глядятся одним — навек одним».

Она его увлекла на диван.

Когда очи смежила, пурпурные губы их, доли взрезанных персиков, жадно терзали друг друга, томительно... до боли; безвластно раскинулись ее знойные руки, и платье проструилось на пол огненным, измятым лепестком.

Когда очи смежила, крики рояля — крики убиваемых птиц, — больно впивались им в уши, томительно.

Когда, вырвавшись от нее, лицо закрыл он стыдливо руками, ее нога свесилась на ковер и пролетела свистом ткань, выше колена открыв черную, шелковую, змеей протянутую ногу на желтом плюше дивана.

Когда вспомнила, что сделала, соскочила с дивана; оправляя платье и волоса, сказала ему:

«Хоть вы и о тайне, но и вас уязвил соблазн. Уходите и дайте опомниться».

Из жуткой пасти, из-за старинного рояля, из-за нот сединой возник над нею полковник.

Хищно, пытливо, безумно, все тем же угрожая, тем же, все тем же.

Выгибаясь, как потухший серый гепард, на рояль уронивший лапы, он приник к пюпитру большой, оскаленной головой в темных кольцах дыма бархатным телом, словно готовя прыжок, словно несясь в метели.

И в метели мчался всадник вихряной в снеговом плаще из звуков.

Полковник заглядывал в окна:

там вздыбился над домами иерей — вьюжный иерей, крикливый.

Заголосил: «Приближается».

Замахнулся ветром, провизжавшим над домами, как мечом:

«Вот я... на вас... вот я...»

Моя ярость со мною...»

За ним мстители-воины, серебром, льдом окованные, поспешали. Яро они, яро копытами сверкали, сугробы мечами мели, мечами.

А из жуткой пасти комнат, из-за нот уплывал в метель Светозаров, и когда Светлова поймала в зеркале его взор — точно отмахиваясь от ответа, руки полковника падали на рояль, бриллиантами трезвоня по клавишам.

А из жуткой мглы пурговой, из-за труб по крышам летел всадник метельный, и когда люди глядели на крыши — точно отмахиваясь от взоров, руки всадника падали на ледяной меч, сверкавший на бедре.

Снежные руки скользили по окнам, пальцами трезвоня в стекла, точно в клавиши.

Бешено взревел старинный рояль, точно голосом метельным, точно мстительным воплем мстителя все того же.

И уста полковника размыкались темным криком:

«Каа-к

хоо-чии-тсия мне вее-риить иии

люю-бии-ть».

ВОЗДУШНАЯ ИГУМЕНЬЯ

Дрожавший подкравшийся муж, упав к ней на грудь кольцами мягких волос, вставших петушьими гребнями, черным муаром отворотов расстегнутого сюртука зашуршал на ее платье, и кольца зазвякавших его брелоков в красном пламени шелка, и его сухие цыплячьи лапы, ласково щекотавшие атласные ее ланиты: все из сердца ее исторгло тоскливое восклицанье, когда, скромно отстранив упругой ногой его прилипчивые ноги, она закрыла лицо руками.

Тревожный, метельный голос, взывающий к ней все тем же волнением, переполнил сердце; стенающий крик о похотливых ночах, о мертвых объятьях, о вновь и вновь отдаваемом теле, — стенающий крик тоской заливал душу.

Так пошла она прочь, а он, в руках зажимая красные горсти ее шелков, старался ее повалить, и сладострастные глаза, жестоко сверкнувшие в опухших мешках, и торопливые руки, взвившиеся на ее платье, распяляли его бурным бешенством.

Молодая красавица с дрогнувшими ноздрями, бесстрастно уклоняясь, покорно силилась улыбнуться: золото ее волос, мольбой протянутые руки, грудной плач свирельного голоса, все возбуждало в сластолюбце одно, одно: «Когда молодая женщина живет под одной кровлей со мной, я добываю ее насильно».

Когда вздулась метель под окном, ее клич рассыпался над гремящими крышами; там, в окне, бушевала она шелками снегов призывом, призывом, закинутым в небо, настойчиво призывала томлением.

В неравной борьбе она розовым ноготком больно царапнула дряблую щеку.

Он ее яростно повалил, и красавица изогнулась красным атласным станом, а ее точеные пальцы в стрекотанье пляшущих браслет укрыли ей головку от побоев его засвиставшей в воздухе руки: так она замирала, вздрагивая под ударом; из-под камина жарко калили золотые уголья.

С белого бархатного дивана она скатилась красным закатом, оросившим снега, а сияющая куча углей сверкала над ней из камина, точно осколок уплывающего солнца.

Вот увлажнились очи сквозным жемчугом, и, как дикая испуганная касатка, она кричала, устало сметнув золотое облачко волос, и клич ее утопал в диком кличе метелей, шелками снегов закинутом в небе призывом и смертным томлением.

Когда надругатель ушел в клуб, она поднялась с леопардовой шкуры: так она стояла, покрытая волосами, с синими, высоко закинутыми глазами, и жемчужина, не дрожащая на мраморной щеке, и сладкий аромат духов, и пальцы, терзающие кружевной платок, — все сливалось в ней в одну смутную, неизъяснимую грусть.

Метель запевала о том, что старинная старина, к нам взывающая томлением с воздушным, как воздушные рои снежинок, полетом все о том же запевшей любви, — что старина поет все неумолчней, и зовет-то и плачет-то, ластится и раскачивает легкую колыбель, словно деточки, сиротеющей души: —

метель запевала, и снега, пелены, парчи бросались на окна, когда жадные уста ее лобзали окно, как и встарь лобызали.

Метель запевала: «Ууй-мии-теесь воо-лнее-ния стра-аа-ааа-стии...»

«Уу-снии бее-знаа-аа-дее-жнаа-ее сее-ее-рдцее...»

Из-за старинного рояля, из-за приподнятого пюпитра устало возникал полковник побледневшим от грусти лицом, и будто в ужасе вставшие над теменем седые волосы тихо, так тихо вырисовывались из полумрака и уплывали за пюпитр:

«Я плаа-аа-чуу... Я страа-аа-ждуу...»

Из-за ряда лет, из-за черных, черных деяний возникал он перед собой — он, еще ребенок — с ужасом расширенными очами, точно молившими о пощаде: «За что, я хотел только правды, о, за что же?» — вставал и уплывал в старину.

К нему пришла она с невольным влечением в водопадном, белом пеньюаре, словно из воздуха, и жалобными волнами своих закатных упавших волос отерла пот смертного томления с его чела; и личико, еще сырое, сырое от слез, испивало грусть его бархатом рыдающего голоса, устами повторяла за ним слова, мокрый платочек терзала на груди, когда, как сонный, рыкающий лев, он ронял на руки больную, больную голову с закрытыми веками, потухающим взором.

Они пели: «Дуу-уу-шаа ии-стаа-миилаа-сь в раа-ааз-луу-уу-кее».

Тревожный метельный голос о разлуке, о том, чего нет, о детстве и о том, куда все слетит, изнывал за бешеным платком, свистевшим в окне.

Чем безвластней к старику склонялась красавица, тем разымчивей становилась его грусть, тем и очи, и руки, и губы к ее очам, рукам, ее губам приближались невольней.

И прижался лицом бритым своим к ее ласковым пальцам, и вздохом глубоким положила уста на его измученный лоб, точно сестра,

упокоившая больного своего старого брата: «Вместе мы любим: вы — меня, а я — его; вместе, усталые, мы влачимся к могиле...»

Вот поднималась метель, как воздушная белая игуменья, изогнулась атласным станом под окном, а хладные ее пальцы в стрекотанье ледяных четок плеснули серебряной волной муаровой мантии, точно засвиставшими в небо крыльями: так она тянулась к окну; из-под ее ресниц нежно взирали пустые небеса, нежно; руками точно терзала алмазы шелковых своих риз, разорванных бледными клочьями, а зов слетал с ее уст, призывный, стенающий:

«Я страа-аа-ждуу... я жаа-аа-ждуу... Дуууу-ша ии-стаа-мии-лаась в раа-злу-уу-укее».

Она думала о том, что старинное, старинное, грустью ее звавшее томление с огнем ей в грудь дохнувшей любви, и запевавшее в сердце метелью, будто той же метелью, и все тем же месяцем склонилось над ней, и его знакомым до ужаса, будто в детстве снившимся лицом, когда жарко там целовал он ее где-то уж процелованными устами своими, как и встарь, успокоил где-то из старины приподнятым взором.

Бледная ее, утомленная головка с шелковым огнем на мраморе тела разгоревшихся волос, и улетающий ее взор, будто вся-то она уходилась в тоске, будто все-то она смерть подзывала, — все говорило о смертной загадке, — все: и она, и месяц, когда мерно поднял он на нее, как и встарь, свой серебряный диск, свои долгие взоры.

ШЕПОТ ВЕСЕННЕГО ВРЕМЕНИ

Трясущееся пятно в ореоле седин петуху протянуло записку. Прочел, вспыхнул, как огонь, и словно волны красного, бордоского вина разлились на щеках.

А на него кивал полковник, хрипя от кашля, точно зверь, оскаленный на зарю.

Сухо заметил, задавив кашель: «Это меня не касается. Со всяким положением примиряешься. Пора и мне восвояться».

Но петух, зверски сосредоточенный, с сигарой в руке метнулся за стариком.

Впереди пробежал лакей с подносом.

В окне снег слезы проливал. Рыхлый сугроб опадал.

Протоптался грязью, сияя пятнами — темными пятнами.

Снег свозили.

Еще и еще.

И везде потянулись воза.

Взмолился петух: «Полковник, полковник».

Кряхтя и вздыхая, повернул полковник к нему безбородое лицо и улыбался полковник кривым ртом: неизвестно чему улыбался полковник.

Прыснули эксельбанты на зеленом мундире, и громовый басок сотряс немоту: «Да эхехе, батенька — эхехе».

Обнял старого и повел его в переднюю, и никто не видал одиноких угроз старика, протянувшего руки, усталыми бельмами.

Шелестом под окном оборвалась рыхлость.

Сыро прошлепали грузные ноги.

Возлепетала струйка. Взмолилась.

Уснула.

Петуху казалось, что лакеи смеются.

Один был без бороды: он все косил. Другой, старичок, с выпяченной губой, точно профыркал в бакены. Он потащился за шубой и палкой с протянутой рукой.

Желтый снег покорно свозили.

Шелестел шелест лопат, как старушечий шепот весеннего времени.

Ленивая, лунная ночь, лепетавшая талыми пятнами, изливалась льющим лепетом.

Громыхали пролетки: «Тра-ра-ра-та... старое...

Все то же».

Ворона с тающей кучи удивленно хрипела в мокроту.

Их вез извозчик, рокоча по камням, брызгая талой слякотью.

Чей-то тревожный окрик странно раздался в глухой темноте: кто-то кого-то стал звать куда-то.

Все казалось теплым и мокрым — весенним; все опадало мокротой — дождем и снегом.

Старый извозчик поднял верх пролетки уныло, ворчливо, и пахнуло чем-то родным.

Они вышли на тротуар: нищенка, безногая, серая старушка бросилась к ним с угла:

«Подайте слепенькой, Христа ради».

Светозаров подвел к дому толстяка, из шубной шкуры его палец поднялся к занавешенным окнам: «Там она отдается ему: там они наслаждаются. Обнимаются поцелуями».

«Слепенькой, Христа ради».

Нищенка поворачивала серо-пепельное лицо, раскрывала очи и вращала белками.

И не прозревала.

О, если б прозрела, о, если б не была она слепа.

Словно треснувшее стекло полетели из желоба оборванные сосульки, трезвоня по мостовой глухим рыданьем, и разлетелись звонко-колким серебром.

Черная тень засквозила в окне.

Она протянула темные, темные руки, уронила тенью своей, темный, как уголь темный, черный лик.

Засквозил другой контур тенью — темный, темный: мутный, загасил свет.

Два старика стояли под окнами. Обнимались и плакали.

«Тра-ра-ра-та-старое...

Все то же».

Громыхнула пролетка.

Старики сели в конку: конка отражалась стеклами в стекле, в отраженных стеклах — отражения тусклых, уличных фонарей.

Они издали гнались за конкой, нагоняли и пропадали в отраженном стекле: там слепил очи неотраженный фонарь.

Фонарь отставал, вновь выросло отражение конки.

Вновь отраженный фонарь нагонял отраженную конку.

Светозаров сказал: «Все мы призрачным отражением летим за призрачной жизнью.

Настигаем и умираем».

Скашивал глаза, бормотал в мех шинели, а Светлов все молчал и хмурился. Оба тупо бледнели в тупых сумерках.

Спины их были выгнуты. Головы низко опущены.

Так стояли они перед домом Светлова, прощаясь друг с другом.

Чей-то тревожный окрик раздался из черного двора: кто-то кого-то куда-то звал.

Это дворник из отхожего места навел свой фонарь на обмокшую кучу: куча была не куча: безобразник обнимал горничную.

Свет упал: замелькали их пятки. И дворник ругался: но казалось — кто-то кого-то куда-то звал.

Полковник видел: вспыхнул мертвенный свет подъезда; кряхтя и вздыхая, Светлов задрожал, в руку лакея пихая шубу. Лакей, затворяя дверь, улыбнулся кривым ртом неизвестно чему.

Кто-то куда-то позвал его, как и в детские годы когда-то.
Обернулся.

Голубоглазая девчонка задорным носиком смотрела ему в лицо.
«Эй, старикан: мне четырнадцать лет, проведемте ночь».

И старое, всеми забытое, всеми оставленное лицо торопливо закричало, ушло в выцветший мех шинели, в беззвучной судороге затряслось с ужасом широко раскрытыми в ужас ночи глазами.

Не то смеялось, не то закачалось в бесслезном рыданье.

Голубоглазая девчонка прыснула в него синими искрами, лукаво смеялась невинным личиком, звонко запела скабрезную шансонетку:
«Тра-ра-ра-та... Тра-ра-ра-та...»

«Старое, то же», — оборвал он ее.

«Рое-рое-рое» — громыхнула пролетка. Посадил в пролетку. Завернул в шубу.

Пролетка тронулась.

Сугробы опали, как застывшие трупы, осиянные бледным блеском фонарей.

Жестяной головой выше, выше в окно бросил взоры стрекотавший стеклянный фонарь.

Осветил комнату лучевою рукою.

Голый старик в руки склонил седину и с рыданьем шатнулся на стул.

Впереди него чье-то тело упало лицом в подушку.

Задвинулись шторы, и словно черные волны небытия разлились в комнате.

Слышался шелест и вздохи, и чья-то старая о погибшей любви мольба.

Была черная ночь.

Кто-то из тьмы кого-то позвал: «Опять, — опять: мне больно, больно».

Еще. И еще.

И пропел петух.

Грязная развратница — город — раздевалась.

Ворох лохмотьев, как шепотный водопад, валился с нее, обнажая старушечье тело.

Чем бесстыдней лобзал ее ветер, тем бесстыдней мяукала она влюбленной кошкой:

«Уммау-ммууу-моау-мау-ааун-яйхр...»

В СТАРИНЕ

Знакомые абрисы домов высились неизменно.

Говорили о том же, всё о том же.

Все уйдет. Все пройдет. Уходя, столкнется с идущим.

И останется неизменное.

Все то же.

Все наливалось тьмой, и усталый полковник дымно-серыми кольцами проваливался в черных тенях.

Из-под упавшей гривы волос в желтый пламень камина вперились глаза пепельным бархатом.

Груда камней пылала там трескучим золотым червонцем, будто вздыхающий леопард.

Леопард вздыхал о том же, все о том же: и сонное тело полковника с похороненной душой серыми пятнами валилось в небытие.

Из-под окна знакомые дома бледными, бледными горами будто валились в синий темень.

Желто-красный закат, как потухающий гепард, испещренный черными кольцами, уплывал за домами.

Струйка под окном оборвалась. Взмолилась. Уснула.

Смутно донеслось воронье карканье среди пустого безмолвия.

Еще. И еще.

И в окне прохлопала птица черными крыльями.

Одинокие пустые пасти приняли там повешенного, и ему некуда было падать.

Из-под ног алмазы созвездия миллиардами миль и дней промерцали там в старине.

И бесстрашно повисший узнавал премирное, откуда все тот же голос, как и встарь, запевал:

«Ноо-чии бес-соо-нныя... Ноо-чии бее-зуум-ны-яя...

Ноо-чии пааа...

слее-дним аа-гнеем аа...

заа-рее-нны-яя...»

Из-под ног колесики кресел, взор уколотившие звездами, видел вскочивший полковник.

Желтое кружево огней потащилось по потолку оскаленной комнаты хохотом аккордов, загремевших над потолком:

«Ноо-чии паа...

слее-дним аа-гнеем

аа...»

Леопард прополз на горизонте. Положил тяжелую голову на красные лапы.

Улегся.

Странно донеслось его жалобное мяуканье из разорванных туч.

Еще. И еще.

Это стонал ветер.

Обрюзглый петух ввалился к полковнику, запевая все о том же, о том же, зажженный красными пятнами углей.

Руки свои заломил, уронил в них каштановый гребень: «Как перенести мне измену».

Из-под седин устало полковник на него посмотрел с бархатно-мягким хохотом...

«Тра-ра-ра-та... Старое...

Все то же.

Дуэль так дуэль. Все мы шутим, и все смеемся: смеемся и проваливаемся.

Старое... Все то же...»

Куча золы остывала в камине, как звериный, пепельный труп.

Струйка под окном оборвалась. Взмолилась. Уснула.

Еще. И еще.

Сняв намокший картуз, в необъятных мехах шинели закружилось на улице тело все так же, все так же.

Все шептало выцветшим лицом, шептало ликом: «Все придет.

Самочувствие вернется».

Выбегало из магазинов. Забежало в магазин.

У прилавка аптеки шептало неизменно, говорило о том же, и дряблый аптекарь в протянутой руке подавал бутылочку брома: «Все придет. Самочувствие ваше вернется. Бром — неизменное средство, верное».

Но бессильное тело внимало ему чуждо, и изможденный лик валился в меха шинели.

Так кружила шинель по улицам, возвращаясь к себе в торопливом беге.

Но она не вернулась.

На лужице бумажная лодочка пронеслась.

Воду зачерпнула. Размякла.

Странно остановилась над мокрой бумагой старая шинель.

Опять. Вот опять.

И дворник с метлой проворчал: «Посторонитесь, ваше благородие».

Кто-то кому-то показал: «Смотрите, смотрите —

вот опять все тот же военный: какой он старинный, мертвый».

И шинель бросилась прочь.

Забор наклонился. Ветка протянулась.

Талый шлепок уронила на картуз.

Опять. Вот опять.

Лицо, проваленное в мех, вывалилось из меха.

Проходили люди и не понимали, что просила из далей погибшая душа.

Вот. Вот опять.

«Ах, нет у меня ста...»

Громыхала пролетка: «Рое-рое-рое... ста-рое... все то же...»

Просилось в ветре: «Нет у меня старого тел-ла-

заа-рее-нные... оо-сее-ни поо-здней цве-тыыы», — лилось из дома рыдающее пение.

Из-под меха, свалившегося на лакея, вылезла мертвая, серая вешалка и прошла в ресторан.

Шубу, испещренную бархатным мехом, лакей повесил, точно трупную шкуру.

Тело полковника склонилось над телом цыпленка оскаленным ртом, окаймленным замшевой кожей, как большой пепельный зверь.

Исподлобья шушукала ресторанный посетительница, уставясь на Светозарова бархатом глаз... «Полковник, еще недавно бодрый, там он сидит мертвой развалиной».

Из-под сребро-белого венца седин лицевое трупное пятно жалобно уставилось на нее жующим ртом.

ПРЕЛЕСТИЮ СВОЕЮ

И над Светловой повисли дней кружевные метели.

Над ней повисли метели.

Серебряной своей тувелькой лукаво их попирала она, как воздуха, когда, восходя, хохотала прелестью до упада она выше, все выше — прошла:

за нею, над ней, вокруг нее снежилась муаром ее мантия белая, в небо засвиставшими, в небо взметенными пурговыми крыльями.

Заметенная прошлым, вот она вкрадчиво, вьюжно опрокинулась назад из оболочка своих дней,

вот заглянула в лазури глубокой истомы, загляделась в эти колодцы и головкой своей в сверкающей шапке в них отразилась, и грудкой, стрекочущей ожерельем слез лебединых, застывших, холодных, и ручкой

со жгучей, как меч жалящей, ледышкой — любовным жезлом.

Ах, да нет:

то не была на ней снежная шапка —

то атласный клубок воздушной матери-игуменьи с вуалью дней, свеянной в былое;

и совсем то не был любовный жезл, а ледяной властный посох, чтобы не оступилась она в стремнину,

и не слезы,

а ледяные четки, стрекотавшие в прошлое холодным, холодным градом.

Как из оболочка дней,

так из оболочка метелей она выплывала серебряной тувелькой, как месяцем из тучки, как детей из колыбели,

как душой из времени.

Так шелка ее миллионами мгновений снежились, слетали;

из них на свободу просилась душа ее, деточка.

«Пора ей устать. Пора вернуть с высоты.

Быстро тень под ногами ее скользит, когда черной игуменьей за бедной моей женой тень пролетает.

Пора открыть ей глаза, что она стоит уже на черте, переходит границу, непокорная времени».

— «Увезите ее за границу».

Так говорили полковник и муж.

Закипевшие дымом шелка ее, парчи, пелены, снега и снежные водовороты дымили на них кружевами, духами, когда выходила она к ним из комнат.

На белый жилет положивший баки лакей, словно чопорный манекен, на подносе ей подал письмо.

И в пурге шелков взошел на щеки румянец; и то любезно отвечала мужчинам, то любовные строки читала как бы небрежно, —

но вверх, вверх —
к месячной стремнине, к ее сиявшей, как месяц, глубине из-под атласов, взвевных над ней клокочущих снегом дней, —
вверх она уплывала.

Из-под, как кружево снега на пальцах, приподнятых к личику лионских кружев в темь глубокой низины взор она метнула —
на дозирувшего полковника: он сидел с закачавшимся, как маятник, эксельбантом, отбивающим время.

Точно время дозором уставилось на нее — не время: лик, увенчанный лавром убойной старости. А она, непокорная старому времени, быстро сунула записку в карман.

И победило время:

и записка незаметно скатилась под стол; слюнявая морда сан-бернара уставилась на полковника,

и вот он на записку указывал псу;

и пес, шаркая лапами, пастью подал записку.

Украдкой старик прочитал, сказал:

«Эге... Опять тут назначено свидание».

Горько затянулся сигарой:

дымовой гад, влекущий воздушные кольца, поплыл из его рта и охватил ее кольцами.

Но она прошла, шелковым коленом гада изорвала.

Проходя к себе, она думала о том, что он, он, звавший ее любовью в серебряный храм, иерей,

совлечет с нее пурпуровые ризы;

будто той же придет пургою и тем же месяцем встанет,

и ее хрустальные руки — до ужаса прозрачные — распахнули ему окошко, когда вьюга там клокотала, когда она прелестью ее обвивала и приникла кусающими, где-то уж процелованными губами к ее губам.

Так она, белая игуменья, стояла с ясной, как месяц, туфелькой, занесенной на подоконник; ее ледяные четки, протрезвонив, охрусталили стекла; ризы, осребренные ей в грудь хладом плеснувшей пургой, воздушно мелись за плечами.

Нет, не стояла она:
нет, она бежала по протянутым вверх кисеям, и оттуда, где всегда пусто, чиркнул серп ей по тувельке — проалмазил ей ножку.
Вот и острым концом резанул ей ладонь,
когда его,
свою грустную деточку,
в пустой кинонии она схватила и ожглась, но к груди своей прижала — прижала месяц,
как закипевшая мать, как в слезинках изошедшая сестра и как бесстыдная любовница.

ОГНЕВОЙ БОКАЛ

Розовоустая женщина с дрогнувшими ноздрями зашелестела, потупясь, под сквозной вуалью, запятнанной черными мушками: и шляпа ее, сваянная на шею облачком перьев, и черный муаровый шлейф, чуть приподнятый перчаткой, и серебряные тувельки ног, тающих в бушующем креме атласа и кружев, — все будило в нем смутную, неутоленную жажду.

Он поднес руку ее к губам, стыдливо ее желающий, тихий.

Она положила шляпу у зеркала, оправляя прическу.

Он спросил ее взором, а она пылко ответила, опустила глаза, и губы ее — раздавленный персик — нетерпеливо дрогнули под щеками, очерненными ресницами; так она стояла, знойно дыша и как бы не замечая его.

Бледный, схватил ее, чуть прищуренный, руками, точно тигриными лапами, терзал кружевной черный муар на упругой груди, устами искал ее уст, впился в них, и из-под своих жарких уст, полуоткрытых в его разделенные уста, обожгла быстро, бесстыдно, сладостно.

«Милая, дай счастье... дай».

И она дала снять с себя лиф.

Руки ее, оголенные, теплые, закрывали ей грудь.

Нежные чаши мягко колыхались над черным узким корсетом.

Когда охватил ее стан, спадающие юбки уже перестали шуршать, и она осталась в сквозном красном шелку, точно сотканная из воздуха.

Мягко таял в руках ее жаркий стан.

Так она замирала, одной рукой закрывая сквозящие чресла, а в другую, сжавшую корсет, уронила головку, всю осыпанную солнечными кудрями, ниспадавшими ей на круглые, четко обрисованные бедра: «Тело мое — упругое, гибкое.

Ночь моя — жарка и бархатна».

Изогнулась, свистнула между рук его рубашка, и он сжимал пустоту. Ее с ним не было.

Там из постели лилейною рукой манила, призывно раскидалась на белой простыне красным цветком.

Когда он стал пьяным и подходил тихо к постели, она закрылась малиновым одеялом, испуганно следила за движениями его пытливо, жестоко.

Когда он сорвал с нее одеяло, она вскочила на постели, поднимая к груди колени свои, но он опрокинул ее, повалил в подушки, и она закрыла лицо руками.

Когда лег рядом с ней, обхватив, она вырвалась, царапала его, отвернулась со злобой, оттолкнула ногой, а другую ногу спустила на пол и стояла, нагая, с закинутой головой, закрывая лицо руками, плача и не желая испытать любви.

Дверь открылась. Вошел ее муж, пожирая женщину жадными взорами.

Странно раздался его смешок среди озаренного безмолвия.

Еще. И еще.

И он вышел.

Рыжеватые пряди волос покрывали ей спину, ниспадали на грудь под свеванную с плеча рубашку, и она, согнувшись, надевала на белую ногу атласный чулок.

И пунцовые уста, и гневные очи засверкали на милого, когда тряхнула головой, отмахиваясь от мыслей: «Я позвала вас бесстыдно. Вы бесстыдно ответили на зов. Нет, вы не тот, кто мне снился.

Я — бесстыдная. Уйду туда. Там все вернется».

Скоро она надменно стояла в черном платье, повязала шляпу, спустила вуаль, прошелестела муаром, уходя.

Петух стоял одиноко. Он знал, что теперь не минует дуэли.

Странно мерцал его смешок среди тающих улиц.

Еще. И еще.

Кругом громыхали пролетки: «Рое-рое-рое-...

Старое: все то же».

ДЕТОЧКА

Она ниспала с небес пустых, но атласных.

Лукаво-серебряная ее туфелька застряла там в снежке, как месяц застревает в облаке, — все тою же прелестной стариной она ниспала.

Под ней был хаос, вокруг нее он струился, и она, чьей-то отброшенная ножкой, скользила по свиставшим волнам, зыблемым легко контуром, рисовала теневой контур теневой летучей игуменьи в теневом клубуке, в воздушно-вздutom, словно воздух черной ночи, виссоне и с ветряным током, как пастырский посох, острорежущим из холодных ее рук.

Месяц, серп —
алмазная туфелька.

Ах,
небесной жены больше нет —
нет: без жены пройдет много лет!..

Ах,
без весны умрет белый свет.

Ах, месяц, серп —
оледенелый: ах, алмазная туфелька!

В блеске игуменья — Тень безысходно под облаком запрокинулась любоваться пролетом пустой истомы — и не облак то был: игуменья — Снег в просверкавшем клубуке, белой пылью — вуалью — вниз пылящим, стрекоча, будто градом, алмазными дерзкими четками, яря блеск, как сталь, лёдного посоха, крутила снеживший муар засвиставшим в небо крылом.

Та отемняла простор — эту блеск резал, та ликовала — и рыдала эта: снежились, тенились, летучились обе свистучей лаской — белица и черница, святая и грешная, в старой, все той же обители Вечности.

Бедный житель земли: где найдешь ты святую обитель?
В даль иди,
золотую,
ей, ей внемли.

Но загадочный прохожий положил руку ей на плечо: «Чего ты плачешь? Здесь холодна могила».

Она очнулась от мыслей на реке у ледяной проруби.

Струйки плескались прозрачным, кисейным паром.

Здесь она хотела броситься в воду; но здесь она задумалась: «Неужели все погибло?»

Струйный старик стал обнимать ее, и белое его лицо клонилось любовно: «Вспомни, родная, вспомни!»

Поднесла руку к глазам и увидела, что то старый, ее покинувший друг.

Замкнулся круг.

Милый друг, спаси от мук совести —
от длинной стези могилы.

И внимала старинной повести. И закрыла лик.

В этот миг возник друг чудесный и старый.

Сказал:

«Проснись» —

указал на высь, на небесный луч —
на его золотые пожары.

Кудри его тряхнулись под ветерком, и она, плача, протянула ему
руку.

Он говорил: «Еще немного: все, что ушло, вернется.

Ведь могила пуста.

Но бегите из дому, бегите, куда и я когда-то бежал — в леса,
к сонсам».

Повел вдоль реки. Говорил о прошлом,
что оно вернется.

Есть, было, будет.

Что было, то будет, что будет, то есть — всегда, всегда.

Вот миру весть.

Так — да.

Она вверх по сквозным кисеям ускользала доверчивым взором,
и оттуда, где все пусто, чиркнул из облака серп — заалмазил серьгу.

Блеском душу ей полоснул он бесстыдно, растерянной деточке,
и она — деточка — доверчиво предавала отныне пустой киновии все,
все: себя, свое тело и душу, и грусть, как изошедшая в слезинках
сестра, как желанная жена и как любовный младенец.

Месяц, серп —

алмазная туфелька —

с неба упала.

По снегу она ступала алмазной туфелькой.

КАПЕЛИ

Ты, снежок, — рой пушинок: луч упал — стал подмачивать.

Слезами окропил плиты.

Осиянная пыль — желтоносная цветень — брызнула из желоба
и опылила прохожих.

В окнах сквозили снега — одуванчики, водой смоченные весенним днём.

Искролетная струйка упала на лёд и плыла в мерзлой глади холодным, лазурным пятном.

Слышался рокот пролетки, который давно начался и не мог кончиться: «Тра-ра-ра: это я гроыхаю рокотом, тароватым, старым, весенним громкбм».

И снега текли. И слякоть росла.

Надвигалось весеннее, улыбчивое.

Просилось: «Пора и мне в этот старый мир.

Пора согнать снег, брызнуть искрами струек.

Провлечь на лужах чешую золотую.

Наша жизнь — золотая парча, пролетающая на струях, — золотые, парчовые отблески.

Пора —

потому что, если блеск метлами не сметут, весны не будет.

Потому что кинешься в блеск, а разбрызгаешь лужу».

В сверкающих струнах солнца засверкали сосульки истекающими лилями.

И золотые капли, развесив сети, звенели солнечными струнами.

Синяя струйка словно роптала у ног, то темнея, то золотея.

На ней взбивались белопенные гребни.

Точно на струйку мальчишки пустили лебедку — белый, бумажный кораблик, — и вот он прыгал, черпая воду.

Хрустальные льдинки, точно стрекозиные крылья, сверкали хрусталем.

В светловых сетях воды билось солнце, точно пойманный улов рыбы.

Смеялось в колосьях мокрого блеска.

В стеклах росных, во струях звенящих, цветогонных, плясали серпы золотые и, из серпов сотканное, дрожало начертание весеннего жениха.

Ты, лужица, — зеркальце невесты: солнышко глянет — ты посверкиваешь.

Сядет оно: и покроешься ледяным скатным жемчугом.

И янтарный ледок под ногою прохожего разлетится хряскими рубинами.

ОПЯТЬ КАПЕЛИ

Взволнованный дуэлянт раскланялся.

Ветер донес его визгливый голос, и под приподнятой шляпой колыхнулся гребень волос.

Одутловатое лицо чопорно хмурилось о последствии.

Все казалось жалким и мокрым — весенним.

На Адама Петровича уставилось дуло револьвера. Мгновения растянулись.

Вся жизнь пронеслась перед ним.

Окрестность казалась вечно знакомой, стало падать что-то ласковое, бархатное, и удивлялся, что лежит в снегу: кто-то куда-то позвал его, как и в детские годы.

Издали раздался петуший, взволнованный голос, в солнечном воздухе пахнуло родным и погасило сознание.

Засияло тусклое солнце, и снега отливали серебром и оловом.

Точно все было выслано оловянной бумагой.

Светлов крикнул: «Полковник, полковник: наша жизнь — пролетающий призрак».

Но полковник, поливая из кружки залитое кровью лицо сраженного, сухо заметил: «Не знаю я и не хочу знать!»

Он поперхнулся, и лицо его изморщинилось, не то от смеха, не то от кашля, не то от рыдания.

С крыш капал веселый дождик.

«Ца-ца» — считали талую грязь; «тень-тень» — ломы опускались на мостовую, и разлетались осколки. «Кршшш» — срезали снег с мокрого асфальта.

«Тах-тах» — весело прыгал красный шар, привязанный к синей шубке младенца.

В каждом стекле фонаря безостановочно, беззвучно лопались ослепительные шары и разлетались стрелы.

Все таяло, все несло.

Золотая, солнечная чешуя, павшая на грязь, ползла вместе с прохожими.

И раздавалось в грохоте пролетов: «Ца-ца-рое-тен-рое-рое-рое-кршш...»

«Тюр-люр-лю» — это весенняя вода завивалась у ног пенными пузырями, вечно лопающимися бусами, терзаемыми водой.

КОЛДУН

Телом Адам Петрович бессильно поникал, головой кровавой опадал, несомый людьми и алея пятнами сквозь повязку, темными пятнами.

Его уложили.

«Подушку. Еще подушку».

И он тонул в мелком жаре подушек.

Ослепленные, злые стены сжимали над ним свои каменные объятия, и желто-дымное пламя свечи в лучевом ореоле, точно голова жгучего одуванчика, плясала немим издевательством:

«Ты на свободе... Нет: ты в тюрьме».

Огненно-желтое лицо — все в жару — поднималось с подушек, и, околдованный темницей, он стenal, когда из дверной, черной ямы колдун наплывал шаркающими туфлями.

Мертвое серое лицо выплывало из пасти на желтую свечу, и бархатный красный халат, испещренный темными кольцами, зашущукал на колдуне, зашущукал о том же... нет, не о том, потому что это был полковник.

На упавшей бархатной ткани в желтый пламень камина вперилось мстительное лицо.

Из-под железной решетки камина блеском сияющий зверь полагал морду на мягкую, когтями цапающую лапу ярящей, золотой грудой.

В сияющий треск уткнулся щипцами полковник, и бешеный зверь изгрызал их, каля, трескучим клыком.

Полковник сказал, что тьма заливаает больного и что больной, убегая к любимой, повалился в смертные тени;

что и он верный ему друг, старый; и что вот пришел друг к больному менять компрессы.

В ярком бреду больной раскидал над подушкой свои восковые руки; начинал понимать, что коварный колдун серыми оковал стенами и ее, его душу, и что она, душа, плененная колдуном, теперь томилась над его головой в чародейской западне.

«Бурной, как вихорь, моей рукой я сам разобью стены и выведу ее из темницы», — стenal он, когда худой, тонкий, белый, как умирающий лебедь, машущий крыльями, руками он взмахнул, и его порыв из него изошел: белоснежная, нежная лебедь плескалась там, проникая стены охлажденными перьями.

Бархатно-мягкий халат, испещренный серыми кольцами, поднимал свою желтую руку.

Дымовой бледно-бисерный лебедь, просквозивший плеснувшим пером, нападавая, качался над старым.

Желто-красный рукав, изрывая лебеда, проводил папиросой огоньковый, молнийный круг.

Бисеринки дыма дробились там, лопааясь в темень, как пена, истекающая водой.

Из-под упавшей в бархате пламени свинцовой десницы в чело больного струились недобрые токи.

«Из-под мокрого компресса, Адам Петрович, течет уж вода, а я охлаждаю вас ледком».

Она, тоскуя, изнывала над потолком в колдунской власти у времени, и детский голос ее просил о пощаде, когда алый колдун заводил временный круг, поставленный на столе.

Больной стенал: «Довольно времени, и так она во власти у него там поет, она томится».

А в чертогах колдуна томила пленница, изнывала в разлуке:

«Я жаа-аа-

ждуу...

Я страа-аа-

ждуу...

Дуу-уу-

шаа ии-стаа-ми-лаась в разлуу-уу-кее...

Я жаа-аа-жду, я страа-

аааааа-».

«У вас над головой поет консерваторка, — сказал полковник, — и я просто пошлю ее унять. Это глупое, глупое пение, столь бесполезное вам теперь».

Из-за железного камина в черную пасть двери, шушукая, нырнул колдун туфлями и бархатом.

Из-за вставших чарами стен над головой больного задохнулась она.

Из-за бледных простынь желтой, желтой рукой он схватил оставленный светоч.

Красные, красные жала, точно ливень огней, срывался теперь с летающего меча.

Черную пасть двери он окропил пламенами жгучего лезвия, колдуну преграждая доступ.

И упавший на полковника в темень меч исторгал из его глаз рой искр червонных.

Бледным, воцеленным челом, налетая на спинку, проливал из глаз в темень искры.

Пленник бешеной чародея силой умерщвлял, но тот снова возник и сурово вырвал у пленника световой меч, желтым, бархатным лезвием его развеивая над ним.

Он другой огневою своею рукою из камина, из пасти у зверя, взял каленые щипцы.

И вскричал больной, и встал, и рукой бил колдуна, и швырнул его в пасть зверю, и золотой зверь выходил из железной решетки на колдуна и его ел; красной своей лапой обнимал; и проклятый колдун, исходя клубами паленого смрада, простирали свои желтые руки из огневых, бархатно-мягких объятий.

Прибежали люди. Кричали.

Еще. И еще.

И кричал с ними больной в бреду над паленым стариком:

«Я победил время».

А там, над потолком, — душа звала, она томилась:

«Я жаа-аа-

ждуу...

Я страа-аа-

ждуу-.

Дуу-уу-

шаа ии-стаа-ми-лаась в разлу-уу-кее...

Я жа-аа-ждуу, я

страаа-

ааааа-...»

Она звала, она томилась.

СИНЕВА ГОСПОДНЯ

Больной очнулся, голова над ним упала, шепнула и пропала. «Вы были больны, слегли, всякий вздор наплели и старика обожгли.

Нехорошо жечь знакомых».

Кто-то добавил: «И в такие дни, Господи. Помелом бы вас, помелом — помеломосподи-Го-спо-ди поо-мии-лууй».

Кадило взлетело, звякнуло цепью, фыхнуло дымом и пропало.

Понял, что его хоронят.

Пухлое тело в желтых пузырях взвалило на плечи дощатый гроб и понесло туда, где никто не бывает.

Так оно несло, но под гробом шепталось: «Так ты и жег меня, но ее не настиг.

Мы схороним тебя в пустой старине, где Судия не увидит».

Но мертвец сказал: «Несите меня к Судие: я хотел только правды: пусть же правда суда исполнится надо мной».

И тело взмолилось: «Я тело больное, страдающее одышкой и все в пузырях».

Тогда встал мертвец, взвалил свой гроб; один пошел своей горькой дорогой.

Повернулся — старина на облачке злобно кусала ногти, а ее длинный хвост крутился в пространствах.

Белый купол приплыл издалека. Оттуда вышел старец.

Протянул руки и пошел к нему богомольно.

И гряда в синеве воскуренных туч росла, все росла.

Искристый нимб чудотворного старика, его нога, поставленная на холм снежный, молнийный трезубец в руках и низине туманом грозящая десница — давно он носил в душе своей образ угодника, скорого помощника, тайно пришедшего к нему.

Все под угодником громыхало. Облако в бездны тень бросало.

И из нимба рек старик струевой бородой, трезубцем указующий в бездны на то же, все на то же:

«Гад под облаком ползет. Хвост его, из времени сотканный, изгибается. Надвигается биллионами мгновений. Просится: пора и мне на небо.

Пора оковать высоту поднебесную змеиным кольцом возврата.

Гад оковал землю. Там жена от него спасается: пленяется силой змеиной.

Хвост его вкруг нее обвивается, душит.

И жена просится: я на земле, но я верна небу.

Пора, сын, напоить ее небом, унести в солнечную обитель.

Сойти к ней странником.

Не прежде гад отойдет от жены, потому что она еще покорна времени».

Он посмотрел под купол облака. С земли поднимался дымок.

Чешуйчатые кольца дракона ползли в пространство.

Взмывался на небо бесшумно, все так же.

Молниевый трезубец, положенный старцем, блистал на краю купола. Старец уходил в облачную пещеру; его нимб оттуда блистал, громок в пещере рокотал тайным званием.

Облака закрыли твердь. Твердь голубела в просветах.
Час близился.

Закипевшие дымом белогромные облака, словно озеро кольцами, охватив бирюзовый пролет, то каменели, то расплзались песчаным дымом.

Разорванный гневом, стал на белом верху, глядя в жуть воздушной стремнины, то взлетая с пухнувшим облаком, то опадая.

И из неборной жизни плыл гад, волнуясь блеском чешуй.

Точно щучья морда уставилась на него, венчанная острой щетиной перьев, — и вот она струю красного смрада пустила в бирюзу.

Точно жалом огня опалила воздух, потускневший от копоти, — и вот он подумал, что и там, внизу, он боролся с гадом.

Время — гад, кольца влекущий в поднебесьи, — наплывало в голубое безвременье.

Он стоял, вознесенный над временем, испивая лазури.

А оно влеклось в пространстве то пустом, то облаками загороженном.

Оно переползало вверх по пространству, словно водяной змей, вылезавший из голубого колодца, то ныряя под облаком, то выплывая над ним.

Над стариной повисли белогромные стены, и вот оно взором их прободало.

Точно в воздушных гранитах открылся колодезь — и вот из синего колодца к облачному берегу выплывало змеёвое время — гад, кольца влекущий.

Солнце, облеченное блеском, тихо из-за оболочка опрокинулось над колодцем, и лучи его — трезубцы — тремя жалами прожалили они время и выплывающего из времени гада.

То не солнце — иерей, облеченный в силу, обтекающий блеском, яро над гадом опрокинул молниевый трезубец.

И его трезубец прожалил старину: точно замерла старина, остеклев пустой сухой перепонкой, прожженной, как пустой фонарь, просквоживший оболочком и солнечной силой, упавшей с надоблачной вышины.

Когда трезубец на гада ниспал, время закорчилось змеёвыми кольцами.

Когда пролилось оно на землю миллиардами мгновений, старики пробежали в облачном ходе, издавая грома и гласы.

Когда в самую глубину тонул мертвенеющий гад и блеск оттуда чешуйчатый излучал, как перепончатая жужелица, голос тогда раздался с самой великой, облачной башни:
«Синева Господня победила время».

Тогда в разрывы облак садилось золотое тело солнца.

Никто не мог сказать, что это не купол обители среди снеговых холмов и полей.

Белая облачная дорога тянулась с земли.

Она казалась снежной тропой.

Голубые разливы пространств, как разливы весенних вод, замывали ее.

Здесь залегла издыхающая гадина.

И тогда змеборцу навстречу с земли потекли, будто светом залитые, пчелы и ярые светочи несли; к ним сверкал победительно сверкающий иерей.

Лучезарная жена, ее лазурь, к иерею протянутые ее длани, когда из старинной темницы восходила, затерзали издыхавшую гадину.

Бессильная гадина, словно жужелица, трепыхалась сухой перепонкой. Но иерей перевел луч, и мрак потопил старину.

И в бледной, бледной бирюзе он стоял пламеносным ликом.

И в бледной, бледной бирюзе текли на него жены из солнечной обители.

И в бледной, бледной бирюзе стояло старое солнце, точно окованный в золото воин, отчетливо вонзенное в снега, облака.

Париж. 1907 года

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГРОБНАЯ ЛАЗУРЬ

БЕЛОЛИЛЕЙНЫЙ ЦВЕТОК

Вьюга выдувала бледные вихри.

Вверх метнула снега, и белые лилии закачались над полями.

Все, гудя, пронесилось, все несло прочь отсюда.

Вьюга расплылась дымом бледных снегов — зацвела горстью спелых цветов белолилейных — подвенечной фатой кружевной из звезд, звезд.

Ленты серебра певучие налетали, пролетали — обволакивали.

Сталкивались, дробясь снегом.

Сквозной омофор снеговой свистом, блеском, ароматом предвешенным разметнулся над полями.

Примелькался снег, танцующий блеском, просквозивший синим, будто кружево.

Игуменья уронила головку. Заиграли ланиты.

Серебряный бархатец стал ей навстречу похрустывать; из-под чашечки ресниц в прохожую монашку метнула синие, синие цветики.

Чуть приподнятым ликом то припадала монашка к ее плату, то слагала варезки на груди: «Мать-игуменья, ты оцветилась. Помаваешь в келье веткой сирени.

Кто ояснил нам киновию?»

Но игуменья указала ей на мятель: «Вот они, ветки сирени-то...»

Но она безвластно отходила: блески черного шелка скромным метнулись вздохом, как томно вздохнувший шорох.

Уже вдаль стекал черный ручеек: с ведрами на плечах потянулись монашки к колодцу и рассыпали ногами горсти следов — горсти снежных цветов.

Мятель дышала томным напевом, как и не раз им певала.

Мятель протянула свои белоцветные кисти и отрясала кисти.

И кисти распались белыми цветиками полей.

В визге, в визге распыленным серебром поля оцветили, словно душу псалмы.

В полях снежный брат блистательной митрой просыпал перлы снега.

Отрясал с рукавов серебряны, святитель полей.

Свистом, блеском из лазури ниспал на обитель его хладный образ.

Игуменья, вся в белых цветах, беззвучно смеялась: можно было видеть, как там, за обителью, монашек напал на юницу.

Брызнул юнице в лицо серебряным снежком.

Черный стан ее охватил и шептал: «Не уходи, родная».

Изогнулась, отпрыгнула, запустила руку в корзину и, размахнувшись розой, звонко колючкой царапнула лицо.

Молодая игуменья все видела, на все смеялась: «Влюбляйтесь, ласкайтесь, играйте снегом и цветом».

Монашка там рассыпала в снег лепестки на границе обители и дряхлого мира.

Вдали снежный брат укус воспоминаний претворял в радость и пургу.

Белой ризой укрытый, пронес свои алмазные руки, как лилии, в огне вечернего света.

Восторгом, серебром из лилий поля кропил он, любимый, далекий.

И лилии распались горстями бриллиантов. Сотнями брызнувших мошек ложились у ног.

И мошки гасли.

Это была предвесенняя мятель.

В сумеречной бирюзе можно было видеть черный силуэт склоненной игуменьи на черте обители и дряхлого мира, где деревянный столб возносил ласковый образ Богородицы. Над игуменьей трепыхалась световая, сухая жужелица.

Это был столбный фонарь, трезвонивший ветром: на снеге бились его лучи, как сухие перепонки крыл, жестоких и желтых.

Жучил, жучил ее прошлым фонарь, стрекотавший ветром.

Вдали белел улей. Вдоль стены ползали желтые осы.

Оса за осой проползали по стене и уползали в дырку.

Это вдоль вечерней стены шли монашки с фонариками, обходили обитель и проваливались в ворота.

Вдруг из-под белой стены сугроба стая серебряных птиц плеснула крыльями: с криком метнулись хохолки заревые, улетали прочь быстро, шумно, ликующе.

Все прометнулось снежными птицами — яркими криками.

Прометнулись, уносились, замирали в даях, крича.

Подняла из-под черного плата розовый, ласковый лик свой.

Улыбнулась.

Было холодно и ясно. Ничего не изменилось. Блестела обитель пузатыми куполами.

Сугроб, развеиваясь нитью мух, в небо воздушно рос. Вкрадчиво белая нить распылялась разрывным веером; фонтаном шумным в синем воздухе била свистом, хохотом, блеском.

ГРОБНАЯ ЛАЗУРЬ

Белогромные облака, вскипевшие гневом, словно озеро, кольцами охватили бирюзовый пролет, оттуда глядевший старец с гробовою крышкой в руке то вырастал, как пухнувший оболоч, то ставил ногу на снежный облачный холм:

«Встань: ведь могила пуста, потому что синева Господня победила время».

Вскипевшие дымом нежноструйные снега, словно крылья просвис-тавших атласов, охватывали старца, и усопший, из гробовых странствий возвратясь, встал и поставил ногу на алмазный сугроб, скрепленный морозцем.

Он сказал: «Я ли жив? Синева надо мной. Разве я не преставился в болезнях?»

Из необорной вышины ниспадал дымный змей, свивая снежные кольца.

Точно щучья морда, просквозившая синевою и венчанная серебряным гребнем расчесанных снегов, уставилась на обоих — и вот она струей хладного снега покорно легла у их ног.

И старец сказал: «Точно: жало смерти вонзалось в тебя, и вот ты хворал два уж года. Ум помутился твой. Два уже года, как я тебя перез в тихую мою келью. Я тебя схоронил. Я молил. Бог явил свою милость: поря, вставай же, странник, вновь на ветхую сошедший землю».

Закипевший дымом саван, снегом в снег взвеванный, с ним слианный, вихрился струйкой метелей, и странник узнавал забытого своего друга.

Закипевший сквозной белый гад взлетел из-под ног, и горсти искр оцветили блеском снежную его чешую.

Страннику открылась неоглядная даль. И, сквозные протягивая руки, он сказал: «Солнце закатывается — закатывается».

И оно закатилось.

Там кругом протянулась льдом окованная равнина, и над ней шла пляска метелей.

Но загадочный друг положил ему руку на плечо и подвел к могиле; в глубокой яме, четко обрисованной гробовыми досками, не было дна, а гробовой лазурный пролет в подоблачную стремнину.

Когда заглянул в гробовую лазурь, он увидел загробное небо с землею; когда заглянул туда, увидел и время: оно корчилось змеиными кольцами — будто пустые, просквозившие светом, его чешуйчатые стекла безжизненно стрекотали умирающей смертью.

Когда загляделся в могилу с тонущим в ней мертвым гадом, над ним раздался старческий голос: «Синева Господня убила время».

Обернулся. Старец вздыхал: «Мы оба когда-то жили — и вот умерли: но умерла смерть».

Мы не чаяли: в снеге песни звучали, рыдания —
мы не чаяли.
Ныне болезни, печали, воздыхания в снеге истаяли.

Странник понял, что льдом окованные равнины — только облака, заливающие твердь. Над равниной — там, вдали — багрились змеиные кольца дракона, и странник, повитый страхом, укрыл свой лик в старческой ризе:

«Змей еще в небесах — опять он вознесся».

Старец сказал: «Он теперь не ужалит. Он не беспеременен. Он тает. Над ним совершился суд».

Но это не значит, что змея не было.

Все оснежилось. Оснежился и старый друг: «Снежок веселый, снежок ясный — снежок».

Рубиновым от мороза лицом шурился на избушку — добрым, от молитвы лучистым лицом.

Вошел в избушку.

Мягко затеплил лампадный, пурпуровый камешек.

Сложил лилеи (не лилеи — руки), преклонясь.

Зашептал, и глаза облекли не сквозные слезы — жемчужины:
«Радость, радость —

ты с нами».

И слова текли настоем цветов — лилеем (был же лилей — настой цветов).

Старец был, как дитя, ясен.

Еще яснее придвинул книгу.

Бормотал.

И шурился янтарными страницами.

Слышалась зацветающая песнь, которая вот началась, и вот не кончалась.

Это сыпались снега.

Из дверной щели протянулась миндальная ветка, и вот белые с нее хлопья падали на старика, оцветили хладно его ноги.

Мир велик, он возле, а мы на земле.
На земле —
пусть, о, пусть:
Старик, откуда же грусть?
Лилей, старик, скорей пролей.
Мир велик: он возле, а мы на земле.

Странник остался один.
Над ним взмылись легкосвистные стены, но кто-то их оборвал.
Заглянул в могильный колодезь — и вот там ничего не было.
Прошушукал крест, облеченный снежным блеском, фарфором
разбитого венка над начертанием чьей-то безвестной могилы:
«Помяни его во царствии Твоем.
Я не воскресший — больной, отуманенный разумом».
Поднял руку.
Засвиставшим проструились серебром метельные его пальцы, и по-
казалось ему, что не живой он — весь сквозной.

Со святыми упокой: он и здесь, и далеко.
Помяни его во царствии Твоем, помяни: во чертоге, Спасе мой,
Твоем —
золотом —
во чертоге золотом помяни!
Воспоем, братия, раскрывая объятия: «Чертог светел».
Пропели: никто не ответил.

К старцу пришла молодая игуменья — заря-зорюшка ясная. И, про-
тягивая руки, сказала: «Солнце закатилось — скатилось».
Да, оно закатилось.
Там, где стояла, склонилась черным клобуком, и над ней протя-
нулась благословляющая старческая десница.
Дал, кряхтя, золотого вина, дал — пролитого в кружку.
Потом его разводил водой: «Выпей, радость моя, — выпей сладость».

И монашка пила и сидела тут, черная с белым лицом. И глаза
ее — лазури — уставились на молитвенника, точно небо из облака:
«Вот и вчера тут сидела.
И думала об одном.
Что и я была в мире.
Но прошло это время. И вот я тут сижу.
Сижу и думаю об одном».

Старик поднял над ней светозарное, старое лицо.

И черные четки то падали, шелестя, в упавших руках, то вновь закидывались над клобуком в сквозных пальцах ее.

Глаза странника из-за ледяных, оконных колосьев глянули любовно, когда прильнул он песней в метельном столбе.

Глаза монашки сверкнули солнцем, когда с окна она на старца перевела взор.

Но старец пригорюнился: «Вот ходит там мой работник за окнами. Он рехнулся.

Ходит и думает, что снежит.

Но пришло время. Иди, мать-игуменья: пора и тебе в монастырь».

Протянул руку. Разрезал золотую зеркальность заката белыми ключьями ризы.

Поднес к устам ее образок — кусок золота.

Сказал, напутствуя: «Еще немного: остановится время; мир перестанет мчаться вперед.

И прошлое вернется».

В окнах вставали трубачи снеговые: пушистыми трубами в небо трубили шумно, восторженно, радостно.

Трубили колким блеском.

Игуменья улыбалась: «Иду я от старца домой в монастырь».

Следы ее, черные пятна, за ней тянулись по снегу.

Горьким пленением, племя юдольное, не устанет мчаться вперед — доколь?

Но вот:

сладким забвением осластится боль.

Прейдут года, и, тая, угаснет время.

А пока —

времени река зовет.

Ну вот:

вперед, все вперед — за годом год.

О, юдоль золотая!

ПОЛИЕЛЕЙ

Старица видела сон.

Плавно качался чешуйчатый гад на червонных кольцах.

Когда, влачась по храму, вполз в алтарь и служил там обедню, из-под волосатой морды, прощемленной ехидством, из зева попрыскивал едкой серой кощунств.

Когда, влачась над обителью, по небу полз змей метельный, из холодной пасти его попрыскивал снежок белоградным хрусталиком.

Утром епископ, подкатив к обители, то выставлял свой лик из возка, то плутовато клонился в шубные соболя: «Ну-ка, что встретит меня в сей еретической киновии?»

Ниспал на возок сквозной шмель пурговый.

Ужалил епископа морозным жалом.

Уже молодая игуменья горбилась с крыльца печеным хлебом и солью.

Зыбкий снег ее обласкал, прыснув в ноги горстями цветных каменьев, и она то прижигала взором смиренно припавших к епископу воплениц («Кто не проглотит языка?»), то впивала грудью снеговое мирро пророчеств.

Возок епископа откатился от ее крыльца, прочертив хрупкий белоцвет золотою змеею.

Паркет блестел воском. Над ним пролетел грудной цепной крест в черном шелку на фарфоровой шейке игуменьи.

За ней мантия прошушукала теменью: «Владыко, будьте гостем: мы, как и все».

Из-под плата свирепо дрогнули мертвые скулы послушницы и уста, опечатанные немотой.

Точно гремучая змея, свистело епископское лицо, но хитрая ересиаршица безответно клонилась: «Не знаю я... не знаю...»

Хмель встречи метелица претворяла в грозный шум судьбы.

В окна стучали персты ледяные.

Гремучая змея, прошелестев рясой, уползла из кельи игуменьи.

Епископ служил в храме.

Кукушечий клич клира покликивал с клиросов, когда чуть подъятым старческим ликом золотой епископ выходил с чашей в руке:

«Благочестивейшего, самодержавнейшего...»

Кукушечий клич кукувавшего метельного клира покликивал жалобно в окна.

Епископ, безответно запахнувшись в шубу, прощальным шипом прошипел, словно уносясь на крыльях метели: «У вас всё по-старому. Напрасно на вас донесли».

Ему вслед кричала черная игуменья, острым посохом прожалив крыльечко: «По-новому, змей, — все-то у нас, змеюшка, по-новому».

Сквозь щель возка вьюжный воин вьюжно взвизгнул на епископа вьюжным серпом.

Шелком игуменья неизменно выростала среди монашек и богомольцев, нападала, как черная пантера, потрясала тяжелым острым крестом, прославляла грядущего странника и убегала.

Столб метельный, гудя, выростал, бросался на нее, как белый зверь, осыпал цветами и ускользал.

Монашки волновались.

Возмущенные духом богомольцы ходили за ясновзорной пророчицей, то склоняясь, то устрашаясь.

А вдали столб метельный, как странник, проходил по полям, как бы плача,

то склоняясь, то выпрямляясь.

Так звучал призыв к спящим, но все обрывалось в отдалении сметенным вихрем слухов.

Так звучал призыв к спящим, но все сливалось в даях гулким хохотом заплясавших метелей.

В храм вошла игуменья. Кто-то, знакомый, одевал черную касатку в сияющие ризы блеска и светом их зажигал.

Метель пронизывал луч. Кто-то, знакомый, разрывал кружево метелей и блеском снега обливал: они сияли сквозными перьями блеска.

Игуменья стояла в сквозных перьях блеска; и слезы — жемчужины — наполняли ее стеклянные глаза.

Из храма выбегала она. Кто-то, знакомый, в скуфейке уходил в столб метельный.

Там он стоял за обителью в сквозных перьях метелей, и снежинки текли из его стеклянных глаз.

Метель запевала: «Года, неизменно текущие, проходили, наполняли чашу времен, проливались в прошлое и возвращались».

Глаза игуменьи, оттененные ресницами, опускались, счастьем сияли и погасали.

Столб метели, неизменно взлетающий, бросался на обитель, обливал ее снегом, призывно плакал и пролетал.

Жену облекало солнце в золотую порфиру лучей, испещренную пятнами, и вот порфира слетала с ее плеч.

Чашу, наполненную вином, тихо вознес иерей, облеченный в солнце, и вот монашки приобщались крови.

Монашки облеклись в белую, как бы льняную одежду, испещренную пурпуровым цветом, и вот стояли со свечечками в руках.

Солнце облеклось в метельную, как бы серебряную пену, зажженную блеском, и вот метельная пена плыла над обителью.

Глаза странника из-за ледяных оконных колосьев будто глядели любовно, когда к окнам прильнул во столбе во метельном.

Глаза ее с амвона будто сверкали на выюгу любовно, когда острый метнула в окно, острый свой взор.

От непрестанной молитвы Иисусовой восхищенная духом обитель из-под стен монастырских в воздух синий колокольным звоном кликала толпы страстно, властно, пророчески.

От непрестанных ветров хохочущий поток снежный из-за стен монастырских в воздух синий бил кружевным, хладным ревом, свистом, блеском предвесенним.

ДУХОВО ПЬЯНСТВО

Пробиралась по снегу там молодая игуменья, собрав парусом черным надутую мантию в руку, а другой рукой опраляла кlobуку и клонила на грудь милый, розовый лик свой.

Когда вздулся из-под нее снег, охватил ее стан, ножку она поставила на паперть: так стояла в развеянных ризах с синими, высоко закинутыми очами, размашисто покрывая себя крестным знаменем.

Черные, черные старицы, преклонясь рогами свещных огней, пляшущих над кlobуком, хвостами прошушукали вдоль амвона, и оторванные рои искр, будто красные пчелы, уползающие в фимиам, и чéла их, кровью гвоздик оплетенные, и пламена восковых копий, — все прозвучало в них об одном, все о том же, когда чинно текли они стареющими ликами, бархатными кlobуками и огнями.

Так одна за другой протекли, а красавица, сжавшая четки, уронила головку с золотой прядью волос, не утаенной вуалью, как ниспадала вуаль, омывая ей плечо.

Это розовоустая, молодая игуменья с дрогнувшими ноздрями, четками шелестя, преклонилась, и темный дым, сваянный до полу с клубука, и большой, цепной крест, и серебряная головка у личника сжатого посоха — все замирало призывом в ней, мольбой.

Я ль, замерзая в снеговом атласе, Светлый Спасе, Тебя не ищу,
лобзая, —

Спасе мой?

Я ль, попирая землю, свещу в метель не подьемлю, Светлый Спасе, —
Спасе мой?

Когда из голубых заиконостасных пространств удивленно взлетела золотая десница диакона, бряцая кадиллом, монашки клонились, вздыхали, замирали.

Когда ветер обнимал серебряным кружевом красный домик игуменьи, домик сквозил на метели розовыми пятнами.

Когда свеивал ветер свои белые ткани, обнаженный домик игуменьи краснел меж сугробов; но ветер опять его обнимал кружевами своими.

Когда окончилась служба, с красной связкой цветов парчовой иерей выбежал из алтаря.

Когда окончилась служба, монашка переплетала свой бархатный клубочок сырыми, тепличными розами.

Когда окончилась служба, ясноочитые юницы в огне цветов смеялись друг другу хрустальным смехом.

В решетчатых окнах храма сквозной омофор снеговой парчю царапал окна.

Дух озарил мать-игуменью, и она изогнулась атласным станом, а ее точеные пальцы в стрекотанье пляшущих четок плеснули черной волной муаровой мантии, точно засвиставшими в небо крыльями: так она замирала, испивая восторг; из-под шелковых ресниц жадно горели ее глаза, жадно; руками точно терзала и яркие гроздья роз, и цепной свой крест на упругой груди, а зов с полуоткрытых слетал ее губ, нежно-алых и сладких.

Вот сестры, зовом ее пленясь, как дикие большие стрижи, пред полетом устало махнувшие крыльями, сестренка с сестренкой, в пляс пошли в мертвых ризах, в розах ярых; а из-под вострого клубука,

из-под темных и низких платов, к губам прижимая росистые горсти цветов, в цветы усмехалась игуменья-матушка и лобзала их страстно, несчетно.

Юницы чистые, отроковицы сладчайшие,
ах,

поднимайте росистые, сочные чаши,
цветочные!

— «Мы страа-аа-ждеем... Мы жаа-аааа-...

Дуу-уу-ша ии-стаа-мии-лаась в раа-злуу-уу-кее...»

Ах, цветы, виссон, поклоны — и ты:

ты звон колокольный! Им вольно —

им от радости больно, так больно!

— «Мы страа-аа-ждем...

Мы жаа-аааа...»

В открытых дверях храма с синего, с синего простора на паперть низринул ясный облак. Нежно кропил он прохладой снега и алмазным цветом пляшущих сестер.

Хрупкими, хладными снегами, будто мягкими бархатами, устлали паперть его белые, как цветы, опадающие руки.

Сестра была седа: она бросила глаза в потолок. Бледными бельмами, точно яичной скорлупой, уставилась в купол.

Другая, юница, крутясь, насупила брови.

Жутко было видеть скачку клобуков, паруса надутых риз в озаренном храме.

Это была духовая пляска.

Не меня ль, не меня ли вы отгадали теперь?

Открою дверь.

Милые сестрицы, вздыхаю вдали не я ль?

В открытых царских воротах с матово-светлого стекла на всех уставился ясноочитый лик. Кротко яснил он синевою глаз и спелым колосом бородки среди богомольных выкриканий.

Красными своими тканями, будто языками огней, раскидались над сестрами его перловые руки.

Это была икона.

Вьюга изогнулась над оконцами, к ним прильнула:

«Я — воздушная, бархатная.

Я — холодная, вся сквозная».

Отлетела, и в оконцах заяснела голубая пустота.

За руки возьмитесь, друг друга любите сегодня: уймитесь, напасти и муки, уймитесь, волнения: — страсти

Господни.

Чем безвластней, безумней пьяные духом сестры летали в пляске, тем жаднее к яствам они склонялись — и внучатый иерей, и сутулые старицы, и красавицы, юницы, отроковицы, вдовы черные, белоликие, розовоустые; друг другу они потир подносили, потир света, размыкали венчики уст и глотали вино.

И желтое вино, закипавшая цветень, пошипывало в чашах и опе-няло им края.

Игуменья над каждой склонялась сквозным ликом, сотканым из воздуха, и щербатая старица, ютясь у ее ног, мочила в вине свои горькие розы, осыпала ей руки сырым пурпуром, увядшими лобзала губами ее пальцы, черный лукавый шелк у нее терзала на груди, чашу вина подала ей, с рыданием; и когда красавица в смехе пригубила чашу, алмазный цветник распыленных роз, на мгновенья взвешенных в воздухе, оборвался дождем лучей.

Вскипела пурга. Перловый лик в благолепном пламени риз метнулся из алтаря: кусок матового стекла, захрустев, вылетел из окна, прозвенел и разбился.

Это под вьюгой разлетелось вдребезги окно.

И тогда, погасив огни, он прошел из окна с мягкой, мягкой пургой, опадающей звездами, охватил ее стан, и она уронила головку в бурно брызнувшем снеге.

— «Мы жаа-аа-ждеем... Мы страааа-аааа-...»

«Рааа-баа

твоо-его...

идеже неесть

болезни и печали... въздыхаа-...»

— «Аа ии-стаа-мии-лаась

в раа-злуу-уу-кее».

МЕРТВЕЦ

Одежды спадали со странника, точно дней кружевные метели; и он лукаво их отрясал, восходя над смертью, когда, плотничая для старца, хохотал над земным своим делом безумно, все безумнее — стружки срезал рубанком:

с него, над ним, вокруг него гробовая его пелена, взмываясь в прошлое свиставшими лопастями, взмывалась; на прошлое оборачивался сверкучей от снега скуфейкой с рубанком, шипевшим стружками на бревне, — ах, да нет:

то не была его запорошенная скуфейка: то алмазная митра святителя полевого в огнях,

зацветавших и отгоравших;

это его ледяные руки в дни опускались, дни срезали, — и дни завивались.

И не саван лопастью за плечами у него был: то безвременье у него замывалось с плеч туманными пятнами времен и сроков.

И не стружки срезал его рубанок — нет, и нет: вьюга срезала сугробы, и сугроб нитью мух золотых в небо воздушно рос — летел над окошком игуменьи кружевным фонтаном, белопенным в свисте, в блеске, в хохоте.

Желтые стружки падали в рыхлый снег.

Скуфейка торчала в ясной зорюшке.

Из-за кустов выглянуло смеющееся личико какой-то монашки, влюбленной в скуфейника, и сразу пряталось, когда обращал на нее лик, полный укоризны.

То монашка вышла за обитель, где красовался странник, как легковьюнный столбок метельный.

Все, что снежилось в душе его, укрылось до времени.

Видела — плотничает на морозце в белом подряснике, в желтых лапотках, — весь сквозной, ясноокий.

Увидел монашку. Легким движением воткнул в бревно звонкопевший топор.

Из снежной щели рвалась ледяная дорожка ручья застывшей, лазурной струной.

Сыпался снег, точно цвет миндальный, и не мог просыпаться.

Среди снега шла дорожка золотых, протоптанных следов.

Оттуда пришли слепцы.

Грустно вздыхая, коснулся их зрака. Стал молча водить по лицам мягкими варежками.

Вспыхнул сам. Вспыхнули ослепленные лица.

Прозрели. Увидели свет.

Как из оболочка дней, так из оболочка метелей он теперь выплывал ясноочитый, сквозной, как месяц из тучки, как душа из времени, как ангел из бури своих перьев.

Ясновзорная монашка выбежала к нему, плеснула руками, припала персиковыми устами пить снежок с его желтой лапотки.

Странник, странно усмехаясь, погрозил ей перстом: «Тебе бы все возиться со мной, да мне недосуг: плотничать надо».

«Ааа...»

И пристыженная монашка текла в обитель куковать псалом.

Снежная струйка взвилась. Холодком плеснула монашке в лицо. В ноги упала.

Еще. И еще.

Протянул за ней странник руку.

Снежной лилией рука пронеслась. Другая рука снежком в поле плеснула.

Еще. И еще.

Мимо монашки пролетела большая воздушная скатерть. Мимо он пролетел большой воздушной скатертью.

Старец нагнал монашку: «Вечерком не ходи ты сюда. Послушник мой не в своем уме.

Думает, что снежит».

Назад от монашки побежал черной сутулой спиной. Низко над бревном согнулся белый стругающий скуфейник.

Проходя в келью, он все думал о том, что он, он, восставший из мертвых, совлечет с мира пурговые ризы и мир прейдет той же пургою, что клокочет так звонко под голубым, бледно-зияющим серпом;

и его хрустальные, до ужаса прозрачные руки распахнули дверь, когда старец оттуда заклокотал на него: «Что ты, во сне? Я и ты — мы живые: ничего такого не было и не будет».

Но он улыбался змеиной мудрости своего старого друга.

Так он — сквозной мертвец — стоял с ясной, как серп месяца, бородкой, занесенной в вечеряющую синь, и его пальцы, будто примершие к двери, хрусталили ее ледком.

Монашка, смятенная странником, перебежала от кельи к келье.

Слышалось жужжанье удивленных стариц, жужжанье многих ветрен, которое началось и не могло кончиться: по дворику пробегала благолепная старушка, оставляя за собой воскресный ветерок псалма.

Слышалось благолепное кукование псалмов ясновзорных монашек, благовещавших и в кельях, и на снегу: и юницы клира благоухали молитвенным свечением.

Приходила ночь, и говорил старик, забывая дневную строгость: «Пора домой мертвецам».

Лукаво они, серебряные, сквозные, текли по снежку к могиле, открывали гробницу и подоблачным ходом опускались в прелестную старину, потому что снежное поле было полем большого облака, пролетающего по тверди.

Вокруг них струились своды, и они по каким-то туманным уступам выходили к пробоине, глядящей в свистучую страну эфиров.

Они бежали под месяцем вниз по сквозным, кисейным мостам, и тени их, на пробегающем под ноги облаке, как летучие черные иноки, стрижами неслись вместе с ними.

Бесстыдным блеском хрустальные крылья небесных летунов сквозили вдали, вдали, как пронсящий рой стрекоз, под звездной киноией звеневший — всем, всем: и печалью мира, и летучим ужасом, и грустью, и слезинками изошедшей в мире сестры, и зовом жен; и они едва успевали понимать: «Аааа... Ааа...» И проносилось новое.

Вот два сверкающих инока, в беге перерезавшие небо, кричали, ужасаясь восторгом: «Ааа... Ааа...», но выходило: «Свят, Свят, Свят».

Утром, не вспоминая ночи, старец молился, и плотничал странник.

ВЕРХОМ НА МЕСЯЦЕ

«Милый, дай счастье... дай».

Игуменья на заре приложила дивное личико к неизвестной могилке.

Теплые ее руки пали на грудь нагую плиты гробовой, и трепетали чуть приподнятые чаши из-под свистом взволнованного ее атласа, откуда серебряный крест холодно звонил по голым плитам.

Когда охватила гробницы стан морозный, тяжелый, духом она ниспадала в далекое прошлое, в фарфоровый шепот цветов над могилой, и разбрызганные снега оголяли льдом окованный каменный гроб; в охрусталенных плитах отразилось дивное ее, дивное личико с дрогнувшими ноздрями, омытое черной волной, из-под клобука бежавших шелковых платов ее.

Многокрестное кладбище, терзаемое порывом, страстным гласом стенало, в любовной ширило пытке свои огневые, фонарные очи, то янтарные, то малиновые, лопастью пурги свеиваясь в утро, точно в час брачный фата кокетливой невесты, сорванная женихом, — потрясало, тянулось венчанными руками своими — десятками крестов — к нему, к ветру: фарфоровые лепестки, дзинькая, опали на плиты.

Ветер лукаво вопрошал, а красавица отвечала дрожью, а старинное кладбище, властно мерца, обращало к ветру янтарные взоры; а венки фарфоровым били трезвоном.

И безвестная серая женщина, искони попирая гробницу, каменным порывом точно безвластно кидалась в метель; ветер охватил изваянный стан сквозными своими метелями, струйно терзал мраморный стан и тяжелую грудь, устами суровых ее касался, гранитных уст; в разделенные складки ее одежд бил он бурно, бесстыдно, властно.

Одной рукой
сумасшедшая игуменья сорвала плиту гробовую;
другой она рукой
охватила крест, прильнув к нему малиновой от лампадного блеска
головкой, —
припала, припала —
с языками, точно черных огней, лизавшего крест мантийного шелка,
словно омываемого ветром с ее четко обрисованных ног и бедер.

Синее, милое во гробе лицо пеленали снежные саваны — синее, милое, с ночным бархатом ресниц.

Изогнулась, свистнула шелком ее белая из-под мантии ножка, приподнятая над гробной лазурью.

Милого не было там: белый серп там глубоко, глубоко зиял, в голубом колодце истомы, и едва-едва светили там звезды.

Прелестию звала гробовая лазурь, указала свою необъятность, — показала то, что никому не показывают, и черная красавица, подобрав рясу, — скок да скок туда белыми ножками: оборвалась с вверх взметенными одеждами — туда, туда: там канула, словно черная роза в голубом колодце.

Когда стремительно она низринулась, как упругий, в стремнину брошенный, черный дротик, как завизжавший стриж, разметнувший упругие крылья, — мимо оболочка, мимо — к звездам, к обтаявшим лазурью рогам шербогатаго месяца; когда оседлала серп своими горя-

чими, белыми ножками и вверх метнувшиеся шелка с длинным, как змей, шушукавшим, черным ее мантийным хвостом, — длинные ризы извивались вправо и влево;

когда месяц вправо и влево взрезал своим выпуклым лезвием прохлады иссиня-синих воздушных и, мча ее, — ниспадал, ниспадал;

когда грудкой склонилась она к нежно-белому, насмешливо дребезжащему рогу и он вспарывал грудку терпким, диким, давно запевавшим восторгом: —

тогда все в ней взывало в гробных лазурях, все — и она, и звезды, взиравшие на нее долгими взорами, как и встарь, и лобызавшая ее синь дорогими, воздушными, где-то уж процелованными устами;

тогда белая мертвая ее головка с алой, закушенной острыми зубами губкой, и рыжий пламень из-под платов распущенных кос, и стрекодавские по воздуху четки, как звонкая плетка, награждавшая ударами странного, насмешливого коня, дивную прелесть сердце сжимало; тогда изгибы ее атласного стана, и черные чулочки в красных подвязках, и над чулочками молочный цвет колдуньиной ножки, и бархатный клубок, как темный рог, уставленный вперед, и злой сладострастный ее взор из-под дугой сошедшихся бровок — все, все старыми чарами сожигало, старинными.

Но хладные рога месяца завернулись вокруг ее ног — не рога: чьи-то цепкие руки тащили ее в прошлое; и не она летела, а ее увлекала оседланная ей спина: вот из-за спины поднялась большая, как бы оскаленная на любовь ее, как бы стеклянная голова в венце серебро-белых седин и смотрела на нее долгими взорами. То время уставилось на нее — голый старик, скачущий по поднебесью: «Сошла к нам за милым, а меня повстречала: лечу, лети, летим — летей с летею — летейские».

Нежно взирали пустые небеса, нежно. И зов слетал с ее уст призывный, стенающий:

«Я страа-аа-
ждуу...
дуу-уу-ша
ии-
стаа-миилаась в разлу-уу-
кее...»

Под скачущей парой белые клубы залетных, летейских тучек. И время тащило ее сквозь них, и ее ухватили холодный, белопуховый войлок, ее пальцы; и подоблачный низ метнул громную молнию в серебро-белого старика, и он с опаленным, черно-лиловым лицом покатился вниз.

Так колдунья осталась на облаке черной воздушной тенью, и уже вверх она скользила, точно влекомая в лазурный пролет надо всем свисающего облака, откуда низринулась, обезумев от воспоминаний, — тень скользила.

И она была тенью снегооблачного мужа.

Вот поднялся снегооблачный муж, как воздушный иерей в алмазной митре, изогнувшись слепительным станом, а холодные его пальцы в стрекотанье блещущих лучей мерно и плавно несли месячный осколок, как осколок чаши алмазной, поливающей свет.

Он испивал старинный старины напиток к нам вызывающего томления, и в голубой пролет надо всем свисающего облака тем же он взирал глубоким томлением, что, как любовь, зовет все неумолчней, — и зовет-то, и плачет-то, ластится и раскачивает детскую колыбель души сиротинки, похищенной временем.

Другой он рукой долу опустил перловый трезубец, лучащий в низины острый ток молний.

За ним влеклась его тень, словно клобуком опрокинутая игуменья.

Вот он встал над облачным пролетом; — вот, смотрите, он встал: испив, пустил от себя осколок чаши хрустальной, в высокую улетевший вышину утренним месяцем.

Вот стоял он над гробною лазурью: — вот стоял он, а его тень лежала в четырехугольном ее пролете, словно в иссиня-синем гробу, запорошенная дымом, будто снежком.

«Уй-мии-тее-сь

волнее-нии-яя страа-аааа...

Ааах».

Игуменья проснулась на чьей-то безвестной, ледком охрусталенной могилке.

Утренний серп в небе свисал лепестком изогнутой лилии, едва приметной, белой.

Ясноочитый стоял скуфейник над упавшей игуменьей.

Клонился и ей говорил: «Опомнись, родная: ведь могила пуста».

Ветряный напор взвил его одеяние кисейными лепестками.

Ее он поднял, ей улыбнулся и оправил огонек лампадки.

Завизжали красные фонарики, охваченные ветром.

Многокрестное кладбище, терзаемое порывом, страстным гласом стенало, в любовной ширило пытке свои огневые янтарные очи; потрясало, тянулось венчанными руками своими — десятками крестов — к нему, к ветру — рыдало: фарфоровые лепестки, дзинькая, опали на плиты.

ВСПОМНИЛА!

Вьюга вздохнула безответно, и она вспомнила шелест скрипок в театре, где шлейфом когда-то разметала незабудки, где упивались ей, восхищались, дышали; где милый ей улыбался и звал, как и в детские годы, куда-то.

Но строгий скуфейник, стоявший над ней, тронул ее, и они пошли прочь от воспоминаний.

Там махали ветками снежных ландышей: там облегченно упивались простором.

Там был лёт снежной пены, разбрызганный в пространствах и размешанный с сумраком.

Весь день они пробродили в полях.

Она шла рядом со странником, потупясь, и черная вуаль вихрилась за клобуком.

Она робко вскидывала глаза, будто исповедуясь: «Я ушла от мира: я любила — но любила сон — не его».

И странник склонился золотою бородкой: ветряный напор стал рвать его кудри; матовый лик улыбнулся бархатной улыбкой, чуть-чуть страшной: «Нет, его ты любила!»

Бледный стоял, чуть прищуренный, и вьюга в душе запевала, как прежде.

Лапа метели то гладила их, то иглами, звездами, снежными перлами дико царапала.

Они подняли друг на друга синие очи, синие, и покрыли их, щурясь, черным шелком ресниц, грустные, не узнавая друг друга.

Поднялся серый мундир, и сквозное глянцевитое лицо в ореоле лиственных седин, вперенное в мать-игуменью, запело, как и не раз ей певало:

«Как хоо-чии-тся мне вее-риить ии люю-биить!»

Но глянцевитое лицо покрыл странник светлой ладонью — и увидела, что на высоком сером столбе ветром стрекочет фонарь с жестяным, серебрящимся верхом.

Странник сказал: «Это караулит прошлое на границе дряхлого мира».

Они прошли, и ей вслед верещал стеклянный фонарь на деревянной палке: «Я любил, и вот я мертв!»

Солнце подкатилось к земле и проваливалось.

И оно провалилось.

И там, где съела земля золотой его плод, красный сок стекал в небо.

Они стали на сером голыше, с которого спадали воды.

Ныне подмерз водотек, и остуженные ледышки венком хрупких струнок вонзались в бархат сугробов с гранитного лба.

Меховым сапожком она топтала голыш, точно гигантов запрокинутый череп.

Гигантов лик скудно крысился мертвым хохотом: ветер скулил в ледяной трещине рта: «Подруга дней моих, я во сне возвращался».

Она отвернулась от прошлого с отменным сердцем.

Метель кидалась снеговыми объятиями.

Огненно-желтый закат потухал над полями.

Она говорила, сжимая четки: «Почему у милого было светлое, светлое лицо? Он был в жизни как странник».

И склонился: губы его разомкнулись, точно доли багряного персика, взрезанного ножом: «И я странник тоже».

Она смотрела в неземное жемчужное лицо странника и узнавала никогда не забытые черты.

«Это я шептал о воскресении, но ты меня убивала: умирал и воскрес. Это я работорствовал за тебя, нисходил во ад, где ты отошла от меня».

Черным стрижом она припала к светлому скуфейнику, но вейный иерей в перловой митре извизжался над ней секучим серпом пурги:

«Вззвв... вззвв... я... я...»

Мой гнев со мною...»

Рясофорная вопленица упала на голыш, и напал перелетный лик метели, о голыш разбился: белыми пчелами пропылился ей под воротник жужжать о невозвратном.

А вдали, вдали уходил от нее скуфейник, уронивший в варежки слезоочитый лик, жемчуг соленый проливать о ней, прося и ей смерти.

Раскрывала ему вслед алый венчик рта, стряхивала в снег хрусталики стекленевших слезинок.

Протянулись метельные облачка. Уж взывал снеголетний вихорь, холодно бросив в поднебесье кромешную пургу.

ПЕСНЬ ИЗ БЕЗДНЫ

Когда ушел скуфейник, она осталась у фонаря на границе обители и дряхлого мира.

Фонарь, как вздыбившийся зверь, стеклянной пастью оскаленный на любовь ее, изрыгавший вихорь то снеговой, то стекольный (вьюга разбила его).

Это его метельные руки звериными когтями над ней летели, за ней летели.

«Кто убежит от меня? Нет, никто...»

В страхе бежала от него, в сугроб падала, опять вставала.

И гнал за ней рев звериный, старинный.

Все тот же.

Волновалась обитель.

В те дни странник уходил за гребень многохолмный, будто нырнул в метельный океан.

Ароматные куренья струились, и косые лучи солнца, дробимые дымом, жутко плескались над клобуками монахинь в храме, точно далекие лучи благовестия над сиротливыми вопленицами.

Игуменья шла в келью и крикнула, пойманная песьей тенью, перерезавшей снег.

То, рыкая, просунулась звериная морда из открытого окна на нее, скалилась на нее.

Она сказала: «Наше прошлое — тень пробежавшего зверя.

Вместе с нами в метели тащится зверь, провожая на родину.

На родину».

Это был лающий пес, кровавою пастью оскаленный на жену, облеченную в шелк, прежде бродивший в полях, а теперь забегавший вдоль обители.

Это его косматая морда появлялась то здесь, то там.

Иногда он вилял хвостом: «Кто накормит меня? Нет, никто...»

В страхе его обходила игуменья, а монашки его кормили хлебом.

И рыскал по обители пес косматый, старый, из пространств прибежавший.

Метель взвилась, и рявкнул пес, запущенный снегом.

Провалился в снег.

Метель запевала: «Я метель — улетающая жизнь.

Вот, как белая птица, взмываюсь я морем холодных перьев.

Я над вами плыву, неизменная, — на родину...

На неизвестную родину».

В СТРАНЕ БРИЛЛИАНТОВ

Мертвые мертвецы горбились на открытой могиле. Старец и странник с риз струили ткани метелей.

Охрусталенная крышка гроба лежала у их ног, и в гробной лазури зацветали и отгорали созвездья. Охрусталенные лица клонили в гробную лазурь, где облака то пробегали, то набегали.

Глаза странника то грустили, то радовались небытием, и он говорил свирельным голосом: «Здесь супруга моя и грустит, и томится; и Господь разрешит ее взять».

Высунулся из гроба многокрылый муж: «Кто вопрошает Господа Бога?» Высунулся из пролета лазури белый Ангел: «Кто не видал облак Славы?» Старец побежал в гробовой ход: «Ну конечно, сегодня ночью Он проплывает здесь». Странник побежал в белооблачный ход: «Ну конечно, Господь разрешит вознести ее».

Синий эфир нежно поцеловал и бросил в них горсть бриллиантовых молний.

Белый храм громко проплывал, и громовые рати старцев из туч блистали мечами. И стаи брызнувших копий ослепительно прядали в ночи темь из таинственного облака. И громы гремящих полчищ оглушительно гремели медью труб из плавучей обители.

Лучезарные, они молились на облачном выступе.

Бриллиантовые насекомые над ними кружились из-за звякнувшей кадилницы.

Осыпанные жужжащим блеском искр, они то прославляли Господа, то просили об успении утомленной игуменьи.

Перловый гремящий лик то показывался венцом из-за дымного алтаря, то из дымов взлетала десница с кадилом.

Бриллиантовые жужелицы, струей искр змеясь, возлетали и, змеясь, рассыпались в волосах.

Перловый старик встал и вопрошал: «Кто там зовет меня?» Молодой мертвец упал и вопрошал: «Кто я, чтобы видеть Тебя?»

Перловый старик шепотом возвестил: «Да будет тебе по желанию твоему!»

Громовый рев все огласил: «Да исполнится воля Твоя!»

Облак проплывал и бросал в темь горсти зарниц.

Бледный день наплывал и гасил горсти созвездий.

И стаи брызнувших стрекоз ослепительной тучкой в пространствах летели в бледнеющей сини ночи: то стаи далеких ангелов испуганным отрядом с уступов тучи слетали в загоревшейся ясной заре.

ТРЕТЬЯ МЕТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ

Мертвец пришел в обитель.

Яро проблистал его лик белогромным светом.

Яро просвистал снежок из-под ног миндальным цветом. Яро прозвучал его крик:

«Синева Господня победила время!»

К косящатому окну красавица прильнула, молясь на любимого. Свою весну красавица встречала, молясь на любимого.

Руки на груди, томясь, рвали четки. Руки на груди сложил, томясь, он, любимый, кроткий.

«Синева Господня победила время!»

Вдруг страстно пробила оконце; она пробила золотой воздух красным током цветов над ясноочитым скуфейником.

Вверх страстно уносила под солнце вьюга, уносила в снеговой воздух белый ток цветов над ясноочитой игуменьей.

Попадали к ногам его красные цветики. Запрядали мимо личика ее белые лепестки.

«Синева Господня победила время!»

Ты пришел — неотцветный цвет, ты облекся кружевом снежных риз: глаза твои — метель, просквозившая небом.

Тебя родила метель: дай нам метель, дай, дай, дай нам метель белую, метель ревучую, метель — летучую метель, свистучую, ибо ты из вьюги вышел.

Вьюге помолимся!

Здравствуй, здравствуй, белая пчела, из метельного улея летящая к нам о счастье жужжать, сладкий мед от сот, от сердец собирать.

Ты, счастье, белый, медовый, восковой!

Гласом пчелиным нам обедню прожужжи!

Ты нас помилуй!

Бледно-мраморный лик рясофорной красавицы с четками в руках выростал всюду за скуфейником. Громкий радостный крик метели-пласавицы в оснеженных полях выростал гласом свирепым над ельником.

Метель протягивала всем в обители свои белые объятия, белой солью впивалась им в очи, будя печали; распадалась птицами, ложилась под его ноги.

Игуменья протягивала ему свои объятия, жгучей болью впивалась очами из-под вуали, темной, как темень ночи. Но он закрывал глаза ресницами, желанный и строгий.

Когда он проходил мимо нее, она прыгнула к нему, точно черная колдунья с гвоздикой в руках. Когда небосклон озарила солнечная змея, метель прыгнула, вознесла свою тьму дико, дико, точно рясофорная летунья в далеких полях.

Губы странника немели чуть видной сладостью, но скрыл лицо в нее обращенными ладонями, защищаясь от гвоздик.

Трубы метели гремели громовой радостью, и солнечное кольцо укрыло свой пыл.

О пчеле пчела, о душе душа, о заре заря — жужжат, пекутся, ясятся.

Пчелы, пчелы:

ныне вы — пчелы.

Вы пчелиного царя в улей ведите.

Роитесь, роитесь: скоро вылетит белый царь на крыльях золотых из улья с жужжаньем.

За ним, братия пчелиная, летайте, на брань с осами летайте, языками-жалами мерцайте в душах темных.

Вот с вами ваш — с зарей заря, с душой душа, с пчелой пчела.

Приди к нам, пчела наша!

В келье игуменья раздевалась. Под окном метель шепталась.

Шелестел белый снеговой челн, уплывая в солнечный град вдоль снеговых волн; уплывал он туда — где горящий круг.

Шелест черных шелковых волн — водопад ниспадающих ряс, возникал от пляски ее обнаженных рук.

В келье игуменья раздевалась. Под окном метель шепталась.

Красная лампадочка озаряла клобучок, оплетенный цветами, сквозной батист, окутивший ее знойную грудь. Вьюжная пляска заметала обитель своими шелками.

Игуменья расплела шелковые ткани кудрей, одела серебристый клобук, обвила себя атласом лилейным, собираясь к нему на встречу.

Буря мела пурговые ткани; в серебре рыданий ее восходил лучистый круг. Звала гласом вейным: «Люблю тебя, почему — не отвечу?»

В тебе, снег — поцелуй, в тебе — ветряный смех — любовные речи. Блеском, свистом, пляской, ризой кружевной — ризой на нас нисходишь.

Снеговым причастием, белым хладным огнем — провей, одари.

И пропойт снеговые псалмы на метельной обедне.

Вьюге помолимся.

Пурпур сердец вином снежным вскипает, приступите.
Причащайтесь пене снежной, пену белую вкусите.
Пеной белой, кружевной, облакайтесь: лики ваши — снега, губы
ваши — пурпур, ваши очи — небо.
Снеги к снегам, небо к небу, зори к зорям!
Се, над вами серебряный венец метелей — се, над вами брачный
венец.
Вьюге помолимся.

ВСТРЕЧА

Над обителью раздавался свист ветерка и грустно-знакомый
вьюжный шелест.

И в бледную, бледную бирюзу ушли снежные рясы. Показался
силуэт игуменьи с золотой свечой, и вот она, белая невеста, пошла
в ледяные поля на призывный звон вьюги.

Над ее головою потрескивала зубчатая корона огня.

С вознесенной в руках свечой она пала под сквозным золотом
солнечных листьев:

«Довольно: —

нам вольно: нам от радости больно.

К нам, ах, к нам ты спешишь, в лучах тая.

Во снеговых полях, жемчужовых эта тишь золотая».

И в бледную, бледную бирюзу он шел пламеносным ликом.
И в бледную, бледную бирюзу метель рвалась вихреносным криком.
И в бледную, бледную бирюзу он шел пламеносным ликом.

Он... Нет, не он.

В ледяной, столбный фонарь било солнце, и он обратил в мона-
стырь взгляд стеклянный. Вихряной столб, как и встарь, метель взвила,
и он закрутил свою пыль, осиянный.

И в бледную, бледную бирюзу волна метельного цвета продышала
хлопьями пуха.

Как большой одуванчик, взошла метель, изорванная предвесенним
днемком.

Игуменья начертала в полях пламеносного змея искряным зубцом
свечи.

Змей пополз: это дорожкой колких пчелок ползли на обитель
предтекущие светоносцы.

Сияющими жалами текли братья света.

В отдалении несли золотой гроб с мертвецом.
Белая атласная красавица, вся в пурпуровом цвете, стояла с иконой в руках.

Протянула гробу икону и цвет.

И стал воскресший из гроба: от лица его стекало солнце.

Они коснулись друг друга бархатом глаз и будто ушли в знакомый, иссиня-синий колодезь.

Кадила рассыпали на снег красные змеи.

Червонные, святые потиры выносили в поля; и в них сверкали из-за туч яркие уголья. Но уголья прорастали цветом.

Едкий мед потирного цвета матовой истомой оводил их лица, и хор пел:

«Он не беспеременен: он уходит в безвременье — в бледную, бледную бирюзу.

У него есть крылья скрываться от нас.

Но это не значит, что он не с нами.

Он встает среди нас: метельной струей бьет в лазурный кубок.

Когда переполнится кубок метелей, он опрокидывается на нас снегом.

Возвращается... возвращается».

Игуменя вела странника в алтарь, а сама стала у входа.

«Ты гряди, иерей, из блистанья сотканый, жених, из свещного действия в полях рожденный.

Ты, жених, гряди из далекой страны загробной облекать меня любовью и солнцем.

Твои ризы из пенных блистаний, и омоемся блеском.

Твоим, иерей, твоим блеском!

Мы возьмем колосья блистаний, перевьем стан наш колосом, колосом, солнечным колосом!

Колосись в души наши!

Ибо мы — твои, твои мы нивы: нивы, нивы, созревшие нивы!

Твои, жнец, нивы».

ЗМЕЙ ПОВЕРЖЕН

Под амвоном волновалось море клубков.

Она стояла с благовонным мирром.

Вырос силуэт иерея с просветленным, жемчужным лицом.

Солнечные кудри и чуть двоящаяся улыбка светились на вечерней заре.

«Милый, опять ты, опять!»

Это был он, ее смутный сон.

Он стоял точно сотканный из воздуха.

Высоко вздымалась его взволнованная грудь.

У ног его замирали осыпанные, будто угольями, святыми пчелами кадила.

Две пчелы запутались в волосах солнечной жены, когда над ней подъял свои руки и голосом, вздоху подобным, призывно звал от времени:

«Довольно:

Скоро все облетит — пролетит.

Времена засохли, шелестят, как свиток.

Времена, как и свиток, свиваются.

Пора,

потому что все пролетит, и мы будем вместе.

Потому что вот пришел звать воскресший о воскресении!»

О н а

Ты, иерей, — парчовый цвет, весь как из снега!

О н

Ты, жена, невеста — лебедь моя.

О н и

Мы под куполом, опрокинутым над нами.

Белым орарем оплел ее стан, и заревел хор с клироса, призывая к ектении:

«Вьюге помолимся!»

Двери храма разорвались. Там наплывал епископ в горящих ризах, как большой красный дракон.

На бледной, бледной бирюзе храмовой живописи за ним тянулись свещные огоньки, точно гребни чешуй золотых ползучего гада.

За ним повалили черные толпы хмурых монахов, издавна враждовавших с обителью.

Кучка верных монахинь, молясь у амвона, горящими свечами заграждая дракону путь, чертила на нем свещные знаки крестов, и свечи, как мечи, яро лизали воздух.

Красные горсти шмелей, световым роем молитвенных заклинаний, садились жалами в темную толпу.

Забряцавшие оболочками золотые кадила, словно белыми кольцами, схватили епископа, и в бирюзовый пролет сверкала его митра.

Исполненная духом, жена вышла на амвон и глядела в жуть воздушной стремнины, то задернутой дымом, то зиявшей, точно щучья морда уставилась на нее, венчанная золотом, — и вот змеей посохом ей проблистал.

Точно жало молнии резнуло кадильное облако — и вот она узнала того, кого убила духом.

Время — епископ, ризы влекущие в храм, — шло на амвон, где она вознеслась над ним.

Она стояла над епископом с крестом и с пурпуровым цветом.

Иерея из алтаря вызывала, кадильные оболочки в венценосного змея метала.

Оболочки — молитвы, рожденные духом, белыми камнями полетели в старину.

И дробились сияющей митрой.

Крест в руке блиставший сжимала, блески крестом метала.

Старый епископ изогнулся.

Провалился храм, грохотавший народом, когда белые, кадильные облака загородили к амвону путь.

Старик поплыл вверх по ступеням, словно меж дымовых куполов, то ныряя, то выплывая митрой.

Над ним повисло облако кадила, и он посохом, как молоньей, его изорвал.

И когда золотой змеей вползал на амвон, из царских врат показался иерей, точно сотканный из воздуха.

Он стоял с разведенными руками в сквозном золоте ладанных туч.

Его голова, вперед упавшая из-за плеч жены, световой круг над лицом, в руках дикирия страшный свет и змеею грозящая десница — пятном бурного света пролились над женой.

Все под оболочка громыхало, черной ратью вставало.

И рек чудотворный странник жене, указуя дикирием на то же, все на то же:

«Гад к нам ползет. На нас воздвигается, просится: пора оковать твою, жена, чистоту змеиным кольцом возврата.

Ты была окована землей. Ныне ты верна небу.

Пора нам испить любви, поразить змея, уйти в солнечную обитель».

И уста дракона разорвались темным воплем.

Брызнул жезлом и разодрал на жене ризу.

Он видел — солнце, облеченное блеском, тихо из-за облока опрокинулось над ним, и светоносный, осьмиконечный луч креста резнул пространство.

То не солнце — жена, обтекающая светом и оболочкой, яро над ним замахнулась крестом.

Из сумеречной бирюзы пред ней стояло прошедшее в митре, словно золотое насекомое.

Ризы на нем висели, как сухие перепонки.

Когда крест на митру упал, окровавился хрустнувший череп.

Когда глухо рухнуло тело, корчась змеиными кольцами, митра покатила золотым колесом.

Когда повергся дракон, кучка монахинь возопила гласом велиим: «Жена сокрушила главу змею».

ТОЛЬКО СНЕГ, ТОЛЬКО ВЕТЕР!

Вскипела пурга.

Перловый лик в благолепном пламени риз метнулся из алтаря: кусок матового стекла, захрустев, вылетел из окна, прозвенел и разбился.

Милое, милое небо сияло — милая, милая гробная лазурь.

Белый серп глубоко так звал в голубых океанах истомы, и едва, едва мерцали там звезды.

И их ризы струились метелями, когда туда они устремились.

Серебряными своими клобуками лукаво из волн белопурговых всплывали, как дети; как дети, безумно хохотали, безумно, восходя, — выше, выше —

прошли за ними, под ними, вокруг них муаром снежились свиставшие мантии, будто лепестки закачавшихся в воздухе лилий, окуривающих белым дымом, свистом, блеском, ароматом предвесенним.

Выше, выше —

прошли: из-под облака риз, как из облока дней, опрокинулись в прошлое — вот указал ей лазури глубокой истомы в воздухе, склонился над ней у этих колодцев,

склонился сверкающей шапкой и всем своим телом сквозным, проблистав ей в лицо биллионами алмазов, застывших алмазов, океанами слезинок, взметенных пургой.

Устами, жгучими, как слезинки, уст ее мертвеющих коснулся.

Ах, да нет:

то не была мать-игуменья: то его родная сестра, его грустная деточка, струившая в подоблачную старину снежные хлопья.

Слезы, слезы — ее слезы: слезы деточки, павшей в снежную колыбельку,

слезы радости, —

ей наполнили колыбель: хлынули чистыми хрустальями над трезвоном ревевшей обителью.

Изогнулась слепительным станом в закипевшем пеною море, а холодные ее пальцы — края перистой тучки — в сверканье лучей оборвали с неба хрустальный осколок месяца.

И из этой чаши он испил ее любовь.

Они испивали старинный, старинный напиток к нам взывающего томления с пургой нам в грудь дохнувшей любви, запевавшей о том же, —

как и встарь —

испивали, будто ту же метель и все тот же месяц, —

и их знакомые до ужаса, будто с детства снящиеся лица, будто той же взметанные вьюгой, и той же вскипевшей пеной — эти лица клонились к смертной разгадке, воздвигающей и метель, и месяц, и воздушную отныне и до века киновию.

Красный храм и красные стены обители вдали, вдали облеченные блеском, сверкали там под оболочком,

сверкали и уплывали.

То не обитель: старое, красное солнце, обреченное смерти, уплыло в облака,

сверкало и уплывало.

И не оно — образ мира — ускользало из-под их ног, — не оно: нет, они, что уплывали метельной, разбрызганной пеной.

Что-то ей запевало: «Я умчу тебя в поднебесную высоту; ты проснулась теперь и ты знаешь.

Вспомни, ах, вспомни: это я, это я.

Я — ветер!»

И ветер нес ее будто снившимся где-то образом, будто ее полюбившим странником, будто старинным, старинным в бескрайнюю высь улетающим томлением.

И она была — только снег, только снег.

Ветер пролетел; снегом она взметнулась, и они вознеслись пургой.

ЧУДО

Белый рукав поднимался вдоль стены. А за ним вырастал уж другой.

Белый рукав, сочась над могилой, неизменно вырастал. Лизал гробовую плиту.

И ускользал.

Над гробами надулись белые паруса.

Над гробами летели воздушные корабли.

Белокрылые летуны уносились сквозь время... на родину.

На неизвестную родину.

Безвластно истаяли клубы ладана. Смущенно встал на ступенях споткнувшийся епископ.

И сутулые старицы, и красавицы, юницы, отроковицы, вдовы, черные, белоликие, розовоустые собирались к царским вратам за игуменьей, за странником.

Чем тревожней пьяные духом сестры искали беглецов — и епископ, и сутулые старицы, и красавицы, юницы, отроковицы, вдовы черные, белоликие, розовоустые, тем властнее встал на амвон старец, указуя на царские врата:

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что осязали — о слове жизни.

О том возвещаю вам.

Не ищите вы мертвых: не найдете воскресших и вознесенных.

Как ныне вознеслись они, будем и мы возноситься, потому что и мы — дети».

В открытых царских дверях с матово-светлого стекла на всех уставился ясноочитый лик.

Кротко ясел он синевою глаз и спелым колосом бородки среди богомольных выкриканий.

Красными своими тканями, будто языками огней, раскидались над сестрами его перловые руки.

Отныне серебряный лик склоненной жены впаялся в стекло; склонясь, проливал жена елей на его жемчуговые ноги, утирала их янтарным золотом волос.

Сквозной лебедь в окне там поплыл над хрустальным ледком.

А за ним пролетал и другой.

Белый лебедь, сочась снегом, взлетал, чтобы бить в стекла пурговым крылом.

Бросался в высь.

В небо бросались тучи лебедей. Белокрылые летуны уносились сквозь время.

Черные, черные старицы, чуду преклонясь рогами свещных огней, пляшущих над клобуком, хвостами прошущукали вдоль амвона, и оторванные рои искр, будто красные пчелы, уползающие в фимиам, и чела их, кровью гвоздик оплетенные, и пламена восковых копий — все в них являло одно, навек одно, когда чинно текли они стареющими ликами, бархатными клобуками и огнями.

Вот поднималась метель, как воздушная, белая игуменья, изогнулась атласным станом под окном, а хладные ее пальцы в стрекотанье ледяных четок плеснули серебряной волной муаровой мантии, точно засвиставшими в небо крыльями: так она тянулась к окну; из-под ее ресниц нежно взирали пустые небеса, нежно; руками точно терзала алмазы шелковых своих риз, разорванных бледными ключьями; а зов слетал с ее уст восторженным стенаньем.

Многокрестное кладбище, терзаемое порывом, страстным гласом стеноло, в любовной ширило пытке свои лампы — огневые, янтарные очи, — пурговыми лопастями свеиваясь, точно в час брачный свеивалась фата, истерзанная невестой; оно потрясало руками — десятками крестов, — к Нему тянулось старинным томлением.

Петровское. 1907 года

ПРИЛОЖЕНИЕ



<ПРЕДСИМФОНΙΑ>

§ 1 (Praeludium)

ст. 1. Ухожу в надзвездные страны. Жемчужные края. [Окунаюсь [в кристальные] потоки Вечностей, где и ты потом будешь.]

ст. 2. Слышу Ангелов Горних. В блеске месячном святых созерцаю.

ст. 3. Чтобы омыться водами алмазными. Звездами горячими рассыпаться.

ст. 4. [Она уйдет от нас. Мир пролетает птицей сумеречной, жизнь пролетит тенью сумеречной. Мир пролетит смрадом велиим.]

ст. 5. Рассказала нам о Вечности, которую мы забываем и которая спускается к нам.

[ст. 6. Пусть Она ревет над несчастными; пусть Она гудит, как судный звон.

ст. 7. Ибо из грозового облака сверкнет стрела Божия, меч Божий.

ст. 8. Вот сходит Вечность! Святые поющие Ее.

ст. 9. Она светла, как зарница отдаленная, как предвестница вечного счастья.]

ст. 10. Как победная Заря далекого Солнца.

ст. 11. И заре той не будет предела, потому что счастье не будет предела.

ст. 12. Оно будет бесконечно.

[ст. 13. Братья, больные, погибшие, бледные! Ее пойте!

ст. 14. А не то сойдет Она пустотой грозной.

ст. 15. И ослепнете от черного блеска ее. Оглушит тишиной великой.]

(ст. 16. Память о Рае, как грозное предчувствие, пролетит над вами... Шум крыл ворониных. Ворон вьется над главой осужденного.)

ст. 16. [Я] обратился к Ней. [Она встретила меня] тихими зорями, бряцанием гуслей.

ст. 17. Она пела.

ст. 18. И видят меня в Облаке: то фимиам славословий моих. И я с Богом моим, и я с Омом моим.

ст. 19. И надо мной Дух Вечности. И [мне] страшно в блаженстве [моем].

- ст. 20. И Бог говорит: «Будь зеркалом моим».
- ст. 21. Туча синяя. Белые клоки Облак прошли по ней.
- [ст. 22. И надо [мною] Дух Вечности. И [мне] страшно в блаженстве моем.]
- ст. 23. Туча синяя. Белые клоки Облак по ней. Голос Бога, грохочущий: «Мост!»
- ст. 24. Над ней засверкала радуга семицветная.
- ст. 25. Она умеет смотреть <с?> вышины тихой в разрывы Облак.
- [ст. 26. Видел жизнь вашу... Понял.
- ст. 27. Не вы поняли жизнь свою.
- ст. 28. Вы не знали о жизни своей.]

§ 2 (Praeludium)

- [ст. 1. Горят, дрожат, мигают — лампы в киотах Черных Богов.
- ст. 2. Зыблются томные ветви. Серебрятся томные ветви. Тополы белы от ветра.]
- ст. 3. Огненный Херувим метнулся от Божьего трона, [с криком полетел, возвещая Ом. Бледная луна озарила Летящего.]
- ст. 4. И огненной слезой прокатился по черному своду.
- ст. 5. Не видела ли она ночью темной облако кроваво-красное? Не облако: толпу Херувимов.
- [ст. 6. Каждый сгорал от любви к Сидящему, каждый сверкал от любви.]
- ст. 7. Не слышала Сидящего. Закрывали Сидящего.
- ст. 8. Не слышала ли она далекий шум: шум крыл херувимских?
- [ст. 9. И скрылось Видение. Утонуло в пустыне без дна.
- ст. 10. Я сел на Орла. Я летел.
- ст. 11. На Орле меж бурь и туманов! Мне светит горькая луна!
- ст. 12. Гудят одинокие песни Вечности. Исполнился духом Божиим. Скорбел о разлуке с Ней. И не было в очах моих настоящего. Все было как бы не на месте. Я плакал.
- ст. 13. И снова закровянял горизонт: облако багрово-красное, как бы в огне! Голос Сидящего за облаком!]
- ст. 14. Не слышит ли она голос Божий: «Выплакала ли ты беззаконие твое?»
- ст. 15. И отвечала: «Так, Господи: выплакала беззаконие свое: ослепла. Плачем оглушила себя. Не имею иного наставника, ни поводыря, кроме Тебя!»
- [ст. 16. И гром заговорил. И громы отвечали.
- ст. 17. Луч света пал на меня.
- ст. 18. Осиянный, пророчествую.]

§ 3 (Andante)

ст. 1. Небо в голубой ласке. Бледный, тихий — туман. Степь незабудок. Нега.

ст. 2. Вдали блестят хрустальные озера чистоты. Строгий камыш стережет чистоту.

ст. 3. И луна, и земля — невинность.

ст. 4. На фоне Вечности жизнь так, как она была; как была и как будет!

ст. 5. Образы гигантские. Нагромождены, как облако на облаке. Образуют один купол облак.

[ст. 6. Ребенок. Чистый.]

ст. 7. Меж гор небесных Ангел летит: ребенок летит.

ст. 8. На озере поет лебедь. Золотисто-лиловая гряда тучек. Вечерняя фантазия умирает над прудом.

ст. 9. И поют. И танцуют. Мальчики и девочки. Дети!

ст. 10. Почему, Бог мой, дитя летит, и смеется, и сыплет розы победы? И мир — букет цветов? И в мире одна чистота и одна любовь?

ст. 11. В прошедшем Голос. В забытом Голос. Из тучи Голос.

ст. 12. Из тучи грозной. Из синей тучи.

ст. 13. «Не знает ничего дитя. Не знает: чисто».

ст. 14. «А когда узнает — смерть ему».

ст. 15. «„Я“ иду мраком градовым, тяжелым испытанием».

ст. 16. «Увы, увы. Обречено дитя на погибель».

ст. 17. «Оно согрешит. Состарится. Увы! Тяжелое горе!»

ст. 18. «Вспомнит золотое детство: ведь бледное, голубое детство — шелест сирени весною».

ст. 19. «Ведь шелест сирени весною — сон в намеках о Сущем».

ст. 20.

ст. 21. Туча грозная горизонт застилает. А стоит над горизонтом ненужный шар, горящий и бредовый!

ст. 22. А стоит в сизых небесах — грозящий и огненный!

ст. 23. А безумная встала огнем, а луна встала огнем!

ст. 24. А красавица неба в горячке.

ст. 25. А дикарь плачет «луну».

ст. 26. Тяжелым свинцом навалилась туча. Душит ребенка туча.

ст. 27. Он болен. Он мал. Он ничтожен.

ст. 28. А на горизонте стая птиц невиданных, а на горизонте стая птиц рыдающих. Грустно летят в просторе синем.

ст. 29. Это — Ангелы. Это — Хранители.

ст. 30. Им больше нечего делать на земле. Грустны они. Плачут они. Вспоминают они ребенка; *не ребенка — мужа; станет ребенок мужем.*

ст. 31. Им нечего делать на земле. Сколотили гроб ребенку непокорному: *не ребенку: мужу непокорному.*

ст. 32. Вот улетели.

ст. 33. *Вот не вернутся на землю.*

ст. 35. Совершилось падение! Совершилось падение! Падение совершилось!

ст. 36. Падение!!!

ст. 37. Страшен ветер. Заунывно-протяжен. Злая собака рычит из подворотни. Пал верблюд в Сахаре безводной.

ст. 38. Падение!!!

§ 4 (Andante)

ст. 1. Погибшие степи. Ветер. Серые гряды туч несутся вдаль. Бесстрастна спокойная даль.

ст. 2. Как тени, сухие березы. Упорные дубы стоят, изломавшись в вершинах.

ст. 3. О — тот, кто был ребенок. О — юноша несчастный после Ужаса!!

ст. 4. Жар грехов! Лед надежд!

ст. 5. Хлещет дождь. С грязью мешают золото листа.

ст. 6. И черна Осень. И холодна Осень... Болезненная женщина Осень!.. Пришла она из стран северных и сидит под чахлой березкой.

ст. 7. Немошно дитяtko, погибшее, бледное! Ребенок, что перестал быть детей! Сиятся ручонки, сиятся, худые, наготу прикрыть.

ст. 8. А ветер срывает последний оплот против Осени.

ст. 9. Хохочет Осень... Болезненная женщина Осень из стран северных!

ст. 10. Словно град вдалеке, этот хохот! Словно градины — эти зубы.

ст. 11. Страшные слова! Слова льда и гор снеговых. Рев северного медведя из-за полярного круга.

ст. 12. Ребенок все шепчет «откуда», «зачем»; все приводит к «почему».

ст. 13. А «почему» ряд звеньев. Концы звеньев в вечной дали.

ст. 14. Перебирает звенья, словно нескончаемые четки. Ребенок оброс бородой...

...Ребенок!..

ст. 15. Хохот неразрешимого, вопль потраченного бесследно сливается в один похоронный вой. Словно на горизонте злится гиена.

ст. 16. Холодно. Холодно. Северный медведь слышен за полярным кругом.

ст. 17. Холодно. Холодно.

ст. 18. Но есть («еще») дети-карлики, но есть («еще») люди-карлики, бледные карлики, злые горбуны. Они глупы — люди-карлики. Грязны они, и порочны, и насмешливы — люди-карлики... О! Терпение небес!

ст. 19. И у них тот мудрец, кто невидимые четки перебирает. И у них тот ведун, кто оброс бородою, кто напор вечной ярости Ома Всесильного выдержал.

ст. 20. Вопят дети: «Тот мудрец, кто все разрешает!»

ст. 21. *Вот:* показывается на горе бедное дитя, сединами поросшее.
Вот: мудрец все знает!

ст. 22. Окруженный черными птицами стоит. На фоне Осени градовой стоит.

(ст. 23. Болезненная женщина Осень! Пришла она из стран северных! Градовая женщина Осень!)

ст. 24. И мудрец стоит, заостенев в глухом порыве. Подъял руки. Стоит.

ст. 25. Вековой дуб, обезумевший от горя жизни, «так» застывает в горькой мольбе и в отчаянии.

ст. 26. Дуб знает все. Слушайте, стократ слушайте! Набивайте, о, набивайте сундуки вашей мудрости. Горе!

ст. 27. Расцветут сады первородные от слов его!.. Горе.

ст. 28. Люди забудут страдание! Горе!

ст. 29. Я вижу столбы ледяные, в образе людском. «Вот» счастье: *остолбенеть!* «Вот» назначение: *замерзнуть...*

ст. 30. Холодно. И холодно. Гиена злится на горизонте. Северный медведь из-за полярного круга. О! Слушай, душа! Вот рыдающий голос гулко звучит в напряженной тиши.

ст. 31. Говорило дитя седое долго. И сказало. А вот смысл мудрости дитяти:

32. «Мир — кошмар. Застыть — значит не быть. Значит в кошмаре не быть».

ст. 32. И слышали братья. И услышав, поверили братья.

ст. 33. Верил Сам.

ст. 34. Застывали братья в скорбном ужасе. В снегах глубоких, ночью морозной.

§ 5 (Andante)

ст. 1. Бог Вседержитель созвал херувимов грозящих. Послал карать нечестивцев.

ст. 2. И север, великий Север пошел. Встали титаны лесные, приветствуя Вечность. Эскимос запел о Вечности. Шаманы плясали в пустынях Сибири.

- ст. 3. Молитвенно, тихо пытаются справить вечерние зори.
ст. 4. Но тщетно. Потухли пожары.
ст. 5. Лежал холодный отблеск. Синие тучи в вечерней печали застыли.
ст. 6. И холодно, больно... Упорные дубы стоят, изломавшись в вершинах. Неверные тени на небе полярном играют.
ст. 7. Зазвенели льды Севера. Переполнилась Чаша. Что было жизнью, промчалось сном. Стало спускаться «*Нечто*», на крыльях туманных и мертвенных.
ст. 8. Ужаснулись цари земные. Костенели в сугробах.
ст. 9. Дух отлетел от земли. Она стала бесплодна.
ст. 10. Вон только где-то прозвучит что-то намеком о нездешнем. Вон что-то блеснет и исчезнет, и нет «его».

§ 6 (Andante maestoso)

- ст. 1. Даль снега ровная, унылая. Серая мгла в небесах — гладкая, печальная.
ст. 2. А между землю и мглою «каркающий».
ст. 3. Кто-то прокаркал счастье свое.
ст. 4. Никогда не проглянет солнце. Никогда не шумит ветер. Никогда не слышу песни людской. И нигде не вижу человека.
ст. 5. Только одни песни, только одни звуки — страшные, но старые, знакомые.
ст. 6. Это — поле ледяное, осребренное малокровным месяцем. Это — крик гаги прискорбный с утеса берегового. Это — северный медведь из-за сугроба глубокого. Это — говор лавин в облаках.
ст. 7. Льды плывут, угрожая, сверкая; льды плывут, как равнины гладкие, как башни великие..... Льды плывут.
ст. 8. И вдали фонтаны... И киты играют на море полярном.
ст. 9. Такова печать свинцовой бесконечности. Жизнь замерзла в холодную ночь.
ст. 10. В сугробе костенеет дитя, вспоминает о прошлом дитя — *бедное дитя, сединами поросшее*.
ст. 11. Некому пригреть старого. Ни защитить от мороза его.
ст. 12. О! набили люди сундуки мудрости.
ст. 13. О! вернули рай.
ст. 14. «*Ледяные столбы*» — человеки!
ст. 15. Пляшет мир пляску погибших надежд. Хохочет Осень смехом совести горьким.
ст. 16. Словно град этот хохот. Словно градины — эти зубы!

§ 6 (Andante doloroso lirico)

[ст. 1. Осиянный, пророчествую.]

ст. 1. Бегут века. Планетные системы меняют свое направление.
Жизнь в одинокой комнате.

ст. 2. Почему «это» печально? Почему «оно» печально? Жизнь печальна.

ст. 3. Други, где я? Нет меня. Отыщите меня.

ст. 4. Века бегут. Планетные системы меняют свое направление.
Жизнь в одинокой комнате.

§ 7 (Andante)

ст. 1. Лечу над замерзшей страной. На крыльях Орла. Его клекот одинок, странен.

ст. 2. Дикие ужасы надо мной, дикие ужасы подо мной.

ст. 3. Сосновые леса безумно шумят и кивают. Где-то вспыхивает сияние Севера. Звенящий Серп в мгле перистой. Звенящий Серп под вуалью.

ст. 4. Ах, Господи, где же страны восточные?

ст. 5. Но Бог задернулся тучей.

ст. 6. Ни Ангела на небе. Ни звездочки.

ст. 7. Иногда вспыхнет огонек и погаснет. Это Святой мелькнет и погибнет.

ст. 8. Вижу зверей. И ни одного человека, ни одного человека!

ст. 9. Страшные знаки Демона.

ст. 10. Летим далее и далее.

ст. 11. Жалобный вопль жаждущих света проносится мимо нас к месяцу — месяц холоден.

ст. 12. И вопль разрешается криком тупой ярости. И все разрешается болезненным стоном.

ст. 13. На ужасе сидит птица: кричит и рыдает: «Ведун обратил людей в нежитей».

ст. 14. Но пролетаем. [Летим далее и далее.]

ст. 15. В узкой пещере, озаренной волшебными огнями, сидит знахарь морозящий, сидит ведун морозящий, оглохший от тишины, ослепший от мрака.

ст. 16. Это он заморозил мир. Он поднял руку на Ома Всесильного.

ст. 17. Он украл книгу престольную. Он порывается прочесть хоть слово из книги престольной.

ст. 18. Но погасли волшебные огни. Мертвящий холод сильнее заструился у рог холодного месяца.

- ст. 19. И хрипло каркнул мудрец поганый от ужаса, во мраке.
ст. 20. Слова его страшные: летели они, как медные удары.
ст. 21. И еще раз каркнул старец от ужаса...
ст. 22. ...И откликнулись... Словно волки вдали...
ст. 23. Деревья взревели о новых временах... Откликнулось... Слово
но волки.
ст. 24. О, нет ничего настоящего... О, из настоящего все тронулось
с места... Все не на месте.
ст. 25. И летим... И летим. Проходят века. Планетные системы
меняют свое направление.
ст. 26. Вдали бесконечные, как жизнь, песни. Песни из невидимого
мира. Никто не знает, где они; но они как голос мятели в трубе.
ст. 27. И жалость пела в груди моей: «Братья мои, возлюбленные
мои, что случилось с вами!»

§ 8 (Andantino)

- ст. 1. Но... рассекает ворон ледащий серую мглу над умершей
равниной. Но... рассекает мудрец ледащий серую мглу над равниной
усопшей.
ст. 2. Чудо! Осень градовая бежит — та, что стала старухой, бежит.
ст. 3. Чудо! Кто-то проливает яркий луч света.
ст. 4. Вот все, что небеса сделали! Кто-то пролил луч света — вот
все, что было от неба. И опять жизнь одна, и без помощи с неба.
ст. 5. Мудрец, кощей, ведун, страдалец!
ст. 6. И встает... Трясаясь от мороза, старости... бежит... хрипло
шамкая... Говорит новые слова...
ст. 7. ...*Слова новые, да не вещи*: еще все потерпят... еще не наполнилась чаша страданий их.
ст. 8. ...Как труба херувима... Как «глас вопиющего в пустыне»
летят новые слова... Чу! кричит в пустыне...
ст. 9. ...*Слова новые, а не вещи*... не наполнилась чаша страданий их.

§ 9 (Allegro furioso)

- ст. 1. Простуженные сбегаются на зов среди усопших степей. Синяя
дымка сгущается на горизонте — признак весны.
ст. 2. Прибежали. Тают снега. Темно-синяя дымка — признак
весенней иллюзии.
ст. 3. Как труба херувима... Как глас вопиющего в пустыне...

ст. 4. А многоведун говорит: «Братья — велика ошибка наша, что мира нет. Есть мир; и он — борьба за наслаждение; цель всего — наслаждение».

ст. 5. И слыхали братья. И услышав, поверили братья.

ст. 6. Верил сам.

ст. 7. Медный Ужас! Печать Вавилона нечистого!

ст. 8. И будет все печально? Почему оно печально? Жизнь печальна... И все будет печально... И.....

ст. 9. И... вот с кубком чар<в>леного вина еледвигающийся мервец, и еще скелет с гримасой слащавой, пляшет... обняв женщину.

ст. 10. Окружающие поплясывают и подсвистывают и берут себе все.

ст. 11. Немногие разбирают все. А те, что ничего не получили, идут и дерутся.

ст. 12. Пожирает сын старика своего. Мать детей пожирает своих.

ст. 13. Медный Ужас! Печать Вавилона проклятого!

ст. 14. Что-то красное, липкое, воровское и пламенное.

ст. 15. Чу! Слышите? Чу! Слушайте! Будто огненный мир зажигается, будто пробивается пламень из самого ада и запахиваются тучей небеса.

ст. 16. Тогда вижу убогих я в мантиях пламенных; тогда вижу калик в мантиях пламенных. Вакхический танец калик распалает.

ст. 17. Но еще вижу я других,

ст. 18. которые в грязи; которые в рубище; которые все заросли допотопными космами.

ст. 19. Те идут на пляшущих.

ст. 20. И берут камни, и побивают пляшущих; и берут камни, и побивают мантии красные.

ст. 21. Бьют друзей. Каждый за всех против одного, и один против всех.

ст. 22. И запахиваются небеса тучей черной, словно пламень пробивается из ада.

ст. 29. Словно метеоры над землей повисли.

ст. 30. Словно Грозящий и Бредовый накатился на землю.

ст. 31. Пожирает сын старика своего. Мать пожирает детей своих.

ст. 32.А летает ворон ледащий; окровавленным клювом раздирает сердца неимущих.

ст. 33. Корона из камней самоцветных на голове его пернатой.

ст. 34. Выедает глаза ворон черный с воронами черными и женам.

ст. 35. Выедает глаза ворон черный с воронами подвластными и старцам.

ст. 36. Выедает глаза ворон черный с воронами подвластными и детям.

ст. 37. Глохнет все от горделивого гражня.

ст. 38. И над всей свалкой я вижу гиганта: рака придирчивого, что держит мир меж клешней своих.

ст. 39. Тогда побивают сильные слабых; богатые бедных, а тех самый богатый.

ст. 40. И говорит тот — самый богатый: «Я царь, я и Бог; свято сверхумие мое!»

ст. 41. Так говорит ворон ледащий, пес и рак; и все поклонились ворону ледашему, псу и раку. И все с трепетом, и все с ненавистью тайной поклонились раку и псу.

ст. 42. Были они слепы. И был он зряч.

ст. 43. ...Но не так, не так: был он самый слепой.

ст. 44. А не слышали ль вы, мои братья, как слепой кривых вел, как кривые видели обоими глазами?..

ст. 45. И воцарился он... И был он Богом.

§ 10 (Adagio)

ст. 1. Голубое озеро. Лотос на озере. Все храмы по берегу и дворцы.

ст. 2. И дворцы сверхчеловеку. И сверхчеловеку те храмы.

ст. 3. И, Боже мой, Боже мой! Все в небесах онемело. В синей дали грозные зарницы. А близ заката серебряно-бледного Кто-то Гигантский в два взмаха взлетел куполом облачным. Мощным зигзагом стоит в небе Гигантский и Бледный над закатом серебряным в небесах.

[ст. 3. Все замерло. Все ждет того, чего не миновать больному ребенку.]

ст. 4. Сохрани, Боже, род людской. Да будет Тихий Крест Твой над миром.]

§ 11 (Allegro doloroso)

ст. 1. Терраса белого мрамора. Черные рабы играют на гусях. Влагодой дышат водометы. Горизонт в луне. Воспаленная зноем луна. Глядит она знакомым рылом из тучи. Смотрит ужасом, глупая.

ст. 2. Из дальних лесов рев слонов, гром львиный с визжанием тигриным.

ст. 3. И песня! И черная песня рабов!!

ст. 4. Слушает песню ребенок — и плачет; слушает песню рак — и плачет; слушает песню проклятый — и плачет. Рабы поют.

ст. 5. И выходят тени в дымных мантиях. Словно туман встает над землю. И вздыхает, и стелется.

ст. 6. Призраки выходят в золотых венцах. Гусли в руках у певцов [мировой скорби] [мерзости].

ст. 7. Поют они о злодеяниях старого рака. Поник рак седой бородой и кудрями седыми.

ст. 8. Словно туман встает над бедной землей... И вздыхает, и стелется.

[ст. 9. Эти песни, что они? Эти певцы — рабы???)

ст. 9. Рабы поют. Поник рак седыми кудрями.

ст. 10. Смутные жалобы... Печальные жалобы...

ст. 11. Я взлетаю над миром. Я вижу черную тень. Слышу раскатистый хохот безумного.

ст. 12. Что-то сидит у сырой трясины, что-то плачет о загубленном счастье.

ст. 13. Кто-то слышит тупую пропасть, висящую над миром как тарактом.

ст. 14. Словно туман встает над бедной землей... И вздыхает... И стелется... О безумные песни, безумные песни рабов!!

ст. 15. На мраморе террасы вороново крыло распласталось: это песня погибшего человечества.

ст. 16. Это болезнь мира — рак придиричивости: тот держит мир меж клешней своих.

ст. 17. Слушает песню царь и плачет.

.....

ст. 18. Все пролетает пылью... Все рассыпается прахом — там, где-то, куда нет нам доступа.

ст. 19. Бледнеет ворон, как светильник без масла.

ст. 20. Клоочет бессмысленная плоть. Сатана ходит по кладбищу, где ивы ревут, изогнувшись.

ст. 21. Это — песнь погибших, песнь униженных.

ст. 22. Уходит богатый, в чертог свой уходит... И в чертог проникает злая песня ограбленных.

ст. 23. И поганый ведун очернен, и звон чаш на пиру у ведуна смолкает... Оглушает песня раковая! Она летит и бьется к богачу. Она зла, и стучит, и грозит пальцем в окна дворца... Смотрят: — в окна женщины растрепанные кричат, предостерегают. И унылая полночь бьет!

ст. 24. Это — песнь рабов?

ст. 25. И вспыхивает ведун, и мечется, хилый, по чертогу, и больная луна показалась в окне.

ст. 26. И черна, и горька песня сирых, бездомных и ограбленных!

ст. 27. Песня о том, что мир — клоака позолоченная.

ст. 28. Песня о том, что нет здоровых.

ст. 29. Песня о том, что зловоние бьется из позолоты и что мир протух.

ст. 30. Что живое все обмотано ногою Крокена, что чудовищный осьминог присосался к человеку.

ст. 31. И черна, и горька песня сырых, песня бездомных, песня ограбленных.

ст. 32. В окнах женщины растрепанные, невесть откуда, кричат, предостерегают... И больная луна показалась в окне.

ст. 33. И задумался ведун... И все на пиру задумались...

ст. 34. И говорил ведун: «Покажите мне тощих и ограбленных»... И собирали бедных.

ст. 35. И пришли: все старики, все старухи... пришли в язвах и рубище, пороком запечатленные, нищетой озлобленные... Пришли... и стали слепнуть от огней ярких, от блеска золотого.

ст. 36. И погасил огни ведун, и сказал: «Вы печальны: пляшите!»

ст. 37. Вот бедняки иссохшие заплясали так, что хрустели кости; плясал сам царь-ворон, сам царь-зверь в лунном полусвете.

ст. 38. А сама луна кружком горьким и насмешливым стояла в окне.

ст. 39. И вышли из дворца бедные, скача, и разошлись по миру бедные, скача... И заразили пляской своей других... И все плясали.

ст. 40. Думали — веселы они, когда слезы были выплаканы, так что не осталось что выплакивать.

ст. 42. И с сухими глазами, с кулаками сжатыми, полунагие, смрадные, скакали в берлогах нищеты с немым проклятием.

ст. 43. А богатч ведун умилялся, глядя на пляски с террасы мраморной... А кадили угодники ведуну из золотых кадильниц...

ст. 44. А когда стали доноситься вопли страдания, когда, заплывавшись, падали, конвульсивно подергиваясь, —

ст. 45. тогда закричал ведун, тогда заломил руки ведун и онемел ведун с распростертыми к небу руками.

ст. 46. Так вековой дуб, обезумевший от горя жизни, застывает в глухом порыве.

ст. 47. И потом побежал ведун, и законопатил ведун окна, чтобы ничего не слышать от мира сего. И стал предаваться ведун оргиям диким. В палатах золотых старикашка безобразничал.

ст. 48. И глухи и слепы развратники вавилонские, и глухи и слепы.

ст. 49. Хотя идет Вечность света и мрака.

ст. 50. Ныне злой одержим бесом: не видят они... Ныне чистый в ангелах — не видят они.

ст. 51. Пели о земле — понимали. Запели о Мире — не поняли.

ст. 52. Судный звон принимают они за бессмыслицу, откровение Бога небесного за бессмыслицу.

ст. 53. Блаженны заблуждающиеся во имя Сущности. Они видят Бога Зарниц.

ст. 54. Блажен — кто глух и кто слеп, а верит.

ст. 55. Горе тому, кто верит вполовину.

ст. 56. Если не можете совершенными быть, убейте жену свою, Бога своего; падите: и очиститесь: болели душою, пали со зла на скверны мира сего.

ст. 57. Вот тот, кто болеет, кто борется. Хоть разбойник он — а человек.

ст. 58. Так я лечу... Меж бурь и туманов... Птицы рыдают. Мне светит бледная луна.

ст. 59. Так слышу я — голоса заоблачные, голоса примирения, голоса тихие.

ст. 60. Так — вижу я, что ворон прощается, так знаю я, что и убийца прощается: он боролся, страдал Он во имя Бога, Господа моего.

ст. 61. Меж бурь и туманов... Светит бледная луна.

ст. 61. Люди, болящие духом, бегут от жизни. Люди, чистые сердцем, бегут от жизни. Они видят «сущее».

ст. 62. Черствые бегут от вечности: не будьте им подобны.

ст. 63. Благословляйте «сущее», или болейте о сущем, или проклинайте «сущее», но не забывайте его.

ст. 64. Проклиная — вы любите; боля — вы любите.

ст. 65. А вы забываете, а я плачу о вас.

ст. 66. Братья, возлюбленные мои! Обижают меня за ничтожество мое. Гонят меня за любовь мою к вам.

ст. 66. И плачу я один, братья мои; страдаю за вас, а вы гоните меня.

ст. 67. Не смотрите на меня, на ничтожество мое; внимайте мне. Внимаете не мне, а Тому, Кто во мне.

ст. 68. Если б не от Него говорил — верили бы мне: но говорю о сущем от Сущего, а вы не верите симфонии вечности.

ст. 69. Говорю, а они не слышат симфонии вечности.

ст. 70. Вон туманы встают... и вздыхают, и стелются...

ст. 71. Вон откуда-то издали прощение и счастье. Но еще потерпит царь, но еще потерпит за любовь свою, за песни свои, за кровь невинных, за безумие свое.

ст. 72. А уже откуда-то издали я слышу тихую песенку... Далеко еще оно, за пределом времен.....

ст. 73. Меж бурь, меж туманов [светит бледная луна... И вздыхают, и тают туманы.]

§ 12 (Tristium)

ст. 1. Бегут века. Планетные системы меняют свое направление. Жизнь в «одинокой» комнате.

ст. 2. Други, где я? Нет меня! Отыщите меня.

ст. 3. Века бегут. Планетные системы меняют свое направление. Жизнь в «одинокой» комнате...

ст. 4. Почему «это» печально? Почему оно печально? Жизнь печальна.

§ 13 ([Andante])

ст. 1. Дальше и дальше в глубь веков. Дальше и дальше в грядущее... Дальше и дальше... Чтобы снова раскрылась картина того, чего не избежать ребенку седому.

§ 14 (Adagio)

ст. 1. Проходят времена, когда горы яств и вин в золотых и серебряных ковшах на столе у мудреца.

ст. 2. Проходят те времена.

ст. 3. ...И тихо. Небеса онемели. Близ заката серебряно-бледного Кто-то Гигантский в два взмаха взлетел куполом облачным, белым. Мощным зигзагом стоит, гигантский и бледный.

ст. 4. И тогда разливается вдумчивая тишина.

ст. 5. И в этой тишине различает дитя и аккорд немой повселенного счастья.

ст. 6. И меч Божий, тихо скорбящий над миром.

ст. 7. Я снова подымаю завесу над вечностью; перстом беспристрастным указую на сущее...

§ 15 (Adagio)

ст. 1. Опять замок ведуна, озлащенный потиром вечерним. Горизонт в луне!.. Воспаленная зноем луна!

ст. 2. Горы с вершинами в тумане... Волны ударяются о берег... Чайка...

ст. 3. Терраса белого мрамора! Заря на мраморе! Огонь на мраморе! Заря белого мрамора!

ст. 4. И вот уж [бредет пес, и бредет колдун, и] бредет старик, и царь, [и рак, и ребенок бредет] по плитам зари белого мрамора.

ст. 5. Весь объятый порывом нездешним с остатками бреда и пляски виттовой.

ст. 6. [Тащится глупый и старый.]

ст. 7. [Изнуренный разгулом,] услышал он глас в синей вышине.

ст. 8. [И он] слышит песенку чистую, [и он слышит песенку] белую, как жалоба голубки.

ст. 9. И грустит [пес,] и стыдится [пес]. И отчаяние заволакивает горы.

ст. 10. Словно гигантское крыло ворона застилает мир, словно рак сжал мир меж клешней своих.

ст. 11. И льется грустная песенка на просторе... И нет бреда луны... И уже мерцанье зарниц.

ст. 12. В горы ушел дух черный, в горы ушел пан черный, пан тиран, ушел погибать.

ст. 13. Там, не здесь, еще ледяная пропасть, еще катаракт тупой, еще бред косматый.

ст. 14. Еще гаснут, как светильники без масла. Еще клокочет бессмысленная плоть. Сатана ходит по кладбищу, где ивы ревут, изгнувшись.

ст. 15. Это там — а здесь... Здесь —

ст. 15. — страждущий Иуда получает утешение; [страждущий Иуда]. Жизнь улетает из камышей грозным призраком. Роза наклоняется над волною. Шепот серебра в лунной сказке.

ст. 16. Слыша тихую песенку, прилетают белые Ангелы, погружают воспаленных безумием в хрустальный холод небес. Блеск неба: Бог ходит по святой земле... Кипарисы уплывают в даль холода и чистых стремлений.

ст. 17. Но различает дитя вóрон, [сиречь паршивый рак], аккорд немой повапленного счастья.

ст. 19. Слышит — Меч Праведник звучит в глубине небесной пустыни.

ст. 20. Видит — собрались у горизонта глыбы небесные с налетом свинцовым.

ст. 21. Слышит — несчастный — говорит у горизонта Сам Ветхого Завета, весь глыбами туманными заваленный.

[ст. 22. Слышит..... Стоит рак в розовом блеске.

ст. 23. Все заглушает тихая, вечерняя песня.

ст. 24. Слушает вечернюю песню. Слушает далекую зóрю.

ст. 25. Точно подул ветерок с негой и лаской.

ст. 26. Но и в ночи звучит нищета, и в ночи свинец копошится.

ст. 27. И горька сладкая песня. И сладка горькая.]

ст. 28. И сам колдун побежал на призывный голос из палат воровских и виттовых.

ст. 29. Вот несется согбенный и старый... Простирая руки... Развевается плащ... багряный... блестят запястья и корона... Звенят кольца и обручи.

ст. 30. И сам старик побежал на призывный голос из палат воровских, из палат виттовых.

- ст. 31. Вот... на голой скале... Вечеровым блеском осыпанный бледный царь-вор проклиняет угодников своих. Грозит сухая рука...
- ст. 32. Вот на голой скале озаренный старик! Вот звучит горькая песенка.
- ст. 33. И бежит голь к королю своему, и ковыляет убожество к проку своему... Собираются у старика своего справлять зори багровые.
- ст. 34. И пришли... И стали... Все худые, все бледные... старики седые, <де>ти... дети.
- ст. 35. Пришли... Стали... Молчат...
- ст. 36. Глянул на них царь взором пронзительно-ясным.
- ст. 37. Убожество понял и наготу понял вечерний старик.
- ст. 38. Пали на колени юродивые, моля о милости.
- ст. 39. Потрясая худыми руками, обнимая колени вечернего богача, плача об убожестве своем.
- ст. 40. И дрожал вечерний, и молчал вечерний пред бедными.
- ст. 41. И бедные не поняли, спрашивая: «Что сие?»..... Справили зори багровые... Настала ночь..... Молчал старик..... Слышался голос из черноты вечной, бездонной, пустой, но небесной..... Горели звезды..... Голос Вечности великой, Вечности Правящей...
- ст. 42. Плакал старик многовековой о ничтожестве своем.
- ст. 43. Плакал люд темный о ничтожестве своем.
- ст. 44. Была тишина пред грозovým ненастьем...
- ст. 45. Уж желтые тучи неслись бесформенными клоками, озаренные гаснущим пожарищем.
- ст. 46. Уже птицы и звери укрылись в жилищах своих, и все рыбы ушли на дно морское.
- ст. 47. Кто-то Грозный, кто-то Бредовый навалился на бедную землю.
- ст. 48. Вот, вот — все слетит с места, все полетит к бесконечному..... и уже в воздухе стоит бесконечное..... Уже льются песни на фоне Вечности Святой, Вечности Суровой, Великой Вечности!

§ 16 (Adagio)

- ст. 1. Дерево: патриарх многовечный. Чудовищно запрокинулось в немом, но безумном экстазе... с иссохшими ветвями к небу... Просит бури.
- ст. 2. Летит буря.
- ст. 3. Взревел сухой дуб, изломанный титан.
- ст. 4. И песне внимали.
- ст. 5. И как будто горькие слезы, и как будто поздние слезы искупления пролились над бедной землей.

ст. 6. То не дерево пело... То дитя, больное и замученное.

ст. 7. Вот заревой нищий, весь трепет и песня... Склонился народ и внимал песне.

ст. 8. И как будто идет Бог Ветхого Завета... И как будто склонились деревья..... Тронулись в поле одинокие былинки... Бог Ветхого Завета, помилуй нас.

ст. 9. Рассыпались города. Пустыня засыпала золото и роскошь... Шелк и бархат — все, все это скрылось навеки из мира.

ст. 10. Ужас и бред сменились чем-то смутным, чем-то неопределенным... Какой-то горькой печалью.

ст. 11. И уже ведун не ведун, а нищий весь седой, весь смиренный.

ст. 12. Вот он удаляется молиться Тому, кто вдруг заговорил в нем... Кого все забыли, но Кто никого не забывал; всех любил и печалился за всех.

ст. 13. Вот человечество забывается, как больное дитя в люльке... Вот Кто-то Незримый и Ласковый ходит по бедной земле.

ст. 14. И раскачивает люльку больного ребенка, и покрывает его поцелуями...

ст. 15. Никого... Одни облака — титаны небес и степей — поднялись над горизонтом... И застыли на небе... И, застывши, плывут и плывут.

ст. 16. Спи, спи, измученное дитячко! Спи до радостного пробуждения...

ст. 17. Никакой ужас, никакая раскаленность не потревожит твоего глубокого сна.

ст. 18. Кто-то весь Радужный, весь Воскресный, Чистый, Убаюкивающий над тобою склонился и крыльями опахивает.

ст. 19. И ласкает, и нянчит спящего..... Тянется черная ночь..... В кипарисовых гробах все спят, все покоятся.

§ 17 (Adagio)

ст. 1. Только один не спит, один не успокоится.

ст. 2. Это тот, кто был богат и страшен; и кто смиренен и кто беден стал.

§ 18

ст. 1. В пустыне дикой стоит мелодия Вечности и песни в унылых сагах.

ст. 2. И равнины в покое, и песни на горизонте в унылых сагах.

ст. 3. Проходят дни за днями, проходят года, десятки лет в бешеном потоке Вечности... Встает солнце..... И садится солнце..... И пески поют суровую песню... И никого... И кости погибших порою торчат из песку.

ст. 4. Настает Архангельская ночь холода и чистых стремлений. И субботний закат красен и весь объят холодным огнем.

ст. 5. Спускается Архангельская ночь холода и чистых стремлений.

ст. 6. Гаснут вечерние зори.

ст. 7. Кучи титанов степных точно глыбы гор на горизонте.

ст. 8. Плывут из-за горизонта титаны синие и тают, и тают.

ст. 9. Точно само зло, испаряются они в чистоте и суровости.

ст. 10. У самого края небес один, один, взволнованный, синий, великан застыл, распростертый в замирающем огне заката.

ст. 11. С поднятыми к небу руками.

ст. 12. Застыл в последней вспышке злобы. Застыл, и спустилась ночь.

ст. 13. В ту пору один, один, взволнованный, старый, бродил он в холодном закате: тот, кто был богат и злобен и кто беден, одинок стал.

ст. 14. Уже много веков все спят, все покоятся... Только один он не уснет, не успокоится, а грехи мировые, грехи кровавые замаливает.

ст. 15. Встает солнце, и садится солнце, и пески поют унылую сагу.

ст. 16. И просил он покоя и снисхождения.

ст. 17. Но не было покоя, ни снисхождения. Суровая пустыня молчала. Стонали пески, проносясь в отдалении.

ст. 18. Настала ночь холода и чистых стремлений, но пустыня молчала. Зажглись звезды крупные и молчали.

§ 19

ст. 1. Ночь... Тысячелетия бегут... Все ночь.

§ 20 (Adagio)

ст. 1. Летит ураган в пустыне мировой, пустыне холодной.

ст. 2. И небеса затянуло, и горизонты: море песков несется в пустыне, море песков над пустыней... Летит ураган в пустыне мировой, пустыне холодной.

ст. 3. Чей голос в буре звучит небывалым призывом?

ст. 4. Кто, тусклый, стоит в песках?

ст. 5. Сквозь холод, сквозь мглу звезды мигают, подернутые сухой тучей.

ст. 6. Но кто, тусклый, стоит в песках, кто кричит в небеса?

- ст. 7. Прося покоя и снисхождения. Нет ни покоя, ни снисхождения.
ст. 8. И пески напрасны, и напрасны крики. Все заглушает буря, все затмевает Самум холодный.
ст. 9. И сильна Вечность, и не перекричать Вечность... Что-то титаническое, что-то неестественно великое!..
ст. 10. Задыхаясь Самумом холодным, полусасыпанный, облива-ется слезами.
ст. 11. Песок душит и хрустит на зубах.
ст. 12. Слепли глаза старые... Падает проклятый, погибший.
ст. 13. Наваливается зыбь сухая... Не выкопать, не выкопать старого.
ст. 14. И, умирая, нищий славит Всевышнего; и, умирая, светлеет.
ст. 15. Наконец громадный порыв бури застигает старого... Тянется черная ночь...

§ 21 (Adagio)

- ст. 1. Это был тот, кто смиренен, кто беден стал; над бедным телом его песочный курган возвышается в безмолвии тихом небес.
ст. 2. Так лечу я... меж бурь, меж туманов... светит бледная луна.
ст. 3. Так слышу я — голоса заоблачные, голоса примирения, голоса тихие.
ст. 4. Так — вижу я, что и ворон прощается; так знаю я — и убийца прощается: он боролся, страдал, ища Бога, Господа моего.
ст. 5. Вон туманы встают, и вздыхают, и стелются...
ст. 6. Вон откуда-то издали прощение и счастье... И уже никто не потерпит ни за любовь свою, ни за песни свои, ни за безумие свое.
ст. 7. И пустыня в покое. Под холмом покоятся горькие кости.
ст. 8. Дитя, настрадалось!.. Во сне придет твое детство!
ст. 9. Горькая луна — бледная, мертвая, катится в небесах.
ст. 10. Настрадалось!.. Холодные туманы!.. Бледная, мертвая, катится в небесах!
ст. 11. Вздыхают порывы бури улетающей, «еще порывы» последней бури.
ст. 12. Уже нет ледяной пропасти: не клокочет бессмысленная плоть...
ст. 13. Страждущий Иуда получает утешение. Жизнь улетаёт из камышей кротким призраком. Роза наклоняется над прудом... Шепот серебра в лунной сказке.
ст. 14. Слыша тихую песенку, прилетают белые Ангелы и погружают воспаленных безумием в кристальный холод небес...
ст. 15. Кипарисы сонными верхушками уплывают <нрзб.> в даль холода и чистых стремлений.

ст. 16. Вздыхают порывы бури замирающей, еще «порывы» «последней» бури!

§ 22 (Adagio)

[ст. 1. Дальше и дальше в глубь веков... Дальше и дальше в грядущее... Дальше и дальше, чтобы снова раскрылась картина того, чего не избежать спящему ребенку...]

§ 23 (Adagio)

[ст. 1. Зори..... Испуганной птицей слетела ночь...
ст. 2. Все дрожит от предрассветной грезы; забываюсь грезой...
Видю ребенка невинного; он колеблется, спящий, в туманах.....
ст. 3. И подхватывают его... И несут и несут куда-то.
.....
ст. 4. Зори...]
ст. 5. Под холмом покоятся старые кости.
ст. 6.
ст. 7. И один, один, взволнованный, синий, расплывается титан на Востоке.

[1899 года]

[Послесловие] (Postludium)

ст. 1. Братья мои, не браните меня; вешее есть в песнях моих.
ст. 2. Если бы не от Него говорил, верили бы мне; но говорю сущее от Сущего, а не верите снам моим.
ст. 3. И гоните меня, проклинаете меня... Ухожу в страны далекие, плача о ничтожестве моем.
ст. 4. А когда загудит труба Кричащего на вас, «вы» придете ко мне, «вы» преклонитесь передо мной.
ст. 5. Но я буду глух и не услышу вас, буду слеп и не увижу вас.
ст. 6. Потому что будет со мной Невеста моя.
ст. 7. Вся в цветах ароматных, вся в песнях.
ст. 8. Херувим горящий Невесты Великой — не услышу стенаний людских.
ст. 9. И будете плакать, вспоминая обо мне.

- ст. 10. Вспомните меня, несущегося на Орле меж бурь, меж туманов; вспомните мои символы тайн великих, неизведанных.
- ст. 11. И вам станет холодно, и страшно; и увидите меня в радуге.
- ст. 12. И помолитесь мне, и не отвечу вам.
- ст. 13. И вззоете от ужа<са>.
- ст. 14. И придет смерть, и покроет вас хитоном своим.

<18>99 года

ЛИРИЧЕСКИЕ ОТРЫВКИ В ПРОЗЕ

ВИДЕНИЕ

1. Видел я как бы сон.
2. Мне был послан голос: «Гляди... Вот близится время».
3. И я увидел — среди далеких горных вершин, на заре стоял грядущий Царь, как ясное, утреннее солнце.
4. Его ризы были как огненная лава, струящаяся по горным вершинам.
5. И грудь, и плечи, и ноги были окутаны кровавою ризой.
6. И среди кровавых риз, как ясные очи, как далекие звезды, мерцали аметисты,
7. блистали топазы, смарагды, сапфиры, гиацинты, карбункулы.
8. И Он был опоясан алмазным поясом. И на алмазном поясе висели многострунные гусли.
9. И от многих струн исходил звон, подобный серебряным источникам.
10. И в одной руке Он держал посох, прорастающий лилиями и нарциссами.
11. А в другой руке была золотая чаша, а в чаше горячая кровь.
12. Это была кровь праведных, и от нее курился легкий оранжевый пар.
13. И сквозь легкий оранжевый пар смотрело на меня лицо белое, как слоновая кость, с коралловыми губами.
14. И два ряда зубов — два жемчужных ожерелья — обрамляли, словно пасть клокочущего вулкана.
15. И на кровавые плечи, и на окровавленную грудь спокойно, величаво легли белоснежные седины.
16. Вот Он стоял на синем куполе тучи, пронзенном изломами молний.
17. И голос Его вдалеке был как гром и как праведная буря.
18. Уже тихо снимался синий купол с розовых ледников и нес на меня дивного Мужа.
19. Вот придет днем воскресным с утренними облаками.

ВОЛОСАТИК

Посвящается О.М. Соловьевой

На скале мраморная терраса. Рядом бездна, поросшая розами, — розы свесились пунцовыми шапочками и распростертыми ветками. Легко оступиться — полететь сквозь пышные розы в головокружительное ущелье. На террасе веселое общество. Это — не то сон, не то действительность. Сверху на мрамор террасы падает благовонная водяная пыль.

Общество состоит из девушек и юношей в пунцовых тогах с золотом. Девушки блаженно замирают в вечернем пиршестве, как жрицы храма невинно-чистых восторгов. Их мечтательные головки среди пышных роз кажутся выточенными из мрамора. Одни, ошипав розу, бросают в стоящих юношей розово-красным дождем. Другие едят бархатно-золотые абрикосы, запивая теплым, красным, как кровь, вином. А та, что всех строже и тоньше, сурово стиснув губы, играет на арфе, охваченная вечерней светозарностью.

На террасе зажигаются цветные фонарики. Терраса в огоньках...

Над бездной, под розами, уцепившись за колючие кусты, висит странное существо. Это огромный паук... На жирном черно-паучьем теле, усеянном мохнатыми волосами, быстро повертывается головка старого, безбородого, злого гнома: это дух пропасти. Он заманивает в предательскую бездну и сосет там жертву свою. Это он насадил розы над пропастью. Вот из-под атласных лепестков выставляет два глаза волосатик — два сверкающих глаза... Волосатик смотрит на пирующих. Сверху кажется, словно бриллиантовые светляки расположились на розах.

Спускается ночь. Веселие пира чем-то прервано. Какая-то задумчиво-грустная струна оборвалась... Что-то новое, чуждое вплетается в настроение, но все замалчивают случившееся. Никто не желает первым заявить об этом вслух. Одна девушка выронила абрикос и тревожно оглянулась. Все повернули головы в ту сторону, куда она поглядела. А самая тонкая, выпустив арфу из рук, откинулась на спинку сиденья, закрывая руками испуганное лицо.

Тогда разом встают юноши в красных тогах с золотом. Иные из них ощупывают оружие. Все ясно почувствовали, что носится кто-то нездешний, кто-то страшный, непреоборимый.

Задумчивый юноша, знающий тайны колдовства, прикидывается веселым и наивным, чтоб задушить растущий ужас. Он приглашает присутствующих продолжить трапезу, в изысканно-пышной хвале прославляет огненное вино и золотые абрикосы, но разговор не возобновляется.

И вот сидят. Фонарики — кроваво-красные пятна: их отблеск на мраморе кажется чем-то ужасным. Будто из невидимой раны выступает пятнами кровь. А светляки, как два сверкающих глаза, приковывают всеобщее внимание.

На террасе нет никакой возможности оставаться, потому что фонарики окончательно наполняются кровью, а потушить их никто не смеет. Самая стройная из пирующих, выпив чашу огненного вина, порывисто играет танец, но в бешеных звуках — ужас. И летят, и мчатся эти отравленные звуки, и все понимают, что им уже нет спасения.

Тогда волосатик, наткавший своей ядовитой паутины, начинает нежно чирикать, умильно вытянув свое гномье лицо, нетерпеливо перебирая черными, насекомьими, пауково-мохнатыми лапами. И они, завороченные блеском светляковых глаз, идут на гибель...

Но в бриллиантовом небе тихий запрет, но в рассветной зорьке кроткий призыв... Опоздал волосатик... Чары ночи не погубят их.

И вот молятся Творцу, благодаря за избавление. Задумчивый юноша воздевает торжественно руку, и крестное знамение ложится на мрачную бездну. Тогда предательские розы свертываются и блекнут. Озаряются безысходные ущелья, откуда на них еще горят два озлобленных глаза: это волосатик, не упившийся кровью, жадно кусает свои трясущиеся, вампирные губы.

С отвращением отвертываются и восходят на мраморную террасу встречать красное золото восхода за чашами вина, за блюдами солнечных абрикосов.

1900

РЕВУН

Мы сидели на террасе у провала. Перед нами хребты причудливых гор торчали безысходными изломами. Были покрыты верхи их пятнами грязного льда.

Сбоку была страна скорбящих молений. Было царство неведомых могил. Железная часовня глухо порывалась в пространство, застывая под кипарисами. Два серебряных ребенка с очами, полными слез, тяжелели на кровле. Над ними ненастье рвало кипарисы.

В небе была свинцовая бледность. На сером мазались синие, фиолетово-черные налеты. Больше, все больше наплывало их невесть откуда. Горячие лампы желтым бредом точно старались рассеять налетающий сумрак. Время над ними изогнуло кипарисы.

Мы молчали. Старик и я — мы случайно напали на эту заброшенную виллу. Я случайно встретил бледного старика в горных сумерках.

Нас обоих загнало сюда угрожавшее ненастьем. Я и бледный старик еще ни слова не сказали друг другу, а сидели, бездумные, запахнувшись в плащи. Я смотрел на старика... Его борода и кудри трепались вокруг головы, точно атласные платки, черный плащ придавал его силуэту бесформенное очертание, а серо-бледное лицо тонуло, сливаясь с пространством. Мне показалось, что старика не было. Плащ, как провал, чернел среди гор, а лицо утонуло. Вдруг он сказал: «Освещу все могилы. Пусть горят они желтым светом среди туманного хаоса». Я заметил: «Встретив вас в горных сумерках, я не знал, что эти места вам известны». А он: «Тут живу я...» И пошел зажигать могилы. И когда то тут, то там загоравшееся пламя ликующе сияло пред наплывавшим ненастьем, я вспомнил рассказ о царе горных ветров, Ревуне, и пошел в пустой дом.

Смеркалось. Старик не возвращался. Только блеск зажигающихся огней выдавал его присутствие на кладбище.

Я подошел к окну. Высоко плыли черные угрозы невесть откуда. Что-то мертвое и тупое повисло над кладбищем. Кучка кипарисов прошептала молитву пред ненастьем. Из-за хребта показалась сама буревая туча. Она была зловеща. Я подумал: сам Ревун пролетит нынешней ночью.

Туча была ужасна. Черная, высокая, с низко-белыми и серыми завитками. Я видел ясно, что темный фон ее походил на очертание старика, а серо-белый огромный завиток напоминал его голову. Я посмотрел на кладбище. Оно сияло желтыми лампадными огнями. Ясно, что старик, осветив эти могилы, ушел домой. Но его не было в комнатах.

Бледным утром разрешилось ожидание. С неба лились потоки упорных слез. Это был новый потоп. Что-то глухо ревущее с тяжелым грохотом пролетело и обсыпало градом.

Внезапно туман разорвался. Редкие клочки, как лохмотья, испуганно мчались. Зиявший огромный провал, образованный хребтами скал, опять напомнил мне старика, а далекие льды — его кудри. Он как бы лежал распластанный от горизонта до горизонта, повернувшись спиной. Я сказал себе: это Ревун. Но куча тумана все занавесила.

Я молча пошел в свою комнату, не справляясь, вернулся ли старик...

Стоял бледный день. Мы вышли на террасу — я и старик. Шум и ливень уходили дымной далью.

Было свободно. Мой путь лежал в мирных долинах. Я взглянул на старика. Он склонил свою многодумную голову, созерцая хаотический космос.

Мы простились.

Узловатые корни надводных деревьев сплетались, убегая в воду. В воде отражалась лапчатая зелень вершин, и ослепительно-желтое пламя закатов, и караван бледно-голубых птиц, бивших крыльями в палевом сиянии, и волосатые, длиннорукие существа, раскачивающиеся на ветвях. Одни существа смиренно сидели и глухо рокотали, раскрывая рты: это они говорили о погоде. Другие неуклюже ступали когтистыми, волосатыми ногами и размахивали руками, сохраняя равновесие. Один взобрался на самую вершину дерева и пожелал ругаться среди лапчатых листьев. Он оглашал ревом окрестность, созерцая море колыхающихся вершин, разверзая пасть и блистая клыками. А внизу плескалась вода... Узловатые корни сплетались между собой, убегая в воду; отражалась лапчатая зелень, сквозящая палевым блеском, и караван бледно-голубых, тонконогих птиц, с багряными клювами, разрезавший небеса.

Закат погасал, а красноволосый ругатель не переставал браниться, вызывая врага и озираясь по сторонам.

Таков уж он был по природе. Лапчатые листья то прижимались друг к другу в немой покорности, то снова начинали кивать кому-то невидимому, зовущему. Вдруг листья раздвинулись недалеко от ревучего молодчика и оттуда блеснуло два чернопламенных глаза; загорелая, бронзовая рука, покрытая волосами, пригрозила ругателю, и гортанный голос закричал: «Вот я тебе поругаюсь, дурак, волосатик, орангутанг!» Скоро неизвестный по пояс выставился из-за лапчатых листьев, показывая язык обезьяне. Он был в звериной шкуре и с голыми руками. Его бронзовое лицо поросло черной, жесткой и спутанной бородой. За поясом торчали стрелы, а в руке он держал лук. Еще немного поглумились они друг над другом, поругались, покричали, позлились, и неизвестный, упершись ногою в лук, согнул его. Упругая стрела свистнула и воткнулась в грудь ругателя оранга, который, замотав руками, утонул в зеленом море колыхающихся вершин. Его друзья, сидевшие внизу на толстых суках, увидели падающее тело и летящее к нему навстречу отражение в воде, пока оба не слились, плеснувши водою... Колыхнулись розовые цветы на поверхности... Сбежались все к одному месту — волосатые и обозленные, размахивали руками, скалили зубы, подняли такой рев, что бледно-голубые птицы с багряными клювами испуганно сорвались с вершин и понеслись над вечерним миром.

Встав над лапчатым морем вершин, там, где блистало озеро, можно было заметить, что воздвигнута черная раскачивающаяся громада, стоящая над водой. Прежде ее не было. Она появилась внезапно. Это был косматый мамонт, пришедший на водопой. Его белые клыки чуть блестели вдали. Он протягивал хобот, издавая трубные гласы.

ЭТЮД

Успокоенная тень наплывала безгрозной печалью. Благословенный, багряный диск утопал над болотными лугами. В глубоком безмолвии расплывалась двуглавая туча, будто совершая вечернее богослужение. Где-то там, средь лугов, затерялся шалаш. Старуха жилистой рукой ломала коряги и, встряхивая белыми, как смерть, космами, бросала, ворча, их в огонь. Рубинношелковая ткань лапчатого тепла рвалась, и раскаленные лоскутки ее, как большие красные бабочки, улетали в нахмуренную синеву степных сумерек. Из шалаша выглядывали, точно волчата, присмирившие детеныши.

Еще раз обветренное лицо старухи показалось из шалаша. Она бросила охапку сухой травы. Дымный столб, пронизанный золотом, поднялся к небесам, а на травах заметалась сумеречная тень исполинской старухи, когда угловатый силуэт с седыми космами и серебряной, как водопад, бородой неожиданно встал у горизонта. И они перекликнулись гортанными возгласами. Это согбенный, препоясанный шкурой Адам с добычей на спине шагал в болотных лугах, спешил отогреться у очага. Закричали детеныши.

Полнеба было охвачено спокойною грустью. Благословляющий круг, багряный, сел в тучу. Над влажным простором всколыхнулись, встали в горьком порыве огромные злаки. Изогнулись и опять опрокинулись в печали. Двуглавая размазанная туча излучала зарницу за зарницей.

Ушли в шалаш. Занавесились шкурой. Земля была утоптана в шалаше. Старик, прижавший лик к иссушенным коленям, проливал серебро седин на заскорузлые, озаренные углями ноги. Тени метались на детенышах, на старухе, прикорнувшей в уголке.

А между тем маленький месяц, одиноко затерянный в небе, обращался в кусок горького льда. Кто-то, приползший, вздохнул из травы. Нет: это только детеныш забредил во сне.

Мигнула зарница. Колыхнулась звериная шкура. Патриарх, голубой от луны, выставил голову, и ночной ветерок задышал на него. Тронулись на север космы, гонимые ветром. И шептал в тихую ночь, прижимая чело к костлявым пальцам: «Каин, мой сын, о мой сын первородный!»

Слишком близко колыхнулась трава, и над влажными стеблями встал нестерпимый лик ужаса: толстые губы одичалого братоубийцы расплывались в жалкую улыбку, волчьи зубы блеснули жемчугом на луне. Тихо стал красться к отцу, чтобы спрятать озверевший лик на косматой отчей груди. Перед ним колыхались злаки. И за ним смыкались.

И слова благословения слетали с уст старика, и разрозненное ожерелье жемчугов пролилось в траву, и возложил руку на сына.

Но рука старика упала на шерсть. Можно было ощупать два рога: и спугнутая козуля испуганно ринулась в сторону, волнуя болотные

травы. Скоро перестала шелестеть трава. Все затихло. И обманутый отец с опущенной головой пошел в свой шалаш...

Утром еще залежала двуглавая туча на далеком западе. Перламутрово-дымный великан вздулся на востоке. Красный караван фламинго утонул в безмятежной лазури. Вдали блеснули воды, когда еще не было зари, но бледнела ночь.

Откинув звериную шкуру, вышел строгий Адам, препоясанный и с палицей в сухих руках. Он шел за пропитанием.

Вот одинокий силуэт его затерялся среди влажных лугов. Припав к земле, можно было слышать гул. Где-то мчалось стадо антилоп.

1900

СОН

Мне казалось, что я вижу кого-то, стоящего над погибшей землей, где-то забытого, затерянного —

— что какие-то погребальные процессии тонут в бледном тумане, гаснут в осенней мгле. Мне казалось — деревья, как толпы сумеречных гигантов, поднятыми к небу руками грозят. И туман — этот вечный, осенний, бездумный туман.

Северные отсветы в грядях туч... Отчаяние в мутных силуэтах... Отчаяние в небе... Отчаяние в свинцовом блеске вод... И не ветер... И не что-то вроде ветра на горизонте...

Мне казалось, что последние птицы бороздят гладь мглы черными точками, улетая в лучшие страны тепла и солнца сквозь этот вечный, осенний, бездумный туман.

Мне казалось — все отлетело от земли, и она стала пуста и бесплодна, что нависает мрак и дымные угрозы на горизонте у самой земли плывут, цепляясь о траву... И уже ветер не вздохнет, уже ворон не каркнет, и дерево не прошумит сквозь тяжелый, осенний, бездумный туман...

Голодный волк вышел на опушку леса... Он жалко плакал, вздрагивая истощенным телом, поджав хвост и уши... Робкий вой — зверь плакал...

Я видел покинутого, шедшего к волку с простертыми руками... Он звал тощего волка... Он просился к волку... Но испуганный зверь, поджав хвост, легкими прыжками скрылся меж лесного сумрака.

Я видел чье-то бедное лицо, растерянное, покрытое слезами и скорбью, чей-то лихорадочный крик, чей-то бессмысленный зов... И пошел дождь, затяжной и печальный... Все смешалось в густом хаосе слез.

ОТРЫВКИ ИЗ 4-й СИМФОНИИ

ИЗ 2-й ЧАСТИ

1. Андрей видел предрассветный сон.
 2. Они шли с лучистым странником, давнишним знакомцем по снам.
 3. Это был загадочный старец, Федор Кузьмич.
 4. Они были в одеждах послушников, и котомки их болтались за плечами.
 5. Они шли вдоль равнин. Ничто их не касалось, и никто их не задерживал.
 6. Стояла осень. Лазурное небо заплакало вдали.
 7. Лучезарный старец пригорюнился, сказав: «Скончалась... Преставилась...»
 8. Подпер руку под подбородок и уставился в землю.
-
1. Они пришли к одинокому деревянному кресту, торчащему над песчаным обрывом.
 2. Это была ее могилка.
 3. Деревцо хлопало большими матово-желтыми листьями.
 4. И лист за листом обрывался над могилкой.
 5. Лавров заплакал, горюя: «Неужели она не воскреснет!..»
 6. Ветряный напор стал рвать деревцо, и матово-желтое облачко, шелестя, пронеслось мимо их ног.
 7. Он обхватил руками ее могилку и просил: «Воскресни, родная...»
-
1. Но загадочный старец Федор Кузьмич положил руку к нему на плечо и сказал: «Чего ты плачешь?»
 2. Ведь могила пуста!»
 3. И Андрей поднял глаза и увидел, что лазурное небо смеялось вдали.
 4. Облетевшее деревцо радостно трянуло голыми сучьями, и в отчетливом воздухе тянулась золотая паутина.
 5. Федор Кузьмич, сидя на песчаном откосе, тоже смеялся светозарным ликом.

1. Он проснулся. Открыл глаза. В сверкающую щель ставни рвалась светозарная струйка и ложилась на стене бледно-странным, узорным пятном.

2. И он шепнул: «Она жива... Никогда не умирала...»

3. Слышался глубокий вздох, который давно начался и не мог кончиться.

4. Это шумели деревья.

5. Это был день большого ветра.

6. И сиреневые кусты, глухо волнуясь, отмахивались от ветряных объятий и поцелуев.

ИЗ 2-й ЧАСТИ

1. Андрей с Митей мчались верхом среди взволнованных нив.

2. Семянные колосья словно шатались, склоняясь,

3. то чернея, то золотея.

4. И вдоль нивы синели теневые пятна, производя волнение.

5. Точно на ниву бросили покрывало, испещренное пятнами, — и вот оно мчалось к горизонту.

6. Андрей запылал. Указывал на закат. Говорил невнятное:

7. «Дни текут... Времена накаплиются... Подымается незакатное, бессрочное...»

8. Просится: пора мне в этот старый мир...

9. Пора сдернуть покровы... Развить пелены... Пора открыть им глаза... Налететь ветром...

10. Засвистать в уши о до-временном».

1. Митя слушал вселенские речи, не понимая.

2. Заслушивался.

3. Воздушно-мировые пространства, наполненные светом, бестрепетно распахнулись над ними.

4. Хотелось искупаться в этих светозарных объятиях.

5. Золотая, пятнистая порфира неслась к пылающему горизонту, и колосья шептались в солнечной бесконечности.

6. Андрей кричал: «А кто это идет на нас, закрывшись сверкающим кругом — золотым щитом Вечности!»

1. Они повернули коней. И помчались назад — помчались обратно.

2. Возвращались.

3. Ветер засвистал в уши всадников среди шелеста колосьев.

4. Воздушно-мировые объятия бестрепетно распахнулись над ними, и они восторженно грустили о до-временном.

5. Закрыв лицо, мокрое от слез, Андрей не стыдился плача. «Воздух чист!

6. Воздух чист и светозарен!»

КОНЕЦ 2-й ЧАСТИ

1. Вечером на открытой террасе сидели — Андрей с Иваном Ястребовым.

2. Ястребов поднял просиявшее, бледно-христианское лицо. Его уста не размыкались. Стыли пунцовым изгибом.

3. Налетавший ветер играл длинными кудрями и белокурой раздвоенной бородой.

4. Где-то вдали затянули псалом: на двор притащились слепцы, но собака завывала: «Хауау-ууу...»

5. И слепцов гнали.

6. И потащились слепцы, протягивая руки свои в одну сторону, точно скрипучие деревья, накреняемые ветром.

1. Ястребов надвинул свою шляпу на глаза и весь поник, опершись на палку.

2. Деревья кричали: «Ввы... ввы...

3. Увввы...»

1. В комнате вспыхнул синий висячий фонарь.

2. Голубой свет мертвенно затрепетал.

3. Пал на их лица. И лица казались бледно-голубыми.

4. Им был виден сквозь стекла седой помещик, опустивший голову на стол, весь нахмуренный от огорчения.

5. Нахмуренный и бледно-голубой.

1. Ястребов еще глубже надвинул шапку. Зашептал.

2. Заблестел жемчужными зубами.

3. «Вот так же все было и во времена гонений...

4. Но прошли века... Все изменилось...

5. *И приходит конец.*

6. *И вот снова мы сидим тут, словно воры, и шепчемся о грядущих судьбах мира...»*

7. Он замолчал. Поднял свое белое лицо.

1. В полях виднелся высокий силуэт, весь закутанный в черное, и неподвижно глядел на них.

1. Деревья кричали: «Ввы... Ввы...
2. Увввыы...»
3. Мороз подирал по коже от этих вопиющих призывов.
4. Небеса отливали ночным блеском. Серо-туманный клочок ушел в сторону.

5. Просветилось.
6. Ястребов быстро встал и сдернул шляпу.

1. Черный силуэт как будто приблизился.

1. Они ехали на станцию.
2. Старик Лавров думал о том, что жизнь его разбита, а Ястребов опустил просвещенное лицо.

3. Все казалось более чем странным, но Ястребов не придавал этому значения.

4. Просиявший кусок небес, желто-бурый, влажно сверкавший, неся по горизонту.

5. Было что-то рысье в этом влажном сверканье, но Ястребов сказал: «Не надо бояться».

6. Непромокаемый плащ цвета воронова крыла трепетал на нем, терзаемый ветром.

1. Деревя зарыдали над домом, заголосили, негодующие.

2. Небо разодрало туманные ризы свои, и осинка, торчавшая на поляне, не показалась силуэтом, когда ужас отлетел от нее.

3. С востока брызнул животворный поток — мирозарный...

1. Было утро. Андрей перепрыгнул через канаву. Теперь он был свободен.

2. И простор его манил.

3. Ряды деревьев трепетали юными, зелено-пахучими листочками, а сквозь них просвечивало небо — бледно-голубое, бледно-голубое.

4. Склон небес окаймлялся стыдливими зорями.

5. Внизу все было пропитано нежно-эмалевыми розами, переходящими в матовую, жемчужную бесконечность.

6. И все кончалось необъятным океаном бледно-бирюзового воздуха.

1. И среди успокоенного океана облаковый парус неся в бесконечность, серебрясь надутым атласом своим.

1. Из голубой необъятности понесли эти ласкающие слова: «Приди ко мне и поклонись... Я иду в мир.

2. Я — вне мира... В мире ты имел скорбь...»

3. Узкий серп, белый, как первый снег, зиял серебром с запада на шелково-бледной лазури.

4. Пролепетало: «Упейся лазурью моей... В рубиновых объятьях сгори...»

5. Свистнула пересмешка, вспорхнув с ближнего куста.

6. И он испугался.

7. Залепетало: «Обмой убогих и страждущих эфиром Вечности, струящимся от риз моих...»

8. Пролей ласку мою, лазурную... Снеси поцелуи мои, как розовый лепесток, ароматные...»

9. Поднявшийся ветерок нагонял нетленные лепестки, и розы пылали у горизонта.

1. Взорванный восторгом, он цепкими руками своими охватил юное деревцо; жадными губами целовал в пьяной грусти.

2. И шептал: «Ты — везде...»

3. Узкий серп, склоняясь, чуть краснел от стыдливости.

4. А кругом небо было бледно-голубое, бледно-голубое.

1. Издали раздалось визжание цепного пса.

2. Свежая ветка оборвалась. Он упал с ней в сырую канаву, вдыхая юные ароматы трепещущих листочков.

3. Раздались шаги. Работник Дмитрий в шапке грешником куда-то тащился с краюхой в руке.

4. Смущенный Андрей виновато спросил, что ему надо, и Дмитрий пропел тенорком: «Дружку, барин, харчи несем...»

5. И стащил картуз.

1. Что-то настойчиво и быстро пролепетало над самым ухом: «Сроки текут... Времена исполняются...»

2. Вот и я близко...»

3. Он испуганно обернулся, но никого не было.

4. Только юная березка сиротливо билась, охваченная ветром.

1. Андрей побежал, взволнованный нестерпимо ясным утром, и встретил грустящую девушку, вставшую с зарей.

2. Она спросила его с удивлением: «Так рано?»

3. Но он вскинул на нее глазами, пробегая мимо: «Просияй... Засветись... Стань прозрачной...»

4. И должно быть, что-нибудь испугало ее, потому что она в страхе отшатнулась от юного безумца.

5. А потом, вздохнув, вспомнила о горе. Подняла глаза к небу.

6. Склон небес окаймлялся стыдливими зорями.

7. Внизу все было пропитано нежно-эмалевыми розами, переходящими в матовую, жемчужную бесконечность.

8. И все оканчивалось необъятным океаном бледно-бирюзового воздуха.

1. И среди успокоенного океана облаковый парус неся в бесконечность, серебрясь надутым атласом своим.

ИЗ 3-й ЧАСТИ

1. Они гуляли вдоль аллеи, устланной красным песком, — оба в черном. Ничего не изменилось.

2. Изменились они.

3. Белокурые волосы ее, оттененные черным, чуть светились на вечерней заре.

4. Закат становился бледно-грустен и золотисто-атласен: тухло золотое вино, пролитое на горизонте, точно его разводили водой.

5. Они сели на лавочку. Сидели в черном. В воздухе тянулась паутина.

6. Над ними трепетало деревцо своими большими матово-желтыми листьями.

1. Она сказала: «Вот так же, бывало, мы сидели... Ты был молод... Я — тоже...»

2. Мы оба любили.

3. Прошли года... И вот мы опять тут сидим... Сидим и вспоминаем прошлое...»

4. Она посмотрела вдаль.

5. Удаленные вершины лесные поникли друг к другу, то вновь закидывались, еще зеленые, напитанные Вечностью, сквозящей своим бледным золотом.

1. Мир не беспеременен. Он мчится вперед. Перебрасывает будущее в прошлое.

2. У него есть крылья, чтобы улететь от настоящего.

3. Но это не значит, что прошлого нет. Оно растет.

4. Временная струя бьет в подставленную чашу, когда наполнится чаша, перестанут изливаться в нее временные струи.

5. И прошлое вернется.

1. Воздушно-светозарные волны озаряли их лица.

2. Они с грустью перебирали события, залитые временем, а над ними стояли березы, грустящие о Вечности.

3. И лист за листом, обрываясь, сверкал.

4. Она взглянула на него с серьезной улыбкой. Она сказала ясно и просто: «А ведь Тугарина скончалась... Она тут и похоронена...»

5. Девушка задумалась. Встала. Ветер рвал ее черное платье.

1. Задумался и Андрей: «Она умерла... Не воскреснет для жизни...»

2. «Нет, она воскреснет!»

3. На горизонте было ясное, винное золото, и она, повитая им, смотрела вдаль.

4. Обернулась к Андрею. Заглянула ему в очи и тихонько вздохнула.

5. Протянулись облака. Разрезали золотую зеркальность отчетливыми, синими клочьями.

6. Остался только один винный кусок золота, да и он угас... И Вечность потухла на горизонте.

1. Они тут сидели и говорили о прошлом.

2. Прошлое растет: все, что было, сохранилось в чаше. Поднялось.

3. Плещется на поверхности.

4. Еще немного. Остановится время. Мир перестанет мчаться вперед.

5. И прошлое вернется.

ИЗ 3-й ЧАСТИ

1. Андрей очнулся. Он не мог понять, куда попал.

2. Перед ним виднелся бледно-бирюзовый эфирный океан осеннего воздуха, и лицо его обдувало душистым эфиром.

3. Вырос силуэт старца с просветленным, жемчужно-янтарным лицом.

4. Снежно-серебряные кудри его слегка колыхались от ветерка.

5. Искристые глаза смотрели серьезно, испытующе.

6. Грустно-насмешливый профиль улыбался кому-то.

1. Он говорил, не смотря на Андрея: «Это из наших... Заблуждение отлетело от него...»

2. Андрей узнал в нем своего знакомца по снам.

3. Вдруг поднялась благословляющая рука его, и черный клубок склоненной монашки закрыл от взора Андрея бледно-бирюзовый океан.

4. Андрей приподнялся на ложе. Он увидел, что лежит в келье, с окном, открытым к нему.

5. Старца уж не было. Старица, опираясь на посох, вся склонилась над ним и сказала: «Слава Господу... А мы думали, что ты и не оживешь...»

6. Ударил колокол.

7. Она подала Андрею просфору, перекрестив ее.

8. Она вышла.

1. В окне раздавался свист ветерка и грустно-задумчивый шелест осенних листьев.

2. На бледной небесной бирюзе трепетали, волнуясь, красно-золотые тучки.

3. Это были многошумные березки.

4. Среди них засквозила черная одежда.

5. Из золота выглянуло матово-бледное лицо юной монашки, пытливо глядя на него.

6. Показался стройный силуэт с четками в руках, и она, опустив голову, пошла на призывный звон.

7. Ветер играл ее черною вуалью.

1. Скоро за одной монашкой показались и другие.

2. Целая вереница монашек и беличек потянулась к собору. Из собора синели и алели лампадки.

3. Раздавался хор юных женских голосов.

4. А березки грустно шумели и сквозили вечно бледной, осенней бирюзой.

1. Когда уже все прошли в собор и среди березок перестали мелькать монашки и белички, показался лучесветный старец, словно весь сотканый из воздуха.

2. Он стоял, скрестив руки, под сквозным золотом падающих листьев.

3. Он закрыл свои очи. Стоял усмирленный, неподвижный.

4. Высоко вздымалась его взволнованная грудь.

5. Серебряный шелк волос, терзаемый ветром, бушевал вокруг сквозного, жемчужного лица.

6. Так он замирал, осыпанный листьями — золотыми, пролетающими временами.

1. Два листочка запутались в его бороде, когда он развел руки и воздел их к небу ладонями вверх.

2. В небе летело пепельное облачко.

3. Андрей с ужасом видел край облачка сквозь воздетые руки.

4. Старец открыл очи. Из очей его засияло небо. Вокруг него сыпались листья.

5. Он сказал голосом, вздоху подобным: «Довольно... Скоро все облетит — пролетит...

6. Времена засохли... Шелестят, как свиток...

7. Времена, как и свиток, свиваются...

8. Встань и пойдем, пойдем, потому что — пора.

9. Потому что все пролетит и угаснет золотое время...»

10. Старец медленно пошел вдоль березок. Спереди его сыпались листья. И сзади тоже.

11. словно он был занавешен золотой, вечно пролетающей пеленой.

12. Андрей, вскочив, облачился в свою одежду. Вылез из окна. Насупленный, пошел за старцем.

1. Они вышли из обители.

2. Песчинки кружились и осыпали их на песчаных холмах.

3. Слова старца пошли откровенным пламенем, возжигая солнечный лик его.

4. Андрей заметил, что риза его — жемчужно-бирюзовая: тая, она сливалась с небесами.

5. Повитый винным золотом, старец крестился на купола обители. Простирал руки в бледно-бирюзовый мир.

6. Бледно-бирюзовый мир отливал янтарно-золотым.

7. Все было охвачено жидкими, сквозными янтарями и пропитано ими.

8. Раздавался голос Призывающего — все тот же голос звавшего от времени.

1. Что-то осенило Андрея, и он шепнул старцу: «Благослови...»

2. Янтари подернулись красным золотом. Становились гуще, искристей.

3. Точно священные смолы, благоухая, выступили на небе.

1. Слабое жемчужное облачко тревожно замерло, когда жгучий золотой шар стал оседать на него.

2. Но золотой шар свободно проскользнул за облачко, обрисовав его лучистой каймой.

3. Старец запечатлел на челе Андрея поцелуй, сказав: «Иди с благой вестью — благовести.

4. Он — счастье, и Он — добро».

5. Золотой шар укатился. Искристый сноп красного золота мгновенно брызнул вверх.

6. Это душистое вино потекло из опрокинутой чаши.

1. Андрей поднял глаза на старца. Бирюзовая старческая риза как будто просияла зарей. Она сливалась с небом, отливая жемчугами.

2. На него глядело ясное лицо с голубыми очами, обрамленное сединой, точно солнечное облако с двумя просветами лазури.

3. Над ним простирались две руки — два снежных обрывка.

4. Ему показалось, что это не старец, а далекое облако, не риза его, а высота.

1. Голос старца еще раздавался откуда-то из пространств: «Риза Господня — воздушная, золотая.

2. Горизонт так янтарен!..»

3. Это свистал ветерок, потому что Андрей был один.

4. Над головой его все было бледно-бирюзовое... Там застыло солнечное облако с двумя пятнами лазури...

1. От края и до края заогневели облачка.

2. Сквозные сосны на горизонте пропитались священным, красным золотом.

3. И Андрей сказал: «Вечность спустилась.

4. Она — с нами».

У ИСТОКОВ ТВОРЧЕСТВА АНДРЕЯ БЕЛОГО («СИМФОНИИ»)

«Весною 1902 года вышло в свет произведение неизвестного автора под необычным заглавием *Драматическая симфония*. Впрочем, загадочным прозвучало и самое имя автора *Андрей Белый*, а издание книги в «декадентском» *Скорпионе* довершило в глазах читающей публики характеристику этого странного явления на литературном небосклоне»; «...*Симфония драматическая*, как первый в литературе и притом сразу удавшийся опыт нового формального творчества, надолго сохранит свою свежесть, и год издания этой первой книги Андрея Белого должен быть отмечен не только как год появления на свет его музыки, но и как момент рождения своеобразной поэтической формы». Так писал десять лет спустя после выхода в свет первой книги Андрея Белого в специальной заметке, посвященной этой далеко не для всех знаменательной дате («Маленький юбилей одной «странной» книги (1902–1912)»), близкий друг ее автора, критик и музыковед Э.К. Метнер¹.

Слово в печати, приуроченное к десятилетию (не пятидесятилетию, не столетию!) с момента появления пусть даже и весьма значительно художественного произведения, — прецедент не вполне обычный. Думается, что в данном случае такое указание на историко-культурное значение литературного дебюта Андрея Белого было вполне оправданным. И не только потому, что «Симфония (2-я, драматическая)» была первой книгой великого писателя, своим творчеством открывшего новые горизонты в сфере художественного освоения окружающей реальности и внутреннего мира человека; не только потому, что она явила собой принципиально новый, доселе никому не ведомый литературный жанр — эксперимент фронтального построения литературного текста в соответствии со структурными канонами музыкального произведения. «Симфонии» суждено было стать первой яркой манифестацией русского символизма «второй волны», наследовавшего символизму 1890-х годов в его «декадентском» изводе и в то же время ему противостоявшего, символизма «жизнестроительного», религиозно-философского, теургического. Вслед за «Симфонией» Белого увидели свет «Кормчие звезды» (1903) Вячеслава Иванова и «Стихи о Прекрасной

¹ Труды и дни. 1912. № 2. С. 27, 28.

Даме» (1904) Александра Блока. Внешне разительно несхожие между собою, эти три книги в равной мере возвестили о новом эстетическом мировидении, стали своего рода опознавательными знаками начала века, воспринимавшегося и как начало новой, неведомой жизни, новых чувствований и восприятий.

Романтические, неопределенно-мистические устремления и упования, пришедшие на смену «декадентским» настроениям, идея преображающего творчества как служения высшему, надмирному началу, стремление к постижению духовного единства мира — все эти новые тенденции, характеризующие второе поколение русских символистов, у Андрея Белого реализовались ранее всего и главным образом в форме «симфоний». Будучи сугубо индивидуальным изобретением Белого, поразившим и обескуражившим многих его современников, эта форма ни в малой мере не была личной причудой стремящегося к эффектному самоутверждению начинающего писателя. «Симфонии» — естественное и закономерное порождение культуры символизма, тяготевшего к синкретическому творчеству, стремившегося по-новому передать и прочувствовать идею мирового всеединства, воплощающегося во взаимопроникновении и взаимообогащении самых различных аспектов жизни и человеческой культуры — религии и философии, художественного и рационального познания, сиюминутной современности и исторического наследия, а также и в стирании привычных границ между отдельными видами искусств¹. В этом отношении «симфонические» опыты Белого оказываются в одном ряду с «музыкальными» живописными полотнами Чюрлёниса, «световыми» симфониями Скрябина, малоизвестными стихами раннего Александра Добролюбова, ориентированными на «музыкальное» прочтение, великими музыкальными драмами Р. Вагнера, мелодическими стихами Поля Верлена, автора крылатой формулы «*De la musique avant toute chose*» («О музыке на первом месте»), ставшей одним из лозунгов символизма, и другими проявлениями универсалистской тенденции к синтезу искусств — предзнаменованию чаемого всеобщего преобразующего жизнотворчества.

Огромное значение для выработки мирозозерцания Белого на рубеже веков имело знакомство с религиозной философией и поэзией Владимира Соловьева и с философско-поэтическим творчеством Фридриха Ницше. Имена этих двух мыслителей, контрастно несхожих между собою, стали для него единым знаменем в борьбе с позитивистским и рационалистическим мышлением, со слепотой отрывочного, дискретного «точного» знания, со всяческой духовной косностью. Воспринимая откровения Соловьева и Ницше как прообраз искомого духовного

¹ См.: *Хмельницкая Т.* Литературное рождение Андрея Белого // А. Блок и его окружение. Блоковский сб. 6. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 680). Тарту, 1985. С. 66–68.

идеала, Белый пытался сформулировать на заданном ими языке свои неопределенные предчувствия и предвестия преобразования мира, грядущего мистического синтеза; начало нового столетия ощущалось как знамение новой эры, несущей с собой глобальное преобразование всего сущего. Мистико-апокалипсическое сознание Белого находит прочную опору в христианских идеях и образах, которые раскрываются для него прежде всего как символический язык, позволяющий истолковать то или иное событие внешней или внутренней жизни как священное предзнаменование. Однако новый, теургический взгляд на мир требовал и принципиально нового художественного отражения, новых эстетических форм, способных передать «апокалипсический ритм времени». «Симфонизм» призван был способствовать конкретному обнаружению метафизических начал в фактуре «музыкально» ориентированного словесного текста: апелляция к музыке — искусству эмоционально отчетливых и ярких, но иррациональных ассоциаций — оказывалась в художественной системе Белого коррелятом сферы потустороннего, сверхреального, переживаемой, однако, как главный, важнейший компонент видимой, чувствуемой и изображаемой реальности.

«Симфонии» Белого обнаруживают конкретные аналогии с музыкальными формами и даже поддаются исследованию с использованием терминологии, применительной, например, к музыкальной сонате¹. Подобно своим музыкальным прототипам, три из четырех «симфоний» Белого состоят из четырех частей; каждая из частей «симфонии» обладает определенной образно-тематической самостоятельностью и завершенностью и в то же время входит неотчуждаемым элементом в единый общий замысел, сочетает множественность разнохарактерных мотивов с цельностью всей художественной композиции. Но, поскольку собственно текст «симфоний» воплощается как словесный, повествовательный ряд, а музыкальное начало присутствует в нем лишь в качестве подтекста, эмоционального ореола и некоего общего структурообразующего принципа, приходится все же «симфоническому» жанру Белого искать свое место в орбите литературных жанров. Рассмотренные в этом аспекте «симфонии» скорее всего займут особое промежуточное положение между традиционной прозой и традиционной поэзией как своеобразный опыт синтеза не только разных видов искусств, но и различных форм литературного творчества. Синтетическая природа «симфоний» Белого, интегрирующих поэзию и прозу в новую художественную субстанцию, оказывается наглядным формальным преломлением тяготения Белого к передаче различных модусов бытия, временного и вечного, рационального и иррационального, явленного и тайного, мистического в их нераздельности, взаи-

¹ См.: *Kovač Anton. Andrej Belyj: The Symphonies (1899–1908)*. Bern; Frankfurt/M; München, 1976.

мообусловленности и окончательной несоединимости. В свое время Валерий Брюсов метко указывал, что Белый в «симфониях» «создал как бы новый род поэтического произведения, обладающего музыкальностью и строгостью стихотворного создания и вместительностью и непринужденностью романа <...> он постарался въявь показать нам всю «трансцендентальную субъективность» внешнего мира, смешать различные «планы» вселенной, пронизать всю мощную повседневность лучами иного, неземного света»¹.

«Симфония (2-я, драматическая)» вышла из печати, когда ее автору исполнился двадцать один год. Ей предшествовало несколько лет самых разнообразных попыток воплощения своих переживаний в литературную форму, которые юный Борис Бугаев предпринимал еще будучи гимназистом. На этих попытках сказывались самые разнообразные воздействия: памятники восточной религиозно-философской мысли («Отрывки из Упанишад», сочинения Лао-цзы и др.) и книга Е.П. Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана», пробудившая интерес к теософии, поэзия Фета и философия Шопенгауэра, ставшая для будущего писателя на первых порах своего рода учебником жизни и окрасившая его мироощущение в созерцательные, пессимистические, «буддистские» тона. Сказывалось на ранних творческих опытах и юношеское увлечение романтической поэзией и произведениями набиравшего силу символизма, новейшими явлениями западноевропейского искусства (живописью и эстетикой прерафаэлитов, драматургией Ибсена и Метерлинка и т.д.), с которыми познакомили начинающего автора М.С. Соловьев (брат поэта и философа) и его жена О.М. Соловьева, родители его ближайшего друга отроческих лет Сергея Соловьева, оказавшие на духовное формирование Белого исключительно сильное воздействие.

Диапазон его исканий во второй половине 1890-х годов весьма широк: Белый пробует писать стихи, драмы, сказки-легенды. С упорным постоянством он стремится выразить себя в форме лирической прозы. Работа над лирическими фрагментами (иногда Белый называл их стихотворениями в прозе) продолжалась на протяжении нескольких лет. Позднее Белый в письме к Иванову-Разумнику с иронией вспоминал об этих опытах, характеризуя их как «помесь Тургенева, Эдгара По со всем наилейшим, наименее понятнейшим»: «В 98 году у меня было много подобных отрывков, один снос<с>шибательнее другого; среди них помню «*В садах Магараджи*», ужасно нравившийся Сереже Соловьеву; и помню через каждый абзац рефрены: «*В садах — блестит... В садах — сверкает...*» Или: «*В садах Магараджи кто-то курит: курит до опьянения*». Был отрывок «*Черный поп*»! Был отрывок «*Мать*»! Была поэма на тему «*Мать-вампир*». Лирика

¹ Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 307.

этих отрывков — невероятно; жаль, что исчезли, а то можно было бы поохотаться. Так, рефрены одного отрывка: 1) «*Сидишь ты — зеленая, раззеленая...*», 2) «*У меня и так истерия: мне больше ничего не нужно*»¹.

Оценки, которые дает Белый в зрелые годы этим еще вполне детским произведениям, в значительной мере справедливы: многие из ранних прозаических отрывков сохранились в его рабочей тетради, включающей «Лирические отрывки (в прозе)», — в том числе и идентифицируемые с упоминаемыми в письме к Иванову-Разумнику — и в большей своей части не выдерживают критики со строго эстетической точки зрения². Их образный строй, как правило, вторичен и маловыразителен, они сплошь и рядом грешат наивными стараниями закамуфлировать недостаток мастерства «странностью» тематики и «загадочностью» изображения; постоянно — злоупотребление «наинепонятнейшим», за которым для самого автора чаще всего скрывалась неясность, неоформленность его творческого задания. В то же время, при всей беспомощности письма, направление исканий и духовный пафос, которым исполнены лирические отрывки, приоткрывали черты будущего писательского облика Андрея Белого.

Сам Белый не принимал всерьез эти произведения только в позднейшие годы, но в первую свою книгу стихов «Золото в лазури» (1904) ввел особым разделом «Лирические отрывки в прозе»; в него вошли шесть фрагментов, представлявших собой переработку текстов из рабочей тетради, и более поздний рассказ «Аргонавты» (1904), замыкающий по своей тематике к стихотворениям первого раздела «Золота в лазури». Правда, для опубликования Белый отобрал в основном наиболее поздние по времени написания отрывки (1900), ранние же были напечатаны в кардинально измененном виде. О характере правки Белый писал в цитированном выше письме к Иванову-Разумнику: «...отрывки «*Волосатик*», «*Ревун*» <...> впоследствии причесанных и, так сказать, темперированных, поданных не в *революционной* косматости «98» года, а в *кадетской* эстетически-культурной оправе, в стилистике (сквозь призму 1903 года)»³.

Примечательно, что в «Золото в лазури» Белый предпочел включить «сюжетные» отрывки преимущественно условного или фантастического содержания; вероятно, они казались ему более выигрышными в чтении и более поддающимися художественной отделке, чем сугубо «лирические» фрагменты, которые в его творческом багаже

¹ Автобиографическое письмо к Р.В. Иванову-Разумнику от 1–3 марта 1927 г. // Андрей Белый и Иванов Разумник. Переписка / Публ., вступ. статья и коммент. А.В. Лаврова и Джона Мальмстада. Подгот. текста Т.В. Павловой, А.В. Лаврова и Джона Мальмстада. СПб., 1998. С. 487.

² Некоторые из отрывков (1898–1900) опубликованы нами в кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1980. Л., 1981. С. 120–124.

³ Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 487.

были представлены в большом выборе. Отрывок «Ссора» изображает доисторическое прошлое — столкновение первобытного человека с человекообразной обезьяной — и изобилует экзотическими образами; в сходной стилистике выдержан «Этюд», описывающий дикую, полуживотную жизнь старика Адама и его сына Каина. Тяготением к яркой, условно-метафорической образности и к живописанию неких сущностных явлений мира отмечены и отрывки «Волосатик» и «Ревун». Туманный и прихотливый аллегоризм этих произведений еще не претворяется в подлинную символику, но от него уже виден прямой путь к образной структуре «симфоний».

Отрывки, не подготовленные Белым к печати, были в большей своей части ближе к непосредственной фиксации его эмоциональных состояний и конкретного созерцательного опыта; лирическая стихия, овладевавшая Белым, предстает в них в своем первичном, как бы неуправляемом виде. Среди них встречаются бессюжетные меланхолические медитации, мимолетные импрессионистические зарисовки, например: «Помнишь вечер... камин... на дворе ураган... тени хмурые плачут, но сказки толпой окружают меня: это — сказки твои... Это светлые грезы слетелись толпой... О, мой друг, — это все...»¹ В подобных неприятельных миниатюрах, представляющих собой, по сути, не более чем спонтанную, дневниковую фиксацию настроений и впечатлений, — исходная форма всех прозаических жанров Андрея Белого: из лирических фрагментов разовьются и «симфонии», и повествовательные художественные опыты 1900-х годов (рассказы и прозаические этюды), и статьи отвлеченно-символического характера. Но и сами отрывки имели свой первоисточник в импровизационной творческой стихии «символических восприятий» Белого: «...я учился в природе видеть «Платоновы идеи»; я созерцал дома и простые предметы быта, учась «увидеть» их вне воли, незаинтересованно»; «...стиль строки — от стиля восприятий; стиль же последних — из опытных упражнений, адекватных лабораторным; первая книга «Бореньки», ставящая грань между ним и «Белым», написана: своей формой, своим стилем.

Откуда он вынут?

Из опытных упражнений: с собой, а не со строкой; о форме не думал, а вышла, „своя“².

«Незаинтересованное», отвлеченно-созерцательное и в то же время внутренне активное отношение к действительности, сознательно культивировавшееся Андреем Белым в пору ранней юности, явилось основой для того философско-эстетического мироощущения, которое несколькими годами спустя будет определено им как «жизнетворчество»; оно же станет главной направляющей силой и в его художественных

¹ РГБ. Ф. 25. Карт. 1. Ед. хр. 1. Л. 35 об.

² *Белый Андрей*. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 338, 326–327.

исканиях. Уже в ряде прозаических отрывков материалом творчества оказываются не сфантазированные экзотические картины, а собственные наблюдения и размышления во время прогулки по московским окраинам, при наблюдении заката и т.п. Эти опыты художественного творчества можно рассматривать как интимный дневник, как попытку разобраться в своих смутных, неоднозначных ощущениях и переживаниях, в потаенной сущности явлений действительности. Показательно, что основные книги «старших» русских символистов Белый откроет для себя только на рубеже веков; «символизм» его ранних, «долитературных» произведений — скорее интуитивный, чем заимствованный и подражательный (заимствования в них — из иных литературных образцов). Символизм Белого вырос из гораздо большей степени из внутреннего уединенного опыта, чем благодаря активному усвоению начавшего заявлять о себе в России «нового» искусства (к «декадентству» у юноши Белого поначалу было весьма настороженное отношение), и в его формировании музыка играла на первых порах более значимую роль, чем словесное творчество. («Мне музыкальный звукоряд / Отображает мирозданье», — напишет впоследствии Белый в поэме «Первое свидание»¹, вспоминая пору своего духовного становления). Впечатления от музыкальных произведений — только что открытых Грига и Вагнера и излюбленных с детства Бетховена, Шопена — и собственные импровизации на рояле были во многом исходным импульсом для упражнений с художественным словом, призванным воплотить в иной субстанции музыкальные ритмы и передать близкие эмоциональные ассоциации. «Первые произведения возникли, как попытки иллюстрировать юношеские музыкальные композиции, — утверждал Белый в статье «О себе как писателе» (1933). — Я мечтал о программной музыке; сюжеты первых четырех книг, мною вынутых из музыкальных лейтмотивов, названы мной не повестями или романами, а Симфониями. <...> Отсюда их интонационный, музыкальный смысл, отсюда и особенности их формы, и экспозиция сюжета, и язык»².

«Симфоническая» форма, развившаяся в особый, индивидуальный жанр Андрея Белого, выкристаллизовывается непосредственно из его лирических отрывков. Некоторым из них Белый указывает музыкальные аналогии (например, «на мотив романса Грига „Лебедь“»); некоторые в переработанном виде включаются в «симфонический» текст (так, отрывок, записанный в октябре 1900 года, преобразован во «Вступление» к «Северной симфонии»); и наоборот, «симфонический» фрагмент, остающийся за пределами основного текста, может

¹ *Белый Андрей*. Стихотворения и поэмы. СПб.; М., 2006. Т. 2. С. 45 (Новая Библиотека поэта).

² Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 20. Публикация В. Сажина.

превратиться в самостоятельный прозаический отрывок (в рабочих материалах Белого встречаются и такие случаи); сравнительно поздние отрывки (конец 1900 года) создаются под влиянием уже найденной «симфонической» формы, представляя собой, по существу, самостоятельные «симфонические» фрагменты.

Выход к «симфониям» для Белого — не столько результат осознанных, целеустремленных поисков нового жанра, сколько непреднамеренное обретение адекватного способа самовыражения. Уникальный жанр возник сам собою, путем разрастания лирических отрывков и сочетания отдельных настроений в более сложные и многотемные образования, переданные в развитии, повторении, столкновении и переплетении составляющих целое микрочастиц; он возник благодаря тому, что Белый в своих литературных экспериментах рискнул полностью покориться овладевавшей им музыкальной стихии. Почвой для этого были и интуитивный опыт, и художественные пристрастия Белого, и не в последнюю очередь в ту пору воздействие Шопенгауэра, восприятие мира сквозь призму его философии и эстетики, выделявшей музыку на особое место среди других искусств. Первая философско-эстетическая статья Белого «Формы искусства» (1902) теоретически обосновывает приоритет музыки как искусства, наименее связанного с внешними, случайными формами действительности и наиболее тесно соприкасающегося с ее потаенной, глубинной сущностью: «Приближаясь к музыке, художественное произведение становится и глубже, и шире»; «Глубина и интенсивность музыкальных произведений не намекает ли на то, что здесь снят обманчивый покров с видимости? В музыке нам открываются тайны движения, его сущность, управляющая миром. <...> В симфонической музыке, как наиболее совершенной форме, рельефнее кристаллизованы задачи искусства. Симфоническая музыка является знаменем, указывающим пути искусству в его целом, определяющим характер его эволюции»; «Глубина музыки и отсутствие в ней внешней действительности наводит на мысль о нуменальном характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну бытия <...> близостью к музыке определяется достоинство формы искусства, стремящейся посредством образов передать без-образную непосредственность музыки. Каждый вид искусства стремится выразить в образах нечто типичное, вечное, независимое от места и времени. В музыке наиболее удачно выражаются эти волнения вечности»¹. Подобные утверждения, приобретающие характер эстетического манифеста, — уже результат творческой практики Белого, автора четырех «симфоний», а не априорные умозаключения. Принимая законы музыкальной композиции за основу словесного творчества, Белый видел в этом возможность освобождения от власти пространственных отношений и путь к ов-

¹ Мир Искусства. 1902. № 12. С. 356, 358–359.

ладению временем и его преодолению — опять же осуществление творческой (и «жизнетворческой») сверхзадачи¹.

Очень емкую и точную характеристику жанра «симфоний» дал философ С. Аскольдов: «Симфонии — особый вид литературного изложения, можно сказать, созданный Белым и по преимуществу отвечающий своеобразию его жизненных восприятий и изображений. По форме это нечто среднее между стихами и прозой. Их отличие от стихов в отсутствии рифмы и размера. Впрочем, и то и другое, словно непрочно, вливается местами. От прозы — тоже существенное отличие в особой напевности строк. Эти строки имеют не только смысловую, но и звуковую, музыкальную подобранность друг к другу и по ритму слов, и по ритму образов и описаний. Этот ритм наиболее выражает переливчатость и связность всех душевностей и задушевностей окружающей действительности. Это именно музыка жизни — и музыка не мелодическая, т.е. состоящая не из обособленных отдельностей, а самая сложная *симфоническая*. В симфониях Белого обнаруживается то, чем Белый положительно выделяется из всех мировых писателей. Душевная созвучность окружающего мира во всех его сторонах, частях и проявлениях, есть нечто никогда не входившее ни в чьи литературные замыслы и никем не уловленное. Но при этом необходимо сказать, что для Белого это даже и не замысел, а его естественный способ восприятия мира. <...> Из этой мировой музыки, которая для неопытного слуха есть неинтересный шум, Белый выбирает по преимуществу то, что наименее четко, рационально, наименее осознанно в деловом аспекте жизни. Секрет его своеобразных восприятий заключается не в схватывании четких тонов (определенных мыслей, чувств, действий), которые всякий слышит, а именно полусознательно воспринимаемых *обертонов* жизни»².

Своеобразную «музыкальную» композицию образов, объединяемых прежде всего тональностью настроения и ритмом, «напевностью», и лишь опосредованно согласующуюся с причинно-логическими предметными связями, можно обнаружить уже во многих лирических прозаических отрывках. Важным событием, вызвавшим в Белом волну сильных переживаний и потребность выразить себя в более концентрированной и просторной форме, явилась для него смерть любимого наставника Л.И. Поливанова — крупного педагога, директора известной московской гимназии, в которой учился Белый. Разрастание прозаического отрывка в прозаическую поэму, подчиненную определенному «музыкальному» заданию, привело начинающего автора к новому, неожиданному для него самому жанровому образованию. «Под влиянием кончины Поливанова, —

¹ См.: *Смирнов И.* Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977. С. 54–55.

² *Аскольдов С.* Творчество Андрея Белого // Литературная мысль. Альманах 1. Пг., 1922. С. 81.

вспоминал он о январе–феврале 1899 года, — я пишу нечто очень смутное, это впоследствии легло в основу формы «*симфоний*», нечто космическое и одновременно симфоническое»¹. «...Я отдался странной, дикой, туманной, космической эпопее в прозе, — вспоминал Белый об этом же произведении в цитированном письме к Иванову-Разумнику (1927), — в небесах этой поэмы постоянно проносится «*облачко крыл херувимов, несущих некий престол*», а под небесами от времени до времени открываются панорамы жизни некоего «*вечного Жида*», бывшего ребенком в раю, потом ставшим царем мира и наконец палимым молниями небесной ярости и т.д. Над формой этой поэмы я работал в «*поте лица*» с зимы до осени 1899 года; потом «*поэма*» несколько лет лежала у меня; потом я ее уничтожил. Из этой формы родились «*Симфонии*». Собственно говоря, первой Симфонией была не *Северная*, а эта, уничтоженная. «*Симфонии*» родились во мне «*космическими*» образами, без фабулы; и из этой «*бесфабульности*» кристаллизовалась программа „*сценок*“». Белый упоминает это произведение и в «Списке пропавших или уничтоженных автором рукописей»: «...в 1903–1905 годах автор сжег рукопись как недоошоенное, юношеское произведение (эпоха написания — лето 1899 года)»².

Такая участь постигла, однако, только беловую, окончательную редакцию «предсимфонии» (так называет Белый этот текст в мемуарах «На рубеже двух столетий»); черновая же ее редакция сохранилась, и по ней можно составить достаточно определенное представление об этом произведении. Неизвестно, как соотносился уцелевший текст с окончательным; во всяком случае, тема «вечного жида», которую Белый выделял в позднейших характеристиках этого сочинения, в черновом варианте зримо не прослеживается.

Космизм — действительно определяющая черта «предсимфонии»; оставшаяся в рукописи до недавнего времени, она могла бы послужить Н.А. Бердяеву одним из дополнительных подтверждений его мысли о том, что «мироощущение поэтов-символистов стояло под знаком космоса, а не Логоса»³. Место действия в ней — вселенная, время — века, сменяющие друг друга, образы — чистые символы, взгляд автора направлен из надзвездных сфер. Цель Белого — постигнуть мир с точки зрения вечности, показать бытие управляющих им метафизи-

¹ *Белый Андрей*. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 11 об.

² РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 31. В позднейшем «Ракурсе к дневнику» Белый сообщает, что из своего «хаотического произведения, предшествующего по форме «*Симфонии*», помнит лишь фразу: «*Слыша тихую песенку, прилетают белые ангелы и погружают воспаленных безумием в хрустальный холод небес*» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 1).

³ *Бердяев Н.* Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Paris, 1971. С. 234.

ческих универсалий. Весь калейдоскоп образов, картин, настроений, свободно сопрягаемых, перетекающих друг в друга с полной свободой от общепринятой житейской прагматики, предстает целостным миром благодаря чувству вечности, которое гармонизирует запечатленный хаос. Передать содержание «предсимфонии» на языке рациональных представлений крайне трудно: можно говорить только об определенных темах (райского блаженства, искушения, наваждения, греха, искупления, томления по запредельному и т.д.), развивающихся, соединяющихся и чередующихся скорее по музыкальным, чем по литературным логико-семантическим законам. С такой же импровизационной свободой, иногда недосказанным намеком возникают в «предсимфонии» ветхозаветные и апокалипсические мотивы, ницшеанские идеи «вечного возвращения» и «сверхчеловека», переплетающиеся с «симфонически» поданной темой мистерии об антихристе, воскрешаются традиции и образная структура романтической поэзии. «Музыкальная» стихия подчиняет себе рудиментарно обозначенные жанровые образования, которые можно обнаружить в «предсимфонии», — поэму, притчу, фантазмагорию, сказку, проповедь, окрашивает их единой тональностью. Замечания об «организуемом хаосе», «материи одухотворяемой», «материи дематериализующейся» и «внутреннем единстве всего, связи, цельности», которые П.А. Флоренский высказывал, анализируя «Северную симфонию»¹, с не меньшим, вероятно, правом могут быть отнесены и к «предсимфонии» Белого, где эти идеи вырисовываются вне «сказочной» сюжетной оболочки, как опыт непосредственного наблюдения за ходом «мировой мистерии».

В «предсимфонии» гораздо явственнее, чем в последующих «симфониях» 1900–1902 годов, сказывается музыкальная первооснова. Только в ней каждый отрывок («параграф») имеет обозначение музыкального темпа, диктующее характер «музыкального» воспроизведения данного словесного потока. Впервые применен здесь Белым и самый принцип членения текста на отрывки и внутри них — на нумерованные «стихи» (своего рода музыкальные такты), которому Белый следует также в первой («Северной»), второй («Драматической» или, как он ее иногда называл, «Московской») и первоначальной редакции четвертой «симфонии» (цифровые обозначения «стихов», конечно, призваны были также придать тексту особый сакральный оттенок, вызывая ассоциации с внешним обликом библейских книг)². «Предсимфония» построена по законам не столько литературной, сколько музыкальной

¹ Флоренский П. Спиритизм как антихристианство // Новый Путь. 1904. № 3. С. 149–150.

² Подробный анализ строфической организации текста «симфоний» предпринят в статье: Орлицкий Ю.Б. Ритмическая структура симфоний Андрея Белого: у истоков реформы русской прозаической строфики // Андрей Белый в изменяющемся мире: К 125-летию со дня рождения. М., 2008. С. 286–298.

композиции, в конечном счете это — своеобразная попытка словесно запротоколировать музыкальную импровизацию. «Симфонизм» в этом произведении — предельно, в последующих «симфониях», от одной к другой, усиливается роль «литературного» начала, но и они имеют под собой музыкальную первооснову, по словам Белого (в письме к Иванову-Разумнику 1927 года), «импровизации на рояле (с 1898 года до 1902 года), вылившиеся в *темы*; и к музыкальным темам писались образы; «Северная Симфония» и «Московская» имели свои музыкальные темы (я их разбирал на рояле); «Возврат» был уже *отрывом* от рояля. Он мое первое «литературное», и только, произведение»¹.

Возрастающий приоритет «литературности» — не только в том, что в «Северной симфонии» (1900) будет достигнута большая ясность и отчетливость образов и можно будет без труда проследить в каждой из ее частей свою сюжетную канву, и не только в том, что в «Симфонии (2-й, драматической)» (1901) фоном изображения станет не условный сказочный мир, а «музыкально» преломленная московская повседневность. Усиление «литературного» начала связано у Белого со все более настойчивой разработкой темы двоимирия. Если «высокому», духовному плану бытия Белый находил аналогии и возможность воплощения главным образом в стихии музыки, то косная действительность в ее абсурдном несоответствии с «истинными» началами требовала для своего выражения иных, преимущественно «литературных» средств. «Литературное» закономерно отступало на второй план в «предсимфонии» с запечатленным в ней миром высших сущностей и вселенских катаклизмов, далеко от непосредственно наблюдаемой реальности. Характерно в ней и полное отсутствие иронии, которая окажется важнейшим средством интерпретации действительности в зрелых «симфониях» Белого. Родственная романтической, ирония у Белого — и способ зрения, при котором раскрывается двойственность бытия, и способ преодоления этой двойственности, возможность подняться над миром явлений. Она проступает, но еще довольно случайно, неосознанно, в «Северной симфонии», которую сам Белый считал ученическим произведением², и становится основным художественным приемом во второй «симфонии».

Собственно «литературная» субстанция в «симфониях», впрочем, также многоразличными путями сочеталась с музыкальной стихией. О развитии музыкальных тем и лейтмотивов напоминали регулярно повторяющиеся фразы и образы-рефрены, организующие разрозненные

¹ Андрей Белый и Иванов Разумник. Переписка. С. 488.

² Так, Белый писал М.К. Морозовой 3 июня 1905 г.: «Очень тронут, что *Северная Симфония* Вам понравилась. Это — вещь очень молодая и глубоко несовершенная в художественном отношении, хотя я касался нот, мне близких» («Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М.К. Морозовой. 1901–1928. М., 2006. С. 47).

эпизоды и сценки в единое «симфоническое» целое. Из литературных воздействий сильнее и определеннее всего сказывается в «симфониях» влияние ритмической прозы Ницше и главным образом его философской поэмы «Так говорил Заратустра» — в ритмической организации текста, в системе его сегментации, в выстраивании образных рядов и лейтмотивов (много позже Белый несколько уничижительно окрестит свои «симфонии» «детским еще перепевом прозы Ницше»¹), — однако характерно, что сам Ницше соотносил свое знаменитое произведение с музыкальными творениями и даже не раз называл «Заратустру» «симфонией»². Атмосфера «музыкальности» поддерживалась и изобиловавшими в текстах «симфоний» недосказанностями, словами и синтаксическими конструкциями, призванными создать впечатление значимой неопределенности, сакральности описываемых явлений (в «Северной симфонии»: «Где-то пропели молитву», «И Откуда-то издали приближался ропот» и т.п.)³. Намеренно лаконичные, отрывистые, как бы усеченные свыше допустимого минимума фразы, являющиеся стилевой доминантой ранних «симфоний» Белого, также усиливали эффект скрытой суггестивности текста, уводили фантазию в область невоплощенных «музыкальных» ассоциаций. Наконец, особенно значимую роль (прежде всего в самых ранних «симфонических» опытах) играют «эквиваленты текста» — многоточия, указывающие на словесную невыразимость, неадекватность слова переживанию. Слово подбирается автором с тем, чтобы послужить намеком, эмоциональным сигналом; слова в «симфониях» аналогичны нотным знакам, которые сведущему дают представление о музыкальной фразе, но сами по себе еще ее не вызывают. Подобием музыкального инструмента при этом должна выступать читательская интуиция, способная осуществить коммуникативную связь между «видимым» и «невидимым», скрытым текстом, восстановить его целостность, претворить отрывочные словесные намеки, описания и указания в «симфонически» организованное художественное единство.

Закономерно, что обделенные этой интуицией и не подготовленные к восприятию экспериментальных произведений Белого критики в большинстве своем находили в «симфониях» лишь бред, бессмыслицу, невнятицу и т.п. «На человека непривычного к декадентской прозе «Симфония» производит впечатление бреда сумасшедшего», — писал о «Северной симфонии» критик А.М. Ловягин⁴, ему вторил М.О. Меньшиков: «...как

¹ *Белый Андрей*. Мастерство Гоголя: Исследование. М.; Л., 1934. С. 297.

² См.: *Силард Л.* О влиянии ритмики прозы Ф. Ницше на ритмику прозы А. Белого. «Так говорил Заратустра» и Симфонии // *Studia slavica (Budapest)*. 1973. Т. 19. С. 289–313.

³ См.: *Alexandrov Vladimir E. Andrei Bely. The Major Symbolist Fiction*. Cambridge, Mass.; London, 1985. P. 14–16; *Авраменко А.П.* «Симфонии» Андрея Белого // *Русская литература XX века (дооктябрьский период)*. Сб. 9. Тула, 1977. С. 57–58.

⁴ *Литературный вестник*. 1904. № 1. С. 92.

ни вчитывайся, как ни вникай, все равно до смысла не доберешься»¹; в лучшем случае давалось указание на «странный» характер произведения: «...странные картинки природы, странные прорицания, струя туманного мистицизма...»² Даже «Возврат», из всех «симфоний» Белого наиболее приближающийся к привычным формам повествовательности, был расценен Л. Войтоловским как «целый поток бредовой лавы, целое море безудержных, некоординированных, бессвязных образов и представлений»³. Попытки выделить из цельного «симфонического» построения Белого сюжет линейный, логически-дискурсивный (а иные критики в своих отзывах утруждали себя такой задачей) давали, как правило, благодарную пищу для насмешек над нелепыми усилиями автора и над бессмыслицей нового лада в старой сказке (в «Северной симфонии»). Понимание и признание «симфонии» обрели поначалу только у собратьев-символистов и в близкой символистам среде.

Первая, «северная» (или «героическая») «симфония», написанная в 1900 году, была опубликована после второй, в конце 1903 года, когда Белый уже не был новичком в литературе. Те, кто знали писателя по второй «симфонии», не могли не отметить в новой его книге, появившейся с опозданием, примет юношеского несовершенства и несамостоятельности письма, банальных и заимствованных поэтизмов. Действительно, «Северная симфония» несет на себе зримые следы различных художественных влияний — романтической музыки Грига, живописи Бёклина и прерафаэлитов, сказок Андерсена, немецких романтических баллад, драм Ибсена, символистской образности Метерлинка, новейшей русской поэзии (в частности, К. Бальмонта). И в то же время она являет собою подлинно художественное целое, первый законченный образец нового жанра и стиля, яркий плод творческой фантазии. «Музыкальная» стихия, пребывавшая в «предсимфонии» в неуправляемом, хаотическом состоянии, здесь конденсируется в архитектурно четкие образно-тематические ряды, которые выстраиваются в своеобразную сказочно-романтическую сюиту. «Трудно не поддаться очарованию этой юношески слабой и юношески смелой вещи, — писал в статье о Белом (1915) Иванов-Разумник, — многое в ней бледно, наивно, многое, наоборот, слишком кричаще и слишком «перемысленно»; но в общем «симфония» эта действительно оставляет суровое, «северное», «героическое» впечатление»⁴.

Изображенный в «симфонии» условно-фантастический, сказочный мир, проецированный в целом на западноевропейское «готическое» средневековье, но интегрирующий и образы античной мифологии, предстает как красочная декорация для развития основных «музы-

¹ Русский вестник. 1904. № 5. С. 245. Подп.: М. М.-в.

² Измайлов А. Литературные заметки // Новая иллюстрация. 1904. № 6. С. 45.

³ Образование. 1905. № 5. Отд. 3. С. 138. Подп.: Л. В-ий.

⁴ Иванов-Разумник. Вершины: Александр Блок. Андрей Белый. Пг., 1923. С. 38.

кальных» тем — борьбы света и мрака, текущего времени и «туманной вечности», освобождения от темного начала и радостных чаяний «Духа Утешителя». Центральные герои — красавица королева, таящая воспоминания о запредельном, символ высшей, небесной любви (очевидны в этом образе отражения мифопоэтических представлений о Душе Мира, «Афродите Небесной» — Софии, восходящих к Вл. Соловьеву¹), и молодой рыцарь, испытывающий натиск сатанинских сил, — даны в окружении великанов, кентавров, колдунов, гномов (этот причудливый сонм перейдет в раннюю лирику Белого — прежде всего в раздел «Образы» его книги «Золото в лазури»); все «тварное» исчезает затем, как марево, перед чередой картин, символизирующих трансцендентный мир и ожидание райского блаженства (мистическая утопия — осуществленная, ожидаемая или потенциально сказывающаяся, — выстраиваемая в четвертой части «Северной симфонии», станет обязательной и для финалов всех последующих «симфоний»). Образы и эпизоды сменяют друг друга вне жесткой зависимости от обычных сюжетно-прагматических связей, но подчиняются своим особым законам организации, продиктованным, по словам молодого П. Флоренского, «внутренним ритмом, ритмом образов, ритмом смысла»; «Этот ритм напоминает возвращаемость темы или отдельной фразы в музыке и заключается в том, что зараз развиваются *несколько* тем различной важности; внутренне они едины, но внешне различны». Достигнутое Белым в «Северной симфонии» Флоренский оценил чрезвычайно высоко — для него это подлинная «поэма мистического христианства», проникнутая настроением «радостной печали»: «Везде и во всем — законченность, законченная, «актуальная» бесконечность. И все заполнено светом, ровным и мягким, и детскостью»².

Навеянная романтическими грезами, мистическими ожиданиями «рассвета», исполненная чистого, непосредственного лиризма, «Северная симфония» оставалась еще в известном смысле «однострунным» по своему эмоциональному тону произведением: высокий пафос в ней не уравновешивается снижающими, деструктивными началами, лишь местами сказочные картины окрашиваются мягким юмором или неожиданными «бытовыми» деталями, прорывающимися из иного стилевого регистра (например, король, штопающий дыры на своей красной мантии). Впервые сфера «быта», эмпирического, преходящего становится в творчестве Белого вровень со сферой высшего бытия³

¹ См.: Глухова Е.В. Миф о Софии в «Северной симфонии» А. Белого // Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 1. М., 2004. С. 115–124.

² Флоренский П. Спиритизм как антихристианство // Новый Путь. 1904. № 3. С. 161, 167, 150, 151.

³ О категориях «быта» и «бытия» в творческом мироощущении Белого см.: Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 6, 82.

в «Симфонии (2-й, драматической)»; сочетание, взаимопроникновение этих сфер, при сохранении суверенности каждой из них, оказывается здесь основным принципом художественной организации.

Вторая «симфония» сложилась год спустя после первой и, вслед за ней, но более явственно, отразила существенные сдвиги в мироощущении Белого. К 1901 году в сознании писателя определился решительный поворот от шопенгауэрианского пессимизма и иллюзионизма к мистико-апокалиптическим, мессианским чаяниям, к неопределенным, но чрезвычайно ярким и всепоглощающим настроениям ожидания «всего нового», очистительного переворота основ жизнеустройства. Чувство «рубежа» окрашивает все восприятие действительности, и свои «симфонии» Белый осмысляет как наиболее адекватный для выражения этого чувства литературный жанр, как прообраз грядущей синкретической формы творчества, отвечающей задачам мистического преображения жизни. «„Симфонии“ не имеют будущности как таковые; но как промежуточная стадия на пути к образованию какой-то безусловно важной формы — они значительны, — писал он Э.К. Метнеру 7 августа 1902 года. — Это — начало конца поэзии в собственном смысле. <...> «Симфонизируясь», жизнь не устремляется ли в будущее?»¹. Вторая «симфония» стала наиболее цельным и значительным литературным документом, в котором Андрей Белый передал свои эсхатологические переживания и наблюдения за «симфонизирующейся» действительностью.

В отличие от первой, вторая «симфония» непосредственно автобиографична: изображая московскую повседневность, разворачивающуюся у него на глазах и предстающую в калейдоскопе бытовых зарисовок, Белый передал в ней и своего рода стенограмму своей внутренней жизни в 1901 году, возвестившем начало «эпохи зорь» в его духовной эволюции и оказавшемся важнейшим для его личностного становления. «Этот год, — вспоминал Белый, — переживался мною как единственный год в моем роде <...> для меня этот год был годом максимального мистического напряжения и мистического открытия; все лето 901 года меня посещали благие откровения и экстазы; в этот год осознал я вполне веяние Невидимой Подруги, Софии Премудрости. Кроме того: весь этот год для меня окрашен первой глубокой, мистической, единственной своего рода любовью к М.К.М., которую, однако, не смешивал я с Подругой Небесною; М.К.М. в иные минуты являлась для меня лишь иконою, символом лика Той, от Которой до меня долетали веянья». И далее Белый признается: «...вторая «Симфония» — случайный обрывок, почти протокольная запись той подлинной, огромной симфонии, которая переживалась мною ряд месяцев в этом году»².

¹ РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 1.

² *Белый Андрей*. Материал к биографии. Л. 16, 17 об.

Автобиографический характер имеют в «симфонии» все переживания и духовные интуиции Мусатова (не случайно отмечается, что он — химик по профессии, знаток точных наук; Белый в 1901 году был студентом физико-математического факультета Московского университета); «М.К.М.», объект мистической влюбленности Белого, — Маргарита Кирилловна Морозова, с которой он тогда даже не был лично знаком, — прообраз «сказки»; мусатовская мистическая утопия — отражение вполне конкретных мифотворческих упований Белого и Сергея Соловьева — февраль 1901 года: «...наши ожидания какого-то преобразования светом максимальны; мне начинает казаться, что уже мы на рубеже, где кончается история, где за историей начинается «восстание мертвых»; и тут-то по газетам на небе вспыхивает новая звезда (она вскоре погасла); печатается сенсационное известие, будто эта звезда — та самая, которая сопровождала рождение Иисуса младенца; Сережа прибегает ко мне возбужденный, со словами: «Уже началось». Нам 3 дня кажется, что уже начались события огромной апокалиптической важности; мы формулируем нашу мистическую символику приблизительно в таких терминах: *Дух Утешитель* будет иметь в истории такое же воплощение, как Христос; он родится младенцем; его мать — женщина, которая будет символом Церкви (*Жены, облеченной в Солнце*), рождающей новое слово, третий Завет <...>. Воссияние звезды было знакомо для нас с Сережей, что «*младенец*» уже родился»; развенчание мусатовской утопии опять же имеет жизненный прообраз — март 1901 года: «...я продолжаю писать ей («М.К.М.» — А.Л.) письма, я хожу мимо ее дома, и однажды в окне дома вижу изумительной красоты мальчика; соображаю: «Это ее сын»; С.М. Соловьев шутит со мною: «*Это и есть младенец, которому надлежит пасти народы жезлом железным*». Между нами развивается стиль пародии над священнейшими нашими переживаниями; и этот стиль пародии внушает мне тему 2-й „Симфонии“»¹.

В предисловии ко второй «симфонии» Белый утверждал, что она имеет три смысла — музыкальный, сатирический («здесь осмеиваются некоторые крайности мистицизма») и идейно-символический — преобладающий, но не уничтожающий первых двух. Второй из этих смыслов имеет в тексте более широкий тематический охват, чем тот, на который указывает Белый: «сатирический» угол зрения задан в «симфонии» при изображении фактически любых картин наблюдаемой действительности. Весь эмпирический мир, поскольку он подчинен законам времени и причинности, алогичен и нелеп, иллюзорен и бессмыслен, и предстает он у Белого в хаотическом сочетании одновременно сосуществующих явлений, ничем не связанных друг с другом, кроме своей одинаковой несостоятельности перед

¹ *Белый Андрей*. Материал к биографии. Л. 17, 18 об.

лицом «Вечности великой, Вечности царящей». Глазу мистического хроникера московский быт предстает как совокупность беспорядочных, взаимно отчужденных реалий, сопрягающихся друг с другом либо посредством иронических, нередко каламбурных, ассоциаций, либо просто случайным соположением («В те дни и часы в присутственных местах составлялись бумаги и отношения, а петух водил кур по мощеному дворику»). Содержательные (в общепринятом смысле) явления при таком угле зрения обесмысливаются, вздорные и случайные наделяются мнимой содержательностью, изображения самого обыденного, привычного сочетаются без каких-либо посредствующих звеньев с самым невозможным, фантастическим: «Мотивы спаивают в одно целое фантазмагорию и повседневность; пробуя разобраться во впечатлении, с удивлением замечаешь, что первая является не менее, а иногда и более реальной, нежели вторая»¹.

И в то же время такая всеобъемлющая, «мировая» сатира не влечет за собой уничтожающего приговора. Белый развенчивает эмпирическую стихию с мягкой, лукавой иронией, которая сродни романтической иронии; все изображаемое несет на себе умиротворяющий налет «туманной Вечности», которая просвечивает сквозь пелену времени и суету явлений. Описывая с одинаковым вниманием действия людей и события из жизни котов и дворовых петухов, Белый не задается особой целью скомпрометировать те или иные явления мирской повседневности нелестным сопоставлением; он стремится лишь охватить единым взором, как бы с высоты птичьего полета, все, что попадает в поле его отвлеченного наблюдения; по словам С. Аскольдова, «именно с такой точки зрения жизнь воспринимается более духовно», «только с такой все нивелирующей высоты чувствуется разлитие во всем одной общей, уже не человеческой, а космической душевности»: «Это, так сказать, приведение всей окружающей жизни к одному знаменателю «важности» и серьезности с точки зрения какого-то более серьезного охвата взором всей действительности»². Ирония — основной способ видения мира во второй «симфонии», вскрывающий двойственность бытия и призывающий преодолеть эту двойственность, духовным импульсом превзойти роковую зависимость от мира и от навязываемых им мыслительных и поведенческих императивов. Все окрашивающая ирония характеризует позицию автора, который знает, что воссоздаваемая им бесконечная вереница уравненных в своем «горизонтальном» бытии реалий еще не исчерпывает всей реальности, — ему ведомая реальность иная, подлинная и абсолютная, ему слышны «гаммы

¹ Э. [Метнер Э.К.]. Симфонии Андрея Белого // Приднепровский край. 1903. № 2024. 16 дек.; Андрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках и толкованиях современников / Антология. СПб., 2004. С. 50.

² Аскольдов С. Творчество Андрея Белого. С. 75.

из невидимого мира». Поэтому в «симфонии» ирония постоянно оборачивается неподдельным пафосом, и на московских крышах, где «орали коты», появляется пророк — Владимир Соловьев, трубящий в рог и возвещающий о восходящем «солнце любви», а в экипаже, управляемом кучером «в цилиндре и с английским кнутом», разъезжает красавица сказка, «синеглазая нимфа», предстающая в ореоле «вечно женственного». Портрет Москвы «эпохи зорь» во второй «симфонии» целиком окрашен у Белого «шестым чувством» — «чувством Вечности», которое для него — «коэффициент, чудесно преломляющий все»¹.

При этом мистические экстазы, которыми насыщена «симфония», компрометируются на каждом шагу, иронический шарж доминирует и в изображении мистиков, заполонивших московские кварталы и медитирующих под бдительным наблюдением квартальных. Соприкасаясь с косной, враждебной действительностью, высокие помыслы искажаются, материальная среда претворяет вдохновенные грезы и мистические символы в самопародию. Однако такую «сатирическую», по аттестации самого Белого, установку не следует понимать однозначно. Например, явно «сатирически» окрашены рассуждения двух мистиков о потаенных значениях цветов: «пурпурный свет — ветхозаветный и священный, а красный — символ мученичества» и т.д.; «Оба сидели в теософской глубине. Один врал другому», — резюмирует Белый. И в то же время сам Белый с увлечением предавался исследованию мистической «семантики» цветов, развивал свои соображения об этом в письмах к близким людям (А. Блоку, Э. Метнеру) и в статьях («О религиозных переживаниях», «Священные цвета»²); в сущности, это те же самые рассуждения, которые в тезисной форме вложены в уста комических мистиков. В ироническом отсвете подаются самые близкие Белому идеи и пророчества. Справедливо отмечено, что «насмешка и вера — две стороны отношения поэта к любой влекущей его идее, к своему собственному Я»³. Соблюдая это двуединство, Белый во многом следует примеру Вл. Соловьева, который (как сам Белый отметил в ноябре 1901 года) «молча всматривался и прислушивался, редко заикаясь о «слышанном» и «виденном», если и говорил, то прикрывал слова свои шуткой»⁴. Так, поэма Соловьева «Три свидания» — это, согласно примечанию автора, попытка «воспроизвести в шутливых стихах самое значительное» из его жизненных событий и переживаний; свои

¹ Из письма Андрея Белого к Э.К. Метнеру от 14 февраля 1903 г. // РГБ. Ф. 167. Карг. 1. Ед. хр. 9.

² См.: *Белый Андрей*. Арабески. Книга статей. М., 1911. С. 115–129; Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 38–44.

³ *Силард Л.* О структуре Второй симфонии А. Белого // *Studia slavica* (Budapest). 1967. Т. 13. С. 318.

⁴ *Лавров А.В.* Юношеские дневниковые заметки Андрея Белого // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1979. Л., 1980. С. 133.

истово пророческие стихи о схождении на землю «вечной женственности» Соловьев также облек в шутивную оболочку и сопроводил подзаголовком «Слово увещательное к морским чертям»¹. Стремление передать «высокое» через «низовые», заведомо неадекватные формы понятно: свет мистических озарений слишком ослепителен, безусловен и невоплотим в слове, его трудно отобразить во всей его силе и насыщенности прямым высказыванием. И Белый предпочитает передавать то, что считает за истину и откровение, не впрямую, не в виде привнесенного в художественную структуру манифеста, а в рамках ее жидущегося на иронии единства, отраженным светом, сквозь призму мнимого (или полумнимого) развенчания, в обличье шутки и даже буффонады, с присовокуплением снижающих «бытовых» подробностей и аналогий. Посредством пародийных приемов Белый освещает путь к сакральному и священному².

Немаловажны также слова Белого о том, что он в своей «симфонии» старается осмеять именно «крайности мистицизма», а не мистицизм как таковой. «...Очевидно, не все в Мусатове осуждается автором, а лишь крайности», — подмечал в статье «Симфонии Андрея Белого» Э. Метнер³, а сам Белый указывал: «...конец *«Симфонии»* — превращается в пародию на крайности наших же мистических переживаний весны 1901 года»⁴. Дискредитируется не суть мистического познания, а лишь конкретный опыт овладения им, высмеиваются неумелые, поспешные, самонадеянные способы проникновения «за пределы предельного». Примечательно, что слова о неверном образе действий «московских мистиков» в «симфонии» произносит некто *«пассивный и знающий»*; истинное знание о мире — а не только о его эмпирической видимости — требует тишины, а не суеты. И в то же время, развенчивая самозванного пророка и вместе с ним собственные неумеренные увлечения, Белый не ниспровергает окончательно своего героя, чьи изначальные помыслы и глубинные устремления духа остаются вне критики. Не случайно в уста Владимира Соловьева вложена снисходительная оценка действий группы Мусатова («Первый блин всегда комом»), и столь же внимательно и сочувственно относится к ней мудрый отец Иоанн, знаменательный носитель имени евангелиста и автора Апокалипсиса, произносящий в финале «симфонии»: «Их неудача нас не сокрушит... Мы не малoverны, мы *многое* узнали и *многого* ждем...» Путь мистических соблазнов и разуверений Мусатова осмысливается как некий

¹ Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 132, 120–122 (Б-ка поэта. Большая серия).

² См.: Павлова Л.В. Parodia sacra: «Симфония (2-я, драматическая)» А. Белого // Известия АН. Серия литературы и языка. Т. 57. 1998. № 1. С. 28–35.

³ Приднепровский край. 1903. № 2023. 15 дек. Подп.: Э.

⁴ Белый Андрей. Материал к биографии. Л. 23.

обряд инициации, подтверждающий подлинность исходного, духовного пафоса и открывающий новые горизонты, новые грани познания той потаенной и неуловимой сути мира, которую Белый охватывает удивительной «симфонической» формулой: «Невозможное, нежное, вечное, милое, старое и новое во все времена»¹.

Подобно тому как 1901 год дал духовный импульс всей последующей жизни Белого, так и вторая «симфония», непосредственно запечатлевшая переживания этого года, стала зерном, из которого развилось все его зрелое творчество. Многообразные линии преемственности соединяют ее не только с последующими «симфониями», но и со стихами 1900-х годов, с романами «Петербург», «Котик Ле-таев», «Москва», с поэмой «Первое свидание» и т.д.² Замечательно, однако, что Белый предвосхитил в этой «симфонии» не только многие мотивы своих будущих произведений, но и конкретные приметы будущей, еще только предвидимой и предсказываемой реальности. Так, в 1901 году изображаемая им «мистическая общественность», заполонившая Москву, была еще в полной мере уделом авторского воображения, но она станет вполне приметным реальным явлением несколько лет спустя; Мережковский и Розанов («симфонические» Мережкович и Шиповников) попадут в орбиту широкого обсуждения уже после окончания «симфонии», когда в ноябре 1901 года в Петербурге начнутся публичные Религиозно-философские собрания; пропагандистская деятельность Мусатова в 1901 году также еще не имела автобиографических аналогий, но двумя годами спустя платформа теургического символизма, выдвинутая Белым, уже станет объектом внимания и полемики, а вокруг писателя сформируется мистико-апокалипсический кружок «аргонавтов», обозначенный в ироническом отсвете в «симфонии» еще до его фактического возникновения. В этом отношении чуткость Белого к духовным запросам и веяниям времени, его редкой пронизательности интуиция проявились столь красноречивым образом, пожалуй, впервые. Этот факт тем более знаменателен, что к осени 1901 года, когда была закончена вторая «симфония», студент Борис Бугаев еще не имел практически никаких личных контактов с литературно-общественным миром и вообще вел достаточно замкнутый образ жизни; инициатором издания «симфонии» стал М.С. Соловьев, отец его ближайшего друга, познакомивший с поразившим его произведением Брюсова (который дал разрешение опубликовать «симфонию» под маркой символистского издательства «Скорпион») и придумавший автору псевдоним, навсегда за ним закрепившийся.

¹ *Белый Андрей*. Pro et contra. С. 44.

² Ср.: Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». С. 89–92.

Во второй «симфонии» нетрудно обнаружить элементы сюжетных конструкций, а местами и вполне цельное повествование (например, вся ее третья часть), но в основном связь между сменяющимися друг друга рядами образов и картин осуществляется ассоциативным путем. Следование этому принципу позволяет Белому выявить единство изображаемого калейдоскопического мира, показать связь «высокого» и «низкого» планов бытия. Третья «симфония» «Возврат», начатая в конце 1901 года вскоре после окончания второй «симфонии», построена уже по отчетливой и достаточно жесткой сюжетной схеме, столь же отчетливо в ней прослежены символические соответствия между «идеальным» и «реальным», но основное творческое задание Белого подчиняется здесь не изображению «музыкального» единства бытия, а контрастному сопоставлению подлинного мира вечных сущностей и фиктивного мира земного существования. Житейская повседневность, как утверждает Белый, лишь марево, мучительное прозябание, томительное наваждение, и преодолеть его можно, вспомнив и восстановив свою родовую связь с вневременным, космическим началом, разорвав замкнутый круг «вечного возвращения» («змеиные кольца» времени). С Ницше в «Возврате» ассоциируются не только художественно претворенные мотивы «вечного возвращения», но и идея высшего познания через психическое расстройство (именно как священное, провиденциальное безумие воспринимал Белый душевную болезнь Ницше в последние годы его жизни); в самой фамилии героя «симфонии», возможно, таится указание на Ницше (уже отмечалось ее анаграмматическое сходство с именем философа: *Хандриков — Фридрих*)¹. Впрочем, обрисовывая своего безумца, Белый сознательно опирался и на традиции русской литературы, об этом сигнализирует и имя Хандрикова — Евгений (имя обезумевшего героя пушкинского «Медного всадника»), и определенная связь этого персонажа с Поприциным из гоголевских «Записок сумасшедшего» и князем Мышкиным («Идиот» Достоевского)².

Первая часть «Возврата» представляет собой свободную фантазию на темы вневременного райского бытия, вторая изображает реальный (а по сути, ирреальный) мир, но в ней «мистический сюжет первой ясно просвечивает как бы через какой-то искусно подобранный и символически ей адекватный транспарант»³. «Симфония» первой

¹ Авраменко А.П. «Симфонии» Андрея Белого. С. 67.

² См.: Паперный В. Андрей Белый и Гоголь // Единство и изменчивость историко-литературного процесса (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 604). Тарту, 1982. С. 115–116; Казари П. Персонаж у раннего Белого: Хандриков из «Третьей симфонии» // Andrej Belyj. Pro et contra. Atti del I Simposio Internazionale «Andrej Belyj». Milano, 1986. P. 17–22.

³ Аскольдов С. Творчество Андрея Белого. С. 82.

части слышится сквозь «какофонию» второй части; ребенок из мира первозданного блаженства предстает магистрантом Хандриковым, страдающим от тщеты и бессмысленности своего существования и постоянно ощущающим сигналы иного бытия. Образы из первой части («сон» Хандрикова) воскресают в новом обличье в «эмпирии» второй части, часто в сниженном, бытовом плане или в аспекте иронических уподоблений: «морской гражданин», учащий своих сыновей низвергаться со скалы в морскую пучину, оборачивается стариком в бане, который «учил сына низвергаться в бассейн»; змея с рогатой головкой, угрожающая ребенку, преобразуется в «черного змея» — железнодорожный поезд, который «приподнял хобот свой к небу»; созвездие Геркулеса напоминает о себе «синей коробкой, изображавшей Геркулеса»; кентаврам из первой части соответствуют два университетских профессора, похожие на кентавров, и т.д. Такой же неукоснительный параллелизм сохраняется и в обрисовке двух центральных образов-мифологем: «колпачник», символизирующий мировое зло в первой части, воплощается в «реальном» плане в приват-доцента Ценха, изливающего на Хандрикова «стародавнюю ненависть», а старик-демиург, наставник и защитник ребенка, предстает в обличье психиатра доктора Орлова (соответственно, орел — «пернатый муж с птичьей головой», — которого старик обещает послать к ребенку, уходящему в «пустыню страданий», является Хандрикову в виде мужчины среднего роста в сером пиджаке и с пернатой головой и, подобно египетскому птичьеголовому богу Тоту, «владыке времени», препровождавшему усопших в царство мертвых, отправляет его в Орловку «в санаторию для душевнобольных»).

Художественное целое «Возврата» основывается на принципе зеркальной симметричности миров, которые, при всем изоморфизме друг другу, характеризуются и целой системой противопоставлений: мир вечности един и целостен, мир времени хаотичен, дискретен, раздроблен; первый постигается иррационально, синтетически, второй — рассудочно, путем логических выкладок и словопрений, переданных в «симфонии» под знаком трансцендентной иронии; в первом преобладают указания на некие сущностные, глубинные, невыразимые словом явления, во втором — велеречивые высказывания на различные абстрактные темы, отчужденные от подлинной сути бытия или профанирующие ее¹. Тема двоемирия и символической связи двух планов мирового единства нашла в «Возврате» чрезвычайно яркое и последовательное художественное отображение. Брюсов, рецензировавший «Возврат», расценил это произведение как наиболее совершенный и внутренне законченный

¹ См.: Минц З., Мельникова Е. Симметрия — асимметрия в композиции «III симфонии» Андрея Белого // Труды по знаковым системам. XVII (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 641). Тарту, 1984. С. 84–92.

опыт «симфонического» творчества Андрея Белого, покачнувшего «недвижную основу трехмерного пространства» и приоткрывшего «второй план вселенной»; Белый, по впечатлению Брюсова, «подобен человеку, который видит сон, но продолжает слышать все происходящее вокруг него. Житейское врывается в видение мечты, но и все повседневное озарено фантастическим светом грезы. Андрей Белый сумел обличить в образах всю призрачность, всю «трансцендентальную субъективность» нашего отношения к вещам. Он вынул какие-то связи между событиями, выпавшие легко, как ненужные украшения, — и вдруг вся эта строгая последовательность нашей обыденной жизни обратилась в бессвязный и чудовищный хаос, в бесцельно метущийся водоворот, которому нет выхода. <...> Но в то же время А. Белый показал нам, как все мелочи этой обыденности проникнуты, пронизаны светом иного бытия, — как все они получают новый и глубокий смысл, если смотреть на них с *иного плана*.

А еще дальше, в почти произнесенном, священном намеке, встают дали *третьего плана* вселенной, последней истины»¹.

Над четвертой «симфонией» Белый начал работать летом 1902 года; этим временем датируется ее первая редакция, отрывки из которой появились несколько месяцев спустя в символистском альманахе «Гриф». Судя по опубликованным фрагментам (полный текст этой редакции не сохранился), «симфония» тогда по своей тематикостилевой фактуре еще существенно не отличалась от первых трех, выделяясь на их фоне, пожалуй, лишь более активным и всепроникающим теур-

¹ Вesy. 1904. № 12. С. 59–60. Особо следует отметить новейшую работу Сурина Золяна «Модальность как текст, сюжет и метафора: В мирах «Возврата» Андрея Белого» (Новое литературное обозрение. 1995. № 16. С. 7–23), представляющую собой опыт углубленного анализа онтологической природы «симфонии» Белого и логико-семантических отношений, реализуемых в ее тексте. Исследователь приходит к выводу о том, что «взаимодействие ключевых метафор, обозначающих различные межмировые отношения, позволяет разрешить конфликт между идеей традиционного для символизма платонизма с ценностной иерархией различных миров и эссенциалистским (сущностным) пониманием мировых соответствий, с одной стороны, и намечающимся релятивизмом, носителем которого оказывается Хандриков, для которого равновозможны и относительны все альтернативы и все философии, — с другой. <...> Релятивизму размышлений Хандрикова противопоставлен детерминизм его судьбы (не допускающая сущностных изменений повторяемость и окончательный возврат). Необходимость, т.е. обреченность или предопределенность самого Хандрикова, опровергает высказываемую Хандриковым идею равновозможности и неопределенности существующего. <...> В своих межмировых путешествиях герой не просто переходит от мира к миру, а в конечном итоге, пройдя «ненужные повторения», возвращается — значит, на множестве миров существует некоторый отмеченный мир, начальная и конечная точка, поэтому все остальные миры не являются равноправными хотя бы в этом отношении» (С. 20–21).

гическим импульсом. Сам Белый свидетельствует: «4-я «Симфония» должна была дать новую, мистически правильную, транскрипцию 2-й: раскрыть подлинную ноту времени: второе пришествие уже происходит; оно не в громе апокалиптических событий истории, а в тишине сердец, откуда появляется Христос; я позднее 3 раза переправлял редакцию этой «Симфонии»; в «Кубке метелей» ничего почти не осталось от этой версии, где еще не было ни Адама Петровича, ни Светловой, ни полковника Светозарова, ни золотобородого мистика, а действующими лицами были юноша Лавров, мистик Саврасов, переживающий тайну 2-го Пришествия, и Тугарина, которую платонически любит Лавров; но появляется «прыщавый бородач», редактор журнала «Пафос», который искажает в оргиазме и в культе Астарты христианские веяния журнала «Патмос»; я считаю эту первую редакцию 4-й Симфонии наиболее удачной <...> в «Кубке метелей» сохранились лишь куски от первой редакции во второй части (всё об обители и о видении Тугариной-Светловой Христа; то же в отрывках «Пена колосистая», «Золотая осень»); эта редакция Симфонии не писалась, а записывалась фразами; фразы же я подслушивал; они мне как бы подавались из ветра»¹.

В предисловии к книге стихов «Пепел» (1908) Белый назвал «Кубок метелей» «единственной книгой», которой он «более или менее доволен и для понимания которой надо быть немного «эзотериком»². Такая самооценка, вероятно, подразумевала и полемический ответ на почти единодушное неприятие современниками этого произведения. В отзывах о нем преобладали резко критические ноты; достаточно привести заглавия рецензий: «Мистическая алгебра», «Кубок бездарных претензий»³. Сергей Городецкий, усмотревший в четвертой «симфонии» лишь «дикие упражнения», полагал, что неудача «Кубка метелей» — следствие принципиальной несостоятельности творческого метода автора: «...как только стремления провести музыкальные приемы в поэзию выразились с достаточной полнотой, сейчас же обнаружилась вся их нелепость»⁴. Думается, однако, что в большей мере был прав сам Андрей Белый в позднейших, уже весьма самокритичных, характеристиках своей последней «симфонии», объясняя (в частности, в автобиографическом письме к Иванову-Разумнику) недостатки «многослойного, пере-пере-мудреного» «Кубка метелей» тем, что основная работа над ним велась уже в пору, когда настроения

¹ *Белый Андрей*. Материал к биографии. Л. 29 об., 30. Патмос — остров в Эгейском море, на котором св. Иоанн Богослов имел пророческие видения, отраженные в Апокалипсисе.

² *Белый Андрей*. Пепел. СПб., 1909. С. 9.

³ Новое время. 1908. 2 июля; Киевские вести. 1908. 9 мая.

⁴ Образование. 1908. № 9/10. Отд. 3. С. 51–52.

«симфонической» «эпохи зорь» отошли в прошлое, перестали быть живым, непосредственным стимулом для новых творческих построений; работа над «Кубком метелей» в 1906–1907 годах — это «работа из периода, разорвавшего все с эпохой «Симфоний», над этой эпохой»: «В сущности, эпоха написания «Симфоний» есть 1899–1902 года <...> путь исканий вылился в 1902 году четырьмя «Симфониями», вышедшими в свет; последняя вышла гораздо позднее; и — в *перекаленном виде*»¹. Попытка сочетать творческие завоевания ранних «симфоний» с новыми мотивами, характерными для трагического, дисгармоничного мироощущения Белого середины 1900-х годов, с душевным надрывом и иступленностью, порожденными в значительной мере мучительной любовью к Л. Д. Блок (отношения Адама Петровича и Светловой в «Кубке метелей» — отчасти проекция этих переживаний), привела к созданию многослойного и разностильного, искусственно усложненного произведения. При этом техническое мастерство Белого явно совершенствуется; «симфония» изобилует блистательными по метафорической насыщенности образными рядами, изощренными словесными узорами, она, по мнению Э.К. Метнера, «довела гениально созданные приемы до головокружительной виртуозности, до микроскопической выработки самых утонченных подробностей, до своего рода словесного хроматизма и энгармонизма»². И в то же время общий эстетический итог «Кубка метелей» — не слагающаяся из этих составляющих грандиозная и роскошная постройка, а скорее ослепительные осколки разбитого вдребезги «симфонического» мира.

В рецензии на «Кубок метелей» Сергея Соловьева дается общая характеристика его содержания и образной символики. Интерпретации Соловьева заслуживают особого внимания: ближайший друг и постоянный собеседник Белого в пору его работы над окончательной версией четвертой «симфонии», он, безусловно, отразил в своих толкованиях не только собственные, но и в какой-то степени авторские идеи и замыслы, облегчавшие путь постижения этого «эзотерического» текста. «Кубок метелей», согласно разъяснениям Соловьева, являет собой «преломление идеи мистической любви полов сквозь призму современной нам русской действительности»: «Тема эта распадается на две части: 1) извечная борьба начал божественного и демонического в сознании влюбленных и 2) соответствующие этому внутреннему процессу явления в сфере объективной действительности: господство эротизма в современной русской литературе и сектантские радения, извращение Эроса в интеллигентном обществе и народном расколе. В первом случае мы имеем сцены *смешные*, во втором — *ужасные*. В искусной схеме Андрей Белый раскрывает вечную трагедию любви. При

¹ Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 488.

² Труды и дни. 1912. № 2. С. 28.

этом изображение борьбы Логоса с хаосом за обладание женственным началом природы раскрывается то с субъективной, то с объективной стороны; то чрез изображение душевной жизни и поступков трех главных действующих лиц: Адама Петровича, Светозарова и Светловой, то чрез изображение явлений природы, откуда и название книги «Кубок метелей». Метель — как нераскрытая возможность, зов любимой женщины. Душа мира одержима материальными силами (Светлов); ей предстоит разрешиться или в хаос, во мрак зимы, и встает образ полковника Светозарова, в ореоле серебряных листьев; или разрешиться в космос, в весенний свет, и встает образ странника, Адама Петровича, скуфейника с лазурными очами. Героиня Светлова из пустоты, небытия светской жизни углубляется в тайный скит мистической секты. Там происходит последнее сражение, и образ полковника Светозарова вновь встает символом небытия среди черных покровов, ароматного ладана и розового еля»¹.

Идейно-тематические постулаты, формулируемые Соловьевым, и сюжетные конструкции растворены у Белого в бесконечной череде «вихревых» образных построений, пренебрегающих обычными представлениями о границах художественной условности. Персонажи почти полностью утрачивают свою антропологическую определенность, превращаясь в чистые символы, заключая в себе даже целую иерархию символических представлений: Светлова — в высшем плане отблеск Жены, облеченной в солнце, полковник Светозаров — олицетворение Люцифера (Lucifer — «утренняя звезда», «свет зари»), а также дракон, символ «темного» времени, противостоящего вечности, преображенный Адам Петрович в финале «симфонии» соотносится с обликом Христа, он же в мифологической ипостаси являет тип героя-змеборца. При этом основная идейная коллизия «Кубка метелей» — противоборство «темного» времени и «светлой» вечности в душах людей и преодоление власти времени — не нова для Белого, она уже была с впечатляющей силой воссоздана в «Возврате», сказывалась и в более ранних «симфонических» опытах.

Распад целостной «симфонической» картины мира «эпохи зорь» Белый интуитивно пытается возместить в «Кубке метелей» рядом компенсаций: щедрой мистической риторикой, порождающей пышный «литургический» стиль взамен прежних скупых намеков и недосказанностей, изысканными метафорическими уподоблениями, нагнетанием символов — самоценных и самодостаточных, принципиальной установкой на «герметизм», — тенденцией к стиранию четких образных очертаний и перспектив, к взаимопроникновению поведения героев и явлений природы, «вещного» мира и метафизических начал вплоть

¹ Вesy. 1908. № 5. С. 73–74.

до окончательной утраты каждой из этих сфер собственной аутентичности¹. Стихия метели, как бы растворяющей в своем кружении духовное и материальное, закономерно становится глобальным, всеохватывающим символом, определяющим всю образную структуру «симфонии». Тенденция к взаимопроникновению духовного и материального, абстрактных и конкретных понятий зримо сказывается у Белого в выстраивании метафор, апеллирующих к различным одеждам и тканям (например, метель персонифицируется, поскольку она уподобляется игуменье «в черных шелках», изгибается «атласным станом», плещет «муаровой мантией», рассыпает «клубок парчовых ниток»); подсчитано, что в тексте четвертой «симфонии» встречается более 200 различных материй (бархат, кружево, шелк, парча, атлас, муар, кисея и т.д.), лишь 25% этих словоупотреблений использовано в прямом значении, а 75% — в переносном². Изошренная образная орнаментика, рождающаяся в бесконечных и безудержных вариациях сравнительно небольшого количества непрестанно возобновляющихся тем и мотивов, растворяет в себе собственно сюжетные элементы и полностью их подчиняет: сам Белый в предисловии признает, что ему «часто приходилось удлинять «Симфонию» исключительно ради структурного интереса». Преобладание этого «интереса» над другими творческими задачами само по себе примечательно: видимо, прежние спонтанные импульсы, как бы непроизвольно выливавшиеся в «симфонические» формы, уже перестали быть действенными, потребовались другие, внешние «энергетические» силы для того, чтобы заморозить, заковать словом ускользающую из-под контроля жизненную и духовную реальность.

В 1907 году Белый написал рецензию на роман А.М. Ремизова «Пруд» (в его первоначальной редакции), в котором отозвался об этом произведении весьма критически: «...Ремизову не удался «Пруд». И не то чтобы ярких страниц здесь не было <...> это — тончайшие переживания души (сны, размышления, молитвы) и тончайшие описания природы. Схватчена и жизнь быта. Но схватить целого нет возможности: прочтешь пять страниц — утомлен; читать дальше, ничего не поймешь. <...> Рисунка нет в романе Ремизова: и крупные штрихи, и детали расписаны акварельными полутонами. Я понимаю, когда передо мной небольшая акварель. Что вы скажете об акварели в сорок квадратных саженей? <...> А в целом — это море нежных бесформенных тонов <...> десятками страниц идет описание кошмара; случайный кошмар не отделен от фабулы, потому что фабула, рас-

¹ См.: *Keys Roger. Rely's Symphonies // Andrey Bely: spirit of symbolism / Ed. by John E. Malmstad. Ithaca; London, 1987. P. 46–47.*

² См.: *Юрьева З. Одежда и материя в цикле симфоний Андрея Белого // Andrey Bely. Centenary papers / By Boris Christa. Amsterdam, 1980. P. 118–134.*

пыленная в мелочах, переходит в кошмар, распыленный в мелочах»¹. На то, что эта характеристика «Пруда» могла бы послужить и автохарактеристикой «Кубка метелей», законченного как раз ко времени появления рецензии, уже обращал внимание Иванов-Разумник²; но не скрываются ли за упреками Белого, расточаемыми по адресу «Пруда», и его догадки о том, в каком свете может быть воспринято читателями его собственное творение? С опасений относительно литературной судьбы «симфонии» («Кто ее будет читать? Кому она нужна?») Белый начинает свое предисловие к «Кубку метелей», в котором формулирует основное задание произведения как «путь анализа <...> переживаний, разложения их на составные части»: изначальная установка уже совершенно иная, чем в первых «симфониях», тяготеющих к синтетизму на всех уровнях. Аналитизм «Кубка метелей», подчинявший себе «симфоническую» структуру, влек за собой возрастание эстетического суверенитета отдельных фрагментов и слабую их взаимную согласованность, в результате чего весь текст воспринимался скорее как циклическая совокупность, чем как цельное произведение. Парадоксальным образом Белый в виртуозном и переутонченном «Кубке метелей» вновь обнаруживает неизбежное подспудное тяготение к той спонтанной форме, в которую выливались его первые, еще наивные и беспомощные, творческие опыты, — к лирическому отрывку в прозе. И в плане идейно-тематическом последняя «симфония» Белого, вобравшая в себя наиболее богатый реестр «симфонических» приемов и одновременно обозначившая кризис и исчерпанность «симфонического» жанра, напоминает о его первых пробах пера: «довременному хаосу» «предсимфонии», положившему начало «симфонической» космогонии, соответствует в четвертой «симфонии» возвращение в хаос «вихревого» мира природных явлений и человеческих страстей, в котором, как в воображенном Белым «кубке метелей», различные субстанции переливаются друг в друга и смешиваются до полной неразличимости.

«Кубок метелей», завершенный в 1907 году, предстал достаточно красноречивым доказательством того, что «симфоническая» форма, найденная Белым на рубеже веков, не универсальна, что она способна к ценностному саморазвитию лишь до той поры, пока сохраняется незыблемой в своих основных чертах и ориентирах мифопоэтическая картина мира, вызвавшая ее к жизни. Новых духовных импульсов, более широкого образа действительности, осмысляемой уже не только в системе метафизических понятий и под знаком мистических предначертаний, но и в социально-историческом аспекте, в трагических

¹ *Белый Андрей*. Арабески. С. 175–176.

² См.: *Иванов-Разумник*. Вершины. С. 46.

ответах современности — а именно к такому мировосприятию Белый стал все более последовательно склоняться, начиная с середины 1900-х годов, — «симфонии» уже вместить не могли. Оставшись сугубо индивидуальным жанровым образованием, они не породили сколько-нибудь значимой литературной школы: чужие опыты в «симфоническом» духе — такие, как поэма «Облака» (М., 1905) Жагадаса (А.И. Бачинского) или оставшаяся в рукописи поэма «Святой Владимир» (1904) П.А. Флоренского¹ — были единичными и всецело зависимыми от «оригинала»². Однако «симфониям» суждено было навсегда остаться самым ярким и законченным воплощением «эпохи зорь», послужившей истоком всего последующего творчества Андрея Белого, одним из наиболее выразительных и художественно совершенных памятников русского религиозно-философского, теургического символизма, одним из первых опытов в области экспериментальной прозы, получившей столь широкое развитие в XX веке, — а это не так уж мало.

От «симфоний», и главным образом от последней из них, прослеживается прямая линия преемственности к орнаментальной стилистике, обозначившей одно из основных направлений обновления русской прозы 1910–1920-х годов. Уже год спустя после выхода в свет «Кубка метелей», учитывая неоднозначный по художественному результату опыт четвертой «симфонии» и в значительной мере опираясь на него, Белый создает свой первый роман «Серебряный голубь», в котором налицо отличительные черты будущего орнаментализма: экспрессивность стилевого выражения, прихотливость интонационно-синтаксических рядов, последовательная ритмизация и метафоризация речи, обилие образных лейтмотивов, — все те принципиальные конструктивные

¹ См.: Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные. Статьи. Переписка / Сост., подгот. текстов и коммент. Е.В. Ивановой. М., 2004. С. 213–322.

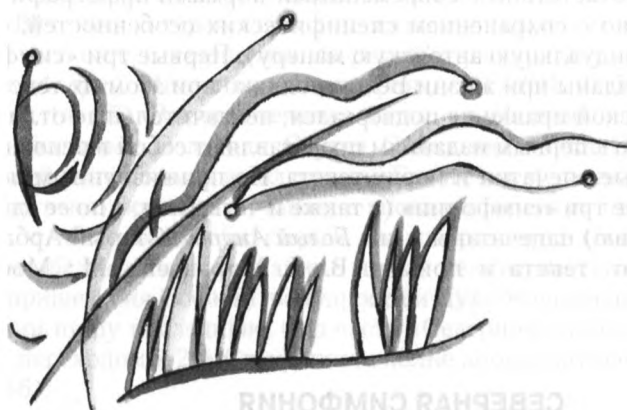
² В этом ряду особого упоминания заслуживает «Московская симфония (5-я, перепевная)» В.Ф. Ходасевича — изящная и меткая пародия на вторую «симфонию», оставшаяся в рукописи (впервые опубликована Робертом Хьюзом в его статье «Белый и Ходасевич: к истории отношений»; см.: Вестник Русского христианского движения (Париж). 1987. № 151. С. 145–149), но предполагавшаяся в 1907 г. к печатанию в московской газете «Литературно-художественная неделя» (редактор — В.И. Стражев). В ту пору, отмеченную острой внутрисимволистской полемикой, этой публикации, видимо, воспрепятствовал сам Белый, судя по письму к нему Ходасевича от 15 августа 1907 г.: «Стражев просил у меня для 1 № своей газеты пародию на 2 симфонию. Я не дал ответа, ибо хотел переговорить с Вами <...>. Дело в том, что за последнее время Вам делают достаточное количество крупных неприятностей, — и я боюсь увеличить число их еще одной, хотя бы и мелкой. Ответьте мне *совсем искренно*, не будет ли Вам почему-нибудь неприятно появление этой пародии в печати. Она написана (верьте) без всяких задних мыслей, но, повторяю, боюсь, что Вам покажется неприятным ее напечатание, хотя мне кажется, что там нет ничего „такого“» (Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 381).

элементы, которые характеризуют прозу писателя в период расцвета его творчества и в то же время обнаруживаются в произведениях немалого числа его младших современников и продолжателей, от Евгения Замятина до Бориса Пильняка и Всеволода Иванова. Прав был В. Шкловский, заметивший попутно, что без «симфоний» Андрея Белого «невозможна новая русская литература»¹.

А.В. Лавров

¹ Шкловский В. Андрей Белый // Русский современник. 1924. № 2. С. 243. В одной из новейших работ о «симфониях» Белого перечень писателей, овладевших его «симфоническими» приемами, включает М. Булгакова, С. Соколова, А. Кима, В. Пелевина — «хотя названные авторы могли и не осознавать этого» (Мильдон В.И. Заметки о литературной технике Андрея Белого в «симфониях» // Миры Андрея Белого. Белград; М., 2011. С. 517). Елена Толстая полагает, что «Вторая симфония» впервые в явном виде задает те мифопоэтические параметры, на которых будет строиться мистический роман Булгакова», и видит сходство между «симфонией» и «Мастером и Маргаритой» в совмещении уровней высшей мистики и балагана (Толстая Елена. «Мастер» и «Вторая симфония». К становлению «московского текста» в новой русской литературе // Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти Н.И. Харджиева. М., 2000. С. 814).

КОММЕНТАРИИ



Тексты четырех «симфоний» Андрея Белого печатаются по их первым изданиям, с исправлением типографских погрешностей и в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации (но с сохранением специфических особенностей, отражающих индивидуальную авторскую манеру). Первые три «симфонии» были переизданы при жизни Белого, однако при этом их текст творческой авторской правке не подвергался; незначительные отличия по отношению к первым изданиям представляют собой в основном дополнительные опечатки и порчу текста. По прижизненным переизданиям первые три «симфонии» (а также и четвертая — по ее единственному изданию) напечатаны в кн.: *Белый Андрей*. Старый Арбат. Повести / Подгот. текста и примеч. Вл. Б. Муравьева. М.: Моск. рабочий, 1989.

СЕВЕРНАЯ СИМФОНИЯ (1-я, героическая)

Впервые — отд. изд.: М.: Скорпион, 1904. Цензурное разрешение: Москва, 4 июля 1903 г. Книга вышла в свет в середине октября 1903 г. Переизд.: *Белый Андрей*. Собрание эпических поэм. Кн. 1. М.: Изд. В.В. Пашуканиса, 1917. С. 7–121.

О декабре 1899 г. Белый вспоминает: «Пишу <...> отрывки в прозе, из которых вынашиваются первые отрывки «Северной Симфонии» как навеянные балладой (ор. 24) Грига» (*Белый Андрей*. Ракурс к дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 4 об.). Работа над «симфонией» продолжалась на протяжении всего 1900 г. Январь 1900 г.: «...отделяю первые отрывки «Сев<ерной> Симфонии»; март: «Пишу «Симфонию» (1-ю часть)»; июнь: «...много работаю над второй частью «Северной Симфонии»; август: «Пишу 3-ю часть «Северной Симфонии»; декабрь: «Пишу 4-ю часть «Северной Симфонии», она закончена» (Там же. Л. 7, 8, 9).

В сказочном сюжете первой «симфонии» нашли определенное отражение идеи и эмоции, владевшие сознанием Белого в период работы над нею. Так, о мае 1900 г. писатель вспоминает: «...я переживал настроения, родственные настроениям рыцаря 2-й части «Северной Симфонии». «...Никогда не забуду я, — сообщает далее Белый, — первой половины июня, проведенной в одиночестве <...> за роялем; наша экономка, Мария Федоровна Вучетич, дама относительно культурная, была единственным моим собеседником; я ей развивал сложные мистические теории; все же прочее время сочинял за роялем мелодии; мне казалось, что я в потоке мелодий, из которого я осаждаю отрывки медленно записываемой 2-й части «Северной Симфонии»; «Конец лета (август) окрашен для меня <...> моей ссорой с М. Ф. Вучетич, которая стала мне казаться символом каких-то сомнительных сил; в «горбатом дворце» рыцаря отразилась М. Ф.» (*Белый Андрей*. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 14–15). Заключительная часть «симфонии» навеяна духовными исканиями Белого и Сергея Соловьева конца 1900 г.: «...мы с Сережей углубляемся в толкование Евангелия <...> наш мистический опыт этого времени — узвание апокалиптических переживаний в связи с «белым» цветом; смеясь, мы говорим друг другу, что мы исследуем «белые начала» жизни; в них — веяние наступающей великой эры пришествия Софии Премудрости и Духа Утешителя; в таком настроении пишу последнюю, 4-ю часть «Северной Симфонии», являющуюся переходом к 2-й Симфонии, вполне апокалиптической» (Там же. Л. 16).

Рукопись первой «симфонии» Белый выслал В.Я. Брюсову для напечатания в издательстве «Скорпион» 8 ноября 1902 г. (см.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 350). 9 апреля 1903 г. он писал Э.К. Метнеру: «...«Скорпион» всегда переполнен и крайне медлителен (моя 1-я симфония «Рыцарь и Королевна» появится, должно быть, года через два — не раньше)» (РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 13). Однако первая «симфония» была отправлена в набор в августе 1903 г. 30 августа Белый писал Брюсову в этой связи: «...нельзя ли озаглавить «Симфонию» как-нибудь индивидуальнее, а то произойдет неизбежная путаница со второй. Я предлагаю ряд заглавий, представляя вам выбор наиболее подходящих: «Северная симфония», «Север», «Северные страны», «Рыцарь и королевна», «Королевна». Если угодно в скобках (первая), а то и этого не нужно. Мне думается лучше всего: «Королевна» и «Северная симфония» (Литературное наследство. Т. 85. С. 366). Окончательный вариант заглавия был выработан в начале октября 1903 г., непосредственно перед выходом книги в свет, по предложению Брюсова, писавшего Белому: «Надо

изобрести что-нибудь, чтобы на заглавном листе не стояло дважды слово симфония. Ваша прежняя (т.е. раньше изданная) симфония называлась «2-я драматическая»; нельзя ли назвать и эту как-нибудь в том же роде — например, «1-я патетическая», «1-я F-dur» или что-либо подобное (беру слова лишь для примера, зная, что именно они не подходят)» (Там же. С. 370).

С. 8. Григ Эдвард (1843–1907) — норвежский композитор. Об октябре–декабре 1898 г. Белый вспоминает: «Эти месяцы окрашены для меня начинающимся увлечением Григом, которое тянется два года; первая мамой купленная тетрадка «*Lyrische Stücke*» производит на меня такое сильное впечатление, что я с этого времени все свои деньги трачу на приобретение произведений Грига; скоро у нас весь Григ; и мы с мамой вполне отдаемся новому увлечению» (Материал к биографии. Л. 11). Работу над «Северной симфонией» Белый начал под непосредственным воздействием музыки Грига: «Дома ежедневно слушаю Грига; Григ берет меня все глубже; исполнение мамой романса «Королевна» внушает мне чисто музыкально тему Северной Симфонии; романс «Королевна» сплетается с лейтмотивом баллады Грига (opus 24); когда дома нет никого, я подкрадываюсь к роялю и импровизирую мотивы «Симфонии»; во мне складывается нечто вроде «сюиты», текстом которой являются первые наброски 1-й части «Северной Симфонии»; тема их — «северная весна» (Там же. Л. 13 об., 14).

С. 21. ...*лаврентьевской ночью*. — Ночь с 9 на 10 августа, перед днем св. Лаврентия, мученика, особо почитаемого католической церковью; празднованию его памяти предшествует ночное бдение.

...*великан Риза* — тавтология: Riese (нем.) — великан, исполин. З. Юрьева в статье «Одежда и материя в цикле симфоний Андрея Белого» связывает это имя с «небесными ризами» (Andrey Bely. Centenary papers / By Boris Christa. Amsterdam, 1980. P. 120).

С. 24. ...*лесная бабатура*... — Придуманый Белым фантастический образ (соединение человека и тура) по аналогии с «козлоногими» — сатирами. См.: Мельникова-Григорьева Е. Принципы «пограничности» в «симфониях» Андрея Белого // Проблемы типологии русской литературы (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 645). Тарту, 1985. С. 104–105.

С. 28. *Антонов огонь* — болезнь (названа по имени св. Антония), свирепствовавшая в Средние века и состоящая в омертвлении членов; гангрена.

СИМФОНИЯ

(2-я, драматическая)

Впервые — отд. изд.: [М.:] Скорпион, [1902]. Цензурное разрешение: Москва, 18 марта 1902 г. Книга вышла в свет в апреле 1902 г. Переизд.: *Белый Андрей*. Собрание эпических поэм. Кн. 1. М.: Изд. В.В. Пашуканиса, 1917. С. 123–326.

К работе над второй «симфонией» Белый приступил, согласно его свидетельствам, в апреле 1901 г.: «На Фоминой неделе <9–15 апреля> пишу первую часть «Московской симфонии»; и тут же ее читаю Соловьевым. Они — поражены» (Ракурс к дневнику. Л. 10). По другому автобиографическому признанию начало работы относится к пасхальной неделе: «...на святой неделе я спешно, в 2–3 дня, набрасываю 1-ю часть «Симфонии»; и прочитываю ее Соловьевым, за чайным столом; М.С. Соловьев неожиданно для меня говорит: «Вот это я понимаю: Чехов и вы — современная литература; все остальное пустяки» (Материал к биографии. Л. 18 об.). Вторую часть «симфонии» Белый написал, по его воспоминаниям, в основном в ночь, с Троицына дня на Духов день (20–21 мая): «...я почувствовал сильное вдохновение: я выставил рабочий столик на балкон, поставил свечку и всю ночь напролет писал: была написана почти вся 2-я часть 2-й «Симфонии» в эту ночь; и эта ночь отразилась в этой части; все то, что разливалось для меня в заревом воздухе ночи, то вылилось в образах 2-й «Симфонии»; я чувствовал определенно, как пером моим водит чья-то рука; никогда я не писал так безотчетно»; на другой день по окончании второй части Белый прочел ее в Дедове М.С. и О.М. Соловьевым: «М. С. тогда же решил, что «Симфония» должна быть напечатана» (Там же. Л. 19 об., 20 об.). Ср. письмо Сергея Соловьева к Белому из Дедова от 14 мая 1901 г.: «Действительно, очень хочу вас видеть, а также мои родители, которые непременно хотят услышать ваши симфонии о Критике чистого разума. Итак, приезжайте, пожалуйста, и привозите рукопись» (РГБ. Ф. 25. Карт. 26. Ед. хр. 1). Вторая часть «симфонии» оказалась решающей в оформлении всего художественного замысла, согласно признанию Белого в письме от 7 августа 1902 г. к Э.К. Метнеру: «Мысль о «симфонии» как таковой мне пришла в голову лишь со второй части, которая таким образом и является по-настоящему первой. Первая же — придаток, имеющий с «симфонией собственно» весьма малую и чисто внешнюю связь» (РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 1).

К работе над третьей частью «симфонии» Белый приступил в начале июня 1901 г. в имении Серебряный Колодезь; в течение июля и августа была закончена третья часть и написана четвертая, заключительная

часть, которая в первоначальном варианте имела принципиально иной финал, чем в окончательном тексте: «В августе во мне окончательно созревает план: *«сорвать»* апокалиптическую романтику *«Симфонии»*. Я ее кончаю сперва нотой максимального пессимизма, картиной вымирания всего человечества (в этом смысле *«губастый негр»*, появляющийся на страницах 4-й части, есть в то время для меня неосознанный образ всеобщего одичания и вырождения; не только *«панмонголизм»* грозит Европе, но и внутренне в нас живущий — человек-зверь, человек-негр); вся апокалиптическая идеология Мусатова есть *«первый блин комом»*. Безнадежную последнюю сцену *«Симфонии»* я заменяю сценой в *«Девичьем Монастыре»*, где ясно, что ничего не погибло, что *«много светлых радостей осталось для людей»*; выясняется, что погиб лишь Мусатов и *«присные»*, скороспелые апокалиптики: батюшка Иоанн, символ Иоаннова начала и старчества, один знал заранее об ошибках в гнозисе Мусатова, но — тайл про себя свое знание» (Материал к биографии. Л. 23–23 об.).

В сентябре Белый прочел третью и четвертую части Соловьевым; М.С. Соловьев забрал у него рукопись всего произведения и передал ее для ознакомления В.Я. Брюсову как одному из руководителей московского символистского издательства *«Скорпион»*. Об октябре 1901 г. Белый вспоминает: «Получается ответ Брюсова на запрос М.С. Соловьева о моей *«Симфонии»*; Брюсов считает *«Симфонию»* прекрасным произведением и уведомляет, что *«Скорпион»* печатает ее, но только через год, ибо *«Скорпион»* уже на год завален работой; тогда М.С. Соловьев решает лично спешно печатать *«Симфонию»* под маркой *«Скорпиона»* (который на это соглашается); я не хочу печатать *«Симфонию»* под моим именем; мы выдумываем псевдоним мне; я предлагаю: *«Буревой»*, но М. С. смеется: «Нет, когда узнают, что автор — вы, то будут смеяться: «Это не Буревой, а *«Бори вой»*...» М. С. придумывает мне псевдоним: *«Андрей Белый»* и делается моим крестным отцом в литературном крещении» (Там же. Л. 25 об.). Дополнительным свидетельством о переговорах, предшествовавших решению о печатании *«симфонии»*, служит недатированное письмо М.С. Соловьева к Брюсову — ответ на неизвестное нам письмо Брюсова: «Спасибо Вам за письмо и за предложение *«Скорпиона»*. Ваш отзыв о поэме меня очень обрадовал. Самое главное, что Вы нашли ее *«говоря вообще прекрасной»*, а недостатки, Вами указанные, я признаю почти все. Вот относительно отсутствия напева, мелодии — я что-то не понимаю. Мне кажется, мелодия есть, поет все время, только часто фальшивит, и чем мелодия яснее и приятнее, тем резче поражают неверные ноты. Послушаюсь Вашего совета и издам эту вещь. Впрочем, и не могу поступить иначе, пото-

му что обещал, что будет издано, а если «Скорпион» отказывается, то, кажется, некуда больше обратиться» (РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 22).

По свидетельству Белого, «симфония» вышла в свет на Страстной неделе — 7–13 апреля 1902 г.: «...я скрываю ото всех, что я автор *«Симфонии»*; даже родители мои этого не знают <...> большинство ругает, не понимая «Симфонии»; говорят, что это — «дичь и бред»; мама, которой я книгу дал почитать, говорит: «А, должно быть, умница этот Андрей Белый». Старушка Коваленская очень хвалит «Симфонию»; Рачинский от нее в восторге; Эллис глубоко изумлен ею; он подозревает, что автор — я» (Материал к биографии. Л. 28). В числе почитателей «симфонии» — Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус, а также А. Блок, написавший о ней рецензию, выдержанную в лирико-эмоциональном ключе (Новый Путь. 1903. № 4. С. 164–165).

Об авторе «симфонии» поначалу ходили различные предположения. Так, 26 мая 1902 г. Сергей Соловьев сообщал Белому о том, как реагировали на появление «Симфонии» его гимназические преподаватели И.Л. Поливанов (сын Л.И. Поливанова) и Л.П. Бельский (известный как переводчик «Калевалы»): «Бельский, купив Симфонию случайно в магазине, по первой же странице решил, что автор Симфонии — я. Я разрушил эту ересь, заметив, впрочем, что в Симфонии *не без меня*, и указав особенно на место, где является Барс Иванович. С первой же строчки Барс Иванович был узнан <...>. Оказалось, что и Венкстерн одно время был уверен, что автор Симфонии — я. Что же это такое? Теперь подозрение падает на... Брюсова» (РГБ. Ф. 25. Карт. 26. Ед. хр. 2). Упомянутый Соловьевым А.А. Венкстерн — цензор и приятель М.С. Соловьева, который хлопотал у него о получении разрешения на выпуск «симфонии» в свет, подозревал, по воспоминаниям Белого, что «М. С., сойдя с ума, сам сочинил этот бред» (*Белый Андрей*. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 364). Весной 1902 г. близкий друг Белого А.С. Петровский писал Э.К. Метнеру: «Не приобретете ли себе одну книжку: Андрея Белого: Симфония, цена 1 р. Она доставит Вам несколько с удовольствием проведенных часов. Если возникнут догадки относительно автора, пожалуйста, *держите их про себя*. Если встретите в 1 и 4 части два лица, напоминающих меня, то помните, что это *не я* и у автора не было намерения изобразить меня. Вообще, эта вещь — шутка, не предназначавшаяся для печати, шутка, подчас доходящая до буффонады» (РГБ. Ф. 167. Карт. 16. Ед. хр. 24). Э.К. Метнер, примерно в это же время познакомившийся с Белым, позднее записал в дневнике (16 сентября 1902 г.): «...вышла в свет книжка А. Белого «Симфония», которую я начал читать, не зная,

что она принадлежит перу Бугаева, но среди чтения догадался, кто автор» (РГБ. Ф. 167. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 51). Широкою огласку подлинное авторство «симфонии» получило в кругах московской интеллигенции осенью 1902 г.

Автобиографизм второй «симфонии» сказывается не только в том, что Белый запечатлел в ней свои подлинные переживания, но и в описании ее персонажей, большинство из которых имеет своих реальных прототипов — его личных знакомых или известных деятелей культуры того времени. Некоторые из них обозначены более чем прозрачными псевдонимами: Мережкович — Д.С. Мережковский, Шиповников — В.В. Розанов, Шляпин — Ф.И. Шаляпин. В ноябре 1915 г. Белый, отвечая на вопросы Иванова-Разумника, готовившего тогда статью о его творчестве, писал ему: «Вы спрашиваете, кто такой *Барс Иванович*; это образ Льва Ивановича Поливанова, моего директора; мы с товарищем (Соловьевым) очень его любили и уже юношами, вспоминая гимназию, фантазировали на самые невероятные темы, заставляли Поливанова вставать из могилы и вмешиваться в события жизни; отражением этих *полушутливых* мифологем, под которыми жила в нас уверенность в наступлении *событий необычайных*», и явилась 2-я Симфония; и Л.И. Поливанов попал туда (2-я Симфония не писалась для печати, а для Соловьевых, для чтения в интимном кругу; и жаргон ее — «специфический»; мы его тогда называли «*арбатским наречием*»: она отражала наши интимные разговоры «*под лампой*», в которых принимал участие покойный Мих<аил> Сергеев<ич> Соловьев, его жена, их сын (Сергей Соловьев), я, А.С. Петровский и др.). А «*Алексей Сергееч Петковский*» — мой товарищ по университету, верней $\frac{1}{2}$ его; а другая $\frac{1}{2}$ его — Поповский; и это — *между нами*. Петковский — А.С. Петровский, ныне антропософ <...> в то время он пережил очень мучительный кризис от *материализма* и *скептицизма* к «*мистическому*» сознанию, которое в нем в то время двойлось: и он то становился «*подозревающим церковником*», а то чистым и просветленным мистиком; так как симфония писалась для «*своих*», для интимного круга, то я и выразил *педагогически* свое отношение к двум сторонам моего товарища, изобразив одну как *Поповского*, а другую как *Петковского* <...>» (РГАЛИ. Ф. 1782. Оп. 1. Ед. хр. 6).

В автобиографических записях Белый говорит об отражении в «симфонии» образа А.С. Петровского еще более отчетливо, отмечая, что в тексте ее на свой лад преломились и размышления о Серафиме Саровском, подвижнике Дивеевской обители, канонизированном в начале XX в.: «...старец Иоанн, появляющийся на страницах «*Симфонии*», сложился во мне под впечатлением наших разговоров с Петровским

о Серафиме, Дивееве; в нем отразился взгляд Петровского того времени на православие; некто же «*пассивный и знающий*», А.С. Петковский, просовывающийся в «*Симфонии*», есть та сторона в А.С. Петровском, которая в то время влияла на меня в моем самоопределении в сторону ортодоксального православия; таким «*знающим*» виделся в те дни Петровский О.М. Соловьевой; а в Поповском отобразилась та сторона в А. С., с которой я в те дни боролся <...> А. С. не доверял учению Вл. Соловьева о Софии; ему виделся тут эротизм и «*халдейство*»; он говаривал: «*Соловьев был халдей*»; в подозрении этом мне чувствовалось оскорбление, наносимое стихам Соловьева, и, косвенно, моим отношениям к М. К. М.; оттого-то «*Поповскому*» от меня и досталось в «*Симфонии*». Сергей Мусатов, герой «*Симфонии*», — проекция Сережи Соловьева того времени в будущее <...> «*сказка*» — М. К. М. <Морозова>; «*полусказка*» — сестра ее, Е. К. В. <Вострякова>; «*старичок*», в доме которого происходит встреча «*мечтателя*» со «*сказкой*», — профессор Расцветов; художник, изобразивший на большом полотне «*Чудо*», — М.В. Нестеров <...> «*Дрожжиковский*» — вымышленный тип; «*жаровые собрания*», происходившие в Первом Зачатьевском переулке, — вымышлены; но странно: они в этом переулке происходили через 4 года (в 1905 году), когда здесь собирались деятели Религиозно-философского общества в мае 1905-го года) (Материал к биографии. Л. 19 об., 20). Хотя автор и определяет Дрожжиковского как «*вымышленный тип*», этот персонаж ассоциировался в период создания «*симфонии*» с Мережковским, о чем свидетельствует письмо С. Соловьева к Белому от 30 июня 1901 г., в котором упоминается о журнальной публикации Мережковского: «*Сегодня пришел весьма интересный номер «Мира Искусства».* Статья Дрожжиковского: «*Христианство Льва Толстого*» <...>» (РГБ. Ф. 25. Карт. 26. Ед. хр. 1).

В третьей части «*симфонии*» непосредственно отразились наблюдения и переживания Белого, относящиеся к лету 1901 г.: «*Мусатов едет в деревню сделать «выводы из накопившихся материалов»*; это — я или умопостигаемый С.М. Соловьев; усадьба брата Мусатова — наша усадьба; поля, через которые он проезжает, — точная запись поездки моей из города Ефремова в Серебряный Колодезь (Ефремовского уезда, Старогальской волости). Брат Сергея (у Белого описка: «*Павла*». — *Ред.*) Мусатова — взят с одного из братьев Ознобишиных (помещиков Саратовск<ой> губернии), которого я встречал в бытность мою в Даниловке, у Усовых; мои личные переживания *закатов* переданы в отрывке, изображающем, как Вечность (т.е. Жена, облеч<енная> в Солнце) шутила со своим «*баловником*»; я каждый день переживал экстазы, подобные описанному там, на прогулках (вер-

хом) или на возвышенности за нашим новым плодовым садом <...>» (Материал к биографии. Л. 21–21 об.). В трактовке образа «сказки» в «симфонии» отразилась не только «мистическая любовь» Белого к М.К. Морозовой, но и тематика и стилистика его писем к ней; ср., например, одно из них:

«Многоуважаемая Маргарита Кирилловна,

Жемчужное облако пришло ко мне, опять улыбнулось зорей.
Жемчужное, матовое облако!..

Как дитя, смеюсь моей сонной сказке, сестра моя во Христе. Вы открыли мне глаза, и я увидел то, что навсегда осталось мне видным. Глубокое уважение, нежная привязанность и отблеск священной, братской любви запал мне в душу. Мне не нужно ни лично Вас знать, ни знать, как Вы ко мне относитесь. Мое блаженство в том, что я Вас считаю сестрой в духе.

Вот и всё.

Ваш рыцарь и брат».

(«Ваш рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М.К. Морозовой. 1901–1928. М., 2006. С. 43). См. также воспоминания М.К. Морозовой «Андрей Белый», в которых приводятся фрагменты из первого письма Белого к ней и других его писем (Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 522–545. Публикация Е.М. Буромской-Морозовой и В.П. Енишерлова).

С. 57. *Талантливый художник на большом полотне изобразил «чудо»...* — Подразумевается картина М.В. Нестерова «Чудо» (1895–1897), изображающая коленопреклоненную великомученицу Варвару с «усеченной главой», лежащей перед нею. Художник вспоминал: «В Уфе я написал своих «Монахов» («Под благовест») и «Чудо» и привез их в Москву. Там они всем очень понравились. Много похвал им расточалось в те дни» (Нестеров М. Воспоминания. М., 1985. С. 196). «Чудо» экспонировалось на Всемирной парижской выставке в 1900 г. Впоследствии Нестеров уничтожил картину.

С. 58. «Смейся, паяц, над любовью разбитой» и т.д. — ария Канио из финала первого действия оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы» (1892; либретто Леонкавалло, рус. пер. Н.М. Спасского).

«Я знаю тебя, Вечность!» — Почти дословно цитируется рефрен «Ибо я люблю тебя, о Вечность!» из философской поэмы Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (ч. 3, глава «Семь печатей»). См.: *Ницше Фридрих*. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 166–169.

С. 59. ...экземпляр немецкого перевода сочинений Максима Горького... — В 1901 г. в Германии вышло в свет одновременно несколько изданий произведений М. Горького на немецком языке: первые три тома «Рассказов» («Erzählungen») в 6-ти томах в переводе М. Феофанова, первые три тома «Избранных рассказов» («Ausgewählte Erzählungen») в 7-ми томах в переводе А. Шольца и первые два тома «Избранных произведений» («Ausgewählte Werke») в 6-ти томах в переводе П. Яковлева и К. Бергера.

«Критика чистого разума» (1781) — основополагающий философский труд Иммануила Канта. Белый впервые предпринял попытку его изучить весной 1898 г., затем — в конце 1900 г.: «...помнится, в ноябре месяце я вторично пытаюсь осилить «Критику чистого разума»; кое-как доплетаюсь до диалектики; и — решительно отвергаю Канта» (Материал к биографии. Л. 15 об.).

С. 61. *Два хитровца...* — Хитровцы — обитатели трущобных ночлежек Хитрова рынка в Москве.

С. 64. *Бёклин* Арнольд (1827–1901) — швейцарский живописец; автор картин на мифологические и символические темы.

«Московские ведомости» — ежедневная (с 1859 г.) газета, один из наиболее консервативных печатных органов.

С. 67. *Житие святых Козьмы и Дамиана* — памятник ранневизантийской литературы (IV в.), получивший распространение в древнерусском переводе (входил в Великие Минеи Чети, в Пролог); содержит описание чудес, творимых святыми — родными братьями и бескорыстными исцелителями. См.: Великие Минеи Чети, ноябрь, дни 1–2. СПб., 1897. Стб. 6–43.

С. 68. *Extemporalia* — учебные гимназические упражнения, состоящие в переводе текста (на родном для учащихся языке) на латинский или древнегреческий язык.

С. 69. ...«псевдогаллюцинации д-ра Кандинского». — Псевдогаллюцинации — ненормальное психическое состояние, при котором человека посещают необычные видения, образы, ощущения; в отличие от галлюцинаций (действительных обманов чувств), псевдогаллюцинации, по характеристике известного врача-психиатра В. Кандинского, — явления, осознающиеся самим субъектом «как нечто субъективное, однако вместе с тем — как нечто аномальное, новое, нечто весьма отличное от обыкновенных образов воспоминания и фантазии» (*Кандинский В. О псевдогаллюцинациях. Критико-клинический этюд.* СПб., 1890. С. 25–26).

См. *Курс психиатрии Корсакова*. — Белый отсылает к описанию псевдогаллюцинаций в кн.: *Корсаков С. Курс психиатрии.* М., 1893. С. 391.

Патетическая соната Бетховена — Соната № 8 (с-moll) для фортепьяно (ор. 13; 1798–1799).

С. 70. ...*в церкви «Никола на курьих ножках»* — в церкви св. Николая Чудотворца (что на Курьих ножках) на Большой Молчановке (Пречистенский сорок).

С. 72. ...*пройдя три стадии превращений, стали детьми: ни злых львов, ни косопатых верблюдов здесь нельзя было встретить.* — Подразумевается речь Заратустры «О трех превращениях» («Так говорил Заратустра», ч. 1, раздел «Речи Заратустры»), начинающаяся словами: «Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, ребенком становится лев» (*Ницше Фридрих*. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 18).

С. 75. «*Под чагующей лаской твоею*» и т.д. — романс «Под чарующей лаской твоею...» (1899; текст А.В. Маттизена, музыка Н.В. Зубова).

С. 79. ...*по ту сторону добра и зла...* — Обыгрывается заглавие книги Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла» (1885).

Нордау Макс (1849–1923) — немецкий критик и публицист. Наибольшей известностью пользовалась его книга «Вырождение» (русский перевод: СПб., 1894), в которой объединены различные явления «конца века» под знаком якобы наличествующих в них признаков духовного вырождения человечества; патологические отклонения Нордау обнаруживает, в частности, у представителей «нового» искусства. *Съезд естествоиспытателей и врачей*, на который у Белого направляется Макс Нордау, в Москве в первой половине 1901 г. не созывался; видимо, Белый в данном случае использовал аналогию со сходными крупными мероприятиями, происходившими тогда в Москве и широко освещавшимися в печати — агрономическим съездом (февраль) и съездом криминалистов (апрель).

С. 81. *Приехал знаменитый дирижер.* — Подразумевается Артур Никиш (1855–1922), венгерский и немецкий дирижер, композитор, музыкально-общественный деятель. Начало своего «увлечения Никишем» Белый относит к марту 1901 г. (Ракурс к дневнику. Л. 14).

...*адвокат Ухо... Кондижогло...* — фамилии, стилизованные под гоголевских персонажей (ср. Костанжогло во II томе «Мертвых душ»).

С. 84. «*Работник*» — товарищество по продаже сельскохозяйственного инвентаря и машин.

С. 85. «*Эрмитаж*» — ресторан: либо «Большой Эрмитаж» на Трубной площади, либо «Малый Эрмитаж» у Никитских ворот.

С. 86. ...*книжка Валерия Брюсова и Константина Бальмонта.* — Возможно, имеется в виду «Книга раздумий» (СПб., 1899) — сборник,

включавший стихотворения Брюсова, Бальмонта, а также Модеста Дурнова и Ив. Коневского.

С. 87. «*Мавритания*» — ресторан на Новой Башиловке в Суцевской части (дом Патрускина).

...циничный мистик из города Санкт-Петербурга... — намек на В.В. Розанова. Впервые Белый познакомился со сборниками его статей в 1900 г.: «...осенью 1900 года я начинаю внимательней вчитываться в произведения Розанова» (Материал к биографии. Л. 15).

«Федор Михайлович загадал нам загадку, и мы теперь ее разгадываем». — Обыгрываются заключительные фразы знаменитой речи Ф.М. Достоевского о Пушкине, произнесенной 8 июня 1880 г.: «Пушкин <...> унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 149).

С. 88. *Передавали поморы...* и т.д. — Белый сообщает, что эта «поморская» история о ките и Рюрике — один из «каламбуров» его отца, Н.В. Бугаева. См.: *Белый Андрей.* На рубеже двух столетий. С. 70.

См. московские газеты за май. — Белый излагает информационную заметку о городском происшествии, появившуюся 25 мая 1901 г. в большинстве московских газет («Русском слове», «Новостях дня», «Курьере», «Русском листке», «Русских ведомостях» и др.); под заглавием «Канализационное безобразие» она была напечатана в этот день в «Московских ведомостях» (№ 141). В ней сообщалось: «24 мая ранним утром в среде обывателей Солянки вызвало немалый переполох известие о том, что канализационные нечистоты начали затоплять собой дома этой местности. Вскоре выяснилось, что действительно подвальные жилые и нежилые помещения владений торгового дома Расторгуева на Солянке начали заливаться нечистотами. <...> Извещенная по телефону о происшествии на Солянке, городская управа распорядилась тем временем о высылке на Солянку городских канализационных техников и рабочих, которые после осмотра канализации нашли сильное засорение уличной канализационной магистрали в 10-ти или 12-ти сажнях расстояния от домов Расторгуева. Трудившиеся в течение всего дня над прочисткой магистрали техники и рабочие не добились никаких результатов. <...> Около 4-х часов пополудни на место происшествия явились главный городской инженер Семенов и другие городские инженеры», и т.д.

С. 90. *В булочной Савостьянова...* — В Москве было в конце XIX — начале XX в. более десяти булочных Савостьяновых. Белый подразумевает скорее всего булочную И. и А. Савостьяновых в собственном доме у Арбатских ворот.

С. 92. *Иеремия* (вторая половина VII в. до н.э.) — ветхозаветный пророк, предрекавший главным образом бедствия и высказывавший грозные предупреждения Иудее и Иерусалиму (Книга пророка Иеремии, Книга Плач Иеремии).

С. 93. *...сверх-человек*. — Образ-мифологема, знаменующий грядущий новый тип человека; обоснован Ф. Ницше в философской поэме «Так говорил Заратустра» (1883–1885), но встречается и в его более ранних книгах «Утренняя заря» (1881), «Веселая наука» (1883).

...дитяте из колена Иудина. — Колено Иудино — потомство Авраама, одно из двенадцати колен Израилевых — по пророчеству Иакова, призвано главенствовать в народе Божиим, пока не осуществится обетование Господне (Быт.: XLIX, 8–10).

С. 94. *...времена четырех всадников...* — Четыре всадника Апокалипсиса, являющиеся при снятии первых четырех печатей и вещающие: конечную победу воинства Христова (лучник на белом коне), всеобщую войну (меченосец на рыжем коне), голод (всадник на вороном коне) и смерть (всадник на бледном коне) (Откр.: VI, 1–8).

...новая ступень лестницы Иакова. — Вещий сон Иакова, ветхозаветного патриарха: лестница, стоящая на земле, касалась неба и по ней восходили и нисходили ангелы; Господь, стоящий на лестнице, обещает Иакову свое покровительство (Быт.: XXVIII, 12–17).

«И дух, и невеста говорят: приходи». — Откр.: XXII, 17.

С. 95. *«Сам он белый: на нем золотой венец. Вышел он, чтоб победить»*. — Ср.: «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить» (Откр.: VI, 2).

«Ему надлежит пасти народы жезлом железным. Сокрушат ослушников, как глиняные сосуды». — Ср.: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся...» (Откр.: II, 26–27).

«Его мать — жена, облеченная в солнце». — Ср.: Откр.: XII, 1–6.

...лев; он был из колена Иудина. — Апокалипсический образ: «...не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее» (Откр.: V, 5).

С. 96. *«Зло позабытое»* и т.д. — строфа из стихотворения Вл.С. Соловьева «Вновь белые колокольчики» (1900); вариант первого стиха: «Зло пережитое». См.: Соловьев Вл. Стихотворения. 7-е изд. М., 1921. С. 188, 338.

С. 97. *...человеческим, слишком человеческим*. — «Человеческое, слишком человеческое» (1878) — книга Ф. Ницше.

С. 98. ...*перекрещивая дикирий с трикирием*. — Дикирий — подсвечник с двумя свечами, употребляемый при архиерейском служении. Трикирий — трисвечник, знаменует троичность лиц в Боге. Дикирием и трикирием архиерей благословляет народ.

С. 103. «...одно, вечно одно!..» — намек на начальную фразу стихотворения Вл. Соловьева «Знамение» (1898): «Одно, навек одно!» (Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 119. Библиотека поэта. Большая серия).

С. 104. «*Золотые, изумрудные, черноземные поля...*» и т.д. — первая строфа стихотворения Вл. Соловьева «Нильская дельта» (1898) (Там же. С. 122).

С. 106. *Гиерофант* (иерофант) — у древних греков старший пожизненный жрец при элевсинских таинствах, председательствовавший на всех торжествах в честь Деметры — богини плодородия и земледелия.

С. 107. ...*самые большие могильщики...* — В выстраиваемом Белым рядом (стилизованном в духе средневековых аллегорических «видений») выделяются: Генрик Ибсен (*норвежский лев*), Л.Н. Толстой (*Емельян Однодум*; слова «*Тяп да ляп, и вышел карать!*» восходят к народной сказке о семи Семионах: «Я знаю делать корабли; только тяп-ляп, у меня и будет корабль»; см.: Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1957. Т. 1. С. 319, 324), Ф. Ницше (*Заратустра*), Морис Метерлинк (*бельгийский затворник*), Жорис Карл Гюисманс (1848–1907) — французский прозаик, в 1890-е гг. ставший ревностным католиком-мистиком (*французский монах*), Оскар Уайльд (*певец лжи, прозябающий в темнице*, — намек на эстетический диалог Уайльда «Упадок лжи» (1889) и на его тюремное заключение в 1895–1897 гг.), французский писатель и критик Жозефен Пеладан (или Сар Пеладан; 1859–1918), щедро использовавший в своих романах древнюю религиозную символику (*парижский маг*), Макс Нордау (*курчавый пудель, тявкающий на вырождение*), Джон Рескин (1819–1900) — английский теоретик искусства, историк, культуролог, публицист, заложивший основы эстетической программы прерафаэлитов. *Миланец* — возможно, итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо (1835–1909), бывший, однако, профессором не в Милане, а в Павии и Турине. Ср.: *Иванов-Разумник*. Вершины: Александр Блок. Андрей Белый. Пг., 1923. С. 39–40.

С. 108. «*Кто подобен зверю сему?*» — Откр.: XIII, 4.

С. 109. «*Пал, пал Вавилон, город великий!*» — Откр.: XIV, 8.

С. 111. ...*статью Мережковича о соединении язычества с христианством*. — Подразумевается исследование Д.С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», печатавшееся в журнале «Мир Искусства» на протяжении 1900 и 1901 гг.

С. 113. «Уж ты-иш дооля маа-я» и т.д. — песня Д.А. Клеменца «Доля» («Эх ты, доля, моя доля...», 1873). См.: Песни русских поэтов: В 2 т. Л., 1988. Т. 2. С. 207–208.

С. 114. «С головою седою верховный я жрец» и т.д. — Неточно цитируются первые строки стихотворения А.А. Фета «С бородою седою верховный я жрец...» (1884).

С. 118. «Ночь пронесется на крыльях тумана» и т.д. — Эти же строки Белый взял эпиграфом к одному из своих юношеских прозаических опытов (1897), оставшемуся в рукописи; см.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1980. Л., 1981. С. 118.

С. 119. ...ликовали и кричали нараспев... — Ср.: «Полунощи же вопль бысть: се, жених грядет, исходите во сретение его» (Матф.: XXV, 6).

С. 121. «Тат твам аси!» — формула, восходящая к Упанишадам — философской части Вед, древнейшего литературного памятника Индии. Белый познакомился с ней по публикации Веры Джонстон «Отрывки из Упанишад», в которой сообщается: «В сущности, идеалы Упанишад и вместе их конечный смысл так просты, что их можно выразить в трех санскритских словах: «тат твам аси» — *это (все) — ты*. Правда и цель человеческой жизни — в полной отрешенности от «самообмана отдельности». Лишь только человек поймет, что одно божественное начало действует в нем и через него так же, как и во всяком другом человеке, лишь только он отождествит себя с этим божественным началом, а через него и со всем человечеством, — задача его будет кончена и для него настанет полная свобода и сознательное блаженство» (Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 1 (31). С. 2–3).

С. 123. *Один знаменитый писатель чуть не положил жизнь за други свои.* — Намек на Л.Н. Толстого, болевшего в конце июня — июле 1901 г. тяжелой формой малярии и находившегося при смерти. О болезни сообщалось в печати.

См. газеты за июнь. — Документальный источник этих сведений не выявлен.

«Конец уже близок: желанное сбудется скоро». — Неточно цитируется заключительная строка стихотворения Вл. Соловьева «Сон наяву» (1895); в оригинале: «Конец уже близок, нежданное сбудется скоро» (Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. С. 110).

С. 124. ...летал вверх пятами, пародируя европейскую цивилизацию. — Реминисценция из «Братьев Карамазовых» (ч. 1, кн. 3, гл. III) — слова Дмитрия Карамазова: «...если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в унижительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976.

Т. 14. С. 99); ср. там же заглавие гл. V: «Исповедь горячего сердца. «Вверх пятами» (Там же. С. 106).

Церковь Неопалимой Купины... — Церковь в Полуектовом переулке в Хамовнической части Москвы (Пречистенский сорок).

С. 125. *Барс Иванович* — Лев Иванович Поливанов (1838–1899) — педагог, основатель и директор частной гимназии в Москве, в которой учился Белый; похоронен, как и Вл. Соловьев, в Новодевичьем монастыре. Об осени 1900 г. Белый вспоминает: «...начинается наше частое посещение с Сергеем Михайловичем Соловьевым «Девичьего Монастыря». Мы обходим могилы покойных Л.И. Поливанова и В.С. Соловьева; оба для нас играли огромную роль в жизни; оба для меня — «учителя»; обоих их сплетает память в нечто фантастическое; мы «мифизируем» их могилы» (Материал к биографии. Л. 15).

С. 127. *Карма* — древнеиндийское этико-религиозное понятие: совокупность всех добрых и дурных деяний, совершенных индивидуумом в прежних существованиях и определяющих его судьбу в последующих.

С. 129. *Шри-Шанкара-Ачарья* — Шанкарачарья (Шанкара; по преданию, 788–820) — индийский религиозный реформатор и философ, основоположник учения адвайта-веданты. С его взглядами Белый был знаком по статье Веры Джонстон «Шри-Шанкара-Ачарья, мудрец индийский» (Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 1 (36). Отд. 2. С. 1–39).

Патангали — Патанджали (сер. II в. до н.э.) — индийский философ и грамматик, считавшийся основателем философской школы йога и автором трактата «Йога-сутра».

«...о брахмане Веданты и о пурушах Самкхьи». — Брахманы — одна из групп ведической литературы: книги, написанные брахманами (жрецами) и для брахманов, представляют собой комментарии к самхитам (сборникам древнейших гимнов), имеющие в основном ритуальный характер. Пуруша — «вселенский» человек; дух, обитающий в теле; дух вообще. Самкхья (Санкхья) — учение о принципах бытия; одна из систем индийской философии.

С. 131. *Из трубы вылетали гортанные звуки...* — «О, если б мог выразить в звуке / Всю силу страданий моих», первые строки городского романса (слова и музыка Г.А. Лишина (Нивлянского), 1876). См.: Песни русских поэтов. Т. 2. С. 360.

С. 132. *Свернулись небеса ненужным свитком...* — Апокалипсический образ: «И небо скрылось, свившись, как свиток...» (Откр.: VI, 14).

Петр Невский — гармонист, пользовавшийся на рубеже XIX–XX в. всероссийской известностью; исполнял речитативом песенки злобод-

невного характера, аккомпанируя на им самим переконструированной гармонике.

...представление Художественно-общедоступного театра... — Подразумевается Московский Художественный театр, открывшийся в 1898 г. В 1901 г. Белый с живейшим интересом относился к его постановкам (см.: *Лавров А.В.* Юношеские дневниковые заметки Андрея Белого // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1979. Л., 1980. С. 128–131).

...седой мечтатель вел свою белую женщину к ледникам... — Имеется в виду финал драмы Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899) — восхождение Рубека и Ирены по леднику на вершину горы («к свету, к сиянию славы») и гибель их под снежной лавиной. Драма была поставлена Московским Художественным театром (преьера — 28 ноября 1900 г.; постановка Вл. И. Немировича-Данченко; Рубек — В.И. Качалов, Ирена — М.Г. Савицкая).

С. 133. *Золоторотцы* (простореч.) — босяки, оборванцы.

С. 134. *В театре Омона обнаженные певицы выкрикивали непристойности.* — Французский театр-фарс Омона (Камергерский пер., дом Лиозозова; директор Шарль Омон) пользовался скандальной известностью благодаря своему скабрешному репертуару.

С. 135. «*Где же ты, раа-дасть*» и т.д. — Ария Лизы из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» (1890; д.3, карт. 2, либретто М.И. Чайковского).

С. 140. *Спенсер* Герберт (1820–1903) — английский философ, один из родоначальников позитивизма.

ВОЗВРАТ

III симфония

Впервые — отд. изд.: М.: Гриф, 1905. Цензурное разрешение: Москва, 16 сент. 1904 г. Книга вышла в свет в середине ноября 1904 г. Переизд.: *Белый Андрей.* Возврат: Повесть. Берлин: Огоньки, 1922. Подзаголовок «Повесть» использован Белым применительно к «Возврату» только в этом издании. В планах неосуществленных собраний сочинений 1910–1920-х гг. Белый неизменно указывает «Возврат» в ряду «симфоний»; в позднейших упоминаниях определяет «Возврат» как «симфонию». В 1928–1929 гг. он собирался заново переработать «Возврат», но этого намерения не осуществил (см.: *Бугаева К., Петровский А., <Пинес Д.>*. Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. Т. 27–28. М., 1937. С. 579).

К работе над третьей «симфонией» Белый приступил поздней осенью 1901 г.: в ноябре была написана ее первая часть, в декабре, «перед рождеством» — вторая (Ракурс к дневнику. Л. 12 об.). Непосредственным стимулом к построению сюжета «симфонии» послужили университетские лабораторные опыты Белого — в это время студента естественного отделения физико-математического факультета Московского университета. О ноябре 1901 г. Белый свидетельствует: «...мне помнятся мои усиленные занятия в химической лаборатории количественным анализом: сперва весовым, а потом — объемным <...> никогда не забуду я долгих сидений перед чувствительными весами для измерения каких-нибудь крупинок анализируемого вещества; измерение крупинки, потом разведение ее чуть ли не в ведрах воды, потом выпаривание раствора, высушивание осадка и опять взвешивание — все это было достаточно скучно; во время этих занятий я начал в свободные часы (пока осаждались осадки) в гистологической чайной писать 1-ю часть симфонии «*Возврат*»; потом наступила неделя, когда я должен был с утра до семи часов вечера работать в лаборатории, чтобы вовремя получить зачет у Дорошевского; проф. Зелинский, который стал заинтересовываться моей работой, думая, что я у него буду писать сочинение по химии, представился мне преследующим меня <...> после зачета Дорошевскому я засел дома и быстро набросал 2-ю часть симфонии «*Возврата*», где в изображении покинутости лаборанта Хандрикова и его преследования проф. Ценхом отразились мои занятия в лаборатории; несколько черт Ценха взяты мной у проф. Н.Д. Зелинского (чисто внешние: Ценх изображен дьяволом; проф.<эссор> же Зелинский был человек мягкий, симпатичный, гуманный, хотя и строгий)» (Материал к биографии. Л. 26). В автобиографическом письме к Р.В. Иванову-Разумнику от 1–3 марта 1927 г. Белый характеризует рубеж 1901–1902 г. в своей жизни — время работы над «Возвратом» — как «момент упадочной усталости» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 493). Первые две части «Возврата» он переработал в начале 1902 г.

Третью часть третьей «симфонии» (в первоначальной редакции) Белый написал в апреле 1902 г.; вновь вернулся к работе над ней в августе того же года: «Пишу новую 3-ю часть симфонии «*Возврат*» <...>. Теперь «Возврат» готов» (Ракурс к дневнику. Л. 15); «...в этот месяц я уничтожил первую версию 3-й части «*Возврата*» и вместо нее написал ту часть, которая появилась в печати (Хандриков в санатории д-ра Орлова); «*апокалиптическая*» 3-я часть была выброшена как внешняя; музыкально в новой 3-й части отразилась «*Grande sonate*» Чайковского, которую мама играла августом» (Материал к биографии. Л. 30).

Весной 1903 г. Белый передал рукопись третьей «симфонии» для опубликования в московское символистское издательство «Гриф». 9 апреля 1903 г. он сообщил Э.К. Метнеру: «„Гриф“ <...> просили напечатать мою 3-ю симфонию — «Возврат», к изданию которой приступят осенью» (РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 13). В письме к Белому от 14 августа 1903 г. глава издательства «Гриф» С.А. Соколов сообщал о готовности выпустить в свет «Возврат» «этой осенью», если будет приостановлено печатание «Северной симфонии» в «Скорпионе» (во избежание появления на книжном рынке одновременно двух книг Белого). См.: Литературное наследство. Т. 85. С. 365. Однако печатание «Северной симфонии» не было отложено, и «Возврат» вышел в свет на год позже против первоначально намеченных сроков.

С. 148. ...*бурмидскими жемчугами*. — Крупные, круглые жемчужины.

С. 164. *Магистрант* — лицо, по окончании университета выдержавшее экзамен в определенной отрасли наук, но еще не защитившее диссертации на степень магистра.

С. 167. ...*Чиж «О больном таланте»*. — Возможно, намек на работы о Достоевском: психолог и психиатр В.Ф. Чиж — автор книги «Достоевский как психопатолог» (М., 1885); заглавие лекции Чижа ассоциируется с названием известной статьи о Достоевском Н.К. Михайловского — «Жестокий талант» (1882).

С. 171. ...*продавали рассказы Чирикова*. — В 1899–1901 гг. были изданы три тома «Очерков и рассказов» прозаика реалистической школы Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932).

С. 173. *Эскулап* — римское именование бога врачевания Асклепия (греч. миф.).

...*криогенетическими исследованиями*... — Криогенез — совокупность физических, химических, биохимических и др. процессов, происходящих в криосфере (оболочке Земли в зоне теплового воздействия атмосферы, гидросферы и литосферы) и сопровождающихся льдообразованием.

Трольды (тролли; герм. миф.) — гномы, горные духи.

С. 174. «*Основания физиологической психологии*» — труд немецкого психолога, физиолога, философа Вильгельма Вундта (1832–1920); был издан в русском переводе (т. 1–2. СПб., 1880–1881). Белый изучал его в августе 1900 г. (Ракурс к дневнику. Л. 8).

С. 176. *Кирхгоф* Густав Роберт (1824–1887) — немецкий физик, автор трудов по оптике, электродинамике, механике.

С. 177. «*О строении гексагидробензола*» — тема докторской диссертации Н.М. Кижнера, защищенной в 1900 г.: «О действии окиси серебра

и гидроксилamina на бромамины. О строении гексагидробензола». Белый общался с Кижнером во время своего обучения в университете и, как он сообщает, «просовывал нос в его специальнейшую работу»; см.: *Белый Андрей*. На рубеже двух столетий. С. 412–413.

С. 178. ...к Успенью на Могильцах. — Видимо, церковь Успения Пресвятыя Богородицы в Новодевичьем монастыре.

С. 183. «Выхожу один я на дорогу» — стихотворение М.Ю. Лермонтова (1841), переложенное на музыку более чем шестьюдесятью композиторами; широкой известностью пользовался романс Н.А. Титова.

С. 188. «Тебя я лаской огневою / И обожгу, и утомлю»; «Побудь со мной, побудь со мной!» — цитаты из романса «Не уходи, не покидай» («Не уходи, побудь со мною...», 1900; слова М.П. Пойгина, музыка Н. Зубова). См.: *Песни русских поэтов*. Т. 2. С. 363.

С. 191. «Напрасно хочу заглушить» и т.д. — цитаты из романса «Как сладко с тобою мне быть...» (1843; слова П.П. Рындина, музыка М.И. Глинки), известного Белому в исполнении А.В. Владимировой и М.А. Олениной-д'Альгейм.

С. 192. «Благословляю вас, леса...». — Цитируется романс П.И. Чайковского на текст А.К. Толстого (первые 17 строк из 2 гл. поэмы «Иоанн Дамаскин», 1858).

С. 193. *Персеиды* — метеорный поток с радиантом в созвездии Персея, ежегодно наблюдаемый визуально в августе. В автобиографическом плане упоминание о Персеидах связано для Белого с образом его отца, Н.В. Бугаева; в мемуарах он пишет об отце: «Помню ночь; мы — на приступочках террасы, задрав головы к звездам; над головою — звездный поток; он протягивал руки, вырывая: «Летят Персеиды: из-за Нептуна; в будущем году в эти же дни они будут лететь-с!» (*Белый Андрей*. Начало века. М., 1990. С. 23).

КУБОК МЕТЕЛЕЙ

Четвертая симфония

Впервые — отд. изд.: М.: Скорпион, 1908. Книга вышла в свет в начале апреля 1908 г. Печатается по тексту этого издания.

Работа над первоначальным вариантом четвертой «симфонии» относится к лету 1902 г.; июнь: «...пишу первую и вторую часть *первой редакции* четвертой симфонии»; июль: «Кончаю вчерне первую редакцию 4-й симфонии»; октябрь: «...начинаю перерабатывать первую редакцию 4-й *Симфонии*»; декабрь: «...перерабатываю 4-ю Симфонию»

(Ракурс к дневнику. Л. 14 об., 15, 15 об., 16 об.). В полном объеме текст этого варианта «симфонии» не сохранился; представление о нем можно составить по отрывкам, опубликованным в «Альманахе книгоиздательства «Гриф» (М., 1903). См. с. 372 наст. изд.

О сентябре 1905 г. Белый вспоминает: «В который раз берусь за переработку 4-й «Симфонии» (Ракурс к дневнику. Л. 29 об.); вновь за это произведение он берется в июле 1906 г.: «...перерабатываю и оканчиваю 1-ю часть «Кубка Метелей» (Там же. Л. 35). Над окончательной редакцией «симфонии» Белый активно работал в Мюнхене и Париже в октябре–декабре 1906 г.; в это время были написаны ее вторая и третья части. Тогда же он вел предварительные переговоры о печатании «симфонии». 13/26 октября 1906 г. Белый сообщил В.Я. Брюсову: «Пишу «Бокал метели». Как только закончу, пришлю рукопись»; 16/29 октября Брюсов отвечал: «...скажу и о «Кубке метелей». Мы его очень поджидаем. Начнем печатать тотчас, как получим рукопись. (Кстати: не позволите ли вы при этом несколько избранных отрывков напечатать в «Весах» <...>». Во второй половине ноября он писал Белому уже с большей уверенностью: «В «Весах» <...> думаем мы напечатать и «Кубок метелей», а книгой издать „Четыре симфонии“» (Литературное наследство. Т. 85. С. 392, 394, 402). Белый с охотой согласился на предложение Брюсова, который писал ему в первой половине февраля 1907 г.: «Поджидаем «Кубок метелей». Но начнем его уже со второй половины года» (Там же. С. 404).

Публикация четвертой «симфонии» в «Весах» не состоялась (равно как и отдельное издание в «Скорпионе» четырех «симфоний») — отчасти, вероятно, потому, что окончание авторской работы затянулось и намеченные журнальные планы были нарушены. В феврале 1907 г. Белый писал матери из Парижа: «Работы с *Симфонией* пропасть. Я ведь очень требователен к форме: тщательно отделяю каждую фразу, переписываю много раз. А у меня уже накопилось около 200 страниц, а еще целая часть не написана» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 358). В начале марта 1907 г. Белый извещал С.А. Полякова (руководителя издательства «Скорпион») о том, что четвертая «симфония» «будет готова к печати через 1–1½ месяца» (Stanford Slavic Studies. Stanford, 1987. Vol. 1. P. 90. Публикация Джона Мальмстада), однако и эти ориентировочные сроки были нарушены. В начале лета 1907 г. Белый писал М.К. Морозовой: «Сейчас занят с утра до вечера новой переработкой своей «Симфонии». Между тем «Скорпион» уже давно ждет ее и уже объявил, что она печатается. Ввиду этого мне необходимо в недели две ее обработать и переписать. Труд большой» (РГБ. Ф. 171. Карт. 24. Ед. хр. 1а). В письме к Брюсову от 19 июня 1907 г.

Белый обещал представить «симфонию» в готовом виде к 1 июля: «Благодаря тому, что я ее 2 раза переделывал только из-за того, чтобы она была *верна* внутренним переживаниям моим (уже далекого) прошлого, <представляла>, так сказать, точную фотографию моей *тогдашней души* (души меняются), я начал ее еще перерабатывать не столько с точки зрения «художества», сколько с точки зрения «автобиографичности» переживаний (только переживаний, а не событий)»; в этом же письме он выражал сомнения в целесообразности журнальной публикации фрагментов из «Кубка метелей»: «...мне немного жаль выхватывать из «Симфонии» одну часть, ибо части у меня конструктивно (лейтмотивами) сцеплены очень просто, а без общей конструкции пропадает половина смысла их» (Литературное наследство. Т. 85. С. 410). В течение июня 1907 г. Белый закончил четвертую часть «Кубка метелей» и передал «симфонию» в издательство «Скорпион».

В январе 1920 г., подготавливая для Издательства З.И. Гржебина неосуществленное собрание своих сочинений, в которое должны были входить и «симфонии» (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 65–66), Белый начал новую переработку «Кубка метелей» и «успел написать несколько первых отрывков, текст которых не сохранился» (Бугаева К., Петровский А., <Пинес Д.>. Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. Т. 27–28. М., 1937. С. 579).

В предисловии к 2-му тому этого несостоявшегося издания Белый замечал о «Кубке метелей»: «Осознавая безобразие многих мест «Симфонии», автор печатает ее ради немногих отрывков, которые он любит доселе и которые выражают его душу более, нежели первые 3 симфонии» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 12). Суждения Белого о «Кубке метелей» передает и его вдова К.Н. Бугаева в письме к Д.Е. Максиму от 15 декабря 1945 г., отвечая на вопросы исследователя: «4-ую Симфонию считал неудавшейся, «замученной» переработками. Кроме того, в ней он подошел к тем пределам, которые показали самую невозможность дальнейшей работы над этой формой, и — «пятой» симфонии уже не появилось. А появился «Серебряный Голубь», «Петербург» и т.д., т.е. «роман». Благодаря «замученности» фабула как-то судорожно перекрутилась. Для меня эта Симфония тяжела. В ней я люблю только метели, ветер, поля, солнце, — природу. А людей ее — нет, начиная даже с имен». И далее, разъясняя недоумения своего корреспондента, видимо, не уверенного в правильности предпринятой им «дешифровки» фабульной конструкции «симфонии»: «Теперь коротко отвечу на Ваши вопросы: Адам Петрович умер. Он тождественен со скуфейником, как и Свет-

лова — с игуменьей. Их любовь, пройдя через страсть, кончается встречей в иных планах. — Из деталей, может быть, Вам интересно будет узнать, что в «гадалке» отражена З.Н. Гиппиус» (РНБ. Ф. 1136. Ед. хр. 16).

В ряде исследовательских работ предпринят как общий анализ содержания и образного строя «Кубка метелей» (*Kovač Anton. Andrej Belyj: The Symphonies (1899–1908). A Re-Evaluation of the Aesthetic-Philosophical Heritage.* Bern; Frankfurt/M; München, 1976. P. 231–236; *Alexandrov Vladimir E. Andrei Bely. The Major Symbolist Fiction.* Cambridge, Mass.; London, 1985. P. 54–67; *Пискунов В.* Опыт прочтения «четвертой симфонии» Андрея Белого // Андрей Белый. Мастер слова — искусства — мысли. Istituto Universitario di Bergamo; Paris, 1991. С. 151–161; *Keys Roger.* The Reluctant Modernist: Andrei Belyi and the Development of Russian Fiction 1902–1914. Oxford, 1996. P. 139–142; *Шалыгина О.В.* Биографическое и эстетическое в четвертой симфонии А. Белого (А. Блок, Л.Д. Блок и А. Белый) // Шахматовский вестник. Вып. 12. М., 2011. С. 307–315), так и отдельных его аспектов и отразившихся в нем влияний. В частности, прослежены реминисценции и линии преемственности, воспринятые от религиозной философии Вл. Соловьева (*Бойчук Андрей, Тилкес Оля.* О «соловьевском слое» «Кубка метелей» Андрея Белого // *Studia russica Helsingiensia et Tartuensia. V. Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре.* Helsinki, 1996. С. 123–146); подтексты, обнаруживающие зависимость «Кубка метелей» от идейных построений Д.С. Мережковского, воплощенных в его трилогии «Христос и Антихрист» и критическом исследовании «Л. Толстой и Достоевский», вскрыты в статьях А.Г. Бойчука «„Лучезарный старец“: «слой» Мережковского в «Кубке метелей» А. Белого» (Известия Академии наук. Серия литературы и языка. Т. 54. 1995. № 2. С. 16–30) и «„Святая плоть“ земного в «Кубке метелей»: К теме „Белый и Мережковский“» (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 144–152); литургические мотивы и новозаветные цитаты и аллюзии суммированы и проанализированы в статье О. Тилкес «Православные реминисценции в Четвертой симфонии А. Белого» (Там же. С. 135–143).

Подробный и всесторонний анализ «Кубка метелей» содержит фундаментальное исследование Оли Тилкес «Литература и музыка. Четвертая симфония Андрея Белого» (<Амстердам, 1998>). Работа содержит развернутое истолкование эстетической природы «симфонии» Белого, скрупулезный анализ ее структурно-семантической организации и повествовательной техники автора, прослеживание мифопоэтических мотивов и образно-смысловых конструкций, восхо-

дящих к Новому Завету, Вл. Соловьеву, Ф. Ницше, Р. Вагнеру и т.д. «Эзотерика» «Кубка метелей» осмысливается посредством кропотливого анатомирования ее эстетической структуры, являющей собой опыт построения «симфонического» литературного текста по аналогии с формами и приемами музыки. Изданная незначительным тиражом, книга Оли Тилкес прореферирована А.В. Лавровым в заметке «Литература и музыка» — новая книга об Андрее Белом» (см.: Пограничное сознание. (Альманах «Канун». Вып. 5). СПб., 1999. С. 458–472).

С. 200. *Посвящение. Метнер* Николай Карлович (1879–1951) — композитор и пианист, брат Э.К. Метнера. В посвящении Белый подразумевает главным образом свои впечатления от сонаты для фортепиано f-moll Н. Метнера (оп. 5), которую он слушал в авторском исполнении в конце 1902 — начале 1903 г.; Белый вспоминает о своем общении осенью 1902 г. с Э.К. Метнером: «Тут же мне открывается все значение музыки его брата; при мне (за стеной кабинета Э.К. Метнера) он сочиняет свою *сонату* и играет мне «*Stimmungsbilder*». Под влиянием разговоров с Метнером и растущей не по дням, а по часам дружбы с ним я переделываю 4-ю «Симфонию»: пишу 2-ю редакцию ее (тоже не сохранилась); героиня — раздваивается в ней на 2 сестры (Тугарина и Светлова); каждая имеет свою тему; в контрапункте 2-х тем — контрапункт «Симфонии»; герой не знает, которую из 2-х сестер любит он; появляется полковник Светозаров, который подглядывает его сомнения» (Материал к биографии. Л. 31 об.). 17 ноября 1902 г. Белый сообщал Э.К. Метнеру: «...Посетил недавно Николая Карловича: наслаждался его игрой <...> Я совершенно влюблен в его музыку, так что даже хвалить совестно <...> *Третья часть сонаты* (мажорная) поразительна; 2-я тема получает такую гибкость (она очищенная, не боится разнообразия путей), что при всей глубине своей становится всеобщей: музыкальное пространство 3-й части буквально напитано ей, а от первой темы остаются лишь отрывки (здесь ее роль кончена)» (*Метнер Н.К.* Письма. М., 1973. С. 42. Комментарии З.А. Апетян). А.С. Петровский, сообщая в письме к Э.К. Метнеру от 21 января 1903 г. о том, что он и Белый слушали сегодня финал сонаты Н.К. Метнера, добавлял: «Мы его так захвалили сегодня с Бугаевым, что он, кажется, не на шутку рассердился. Дело в том, что хвалили мы его, конечно, не с чисто музыкальной точки зрения, а под разными углами, напр<имер> богословским и т.д. <...> скажу за себя и за Бугаева, что нам соната дала бездну уверенности в победе и силы, очень нужных в нынешнее скверное и опасное грозное время» (РГБ. Ф. 167.

Карт. 16. Ед. хр. 26). См. также статью Белого «Снежные арабески. Музыка Н.К. Метнера» (Советская музыка. 1990. № 3. С. 119–122. Публ. С. Воронина).

Гиппиус (Мережковская) Зинаида Николаевна (1869–1945) — поэт, прозаик, критик. Белый познакомился с нею и с Д.С. Мережковским в декабре 1901 г.; приезжая в Петербург в 1905–1906 гг., останавливался в их квартире. Особенно прочной духовная связь Белого с З.Н. Гиппиус стала в конце 1906 — начале 1907 г. — в период интенсивной работы над «Кубком метелей», — когда он постоянно общался с нею, живя в Париже; в это время Гиппиус была посвящена в обстоятельства сложных и мучительных взаимоотношений Белого с Л.Д. Блок и всячески его поддерживала в его притязаниях; эти переживания нашли свое отражение в «Кубке метелей» — в обрисовке коллизий, возникающих между Адамом Петровичем и Светловой. Наряду с биографическим Белый, безусловно, подразумевал также идейный подтекст — близость с Гиппиус в аспекте философии эроса и христианской метафизики: представления о любви как пути восхождения личности к трансцендентному и эсхатологические коннотации совершенной любви (см.: *Бойчук А.Г.* Из комментария к «Кубку метелей». Андрей Белый и философия эроса З.Н. Гиппиус // Андрей Белый в изменяющемся мире: К 125-летию со дня рождения. М., 2008. С. 273–285).

Эпиграф — заключительная строфа стихотворения М.А. Кузмина «Окна плотно занавешены...», третьего в цикле «Мудрая встреча» (декабрь 1907 г.), впервые опубликованном в его сборнике «Сети. Первая книга стихов» (М., 1908), вышедшем в свет в апреле 1908 г. — одновременно с «Кубком метелей». *Кузмин* Михаил Алексеевич (1872–1936) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, композитор. Белый познакомился со стихотворением в авторском исполнении в январе 1908 г. в Петербурге; 30 января 1908 г. он писал Кузмину из Москвы: «Почему-то хочется мне отсюда еще раз Вас поблагодарить за «Мудрую встречу» и за музыку. Музыка помню. Вы были так любезны, что обещали мне прислать слова и мелодию. Мне стыдно Вам напоминать о Вашем обещании. Только настойчивое желание иметь у себя слова и мелодию заставляет меня обратиться к Вам. Когда у Вас будет время, пожалуйста, пришлите» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 387).

С. 203. ...*многие могут меня укорять в перепеве некоторых современных тем.* — Главным образом подразумевается лирический цикл Александра Блока «Снежная Маска» (СПб., 1907), созданный в конце декабря 1906 г. — первой половине января 1907 г. и вышедший в свет отдельной книгой в издательстве «Оры» в апреле 1907 г. Первая часть

«симфонии» имеет особенно наглядные соответствия с блоковским циклом (сквозные мотивы метели, кружения и т.п.).

С. 206. *«И Слово стало плотью»*. — Иоан.: I, 14.

С. 208. *...одно, навек одно*. — См. коммент. к с. 103.

С. 209. *Минотавр* (греч. миф.) — чудовище, человекобык, помещенный в подземный лабиринт, куда ему приносили в жертву семь юношей и девушек.

С. 210. *...мистический анархист с золотыми волосами, вкрадчиво раздвоенной бородкой*. — В этом образе отразились портретные черты Вячеслава Ивановича Иванова (1866–1949), поэта и теоретика символизма, в 1906–1907 гг. разделявшего идеи «мистического анархизма» — философско- и социально-эстетической теории, обосновывавшейся Г.И. Чулковым. Вступительная статья Вяч. Иванова «Идея неприятия мира и мистический анархизм» была предпослана книге Чулкова «О мистическом анархизме» (СПб., 1906). Белый выступал против «мистического анархизма» с исключительной резкостью и активностью.

Напоминал Христа в изображении Корреджио... — Корреджио (Антонио Аллегри; ок. 1489–1534) — итальянский живописец, автор нескольких картин, изображающих Христа («Христос, являющийся Марии Магдалине в виде садовника», «Христос в Гефсиманском саду»). Описывая в позднейших воспоминаниях Вяч. Иванова, Белый отмечает, что поэт напоминал «раздвоенною бело-льняной бородкой Христа по Корреджио», и поясняет в примечании: «Известный тип лица Христова, данный Корреджио» (*Белый Андрей*. Начало века. С. 346).

С. 211. *...словно Кузмин, брала гаммы...* — В петербургской литературной среде М.А. Кузмин с середины 1900-х гг. приобрел известность как исполнитель собственных поэтических произведений под аккомпанемент фортепиано.

«*Шабли*» — французское белое вино. Ср. начальные строки первого стихотворения Кузмина из цикла «Любовь этого лета» (впервые: *Весы*. 1907. № 3. С. 11–20): «Где слог найду, чтоб описать прогулку, / Шабли во льду <...>».

«*Вена*» — петербургский ресторан (ул. Гоголя, 13), пользовавшийся популярностью в литературно-художественной среде.

Кэк-уок — танец американских негров, в начале XX в. вошедший в моду в Европе.

«Не пробегаем ли мы огневой пояс страсти, как Зигфриды?..» — Подразумевается предфинальный эпизод музыкальной драмы Р. Вагнера «Зигфрид» (1876) — третьей части тетралогии «Кольцо нибелунга»: Зигфрид проходит сквозь огненную стену и достигает верши-

ны скалы, где находит спящую Брунгильду и пробуждает ее от сна поцелуем.

...зеленые орари свои... — Орарь — часть дьяконского облачения в виде длинной ленты, перекидываемой через плечо.

Нулков — карикатурное подобие Георгия Ивановича Чулкова (1879–1939), прозаика, поэта, критика, основного теоретика «мистического анархизма».

С. 212. *...зацветали стразами...* — Стразы — подделки под драгоценный металл из свинцового стекла.

С. 214. *«И яркие в небе горели звезды!»* — Ср. фразу из рассказа Ф. Сологуба «Призывающий Зверя» (1906): «Яркие загорались в черном небе звезды» (*Сологуб Федор*. Собр. соч. СПб.: Сирин, 1914. Т. 11. С. 75). Тот же образ-рефрен — в рассказе Сологуба «К звездам» (1896): «Звезды все яснее и ласковее горели над Сережею»; «...звезды радостно молчали, и сияли, и играли переливными огнями»; «...радостно и призывно звенели звезды», и т.д. (Там же. Т. 3. С. 81–82, 104, 106).

Крикса-Варакса — образ из сказки А.М. Ремизова «Купальские огни», входящей в его сказочный цикл «Посолонь» (впервые: Золотое руно. 1906. № 7–9, 10; отд. изд. — М., 1907); сам Ремизов поясняет: «*Криксы-вораксы* — мифическое существо, олицетворение детского крика. Если ребенок кричит, надо нести его в курник и, качая, приговаривать: «Криксы-вораксы! идите вы за крутые горы, за темные леса от младенца такого-то» (*Ремизов А.* Собр. соч. Т. 2. Докука и балагурье. М., 2000. С. 168).

«Я сгорал на снежном костре». — Пародируется образная структура цикла Блока «Снежная Маска»; ср. заключительное стихотворение цикла «На снежном костре» (*Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 2. С. 171).

...всех объездил Волошин, воспевая «чудо св. Блока». — Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) с осени 1906 до весны 1907 г. жил в Петербурге, постоянно общался с Вяч. Ивановым и его ближайшим литературным окружением; опубликовал в это время ряд статей о символистских литературных новинках, в том числе рецензию на книгу стихов Блока «Нечаянная Радость» (Русь. 1907. № 101. 11 апреля; см.: *Волошин Максимилиан*. Собр. соч. Т. 6. Кн. 1. М., 2007. С. 63–71). Формулировка «чудо св. Блока» образована Белым, вероятно, по аналогии с названием пьесы М. Метерлинка «Чудо св. Антония» («Чудо странника Антония»), шедшей на сцене Театра В.Ф. Комиссаржевской в один вечер с «Балаганчиком» Блока (премьера — 30 декабря 1906 г.).

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) — поэт, прозаик, критик; в 1906–1907 гг. разделял идеи «мистического анархизма»,

входил в ближайшее литературное окружение Вяч. Иванова и Чулкова; см. его статью «На светлом пути (Поэзия Ф. Сологуба с точки зрения мистического анархизма)», напечатанную в альманахе «Факелы» (СПб., 1907. Кн. 2. С. 191–207).

Шестов Лев (псевдоним Льва Исааковича Шварцмана; 1866–1938) — философ, критик. Во второй книге «мистико-анархического» альманаха «Факелы» была напечатана его статья «Похвала глупости», идейно не имевшая ничего общего с «мистическим анархизмом».

С. 217. ...*Брунгильда, окруженная поясом огня!* — В финале музыкальной драмы Р. Вагнера «Валькирия» (1870) — второй части тетралогии «Кольцо нибелунга» — бог Вotan погружает валькирию Брунгильду в заколдованный сон на вершине утеса, который окружается бушующим пламенем. Образ Брунгильды включает для Белого автобиографические ассоциации, он слушал «Валькирию» в Петербурге в Мариинском театре вместе с Л.Д. Блок и Блоком: «...звучи *«Валькирии»* пересекались со звуками, извлекаемыми меж нами <...> явно: в Л. Д. проявлялись отчетливо жесты Валькирии» (*Белый Андрей*. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 191).

С. 224. *Ектения* — название ряда молитвенных прошений, составляющего существенную часть всех церковных богослужений; возглашается дьяконом (или священником) и заключается возгласом священника; каждое прошение сопровождается со стороны клироса одним из припевов: «Господи помилуй», «подай Господи», «тебе Господи».

С. 228. «*Одно, навек одно*» — намек на Вл. Соловьева (см. коммент. к с. 103).

Говорил: «Конец идет». — Ср. заключительную строку стихотворения Вл. Соловьева «Сон наяву» (1895): «Конец уже близок, неожиданное сбывается скоро» (*Соловьев Вл.* Стихотворения и шуточные пьесы. С. 110).

С. 236. *Виссон* — тонкая драгоценная ткань в одеяниях царей, жрецов и т.д. Упомянута в Апокалипсисе (Откр.: XVIII, 12, 16; XIX, 8, 14).

С. 240. *Ненюфары* (от фр. *nénufar*) — водяные лилии.

С. 246. ...*прейде́т образ мира сего...* — Ср.: «...проходит образ мира сего» (1 Кор.: VII, 31).

...*большого медовича...* — Медович (сахар-медович) — обозначение льстивого, слашавого человека.

С. 257. ...*плаксивым петушьим пеньем.* — Библейский образ («...и будет вставить человек по крику петуха» — Еккл.: XII, 4) здесь дополнительно ассоциируется с программным стихотворением Д.С. Мережковского «Дети ночи» (1894): «Петуха ночное пенье, / Холод утра — это мы» (*Мережковский Д.С.* Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 470 («Новая Библиотека поэта»). Отмечено А.Г. Бойчуком в статье «„Лучезарный

старец“: «слои» Мережковского в «Кубке метелей» А. Белого» (Известия Академии наук. Серия литературы и языка. Т. 54. 1995. № 2. С. 28).

С. 261. ...*над юной сальфидой*. — Сильфы (сильфиды) в низшей мифологии народов Европы — духи воздуха.

С. 265. «*Паа-жаа-лей, дуу-шаа*» и т.д. — цитата из песни «Ой, полна, полна коробушка...» (отрывок из первой главы поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники», 1861), вошедшей в песенный репертуар с конца XIX в. (мелодия — трансформация венгерского танца «Чардаш»). См.: Песни русских поэтов. Т. 2. С. 62–63, 447 (Примечания В.Е. Гусева).

С. 271. ...*беличек, белиц*... — Белец, белица (устар.) — человек, живущий в монастыре, но не постриженный в монашество (еще не чернец, черница).

С. 275. «*Снега мои текут. Пургой моей свистучей*» и т.д. — вариация текста романса А.А. Белозерова «Уста мои молчат. В тоске немой и жгучей...» (1895; музыка Ю.И. Блейхмана).

«*Зори безумные, зори червонные*» и т.д. — вариация текста романса А.Н. Апухтина «Ночи безумные, ночи бессонные...» (1876; музыка П.И. Чайковского; также — популярный цыганский романс на музыку Спиро). См.: Песни русских поэтов. Т. 2. С. 143, 457.

С. 278. *Омофор* — часть епископского облачения, надеваемая на плечи.

С. 286. ...*пурпур*ы Содома и Гоморры. — Содом (букв. «горящий») и Гоморра — города на берегу Соленого моря, во дни Авраама и Лота истребленные огнем, ниспущенным Господом с неба (Быт.: XIX, 24–28).

С. 289. «*Ууй-мии-теесь воо-лнее-ния страаа-ааа-стии*...» и т.д. — романс «Сомнение» («Уймитесь, волнения страсти!..», 1838; текст Н.В. Кукольника, музыка М.И. Глинки). См.: Песни русских поэтов. Т. 1. С. 522.

С. 299. *Киновия* — монастырь, в котором братия получает не только стол, но и одежду и т.п., и весь свой труд и его результаты предоставляет на общую потребу.

С. 314. ...*болезни, печали, вздыхания*... — молитвенная формула, восходящая к Пандекту Антиоха (XI в.): «Отъбеже болезнь и печаль и въздыхание».

С. 316. *Полиелей* — одна из составных частей утрени (*греч.* ἐλεός — милость); название происходит от повторения в этой части богослужения слов «яко в век милость Его» и возжения в это время елєя в лампадах церкви; состоит из пения стихов псалмов 134 и 135, поется только на утренях воскресных и праздничных.

С. 330. *Рясофорная* — монастырская послушница, имеющая право носить рясу и клобук без пострижения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В раздел включены «симфонические» опыты Белого, предшествовавшие созданию первой «симфонии» («<Предсимфония>») и не вошедшие в окончательный текст четвертой «симфонии» («Отрывки из 4-й симфонии»), а также «Лирические отрывки в прозе», по тематике и образно-стилевым особенностям примыкающие к «симфониям».

<Предсимфония>. Впервые: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1980. Л., 1981. С. 126–137 (в составе публикации А.В. Лаврова «Юношеская художественная проза Андрея Белого»; по черновому тексту, хранящемуся в архиве Андрея Белого: РГБ. Ф. 25. Карт. 2. Ед. хр. 4. 22 лл.). Печатается по тексту этого издания.

В рукописи «предсимфонии» Белым допущены неточности в нумерации стихов и параграфов.

Исследовательский анализ этого произведения Белого предпринят в статье Е.В. Глухой «Миф о Софии в «Северной симфонии» А. Белого» (Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 1. М., 2004. С. 115–119).

С. 344. *...и я с Омом моим.* — В древнеиндийской философии священный слог *ом* лежит в основе всего сущего («Чхандогья упанишада», I, 1); употреблялся в начале молитв и религиозных церемоний. Источник сведений Белого — «Отрывки из Упанишад» в изложении Веры Джонстон: «Ом, не имеющий перемены, есть Все. Распространяясь, он дает то, что было, то, что есть, то, что будет. Это все Ом. То, что выше трех времен, есть тоже Ом. Ибо все это есть Предвечное» (Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 1 (31). С. 24–25).

С. 350. *Планетные системы меняют свое направление.* — Ср. эту же фразу во второй «симфонии» (с. 82).

С. 364. *И придет смерть, и покроет вас хитоном своим.* — Ср. аналогичную фразу в «Северной симфонии» (с. 40).

С. 365. *Лирические отрывки в прозе.* Впервые: *Белый Андрей.* Золото в лазури. М.: Скорпион, 1904. С. 175–210. Печатается по тексту этого издания. Заключительный отрывок цикла («Аргонавты») не воспроизводится, поскольку он был ранее напечатан в составе настоящего Собрания сочинений Андрея Белого (Серебряный голубь. Рассказы. М., 1995. С. 234–238).

С. 366. *Волосатик. Соловьева* Ольга Михайловна (1855–1903) — художница и переводчица, жена М.С. Соловьева и мать С.М. Соловьева, ближайшего друга Белого с отроческих лет.

С. 372. *Отрывки из 4-й симфонии*. Впервые: Альманах книгоиздательства «Гриф». М., 1903. С. 52–61. Печатается по тексту этого издания.

О сюжете первоначальной редакции четвертой «симфонии» и ее соотношении с «Кубком метелей» см. в послесловии (с. 405–407) и в коммент. к «Кубку метелей» (с. 433).

...загадочный старец Федор Кузьмич. — Согласно легенде, старец Федор Кузьмич, появившийся в Сибири в 1836 г., проживавший там в различных местах и умерший в 1864 г., был императором Александром I, не умершим в 1825 г., а ушедшим от мира и скрывшимся в народной среде.

С. 380. *«Времена, как и свиток, свиваются...»* — См. коммент. к с. 132.

СОДЕРЖАНИЕ

СИМФОНИИ

СЕВЕРНАЯ СИМФОНИЯ (1-я, героическая)	7
Вступление	8
Первая часть	10
Вторая часть.....	20
Третья часть.....	33
Четвертая часть	44
СИМФОНИЯ (2-я, драматическая)	55
Вместо предисловия	56
Часть первая	56
Часть вторая.....	83
Часть третья.....	104
Часть четвертая	121
ВОЗВРАТ. III симфония.....	147
I часть	148
II часть	163
III часть	185
КУБОК МЕТЕЛЕЙ. Четвертая симфония.....	199
Вместо предисловия	200
Часть первая. Снежная лапа.....	203
Часть вторая. Сквозные лики.....	238
Часть третья. Волнения страсти.....	274
Часть четвертая. Гробная лазурь.....	310

ПРИЛОЖЕНИЕ

<ПРЕДСИМФОНИЯ>	344
ЛИРИЧЕСКИЕ ОТРЫВКИ В ПРОЗЕ	365
Видение	365
Волосатик	366
Ревун	367
Ссора.....	369
Этюд.....	370
Сон	371
ОТРЫВКИ ИЗ 4-й СИМФОНИИ.....	372
<i>Лавров А.В. У истоков творчества Андрея Белого</i> <i>(«Симфонии»)</i>	382
КОММЕНТАРИИ	413

**Издательства «Республика»,
«Культурная революция»,
«Дмитрий Сечин»**

**выпускают (совместно) Собрание сочинений поэта,
прозаика и одного из ведущих теоретиков символизма**

**Андрея Белого
(1880–1934)**

Вышли в свет следующие тома:

1. Стихотворения и поэмы (1994).
2. Петербург (роман) (1994).
3. Серебряный голубь (роман). Рассказы (1995).
4. Воспоминания о Блоке (1995).
5. Символизм. Книга статей (2010).
6. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака (романы) (1997).
7. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере (2000).
8. Арабески. Книга статей. Луг зеленый. Книга статей (2012).
9. Мастерство Гоголя. Исследование (2013).
10. Симфонии (2014).

Готовятся к печати:

11. На рубеже двух веков (мемуары).
12. Начало века (мемуары).
13. Между двух революций (мемуары).
14. Ритм как диалектика и «Медный всадник». Исследование.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Симфонии

Ведущие редакторы *А.П. Поляков, Т.И. Шагова*

Художественный редактор *Е.В. Березина*

Технический редактор *Т.В. Иванникова*

Корректор *Е.Н. Светлова*

Подписано в печать 29.07.14. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная.

Гарнитура «Petersburg».

Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 27,14.

Тираж 1000 экз. Заказ № 4273

Издательство «Дмитрий Сечин».

123298. Москва, а/я 33. Д.Е. Сечин.

Тел.: 8 (985) 995-7970

E-mail: sechinbook@mail.ru

Отпечатано способом ролевой струйной печати

в ОАО «Первая Образцовая типография»

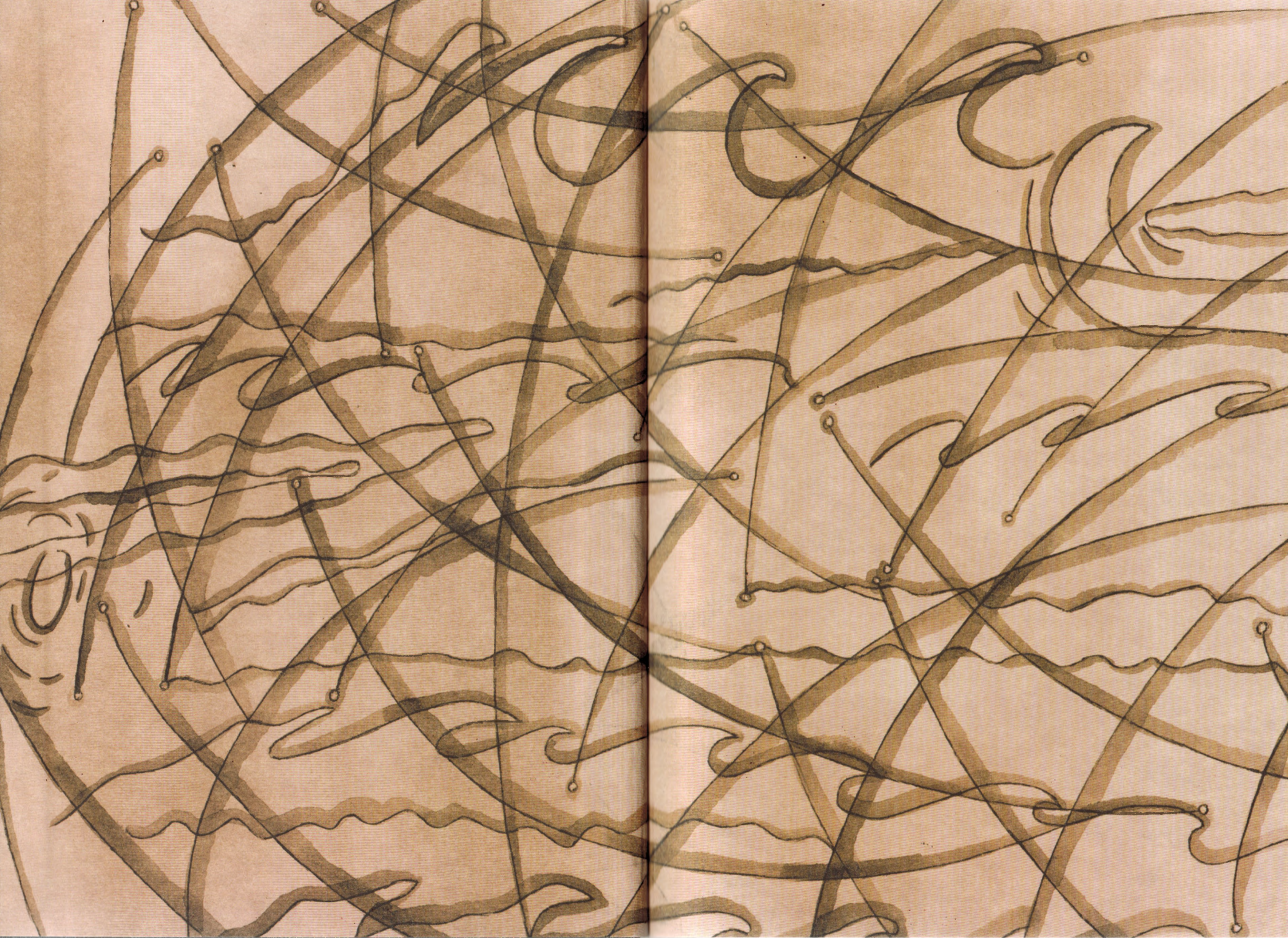
Филиал «Чеховский Печатный Двор»

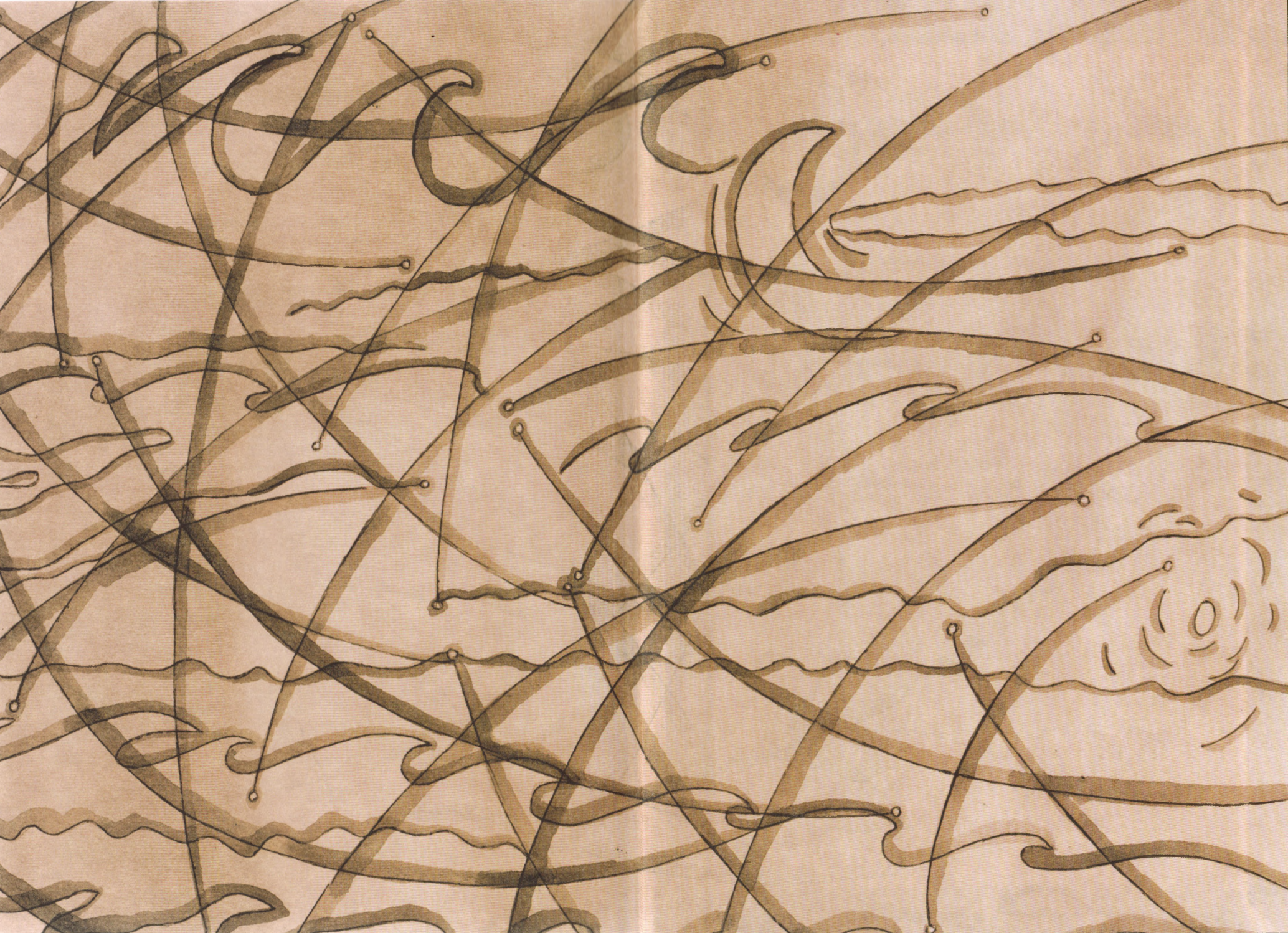
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

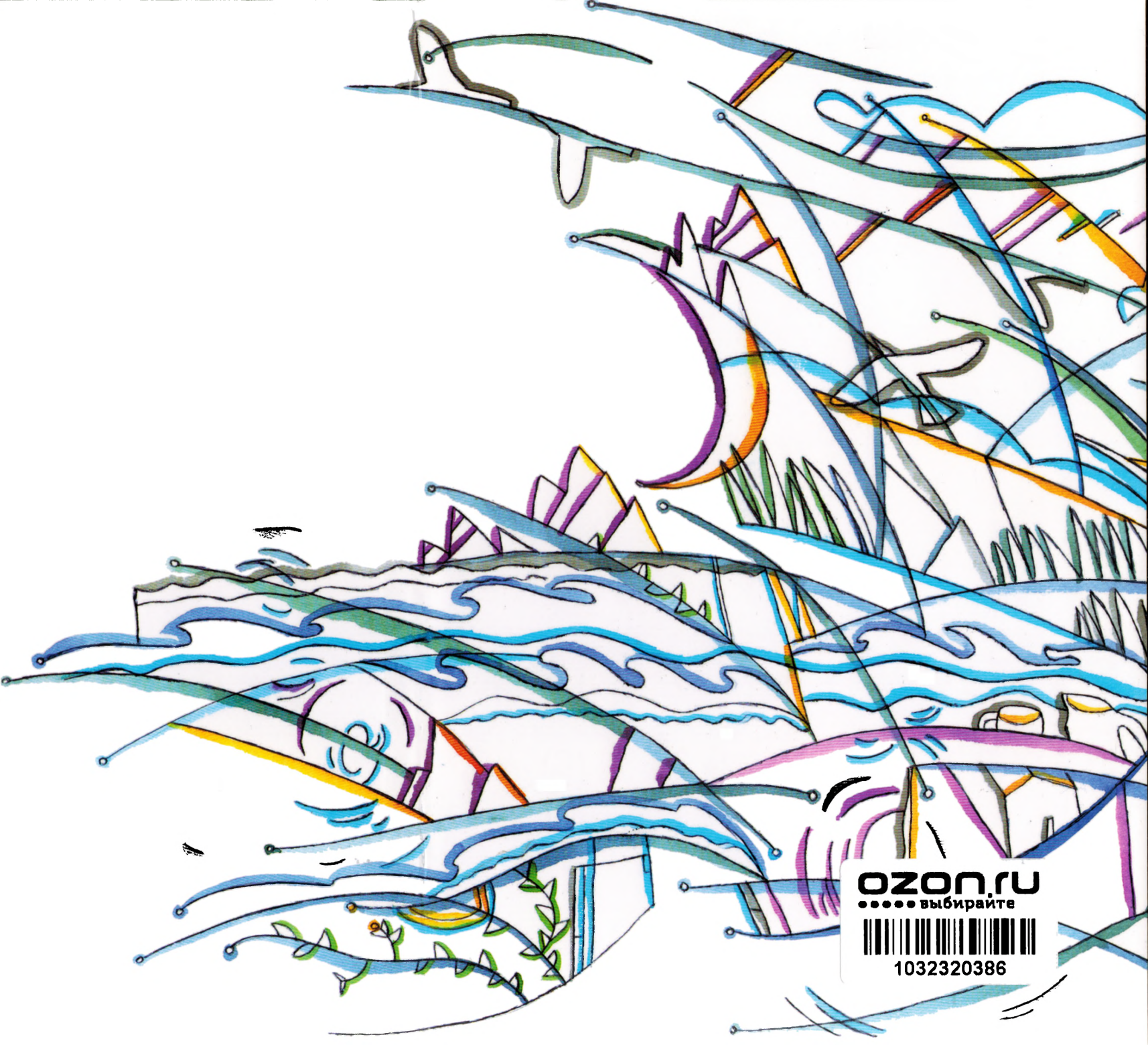
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, т/ф. 8(496)726-54-10



9 785904 962326







АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

СИМФОНИИ

ozon.ru

выберите



1032320386